

НОВЫЙ
МИР

5



1970

НОВОЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLVI

№ 5

Май, 1970 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
СЕРГЕЙ ОРЛОВ — Год сорок пятый, стихотворение	3
А. МЕЖИРОВ — Баллада преодоления, Заречье, стихи	4
ГЕННАДИЙ БУРАВКИН — Хатынский снег, стихи. Перевел с белорусского Григорий Куренев	6
БОРИС ПОЛЕВОЙ — В ту тяжелую зиму (Из записок военного корреспондента)	11
ВАСИЛЬ БЫКОВ — Сотников, повесть	65
ИВАН ТАРБА — Глянул в горы; Что, друзья, случилось?.. Стихи. Перевел с абхазского Лев Озеров	162
ХУАН РУЛЬФО — Два рассказа. Перевела с испанского П. Глазова	164

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Д. ДРАГУНСКИЙ — Незабываемый, победный	171
----------------------------------------	-----

В МИРЕ ИСКУССТВА

М. БАРХИН — Дом, улица, город. Размышления об архитектурном ансамбле и его теме	210
---------------------------------------------------------------------------------	-----

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Н. ЭЙДЕЛЬМАН — «Обратное провидение» (Исторический очерк)	226
-----------------------------------------------------------	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВЛАДИМИР ОГНЕВ — Несуетное слово поэта (О стихах Кайсына Кулиева)	242
-------------------------------------------------------------------	-----

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	249
Яков Хелемский. Ветви одного ствола.— З. Крахмальникова. Разгар лета.— Л. Лебедева. Дом и мир.— И. Питляр. «Что скажешь в свое оправдание?»— Т. Хмельницкая. Пересечение судеб.	
<i>Политика и наука</i>	267
А. Волков. Главный фактор.— Г. Ханин. Логика экономического механизма.— Д. Александров. Походы бесславные и бесплодные.— Д. Миль. История Тацита.	
КОРОТКО О КНИГАХ — Б. Исаев — Вождю, полководцу, другу. Письма бойцов и командиров Красной Армии В. И. Ленину. ♦ Е. Полякова. — Адриан Пиотровский. Театр. Кино. Жизнь. ♦ И. Беленкин. — А. И. Новгородов. Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в Якутии. ♦ М. Кораллов. — Моисей Кульбак. Стихотворения. Поэмы	284
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

СЕРГЕЙ ОРЛОВ

★

ГОД СОРОК ПЯТЫЙ

Стоят в европейских державах неблизких
И рядом с Россией на Висле и Влтаве
С армейскою алой звездой обелиски,
Которые год сорок пятый оставил.

Ах, год сорок пятый, великий и святой!
От щедрого сердца не требуя платы,
Свободу и счастье дарили солдаты,
А сами ложились под холмик горбатый.

А годы меняет земля, как обновы,
А время все мирное длится на свете.
Четыреста лет не бывало такого
Периода мира в Европе, как этот.

Четыреста лет не бывало ни неба,
Ни солнца такого на Влтаве и Висле.
И белыми сделались ленточки крепа,
И темными стали с звездой обелиски.

Гремит на бетонных дорогах музыка,
Неонные зори сияют влюбленным.
На зимних курортах скопление языков,
Под флагами наций ревут стадионы.

Все правильно. Так и хотелось тогда
Идущим до Шпрее, до Вислы и Влтавы,
Чтоб мир нерушимый сошел на державы,
Где шли они с боем, беря города.

Такого они сокрушили врага,
Такою победу их сталь утвердила,
Что ими оплачены даже снега,
Которые их покрывают могилы...



А. МЕЖИРОВ

★

БАЛЛАДА ПРЕОДОЛЕНИЯ

В землянке стылой, вскакивая с нар,
Я ничего заранее не знал,
Пришел не на готовую идею
И потому владею только тем,
Чем в совершенстве, как солдат, владею —
Оружьем всех калибров и систем.

Того, что написал, — не переделаю
В пределах треугольного письма,
Не стану исцелять бумагу белую
Пророчествами заднего ума.

И в дневниках военных не исправлю
Ни слова, ни единой запятой
Не переставлю — все как есть оставлю,
Как было в жизни грешной и святой.

О, это ненасытное старание
Всем доказать, что ты еще не стар
Лишь потому, что обо всем заранее
Все знал, в землянке вскакивая с нар.

Над блиндажами, вмерзшими в болото,
Трассирует прерывистая нить, —
Себя, себя, себя, а не кого-то
Придется за неведение казнить.

Чем познаванья поздние чреватые —
Бедой или победой над бедой,
Когда в окне туман солоноватый
И в горле соль премудрости седой,
И, как листвы горячей дым осенний,
Горчащий привкус поздних постижений?

ЗАРЕЧЬЕ

Трубной медью
 в городском саду,
В сорок приснопамятном году,
Оглушен солдатик.
Самоволка.
Драпанул из госпиталя.

Волга
Прибережным парком привлекла.
Там из тьмы, надвинувшейся тихо,
Танцплощадку вырвала шутиха,—
Поступь вальс-бостона тяжела.

Был солдат под Тулой в руку ранен —
А теперь он чей?
Теперь он Анин —
Анна завладела им сполна,
Без вести пропавшего жена.

Бледная она.
Черноволоса.
И солдата раза в полтора
Старше
(Может, старшая сестра,
Может, мать —
И в этом суть вопроса,
Потому что Анна — не стара).

Пыльные в Заречье палисады,
Выщерблены лавки у ворот,
И соседки опускают взгляды,
Чтоб не видеть, как солдат идет.

Скудным светом высветлив светелку,
Понимает Анна, что опять
Этот мальчик явится без толку,
Чтобы озираться и молчать.

Он идет походкой оробелой,
Осторожно, не наверняка,
На весу, на перевязи белой,
Раненая детская рука.

В материнской грусти сокровенной,
У грехопаденья на краю,
Над его судьбой — судьбой военной —
Клонит Анна голову свою.

Кем они приходятся друг другу,
Чуждых две и родственных души?..
Ночь по обозначенному кругу
Ходиками тикает в тиши.

И над Волгой медленной, осенней,
Погруженной в медленный туман,
Длится этот — без прикосновений —
Умопомрачительный роман.



ГЕННАДИЙ БУРАВКИН
★
ХАТЫНСКИЙ СНЕГ

С белорусского

Именем расстрелянных,
замученных,
павших
мы вам мир завещаем
без слез и войн.
Только пусть не смолкает
в памяти вашей
наших сердец
колокольный звон!

1

22 марта 1943 года...

Журавлем утро мартовское проскрипело.
Звякнуло в колодце о ледок ведро.
Захрустел под ногами снег, белый-белый.
Громыхнула у печки охапка березовых дров.

Несмело кукарекнул петух простуженный.
Дзинькнуло в подойник густое молоко.
Высоко подымая лапы,
пробежал по вчерашней лужице
худой и охрипший кот.

У печей завозились с ухватами женщины.
Первый блин на неподмазанной сковородке
превратился в ком.

И первую получил затрещину
чумазый озорник,
выскочивший на улицу босиком.

Мужчины пойло скотине таскали.
Девчата выбивали наспанные пуховики...
А село уже сжимали тисками
карателей черные грузовики.

И вот
черной петлей,
тугой и грубой,
затянута рассветная стынь.

Закусила побелевшие губы,
затихла в страхе Хатынь.
Окна — вдребезги!
Настежь — двери!
Крылом вороньим

карателя шинель.

К груди —
автоматы и револьверы:

«Шнелль!»

«Шнелль!»

Сонные дети
с крылечек слетают грачами.

Матери торопятся на них хоть пиджаки надеть.

От пули
заслоняется высохшими руками
седобородый, немощный дед.

Младенцы грудные заходятся в плаче.

Стаскивают с печки бабку слепую.

Прикладом — в плечи,

кулаком — под дых.

Из дворов сгоняют на пригорок,
в пуню,

всех —

и старых
и молодых.

Выкатилось круглое солнце.

На цыпочки встало над гаем.

Под его лучами
первые вешние капли упали со стрех...

Застонал,
заголосил под ногами

белый снег.

2

...каратели согнали в пуню всех жителей
Хатыни...

В сером сумраке тихо переговаривались мужчины.

Поближе друг к другу жалась родня.

Скупое пробивался сквозь незаконопаченные щелины
веселый свет вешнего дня.

Люди еще в избавленье верили,
хоть тревога не покидала сердец.

Но когда услышали,
как заколачивают двери,

и запахло бензином —
стало ясно: это конец.

И люди затихли.

И казалось:

это их прибывают к распятию.

Но и он
покачался
и сник.

Тогда опустило винтовки черношинельное войско.
Была вся округа безмолвием оглушена.
Кровь остывала.
Хаты догорали.
Над селом,
как над прогостом,
висела мертвая тишина.

И каратели смотрели глазами пустыми,
как ошалелый кот
вылизывал тлеющий мех,
как лежал,
не тая, в Хатыни
красный снег.

3

...убили и сожгли 149 человек, в том числе
76 детей, сожгли все 26 хат.

Дотлевали головешки,
отсвечивая вороненой синевой металла.
Пламя то разгоралось,
то уходило вглубь.
В низкое небо Хатынь вздымала
обгорелые культы печных труб.

Валялись ходики с жестяной зозулей.
На их стрелках
навек
застыл этот страшный час.
Медведем
под липу сполз обугленный улей.
Как растоптанный месяц,
из пепла выглядывал медный газ.

Словно на черной скатерти в поминальном застолье
огромный желтый пирог,
жернов лежал,
на котором ячмень партизанам мололи,
а после войны
в новой хате
думали подпереть порог.

Деревья и тучи чадом густым прогоркли.
В небе —
ни звездочки.
В небе —
кромешная мгла.

Но самое страшное —
 там,
 на взгорке,
 где пуня была.

Там,
 и в смерти обнявшись крепко,
 на залитом кровью клочке земли,
 мать — пригоршнею,
 а сын — шепоткою непла
 рядом легли.

Там
 еще ловили обгорелые пальцы
 последнего дыхания синеватый дым.
 И хлопьями сажи
 в простреленные ладони осыпались
 хаты,
 скворечни,
 сады.

И рты обугленные
 кричали немо.
 И словно в кошмарном детском сне,
 падал с ночного черного неба
 черный снег.

...Срываются звонкие капли со стрех.
 Раскачивает небо ребячий смех.
 А в памяти вечно стынет
 белый снег,
 красный снег,
 черный снег
 нашей святыни —
 Хатыни.

Перевел Григорий Курнев.



БОРИС ПОЛЕВОЙ

★

В ТУ ТЯЖЕЛУЮ ЗИМУ

(Из записок военного корреспондента)

В дни Великой Отечественной войны я, тогда военный корреспондент «Правды» на разных фронтах, в свободные минуты вел дневник. Когда было время — подробно, когда времени не хватало — бегло, конспективно старался записать все, что казалось наиболее существенным и интересным. Впоследствии, по окончании войны, из этих фронтовых дневников выросли такие мои книги, как «Повесть о настоящем человеке», «Золото», «Доктор Вера».

Ну, а теперь, четверть века спустя, как мне кажется, пришло время опубликовать эти записки. Вышли уже книги «В большом наступлении», «В конце концов». В них, как и в этой книге, я старался лишь обработать свой дневник, оставляя его содержание таким же, каким оно было, когда делались по горячим следам эти записки, с моим тогдашним видением и мироощущением, не модернизируя, не переосмысливая, не приспособляя к моему сегодняшнему пониманию войны. Что из этого получается, не мне, сегодняшнему, судить. Но так вот видел и понимал войну и людей войны тридцатитрехлетний советский офицер, бывший на фронте с удостоверением военного корреспондента «Правды».

Автор.

1. Близко и далеко

Тихо падает крупный влажный снег. Коснувшись земли, он сразу исчезает, и земля остается мокрой, скользкой, а трава блестит, точно отлакированная. Но на досках, которыми укреплены стенки окопов и пулеметных гнезд, на камнях развалин, на шапках и ватниках бойцов снег остается лежать белыми валиками. Здесь же, в огромном бетонном подвале, на стенах которого синеет замерзшая плесень и искрится иней, промозглая затхлая сырость забирается под шинель и проникает до самых костей.

Выходить днем из подвала рискованно. Вражеские снайперы все тут держат на прицеле. Малейшее неосторожное движение по ходам сообщения вызывает минометный налет, и не дальше как этим утром здесь вот, у входа в подвал, погибли от осколков мины командир батальона и его ординарец. Тела их днем не удалось вынести, они и сейчас лежат в углу подвала, прикрытые шинелями. Командование батальоном принял начальник штаба старший лейтенант Гнатенко. Теперь он навел здесь такую дисциплину, что боец не может выйти из подвала и до ветру, не доложившись отделенному.

Подвал находится под руинами еще не достроенного, но уже разрушенного артиллерийской спликатного завода на восточной окраине Калининграда — это самая западная точка нашей обороны тут, у областного города. Именно здесь после тяжелого боя сначала у Волжского, потом

у Тверецкого мостов нашим воинским частям и истребительным батальонам удалось остановить наступление неприятеля, окопаться, создать жесткую оборону и уже отбить множество атак. И хотя десять дней назад стало известно, что город Калинин занят, хотя уже оставлен на пути к Москве Клин и передовые танковые дивизии противника находятся где-то на подступах к столице, этот маленький кусочек города продолжает оставаться в наших руках, и ни немецкие снайперы, держащие здесь на прицеле каждый камень, ни минометная батарея, периодически обрабатывающая здесь все вокруг, ни артиллерийские налеты, которые тоже случаются, ни вражеские стервятники, летающие сюда с недалекого Мигаловского аэродрома, не смогли вырвать у нас этот последний свободный клочок города — улочку сгоревших и разрушенных окраинных домиков, сады и огороды, покрытые сейчас сетью окопов добротного профиля, и вот эти руины завода, которые воля людей превратила в довольно-таки серьезный бастион.

В неприступности этого клочка города мне чудится даже что-то сверхъестественное. Острым клином вонзается он в линию неприятельского фронта. Новые и новые атаки разбиваются об него, как волны о скалу, не принося наступающим ничего, кроме новых потерь.

Впрочем, теперь это уже не просто пепелище — это вполне современный рубеж, укрепленный, оснащенный по последнему слову саперной техники, прикрываемый артиллерией с опушки леска у деревни Змиёво и, как разнит солдатская молва, даже той таинственной реактивной артиллерией, которую в армии ласково именуют «катюшами». Среди солдат о ней ходят легенды, и хотя никто здесь еще не слышал, как «катюша» поет, само близкое присутствие этих таинственных боевых машин вселяет в бойцов уверенность.

Подвал, в котором я нахожусь, населен, как сказочный терем-теремок: на полу, прижавшись друг к другу, накрывшись шинелями, вповалку спят бойцы, смененные на передовых постах. В дальнем углу, за занавеской из простыней, раненые. Возле кипит сверкающий титан, а у двери топится полевая кухня, наполняя промозглое помещение аппетитнейшим запахом лука и бараньего сала.

За занавеской из плащ-палаток — обеденный стол, покрытый, будто скатертью, большим планом города. Над картой склонился комбат, старший лейтенант Гнатенко, сухой, неопределенного возраста человек, который и здесь, в глубине России, продолжает носить зеленую фуражку пограничника. Он тщательно выбрит, сапоги начищены до блеска, свежий подворотничок подчеркивает смуглоту жилистой шеи. Против него над тем же планом склонились высокий, худой, очень штатского вида майор с бледным лицом и разнокалиберными карими глазами и маленькая девушка в старушечьей кацавейке и черной шали. Майор — мой земляк, калининец, и полный тезка: Борис Николаевич Николаев. Он из разведки. Девушку звать Тамара. Она только что вернулась из похода в оккупированный город.

Комбат водит пальцем по плану:

— А здесь у них шо? — и старательным, ровным почерком пишет, бормоча про себя: — Так и зафиксируем — тут у них батареи.

Майора интересуют другие вопросы.

— Тамара, а в трамвайном парке у них по-прежнему много машин?

— А то нет? Теперь еще больше стало, — по-тверски частит девушка. — Мастерские у них там, дядя Боря. Они туда подбитые машины тягачами волокут. И еще видели мы там такие здоровенные машины, вроде бы трамвайные вагоны, две, а может быть, и больше, пес их знает.

— Это походные мастерские,— говорит майор и делает заметки на своем плане.— Молодец, Тamarочка. Настоящей разведчицей становишься.

— Какая я разведчица, дядя Боря, трусиха я, заслышу их разговор, трясусь, как овечий хвост... Ой, и знобко у вас тут, как в могиле! Никак не согреешься.— Она дышит в сложенные ладошки.

Я уже знаю эту маленькую девушку. Это прядильщица с текстильного комбината «Пролетарка», комсомолка, недавно окончила школу ФЗО имени Плеханова. Накануне оккупации добровольно, по ее выражению, «завербовалась» на эту опасную военную работу. И теперь вот смело переходит по ночам Волгу и принесла уже немало важных сведений. Но в душе своей она остается еще прежней «фезеошницей», начальство именует «дядя Боря», как, вероятно, именовала на фабрике своего помощника мастера.

— А вы, Тамара, не выяснили, почему на элеваторе зерно горит?

— А кто ж скажет-то? Одни говорят, будто немец злобствует. Раньше они разрешали жителям зерно брать, а вот сейчас у них под Москвой что-то не задалось, что ли, вот будто бы по злобе зерно и зажгли. Полили керосином или бензином и никого близко не подпускают, прямо палят без предупреждения... А иные говорят, будто наши партизаны то зерно подожгли. Не знаю уж кто, а что гасить не дают — это мы с Веркой точно знаем.

При имени подруги храбрая Тамара вдруг начинает плакать. Вера — ее напарница. Она полунемка, отец ее был когда-то красковаром на «Пролетарке» и погиб еще на гражданской войне. Она бегло говорит по-немецки. Несколько раз переходила фронт. День—два жила в оккупированном городе и возвращалась с ценными сведениями. Но сегодня ночью случилась беда. По словам Тамары, уже на берегу, у места перехода, девушки попали под осветительную ракету. Их заметили, обстреляли, Тамаре удалось перебежать, а Вера исчезла. Что с ней? Убита? Ранена? Захвачена в плен? С передовых постов доложили: тела не видно... Тамара, это бойкое, бесстрашное существо, плачет, по-ребячьи кулачком вытирая слезы.

— Так, значит, зерно подожгли и не гасят? — задумчиво, точно взвешивая эту новость, произносит майор Николаев. И вдруг начинает быстро свертывать план города.— Комбат, прошу вас, пошефствуйте над Тамарой. До темноты не выпускайте... Слышишь, Тамара! Твой риск кончился.— И он торопливо исчезает за дверью.

— Убежал как наскипидаренный. Что это он? — удивляется Тамара.

Мы с комбатом переглядываемся. Рачительные немецкие интенданты под метлу выгребают из оккупированных пунктов все ценное, особенно съестное, а тут сами подожгли огромный элеватор. Странно! Совинформбюро уже несколько дней сообщает о тяжелых боях на подступах к Москве... Фантазия, опережая события, забегает вперед: а что, если?.. Может быть, назревает что-то, что сулит поворот в ходе войны?

Для меня и этой маленькой, некрасивой, большеглазой девушки Калинин не просто населенный пункт, который после тяжелых боев оставили наши войска. Мы оба выросли там, учились, выходили в жизнь. Мы любим его, знаем каждую площадь, улицу, переулок. Там школа, где я учился, там мое жилье. В редакциях тверских газет я приобрелся к профессии журналиста и работал там до самой войны. В роковой день исхода моя жена ушла из города, унося на руках крохотного сына. Где-то они сейчас? Я ничего не знаю о матери, фабричном враче с «Пролетарки». В последний месяц она развернула в Первомайском поселке гражданский госпиталь, там размещали раненых — жертвы бомбежек.

обстрелов. Последний раз земляки, покинувшие город, видели ее на Старицком шоссе. Вместе с завхозом госпиталя, пожилой текстильщицей Марией Гонцовой, они останавливали машины, умоляя вывезти раненых... Где она? Удалось ли ей уйти? Она — старая коммунистка, и страшно подумать о том, что она могла попасть в руки гестапо.

Мой город — вот он, рядом. В нескольких минутах ходьбы по прямой. Он близок и бесконечно далек. Он сейчас как бы в ином мире, отделенном от нас невидимой, но непроницаемой стеной. От Тамары, Веры и других комсомольцев, проникающих по ночам через эту стену, мы знаем, что разрушенный, полусожженный, лишенный воды и света город держится стойко, что оккупантам он не покорился, и оккупанты вынуждены вести себя там не как победители, а как гарнизон осажденной крепости.

— Ну, хоть какое-нибудь предприятие удалось им пустить? — спрашиваю я Тамару.

— Вы что, смеетесь? Кто же это к ним пойдет-то? Мы с Веркой в прошлый раз принесли эти листки. Помните? «Идите на работу, помогайте армии фюрера и самим себе...» Ну, там жратву всякую, пайки сулили. На «Пролетарке» никто не пошел, не фабрика — кладбище... Да попробуй пойдти!

В больших глазах Тамары, еще красных от недавних слез, вспыхивают злые огоньки.

— Мы с Веркой у ее тетки в семидесятой казарме ночевали. Тетка рассказывала: один хлюст, наш с «Пролетарки», откликнулся было. Собрался в ситцевой фабрике мыло варить. Так бабы поймали его и окунули в барку с анилиновой краской. Вылезть-то он вылез, а краску отмыть не мог. Знаете, какой он, анилин, липучий! Так черный, как черт, домой и потащился... С голоду дохнут, а на работу не идут.

Я задумал дать в «Правду» корреспонденцию о том, что происходит в оккупированном городе. Как здорово можно показать моих несгибаемых земляков! Сколько уже раз принимался писать, но кто-нибудь вроде Тамары приходит с той стороны, расскажет свежие новости — и написанное устаревает. Нет, сегодня после того, что услышал от Тамары и что рассказывал майор Николаев, обязательно напишу. Раскладываю на краешке стола свое журналистское хозяйство, вывожу заголовок «В непокоренном городе». Подчеркиваю двумя жирными чертами и задумываюсь: с чего начать? С безуспешных призывов оккупантов или с этого окунания в анилин? А может быть, с подожженного зерна?

Тамара, которую клонит в сон, поднимает голову, встряхивает своими жиденькими кудряшками и выходит за занавеску. Ее окружают бойцы. Они удивленно смотрят на эту хрупкую девушку, почти девочку: ну как же такая кроха ходит во вражеский тыл?

— Что, как там, как они?

— Зверинец, — коротко отвечает девичий голосок.

Дружный смех разносится под промерзшими сводами подвала:

— Зверинец! От утрафила!..

Девушка недоуменно смотрит на бойцов: что она такого сказала? Она еще не знает, что на войне в минуты больших нервных напряжений достаточно порой пустяка, чтобы вызвать такую реакцию. Вдруг смех обрывается, резко скрипят сапоги, сильная рука отбрасывает брезент, и в освещенное свечью пространство вступает комбат в своей пограничной фуражке. На ходу он бросает поспешающим за ним связным:

— Сообщите в первую и вторую роту: поднимать людей, все по постам, по расписанию... К бою!

Стрельба участилась. Близкие разрывы то и дело встряхивают массивные своды подвала.

— Что-нибудь случилось?

Лицо комбата спокойно, малоподвижно, только скулы напряжены.

— Ничего особенного... Просто противник возобновляет атаку со стороны города... Силами от батальона до двух.

Действительно, ничего нового. Подобное за те три дня, что я нахожусь в этом подвале, уже бывало. Но на этот раз, как мне кажется, неприятельская артиллерия бьет особенно густо. Где-то совсем уже рядом лопаются несколько мин. Вдруг артиллерийские голоса смолкают и сменяются частыми пулеметными очередями. Огромный подвал почти пуст. Только постанывают раненые, тревожно прислушиваясь к густеющей трескотне.

— В атаку полез! — говорит повар, снимая колпак.

Его напарник уже взял винтовку и вылез в окоп для усиления охраны штаба. У повара тоже карабин, прислоненный к колесу кухни, а на пустом противне пара гранат. Но он не двигается с места. Лицо его спокойно: нас тут не возьмешь — так закопались.

Зато Тамара, храбрая Тамара, залезающая, можно сказать, в пасть тигра, вся трясется. Бледное маленькое личико ее искажено страхом. Каждый близкий разрыв заставляет ее прижиматься к повару, который, вопреки общему представлению о людях его профессии, худ, жилист. Повар отечески смотрит на девушку и бросает ей на плечи свою меховую безрукавку.

— Героиня! — говорит он, не переставая, однако, прислушиваться к перестрелке. — На передовой, слов нет, страшно. Однако справа от тебя Иван, слева — Степан, впереди — разведка, а возле твой командир. Все свои, а на миру и смерть красна. А ты ведь, дурашка, одна на врага-то ходишь. Так чего ж трясешься? — Послушал и не без торжества усмехнулся: — А ведь вроде бы уж он захлебнулся, а? — Еще послушал. — А не думаете, что наши вперед рванули? Нет, серьезно. Бой вроде бы откатил, слышите, слышите!.. Я же говорю, ежели русский человек насмерть стал, только смерть его от той земли оторвать и может. — Но, должно быть, подобно большинству трудовых людей не терпя высоких слов, он перебивает себя: — Давай-ка, девонька, котелки. Пока суд да дело — раненых накормим, сама поклюешь... Сверху-то самый навар.

Я выбираюсь из подвала. Комбат стоит в глубоком, облицованном досками окопе и в щель меж бревен наблюдает за боем. Он то и дело посылает связанных то к одному, то к другому ротному, говорит по телефону с командиром полка, докладывает кому-то постарше, и все это без метаний, без крика. Люди вокруг него также деловиты, будто, отражая атаку, делают привычное дело. Третьего дня во время такой атаки его предшественник, тело которого в ожидании сумерек лежит в углу подвала, так шумел и бранился, что сорвал голос, даже стгоряча кого-то по шее вытянул. А этот недаром носит свою зеленую фуражку!

— Продолжайте преследование, — говорит он. Именно говорит, а не кричит в телефонную трубку, вытирая лоб свежим носовым платком. Откуда у него свежий платок в этом заплесневелом, промерзшем подвале? — За отбитые блиндажи держаться. Головой отвечаете. Сосед бас поддержит справа. Сейчас огонек на помощь вызову.

— Вас первый спрашивает. — Связист почтительно протягивает трубку другого телефона.

Комбат докладывает:

— Да, предпринимаем контратаки. Отбили несколько блиндажей. Нет, не скажу, точно не знаю. Уточню. — В трубке звенит возбужденный голос. Комбат отвечает с достоинством. — Так точно, товарищ генерал... План города перед вами? Да, взяли по самую улицу.

Уточню, сколько блиндажей. Уточню и доложу. Пленных?.. Пленных, кажется, нет... Прошу в случае их контратаки поддержать огоньком. Есть. Будет сделано.— Передав трубку связному, он поясняет: — Комдив звонил. Говорит: держите отбитое во что бы то ни стало. Говорит: это первая отбитая у врага земля... А ведь действительно первая.— И комбат с удовольствием удлиняет красную стрелку на плане города, заменяющем ему карту.

Отбитых блиндажей — семь, убитых немцев — десять.

Стемнело. Раненых увели, мертвых вынесли. Понемногу стихают возбужденные после схватки голоса бойцов. Комбат уполз в отбитый у противника блиндаж, перенес туда свой НП. Тамара заснула, прикорнув рядом с кухней, свернувшись у теплой печки, как котенок. Сажусь наконец писать корреспонденцию, и когда корреспонденция эта, пополненная сообщением о только что отбитых блиндажах, готова, появляется майор Николаев. С ним две девушки, которых он сегодня переправляет в город на смену Тамаре и Вере. Погревшись возле кухонного огонька, они отправляются в путь, и возвращается майор уже за полночь. Долго молча греется, прислоняясь к котлу то спиной, то грудью.

— Переправили благополучно?

Он молча кивает и вздыхает. Проснувшаяся Тамара встревоженно смотрит ему в лицо.

— Был я там,— говорит он вполголоса.— Сам каждую тропу осмотрел на реке, весь берег исходил: и следка ее не видно.

А я вспоминаю Веру — серьезную белокурую и синеглазую девушку, до войны работавшую на низовой комсомольской работе. Физкультурница. Красавица.

— Ничего не понимаю: ведь метели не было. Должен же был остаться хоть какой-то след,— говорит майор и тихо добавляет:— Чертова работа! Легче самому туда ходить.

И в самом деле, в первые дни оккупации он бывал в городе, хотя многие его там знают. Уходя, майор обещает сдать на военный телеграф мою все-таки дописанную корреспонденцию. Но для передачи по военному проводу надо, оказывается, знать шифрованный индекс «Правды». Ни он, ни я его не знаем. Решаем, что «Правда» есть «Правда» и если статье суждено дойти до Москвы, адрес как-нибудь найдут и без индекса. Я проводил майора и Тамару в звездную ночь. Похолодало, подсушило, стены ходов сообщения густо посолило искристым инеем. Вернувшись, приспособляюсь на теплое Тамарино место у кухонного котла и, положив под голову подшюмок, в котором заключено все мое оставшееся после эвакуации имущество, засыпаю.

2. В Москву!

Проснулся поздно со смутным ощущением чего-то хорошего. Не то видел во сне, не то совершилось наяву. Что? Мало, очень мало хорошего было в последнее время... Ах да, семь отбитых блиндажей, этот крохотный кусочек города, отвоеванный вчера у противника. Его можно за несколько минут обежать, этот кусочек. Но ведь действительно это первая маленькая победа здесь, у стен города. Может быть, о ней даже сообщит Совинформбюро? Ведь не так-то много добрых вестей приходит с фронта.

Кухня все еще на месте, источает благословенное тепло и пресные запахи пшенной каши, но население подвала переменялось. Передовые передвинулись, вероятно, в те семь отбитых блиндажей, а сюда всели-

лись со своим громоздким хозяйством тылы. Половина пространства занята мешками и ящиками. Но свой командный пункт батальонный держит еще тут. В отгороженном плащ-палатками углу комбат усталым голосом как-то вяло и неохотно рассказывает о вчерашней контратаке, и с первых же слов его собеседников я угадываю, что там газетчики, даже вроде бы и голоса их кажутся знакомыми.

— Вам, товарищ старший лейтенант, может быть, все кажется обычным: семь блиндажей, несколько сотен метров отбитой территории, а вот для наших читателей, изголодавшихся по добрым вестям с фронта?.. — убеждает молодой, напористый и действительно знакомый голос. — Пленные были?

— Пленных нет. А вам, товарищи корреспонденты, не следовало идти сюда днем. К чему рисковать? Мы сами на этом участке днем не разгуливаем... Обо всем, что произошло, в дивизию уже доложено. Там бы и узнали, — устало говорит комбат.

— А кто в этой схватке отличился? Кто первый ворвался в первый немецкий блиндаж?.. Среди них были молодые воины-комсомольцы? Вспомните, нам это очень важно.

Ага, это же корреспонденты «Комсомольской правды», неразлучная пара Федоров и Финогенов, с которыми мне уже доводилось встречаться на нашем молодом фронте. Здравоваемся. Финогенов достает из планшета телеграмму.

— Майор Николаев нам все уже рассказал. Мы видели его на телеграфе. Твоя корреспонденция ушла в Москву... А для тебя хорошая новость, читай. — И протягивает телеграмму: «Срочно получением сего выезжайте Москву для переговоров работе военным корреспондентом «Правды». Калининским обкомом, Политуправлением фронта выезд согласован. Ильичев».

Вот это новость! Кто из нас, провинциальных газетчиков, не мечтал быть сотрудником «Правды»? Я гордился, что перед войной мне довелось там напечатать несколько очерков. И в войну, между делом, отходя с частями Красной Армии по территории Калининской области, послал в «Правду» несколько писем о мужестве моих земляков. Но работать в «Правде» военным корреспондентом — это даже в голову не приходило. У меня будто в ушах звучат призывы «Правды» последних, особенно тревожных дней, которые я воспроизвожу: «Кровавые орды фашистов лезут к жизненным центрам нашей Родины, рвутся к Москве. Остановить и опрокинуть смертельного врага!»... «Взбесившийся фашистский зверь угрожает Москве — великой столице СССР. С железной стойкостью отражать напор кровавых немецко-фашистских псов!»... «Воины Красной Армии! С вами вся страна, весь советский народ. Будьте бесстрашными в бою, деритесь до последней капли крови за каждую пядь родной земли!» И этот последний, самый короткий и самый выразительный, что я прочел вчера в газете, которая и сейчас лежит в моем планшете: «Все силы на отпор врагу! Все на защиту Москвы!» Эти слова просто-таки врезаются в сердце!..

Стать корреспондентом «Правды»! Здорово! А тут и еще повезло. Спецкоры «Комсомолки» уже немало поездили по фронту и возвращаются в Москву «отписываться и отмываться». У них машина. В машине есть место. Чего же еще, к чему откладывать?

Но не тут-то было. Как я уже писал, при новом комбате здесь, по траншеям, днем без крайней надобности не пошляешься. Горячую пищу по стрелковым ячейкам разносят в термосах, и термосоносцы двигаются ползком. Как раз сегодня снайпер с той стороны Волги пробил один термос, но сваренный на совесть кулеш оказался таким густым, что не вытек в пробойну. Понимаем, конечно, что для батальона, находящегося

на самом острие клина, эти строгости — разумная мера, но мы трое томимся вынужденной неподвижностью: у «комсомольцев» горячий материал, который может остыть, у меня — эта телеграмма из «Правды».

— Ну и порядочки вы тут у себя завели! — ворчит Финогенов, круглолицый, веселый парень с узкими хитрыми глазами.

— Точно, — хладнокровно подтверждает комбат. — Точно, товарищи корреспонденты. Передовая — это граница, граница двух миров. На границе и действовать надо по-пограничному. — Слово «граница» он произносит как-то особенно, бережно.

Чтобы не терять времени, начинаем вытягивать из комбата подробности первого боя на границе, который его пограничники вели три дня и три ночи, удерживая участок своей заставы. Сражались яростно. Раненые не выходили из боя. Жены командиров заменяли медицинских сестер, набивали пулеметные диски. А потом, оказавшись уже в тылу фашистских частей, пограничники сумели рассредоточиться на местности, где им была знакома каждая былинка, и не только вышли из окружения, но и вынесли своих раненых.

— А женщины, дети?

— Моя с грудным малышом ушла на второй день боя. — Загорелое лицо комбата спокойно, но скулы так и ходят. — Не знаю, удалось им пройти или нет. Не знаю, живы ли. Может, в тылу у немцев. В Селижаровском районе батя у жены — лесник. Может, к нему подались. — И комбат, только что неохотно цедивший сквозь зубы рассказ о своей вчерашней боевой удаче, вдруг просит: — Если будете писать и поминать фамилию, напишите уж и имя-отчество: Остап Гаврилович. Может, моя прочтет, узнает, что жив.

Завязавшаяся метель раскрепостила нас. Порывы северного ветра, который в здешних краях зовут «сиверко», несут снег с такой силой, что он, как песок, сечет лицо.

— Так не забудьте — Остап Гаврилович, а то Гнатенков на Украине богато, — напутствует комбат...

Без приключений добираемся до деревеньки Змиёво, где помещается командный пункт дивизии. Тут у друзей спрятан их, как они говорят, передвижной корреспондентский пункт. Под драночным навесом риги стоит полуторка, на которой большой фанерный ящик с печной трубой. Это маленькая комнатка с жестяной буржуйкой, с прибитым к полу столиком, с диваном, под которым даже запас дровец. На стене для пушего уюта — красавица в костюме праматери Евы, должно быть вырезанная из какого-то трофейного журнала. Есть даже вешалка, на которую мы и пристраиваем свои шинели, как только печка начинает отдавать тепло.

Политуправление Калининского фронта — на окраине большого села Кушалино. Соответствующие телеграммы здесь уже получены, командировка и пропуск в Москву на мое имя оформлены. Наносим на карту путь. Он лежит через город Кашин, ставший временной столицей области. Едем медленно — то и дело приходится останавливаться и пережидать тянущиеся к фронту войска... Орудия на механической тяге... Подразделения лыжников в маскхалатах. И хотя нам с Федоровым тепло в нашей будочке, где потрескивает печурка, мы завидуем Финогенову, который как начальник экспедиции сидит с шофером и может наблюдать столь многозначительное передвижение воинских частей.

— Сибирь пошла, — говорит он, когда мы втроем вылезаем из кювета, где пережидали очередной обстрел с воздуха.

Я мысленно сопоставляю: Совинформбюро сообщает о тяжелых боях на центральном направлении, по несколько дней уже не упоминает об оставленных с боями пунктах. Немцы в Калининне жгут в элеваторах

зерно. Свежие части подтягиваются к фронту. Нет, назревает что-то большое. Где? Да, конечно же, там, под Москвой...

В Кашин въезжает уже в сумерки. Как и полагается столице, хотя бы и временной, он очень бдителен, этот маленький Кашин. На въезде в город часовые проверяют документы. Квартал спустя машину останавливает патруль истребителей с красными повязками на руках. Снова военный и снова штатский патруль. Ни огонька. При свете полной луны, царящей над этой синеватой морозной ночью, четко, будто выгравированные, вырисовываются старинный собор, маленькие затейливые церкви, деревья бульвара, крыши домов, густо выбеленные инеем. У корреспондентов «Комсомолки» свои интересы и свои дела в обкоме комсомола. Ну, а я, конечно же, спешу в «Пролетарскую правду», в редакцию, где я проработал больше пятнадцати лет. Уплотнив районную газету, она расположилась в старом здании на базарной площади. В тесноте, да не в обиде. Небольшой коллектив, отдавший фронту почти всех своих мужчин, под руководством редактора Василия Кузнецова в эти тяжелые дни отлично проявил себя. Он выпустил номер даже 15 октября, в день массового исхода из города. Его набрали ночью, при свете свечей. На ходу, на машине-американке, водруженной на трехтонный грузовик, сотрудники, в том числе и сам редактор, печатали этот номер, по очереди вертя маховое колесо.

Информацию в этой старой рабочей газете ведет мой друг, подписывающий свои репортажи и фельетоны выразительным псевдонимом «Эл. Гур». Он из тех репортеров, про которых шутят, что они знают подробности пожара за несколько минут до его возникновения. При встрече он как бы подтверждает это. Первое, что я после рукопожатий и лобызаний узнаю от него, это что «под Москвой назрело», что и в наших верхневолжских краях скоро начнется большое наступление. Конечно, ничего конкретного, но есть верные признаки: областные организации и учреждения готовятся к реэвакуации... Начальники перессорились, дела машины... На карту города нанесены по данным разведки все уцелевшие здания. После горячих прений намечен и утвержден новый план размещения учреждений. Эл. Гуру известно, зачем я еду в Москву, известно, что «сосватал» меня в «Правду» секретарь обкома И. П. Бойцов — член Военного совета фронта и, что уже совершенно невероятно, известно даже, что мне предстоит быть корреспондентом на Калининском фронте.

— Да,— и он звонко хлопает себя по лбу ладонью,— здесь твой друг, Василий Васильевич Успенский. В районной больнице старик развернул хирургический стационар для раненых. День и ночь шпарит операции. Ему дали полковника, к ордену Ленина представили.— И сделав таинственное лицо, Эл. Гур шепотом сообщает: — Там у него раненый немец лежит. Честное, честное. Первый перебежчик на нашем фронте. Перебежчик, понимаешь! Шлягер! Сенсейшен! Гвоздь! К нему даже меня не пустили. Охраняют, как железную маску в средневековом замке. Но тема-то, тема какая пропадает!..

Я с удовольствием повидаю профессора Успенского, нашу калининскую знаменитость. Это один из лучших хирургов страны, его иногда вызывают в Москву для сложных операций. Читает лекции в столичном медицинском институте. Ему не раз предлагали там кафедру, но он остался верен родному городу, где его попечением был организован образцовый Больничный городок. Лишенный ноги, он с трудом передвигается, но может часами не отходить от операционного стола. Все свои, вероятно очень немалые, заработки он тратит на книги и журналы по хирургии. Говорят, у него есть все интересное, что вышло на русском, немецком и французском языках. Выписывал журналы из Германии,

Швейцарии, Франции. Стен в его доме не видно: сплошные книги. «Помру, будет мне вместо памятника»,— говорил он врачам, которые широко пользовались этой его личной библиотекой.

Но Эл. Гур, конечно, не может и не посплетничать, и я узнаю, что в трагической суете эвакуации как-то позабыли об этом великолепном старике. Старому врачу вряд ли что грозило, но он не считал возможным остаться с немцами. Связал в узел самое необходимое, взял под руку старушку жену и влился в общий поток беженцев, выходявших из города под непрерывными бомбежками. Где-то на Волжском мосту профессора обогнала колонна автомашин ассенизационного обоза. Старика узнали, подхватили вместе с женой, устроили в кабину головной цистерны. Да так и вывезли, к вящему стыду штаба эвакуации. И вот, попав в Кашин, профессор снова в трудах и заботах. Ну, конечно же, надо его повидать. Он, может быть, что-нибудь знает и о моей матери.

Проникнуть в госпиталь оказывается не просто: без команды начальника не пускают. Но мой друг был бы плохим Эл. Гуром, если бы запрет остановил его. Через несколько минут мы сидим в крохотной, пропахшей лекарствами комнатухе профессора — в кабинете, одновременно являющемся и жильем. Больничный столик, тумбочка, две табуретки, узенькая койка, а на стене знакомая всем его друзьям старинная фотография: группа мужчин в белых халатах, и среди них маленький старичок с аккуратной бородкой, в глухом, до шеи застегнутом пиджачке, какие носили в конце прошлого века, и другой, волосатый, с бородкой и усиками. Это Луи Пастер и Мечников со своими сотрудниками и учениками. И среди них — юный плечистый красавец с мопассановскими усами. Владелец мопассановских усов — Василий Васильевич, один из сотрудников Института Пастера. В те давние времена он ассистировал великому ученому, но остаться вдали от родины не захотел, вернулся в Россию на нелегкую работу земского врача...

В коридоре слышится ритмичное постукивание палки. Дверь распахивается сильным толчком, и в проеме, почти заполняя его, плечистая фигура в окровавленном халате и в марлевой повязке, опущенной на подбородок. На миг входящий прислоняется к дверному косяку и стоит, закрыв глаза, тяжело дыша. На широком мясистом лице — усталость. Но вот резким движением он оттолкнулся от косяка, открыл глаза, и в них сразу засияла мальчишеская озорца.

— А-а, вот тут кто, братья писатели! Как же вы сюда просочились?.. Башку вахтеру оторву за то, что он вас в шею не выгнал. Ну, здравствуйте, борзописцы! Можете зафиксировать в своих блокнотах: сейчас старый тверской козел Васька сделал такую операцию, что сам чуть не сдох... Собственные рекорды бью на старости лет... Ты оттуда, что ли? — спросил он меня, махнув рукой в сторону Калинина.— Слышал, слышал, чем занимается сейчас сынок почтенной родительницы. Ну, рассказывай, что там у нас в Твери, все с голоду перемерли или кто остался? Домишко там мой стоит?.. Не знаешь?..

Широко образованный человек, свободно изъясняющийся на французском и немецком, понимающий по-английски, в речи своей он нарочито грубоват и порой прибегает к таким выражениям, что их, пожалуй, и не воспроизведешь на бумаге. Со всеми он на «ты», а город наш прямо именует Тверью, избегая его нового, давно уже для всех привычного названия.

— У вас тут немец, говорят, лежит? Перебежчик. Первый перебежчик в наших краях,— не вытерпев, спрашивает Эл. Гур.

— Я думал, вы старого земляка навестить зашли, а вы, оказывается, вот зачем... Ну, лежит, из кусков его, можно сказать, сшил. Только

для вас, газетчиков, его тут нету. Ясно?.. Ни для кого, кроме персонала, его нет... Я ведь теперь военный... Приказ — так точно, кругом марш и все. Поняли?

— Ну, хоть расскажите о нем.

— А что рассказывать? Хороший немецкий парень. Толковый. Без пяти минут филолог... Отец у него коммунист, не то еще сидит, не то уже повешен, он не знает. Когда к нам перебежал, в него свои целую очередь врезали, все у него внутри перемешалось... Вот. Поняли? Больше ничего не скажу.

— Ну, а какой он?

— Человек как человек. Мы с ним по вечерам болтаем. Рассказывает, жуткая муть у них в голове, но проясняется, проясняется. Как говорится: если зайца бить, он спички зажигать научится. Вот лупите их на фронте, быстро умнеть начнут.— И будто спохватившись, вдруг спрашивает:— Ну, промочите горлышко, что ли? За этим ведь, чай, и шли, по глазам вижу,— и достает из-под стола аптекарскую склянку с прозрачной жидкостью.

Мы стыдливо переглядываемся. Нет, мол, зачем же, не за тем прибыли, а он усмежается:

— Не беспокойтесь, раненых не обопьете. Здесь, в Кашине, спирт-завод. Этого добра хватит.— Он наливает и себе на самое доньшко мензурки и, будто оправдываясь, поясняет: — Больше нельзя, сейчас еще одного оперировать.

Выпив, сидит на койке, прислонившись к стене. Отдыхает.

— Да, братья писатели, похоже, что скоро дома будем... А вы знаете, как я эвакуировался? — Глаза его смеются, совсем мальчишеские, озорные глаза.— С шиком эвакуировался. Отцы города знали, на чем старого пьяницу вывозить. На бочке, именно на бочке!.. Э, наплевать. Книг вот жалко! — И вдруг ни с того ни с сего: — А разве плоха наша интеллигенция? Ведь, почитай, все из города ушли. Никто не остался. Актер Лаврецкий у меня с аппендицитом лежал. Ему под семьдесят. Всю свою картинную галерею бросил и уехал. А книг мне все-таки жалко... Какая хирургическая библиотека! Написал я по-немецки на бумажке плакатик: «Господа гитлеровцы, берите что угодно. Все в вашем распоряжении, но если вы там не забыли, что были такие Кох и Вирхов, пожалейте книги. Они вам не нужны». Да, так вот написал, прикрепил к двери и ушел. Может, они там не все озвероподобились.— И ко мне:— А за мамашу свою не беспокойся, она не из тех, кто теряется. Характер! Уехала или ушла. Коли жива, отыщется, вот увидишь.

Сообщаю ему слышанный от майора Николаева очень удививший меня слух, будто молодой врач Лидия Тихомирова, его ученица, осталась в городе, работает в немецком госпитале. Да, слух этот дошел и до него. Старик хмурится. Как и все хорошие люди, он не любит думать о знакомых плохо.

— Врут, наверное. Мало ли сейчас с горя да с перепугу врут... Я эту Лидку знаю. Ассистировала она у меня и у Зыковой... Руки у нее — дай господи! Тут такое дело — муж у нее сидит. Ты его знал. Хороший, между прочим, парень. Но муж — муж, а она — она... Нет, все-таки не верю я этому.— Посмотрел на свои массивные золотые часы, нажал кнопку звонка, скомандовал появившейся хорошенькой круглолицей сестре: — Вы там готовьте этого грузина. Отдохнул. Сейчас приковыляю.

И уже уходя, подмигнул мне:

— Так ты, значит, как те самые три сестры у Чехова: «В Москву, в Москву!»...— И уже в дверях обернулся: — Отыщется родительница — кланяйся ей от меня. Место для нее в моем госпитале всегда найдется...

3. На войне как на войне

Нормального пути от Кашина до Москвы от силы часа четыре. Но если бы нанести на карту дороги, по которым двигался фанерный фургончик «Комсомольской правды», этот путь изобилдовал бы самыми неожиданными поворотами и затейливыми кривыми. По основным дорогам с наступлением темноты перемещались войска, перемещались в западном направлении, и регулировщики все время направляли наш глубоко штатский грузовик на обходные проселки.

К Москве мы приблизились с северо-востока уже к ночи. Мои товарищи по путешествию привыкли к виду военной столицы. Они дремлют и просыпаются только у контрольных пунктов, где строжайше проверяются документы. Я же сидел на ящике, приоткрыв дверь, и во все глаза смотрел в лицо этой незнакомой мне Москвы, мужественное, собранное, суровое.

В ночной час она казалась почти безлюдной. Тут и там из мрака затемненных улиц вдруг возникали баррикады, сложенные из мешков с песком, досок, камня, внушительные, скрепленные бревнами баррикады с предпольем из стальных ежей и бетонных эскарпов. Окна магазинов заложены мешками с песком, на больших перекрестках массивные бронеколпаки, из которых торчат рыльца пулеметов. В темном небе плавают посеребренные луной аэростаты. По мере продвижения к центру приходилось все чаще останавливаться и показывать документы.

— Из-под Калинина? Ну, как там у вас, остановили его? — И тише: — Еще не началось?

И было необыкновенно приятно отвечать этим военным и гражданским патрулям, что действительно остановили, что за две последние недели мы не отдали ничего и что вот совсем недавно контратаковали и даже отбили кусочек земли возле самого города. Я смотрю на эту военную, незнакомую мне Москву — и поражают меня не баррикады, не вереницы ежей, а то, что город этот, оказавшийся совсем рядом с фронтом, в нескольких летных минутах от неприятельских аэродромов, цел и, как кажется, спокоен.

Где-то на Верхней Масловке мы попали под тревогу. Проворные, горластые женщины быстро загнали машину в подворотню. И тут я убедился, что тишина и безлюдность Москвы, ее кажущийся покой, все это такое, что бывает на хорошо организованной передовой. В одно мгновение все кругом ожило, загрохотало. Темное небо точно бы разом вспыхнуло, сама темнота затрепетала, пронзенная очередями трассирующих снарядов, в небе скрестились шпаги прожекторных лучей. Вот в центре их скрещения появились три светлые точки. Канаода достигла накала. По замерзшему асфальту застучали осколки, и маленькая девушка с красным нарукавником и большой санитарной сумкой просто затолкала нас в какой-то подъезд. Потом все отошло в сторону, начало стихать, небо погасло и только погромыхивало издали, как это бывает летом, когда, отшумев, уходит гроза.

Огромный прямоугольник здания «Правды» тоже показался сначала пустым, мертвым. Но за дверью горел неяркий свет, и свет этот как-то особенно подчеркивал безлюдность просторных холлов и длинных коридоров. В них даже поселилось эхо, и, двигаясь, я слышал звук своих шагов где-то впереди. Но и это безлюдье было так же обманчиво, как безлюдье Москвы. В нескольких кабинетах, именно в нескольких из доброй сотни, шла напряженная работа.

Не без труда рассмотрел я в синеватом мраке стеклянную табличку: «Ответственный секретарь редакции Л. Ф. Ильичев». После всего пережитого в последние месяцы обстановка кабинета, сохранившего

довоенный облик, показалась прямо-таки фантастической. Невысокий, коренастый человек, читавший на откинутой у стены конторке мокрую газетную полосу, на миг оторвался от нее.

— Вам что, товарищ? Вы откуда?..

Я протянул ему телеграмму, подписанную его именем.

— Ах, так! Прибыли?.. Ну, здравствуйте. Сядьте вон в то кресло, почитайте пока свежую сводку Совинформбюро.

Он торопливо пожал мне руку и вернулся к недочитанной полосе. Дочитал, вызвал курьера, отправил. Теперь уже внимательнее окинул меня быстрым взглядом. Зрелище я представлял неважное: засаленный бушлат, ватные штаны, мятая пилотка, скорее похожая на чепец, все это, мягко говоря, несвежее, прожженное в нескольких местах. И вдобавок ко всему вместо обычных армейских сапог высокие ботинки с зашнурованными голенищами. Очень прочные, очень удобные ботинки, доставляющие мне сейчас столько хлопот, так как из-за них меня останавливает каждый второй патруль, принимая за вражеского парашютиста.

— Н-да,— вежливо обобщил Л. Ф. Ильичев свои впечатления.— Вы хоть сыты? Нет? Я распоряжусь, вас накормят.— И опять:— Н-да... Может быть, хотите с дороги принять душ? Очень советую. Отличная горячая вода... А сейчас извините, «Правда» должна выходить вовремя. После номера представлю вас редактору и вашему будущему начальству.

Очень, ну очень хотелось есть. Но, конечно же, прежде всего я ринулся в душ, хотя не было со мной ни мыла, ни пары запасного белья. В маленьком теплом помещении, где так уютно шумела вода, пришла идея постираться: пока моюсь, белье высохнет на горячих батареях. Запустив душ на полную мощность, принялся стирать свое бельешко. Тут и услышал, как за спиной кто-то снова и тоже весьма иронически произнес: «Н-да».

— Бельцео, скажем прямо, не ай-ай-ай! — сказал жизнерадостный тенор.

— Без мыла его нипочем не одолеть,— рассудительно подтвердил баритон.— Не поддастся.

Я оглянулся. В клубах пара вырисовывались две нагие, высокие, атлетического сложения фигуры.

— Петр Лидов,— отрекомендовался тенор.

— Калашников,— сказал баритон.

Лидов, Калашников! Ну, кто же в те дни не знал этих двух правдивых? Лидовские корреспонденции, всегда лаконичные и точные, я бы сказал мужественно немногословные, приходили с главного направления немецкого наступления, читались с особым вниманием. А на снимках Михаила Калашникова всегда запечатлевалось самое интересное, что происходило на фронте. Мне был вручен кусок мыла, а по окончании банных неистовств, которым я предавался с полчаса, Лидов от щедрот своих презентовав пару свежего госпитального белья.

Они объяснили, что пока «не загорится» последняя полоса, то есть пока весь номер не ляжет в машину, ни Ильичев, ни начальник военного отдела полковой комиссар Лазарев, ни, конечно, редактор Поспелов потолковать со мной не смогут. Лидов пригласил зайти к нему «в хату», то есть в один из кабинетов, где он, как и все правдивисты тех дней, и работал и жил. В кабинете этом на стене висел трофейный автомат «шиссер» — мечта разведчиков нашего небогатого трофейными фронта. К письменному столу были привалены два запасных колеса, а в углу стопкой лежали четыре канистры бензина, замаскированные газетными подшивками, как мне пояснили, от пожарной охраны. Лидов и Калаш-

ников освещают самое боевое теперь можайское направление Западного фронта. На заре, еще затемно, выезжают в сражающиеся части, а в сумерки возвращаются в редакцию или, оставаясь в войсках, шлют свои материалы с шофером. Людями они оказались компанейскими. На стол была положена буханка хлеба, банка немислимо вкусных консервов.

От этих первых правдивистов, так дружелюбно меня встретивших, я узнал, что «Правда», над выпуском которой в довоенные дни трудилось сотни полторы человек, теперь делается маленькой горсткой. Редакция разделилась на три части. Основной аппарат выехал в Куйбышев, куда перемещены все правительственные учреждения и дипломатический корпус. Там создана параллельная редакция, готовая в любую минуту продолжать выпуск газеты. Вторая группа, поменьше, трудится в Казани. Пока оба эти филиала снабжают оставшихся в Москве сотрудников материалами тыловых корреспондентов и печатают «Правду» с матриц, присылаемых на самолетах из Москвы. Здесь же, в почти пустом огромном здании, четырнадцать журналистов во главе с редактором Петром Николаевичем Поспеловым ведут основной выпуск, поддерживают связи со всеми фронтами, со всей страной. Все на казарменном положении — работают и живут в своих кабинетах. В тех случаях, когда вражеская авиация становится слишком уж назойливой, работа переносится в подвальное бомбоубежище, где существует параллельный рабочий центр.

В номере, который верстается, как я узнал, стоит моя заметка о недавних событиях под Калинином и сообщение Совинформбюро о контратаке и отбитых у противника блиндажах. Мои собеседники принялись расспрашивать, что там творится на молодом Калининском фронте, но что я мог рассказать им, этим асам военного репортажа, приехавшим оттуда, где сейчас, может быть, решается судьба Москвы!

— На можайском положение тяжкое,— говорит Лидов.— Рвется, сволочь, новые и новые части в бой вводит. Сегодня разведчики две новые моторизованные бригады обнаружили... — И повторяет: — Очень, очень тяжело. Оружия, боеприпасов у них завались. Еще бы, вся Западная Европа на них батрачит.— Лидов взволнованно встает.— И все-таки дух у них уже не тот, не тот дух... Я от самого Минска, от прежней границы сюда с частями отступал... Разве они такие тогда были? С песнями шли. Нет, не тот у них дух. Вояки, конечно, умелые, кто спорит, но зубы у них уже крошатся.

— Обескровленные у них дивизии,— вставляет Калашников, рассматривая на свет свежепроявленную пленку.

— Ну, нет, Мишель, это не так. Я вчера беседовал с Жуковым. Говорит, солдат у них на нашем направлении больше, чем у нас. Куда больше!.. О самолетах, танках и говорить нечего. Но миф о непобедимости — где он? Фьють... растеряли по дороге, остатки тут, под Москвой, развеиваются.

— Но положение все же тяжелое?

— Кто ж говорит, конечно, тяжелое. Очень тяжелое. Зря не скажут, что над Москвой нависла смертельная опасность. Таких слов попусту не говорят. Но кризис, я считаю, миновал. Шестнадцатое октября не повторится. Сейчас оборона жесткая и войска прибывают.— Зазвонил телефон. Лидов взял трубку.— Да, здесь, у меня... Последняя «загорелась»? — Он положил трубку.— Тебя к редактору. Ну, старина, ни пуха ни пера.

Кабинет редактора оказался огромной комнатой, тоже имевшей ярко выраженный военный колорит. Правда, запасных колес, канистр и стрелкового оружия в нем не было видно, но зато длинный стол для со-

вещаний мог послужить выставкой корпусов мин в разных стадиях изготовления. В дальнем конце на фоне большой карты, истыканной флажками, сидел крупный белокурый человек в очках и синей сатиновой блузе.

Редактор вышел из-за стола и стиснул мне руку так, что слиплись пальцы. Издали мясистое его лицо казалось суровым, но улыбка совершенно меняла его.

— Хорошо, что быстро прибыли. Вашему молодому Калининскому фронту придается большое значение. Вы ведь прямо из-под города?.. Товарищ Бойцов мне говорил... Да, позвольте вас сначала познакомиться. Начальник военного отдела полковой комиссар Лазарев, ваш будущий, так сказать, командир.

Маленький, коренастый, очень подтянутый военный, сидевший в кресле, поднялся и кивнул большой, наголо выбритой головой.

— Ну, рассказывайте, как там, в Калинин? Тяжко, да? Рассказывайте, не стесняйтесь. Впереди половина ночи... Впрочем, может быть, вы хотите спать?.. Ну как там наши земляки держатся? Товарищ Бойцов кое-что мне порассказал. Текстильщики-то наши какие молодцы!

Редактор вышел из-за стола, сел в одно из глубоких кресел, и по тому, как сразу, точно обмякнув, опустили его плечи, нетрудно было догадаться, что человек этот смертельно устал. Но глаза его сквозь очки глядели внимательно, в них был живой, не наигранный интерес.

Рассказать было что. Ведь еще у западного края области на старой границе, на почти заброшенных укреплениях в районе Себежа, наши части, обойденные танками, обложенные немецкой пехотой, несколько дней вели неравный бой. Люди гибли, но не сдавались, не отступали.

Да разве только на бывшей границе! Кадровые части отступали с боями, обращали порою какой-нибудь безымянный ручей, овраг, холм, лесную опушку, которыми изобилуют наши края, в рубеж обороны. Случалось, что, зацепившись за такую естественную преграду, горстка бойцов с умелым командиром и стойким комиссаром иной раз по нескольку суток отбивалась от вражеского авангарда, задерживая его продвижение. Целые рощи молодых березок извели немцы на кресты на реке Ловать и на других водных рубежах, в Новосокольническом, в Торопецком, в Селижаровском районах, у Ржева, у Старицы, под Калинин, да и в самом городе.

Я показал редактору снимки таких немецких кладбищ, снятые нашими воздушными разведчиками. Поспелов и Лазарев долго рассматривали фотографии.

— Да, немалую цену платят,— говорит полковой комиссар.

— Единственное предприятие, которое оккупантам удалось пустить в Калинин, это столярный цех вагонного завода — он выпускает кресты...

— Да? Это точно? — переспросил редактор. — Обязательно используйте это в одном из своих очерков. Цех крестов — это дойдет... Ну, а люди? Как держатся земляки там, на оккупированной территории?

Достаю из подсумка несколько немецких объявлений, переданных мне майором Николаевым.

Редактор внимательно изучает их. Красным подчеркивает в них отдельные фразы: «За партизанскую деятельность расстрел и уничтожение всего имущества», «За покушение на военнослужащих и гражданских лиц, служащих великой Германии, будет уничтожена деревня (село) и кара всему населению», «За пособничество партизанам, за укрывательство их, а также коммунистов и евреев наказание по законам военного времени, казнь с помощью виселицы».

— И не помогает?

— Не помогает. Расстреливают, вешают, топят в проруби. Десятками, сотнями расстреливают... Деревни, села начисто сжигают — не помогает. У нас в Верхневолжье, в иных лесистых местах, немцы не смеют по ночам сходить с большой дороги.

— Ну, не только в Верхневолжье... Великий у нас народ! — говорит редактор. Он снял очки, протирает их. Лишенные защиты светлые глаза его становятся беспомощными. Но вот очки водружены на место, глаза снова пытливы и требовательны.— Ну, а у нас в Калинин? Рассказывайте, рассказывайте. Тут для «Большевика» готовится статья, может быть, что-нибудь пригодится... Город меня особенно интересует. Я ведь, знаете ли, тверяк.

Знаем, конечно. Калининцы — патриоты своего города и ревниво держат на учете всех своих известных земляков. Знаем, что Петр Поспелов еще гимназистом вступил в тверскую большевистскую организацию, что в первые послереволюционные годы был он агитпропом губкома РКП(б) и был у текстильщиц любимым оратором, умевшим класть на диспутах на обе лопатки меньшевиков и эсеров, коих у нас тоже хватало. Знаю я это и потому рассказываю особенно подробно о том, что творится в городе.

Танковые дивизии неприятеля прорвались к нам по Старицкому шоссе почти внезапно, на плечах наших отступающих частей, не успевших даже развернуть оборону на подступах к городу. Бои завязались уже на окраинах — в Кировском и Первомайском поселках, на улицах так называемой Красной слободки, да и сам огромный текстильный комбинат «Пролетарка» превратился в передовую. Рядом с частями Красной Армии стали истребительные батальоны рабочих. И пока они у железнодорожной насыпи отбивали атаки авангардов врага, завершалась эвакуация города: потоки людей под обстрелом, под бомбежкой лились по дорогам на восток и на юг.

Тверские текстильщики издавна известны своей привязанностью к родной фабрике. Профессии ткачихи, прядильщицы, банкоброшницы, красильщика, раклита передавались из рода в род — от дедов к внукам вместе с комнатой в фабричном общежитии, или, по-рабочему, «в казарме», «в спальне». Огромные эти общезития люди по традиции покидали только, как говорится, ногами вперед — отправляясь на кладбище. А тут рабочие и работницы, даже старики, эти комнаты и свои квартиры в новых поселках бросали вместе со всем нажитым добром и с чемоданчиками, узелками уходили в неизвестность, неся или ведя за руку внуков.

— Узнаю, узнаю земляков,— говорит редактор и опять начинает протирать очки.— Ну, а ваши семейные как?

— Жена ушла вместе с сестренкой-школьницей и унесла шестимесячного сына. Где они, до сих пор не знаю... И о матери, и о двоюродном брате, воспитывавшемся в нашей семье, тоже ничего не известно. Не знаю даже, удалось ли им уйти...

Слышится тягучий вибрирующий рев сирены. Воздушная тревога, третья за эту ночь. Первые две ничем не ознаменовались, кроме этого рева да отдаленного боя зениток. Теперь, кажется, что-то серьезное. Канонада приближается, нарастает, бьют где-то рядом, даже как будто на крыше «Правды». Вся бетонная громадина резонирует на выстрелы, будто огромная гитара. Даже мне, приехавшему с фронта, из того подвала под силикатным заводом, становится не по себе. Но мои собеседники и глазом не ведут.

— Вы рассказывайте, рассказывайте. О людях рассказывайте, только конкретней, мы слишком много говорим общих слов.

Привожу в пример профессора Успенского, рассказываю о старейшем актере Лаврецком, о своих коллегах из «Пролетарской правды», крутивших маховик печатной машины и на ходу тискавших экстренный выпуск своей газеты. Рассказ прерывает человек в полувоенном костюме с сумкой противогаса на плече:

— Петр Николаевич, нарушаете правила ПВО... Не годится. Спуститесь в бомбоубежище.

— Ну, ну, он прав, конечно. Давайте сойдем,— говорит редактор.— На войне как на войне... Пошли в подвал.

И, захватив гранки передовой, он выходит из кабинета. Заголовок этой завтрашней передовой, как я успеваю заметить: «Враг продолжает наступать, все силы на отпор врагу!»

4. Семь дней в столице

Вот уже несколько дней живу в «Правде». Жилье мое — чей-то маленький кабинетик на третьем этаже. Зачислен на довольствие в скудном редакционном буфете. Получил комплект белья, госпитальное одеяло. Сплю на диване. Завидую корреспондентам Западного фронта — Лидову, Калашникову, Устинову, Курганову. До фронта им рукой подать. Утром чем свет выезжают в части, в сумерках уже в редакции. А меня все еще оформляют. Машина отдела кадров, увы, и в военное время вращает свои колеса солидно, медленно, и пока пребываю в подсобниках: правлю солдатские письма с фронта, готовлю к печати заметки военных корреспондентов.

За этими делами как бы физически ощущаешь те сотни нитей, которые связывают газету с фронтом и тылом, с воинскими частями и заводами, с передовой и с самыми дальними городами, живущими в счастливой тишине и не знающими затемнений.

Перезнакомился со всеми, кто делает сейчас «Правду». Кроме тех, кого я упоминал, тут и Михаил Домрачев, ведущий сразу два отдела — партийный и сельскохозяйственный, и «промышленный магнат», как его в шутку зовут, Семен Гершберг, совсем молодой, круглолицый, веселый человек, ведающий вопросами производственными, и Лазарь Бронтман — репортер-ас, известный своими предвоенными репортажами о воздушных рекордах и полярных перелетах, и Миша Шишмарев, «командир отделения стенографисток», держащий связь с корреспондентской сетью, а по совместительству и начальник пожарной охраны редакции. Впрочем, все работают за двоих, а помощник редактора смуглый черноволосый, как-то очень весело прихрамывающий и вообще веселый парень Лев Толкунов, кроме своих прямых и очень нелегких в этих условиях обязанностей, ухитряется выполнять на фронте оперативные задания военного отдела и руководить строительством бомбоубежища, которое здесь так и зовется: «Редут Льва Толкунова».

Больше всех достается, пожалуй, А. М. Парфенову — заведующему отделом писем и отделом кадров. Кадры — ладно. Я, кажется, единственный кадр, над которым он сейчас хлопочет, а вот писем в «Правду» приходят тысячи. Их привозят на машинах, в мешках. В них все — и тревоги, и надежды, и печаль, и радость, и гнев на бюрократов, и гордость героями, и душевная боль. Словом, все, чем живет сейчас народ, что его волнует, заботит в эти тяжкие дни.

Сегодня эта почта принесла радость и мне. Где-то в начале рабочего дня, который в затемненном здании начинается поздно вечером, редактор вызвал меня:

— Для вас хорошие известия. Вот прочтите,— и протянул конверт, надписанный крупным твердым почерком моей матери.

В нем оказались письмо и открытка. В письме: «Глубокоуважаемый товарищ редактор! В вашей газете напечатана статья моего сына Бориса Полевого. Со дня моего ухода из Калинина я потеряла его из виду и не знаю его адреса. Если адрес его Вам известен, очень прошу переслать по нему открытку, которую я прилагаю к письму. Заранее благодарная врач Л. Кампова». На открытке без адреса было: «Здравствуй, Боря! По статье твоей я узнала, что ты жив, здоров и находишься где-то в наших тверских краях. Я тоже здорова. Живу в Москве у тети Мани. Работаю в госпитале. Будет время, напиши, пожалуйста, о себе, о своих. Адрес ты знаешь. Мама».

— Сегодня же отправляйтесь к ней, — говорит редактор, — передайте ей от нас привет и... — он на миг удаляется в заднюю комнату и выходит оттуда, неся початую головку сыра, — и это вот ей передайте.

Я уже знаю скудость редакционного существования и отвожу руки за спину. Но редактор рассердился:

— Берите и ступайте, не теряйте время. Матери — отличный народ, матерей надо беречь и уважать.

В маленькой комнатке ветхого дома где-то на Швивой горке, где в соседстве со своей школой с дореволюционных лет жила моя тетка-учительница, отыскал я мать. Она была все такая же, не по годам бодрая, деятельная, уверенная. Туго ли живется? Ну, конечно же, туго. Всем туго. Такое время. В гражданскую еще туже жили. Пережили, ничего...

Потом она принялась рассказывать о военном госпитале, где по годам своим она, к сожалению, «сверхштатная единица». Уже потом узнал я, что своих раненых она все же ухитрилась погрузить на машины, что партком «Пролетарки» помог ей в этом деле, прислав на помощь людей, но сама она, замешкавшись дома, уходила уже пешком из оккупированного города по проселочной дороге, унося в портфеле лишь свой халат, докторскую шапочку и стетоскоп. Добрые люди довели ее на попутной машине до Клина. Там она явилась в военный госпиталь. Город бомбили, персонал сбился с ног, и пара рук квалифицированного медика оказалась очень кстати. С этим госпиталем она и приехала в Москву.

— А Андрей? — спросил я о двоюродном брате, пятнадцатилетнем пареньке, воспитывавшемся в нашей семье.

— Где вы все — на войне... Когда немцы подошли к городу, он с ребятами из своего класса пошел в истребители. У меня даже и не спросился. Забежал только с ружьем ко мне в госпиталь, крикнул впопыхах, что идет в окопы у Ворошиловки, съел тарелку компота и исчез... Говорили, что там немцев удалось задержать... А больше ничего о нем не знаю. Как освободите город, ты его найди. Ладно? И напиши мне, как он. — Говорит, а сама все посматривает на свои старенькие часы: время ее ночного дежурства в госпитале приближается.

— Ты что, торопишься, что ли?

— Да, мне пора. А ты тоже иди, иди. У тебя ведь, наверное, тоже дела. Знаешь, как наши раненые по утрам «Правду» ждут!.. Сейчас ведь никто сложа руки не сидит...

Среди военных корреспондентов «Правды» немало писателей: Борис Горбатов, Алексей Сурков, Вадим Кожевников. Пишут Илья Эренбург, Александр Фадеев, Алексей Толстой, Михаил Шолохов. Из Ленинграда передают свои репортажи Николай Тихонов, Всеволод Вишневский, Виссарион Саянов. Но больше всех в эти дни пишет Владимир Ставский. Частый гость нашего города, с которым мы подружились во время освободительного похода в Западную Белоруссию. Он все время на фронте: в редакции почти не появляется, присылая с разными okazиями длинные листочки, исписанные мелким четким почерком.

И вот сегодня он вломился в мой кабинетик. Большой, шумный, в отлично пригнанной военной форме, с ромбами бригадного комиссара в петлицах и набором сверкающих орденов на груди.

Участник гражданской войны, боевой разведчик, он на всех войнах чувствует себя как рыба в воде. Во время освободительного похода в Западную Белоруссию он щеголял по Гродно в полной форме кубанского казака: в бешмете с газырями, в хивинковой папахе с красным дном, в сапогах со шпорами. Но при всем воинственном виде и всем известной храбрости, о которой среди журналистов ходит немало рассказов, это очень отзывчивый человек. До того отзывчивый, что всегда в походе оказывался без денег, ибо все свои раздавал ребятишкам.

— Ну, поздравляю с правдивским крещением, — с ходу атаковал он меня и стиснул в своих медвежьих объятьях. — Нашего полку прибыло, в бой Тверь пошла... Рад, дружище, рад. — И тут же, чуть понизив свой голос, он тайственно сообщил: — Тебе предстоит большая работа. — И уже совсем шепотом: — Скоро мы будем в твоём Калинин. Ясно? Можешь не сомневаться, раз я говорю.

Должно быть, он перехватил мой иронический взгляд.

— Нет, нет, дружище, я сейчас далек от шапкозакидательства. Переболел этим. Теперь уж не пою «Любимый город может спать спокойно». Устарело. Любимым городам нашим долго еще спокойно не спать... Во сколько нам эти песенки-то обошлись?.. И все-таки я говорю: скоро мы будем в твоей Твери. — Он сел на диван, и диван застонал под его грузной фигурой. Расстегнул ворот кителя. — У них мощная, закаленная армия, осатаневшая от побед. Они отличные солдаты. У них и больше танков, самолетов, орудий... А мы сильнее. Да, да... Русский солдат никакому иноземцу в бою не уступал, а теперь защищает свой социалистический дом. Вот он уперся перед Москвой, и никакими силами его от земли не оторвать. — И вдруг предлагает: — Давай пари. Ставлю голову против бутылки водки, что следующую Октябрьскую годовщину мы будем праздновать далеко западнее твоей почтенной Твери. — И вскочив с дивана, не говорит, а прямо-таки изрекает: — Завтра на Красной площади парад будет! Ясно? Традиционный. И все Политбюро на трибуну поднимется... А сегодня я пойду на торжественное заседание Моссовета. Сам с докладом сегодня выступит. Ну? Как?..

Я вытаращил глаза. Розыгрыш? Немцы рядом — где-то в Химках или Ховрине. Их летчики, едва поднявшись с аэродромов, оказываются над Москвой. Сегодня, 6 ноября, немцы особенно активны в воздухе. Тревога за тревогой. Весь день проходит под аккомпанемент зениток — и вдруг торжественное заседание, парад. Ставский, наслаждаясь моим изумлением, басовито хохочет:

— Пари не предлагаю, зачем наивного ребенка обижать?

Оставляя меня пораженным, этот грузный человек уходит легкой походкой кавалериста. В дверях все-таки оборачивается, многозначительно прикладывает к губам палец — дескать, никому ни слова — и исчезает, оставив в воздухе длинный шлейф коньячного аромата...

Я в полнейшем недоумении. Понимаю, я еще недостаточно правдивист, чтобы мне доверяли такие тайны, да и у кого спросишь? Номер вроде бы идет обычный, а поинтересуйся насчет парада, начнут насмехаться: дескать, разыграли, как маленького. Только под вечер, проходя по коридору, я вижу, как к лифту спешат Поспелов и Ильичев, оба празднично приодетые. Может быть, и верно Ставский говорил.

Ну, а ночью узнаю: действительно в зале станции метро «Маяковская» состоялось традиционное заседание Моссовета. И. В. Сталин сделал доклад. Калашников и Устинов ночью показывали снимки: апло-

дирующие люди на фоне стальных полукружий колонн. В президиуме знакомые лица членов Политбюро. Сталин на трибуне... Засыпаю с чувством взволнованного ожидания, предвидя, какой эффект все это вызовет в народе, за границей, да, наверное, и в немецких войсках, что мерзнут сейчас в лесах Подмосковья от рано наступивших и весьма сердитых холодов...

А парад действительно будет. Утром о нем знают все, даже машинистки, допущенные и не допущенные к государственным секретам. Несмотря на это, счастливые обладатели пропусков с замкнутыми лицами грузятся в редакционный «ЗИС», вместительный, как Ноев ковчег. Все с завистью смотрят им вслед.

В этот день брусчатка Красной площади, хранящая столько следов российской истории, как всегда в праздник, содрогается от топота солдатских сапог. Впрочем, «содрогается» — не то слово. Бойцы и командиры в зимнем обмундировании, в полушубках, в валенках. Продефилировав перед трибунами, они сходят вниз на мост, а там колонна делится на несколько потоков, и потоки эти уже по разным улицам идут к местам погрузки в машины, которые доставят их прямо на фронт.

Когда Семен Гершберг написал свой отчет о необыкновенном этом параде и репортаж направили в набор, крохотный кабинетик его, где на стене висит полосатая пижама, у двери стоят валенки, у дивана домашние туфли, а на стене прибито многозначительное объявление: «На постель не садиться, минирована!» — оказался битком набитым. Немножко волнуясь, автор отчета восстанавливал для нас детали того, что только что видел на площади... Вот маршал Буденный выезжает на коне из Спасских ворот... Принимает рапорт командующего парадом... Объезжает войска, поздравляя их с праздником Октября... Спешивается перед Мавзолеем, отдает ординарцу коня. Поднимается на трибуну... Густо сеет крупный снег. Все этому рады: снег — это прикрытие с воздуха. Сталин подходит к микрофону. Неторопливо, в обычной своей манере ведет речь, разносимую репродукторами по всей площади.

— Вот, я успел записать. Это мне кажется особенно важно.— И, полистав блокнот, Семен цитирует: — «Еще несколько месяцев, еще полгода, может быть годик,— и гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений». Несколько месяцев, годик! Вы понимаете, ребята, что это значит?

Мы понимаем. Все понимают. Как это здорово, как это все-таки здорово: торжественное заседание, парад, эта речь. А ведь именно на этот день Гитлером было запланировано взятие Москвы. В радиоперехватах месячной давности сообщалось, что разработана даже церемония вступления в Москву. Гитлер должен был въехать в столицу со стороны Поклонной горы на белом коне. Генералы, высшее офицерство затребовали из фатерланда парадные мундиры, белые перчатки. От военнопленных мы уже слышали и о намерении Гитлера стереть Москву с лица земли, превратить огромный многомиллионный город в пустую каменоломню, безлюдное географическое понятие.

А тут в этот день... Да, легко представить себе, как парад этот потрясет мир и какой он вызовет всюду отклик.

5. По открытому листу

Ну, вот, теперь я настоящий правдист, «старший военный корреспондент «Правды» по Калининскому фронту», как значится в моем командировочном удостоверении. Ни младших, ни каких иных на этом фронте пока нет, но «старший», как мне кажется, все-таки неплохо, ибо пред-

стоят переговоры с фронтовыми интендантами о вещевом, пищевом и, так сказать, гужевом (если этот термин применим к автомобилю) довольствию. Можно, конечно, оформить все в Москве, но потребует время, а на нашем фронте и в самом деле созревает нечто серьезное.

В кармане гимнастерки у меня красная сафьяновая книжечка с отписнутым на переплете магическим словом «Правда». Редакционный гараж выделил мне машину М-1, как ласково говорят—«эмочку», возившую до сих пор Ставского, подержанную «эмочку», которую тот сменил на новую, особую, с двумя парами ведущих колес. Не беда, что старенькая, ибо шофером мне определен механик правдистского гаража — молодой, коротконогий, медвежеватый парень с румяной и очень хитрой физиономией. По отзыву Лидова, он «машинный бог», за которым, однако, по тому же отзыву, нужен глаз да глаз, ибо бывает шустер не в меру.

Напутствуя, полковой комиссар Лазарев называет ряд интересных тем для начала корреспондентской деятельности. Среди них одна меня особенно заинтересовала: найти и описать экипаж танка, который в двадцатых числах октября ворвался в Калинин почему-то с запада, с боем прошел через весь занятый противником город и пробился к своим на противоположном, восточном его конце. О необычном этом рейде кратко сообщил Оскар Курганов. Но даже фамилии участников этого рейда не были названы.

— Вот расскажите об этом развернуто, интересно — и рекомендуйте читателям как правдист,— сказал мой новый начальник своим хрипловатым, но тонким голосом.

С рассветом трогаемся в путь. В мирные времена из Калинина в Москву было два с половиной часа езды по отличному Ленинградскому шоссе. Теперь, проехав по этому шоссе километров двадцать пять — тридцать, попадешь прямо к немцам, и для того, чтобы добраться до Калинина, надо направиться из Москвы на север и сделать широкую дугу. Петрович, как все называют моего водителя, уже принял на себя обязанности начальника штаба и интенданта экспедиции. Раздобыв у кого-то из военкоров карту, он вечером разложил ее на полу и ползал по ней на животе, пролагая маршрут. Сейчас, очень умело свернув гармошкой, он засунул ее за световой козырек. Едва мы отчалили от подъезда, как он уже заглянул в нее, будто и тут, в Москве, заехав не на ту улицу, мы можем оказаться в руках противника.

Но, доехав до Савеловского вокзала, он вдруг чертыхнулся и круто повернул обратно.

— Эх, лопух я, свежие газеты-то забыл!

— А зачем? Утром я прочел «Правду» прямо с барабана.

— Вы! — Он посмотрел на меня с укоризненным удивлением, как старшина-сверхсрочник смотрит на салажонка, задавшего глупый вопрос.— Кто о вас говорит?.. Разве можно правдисту без свежей «Правды» на фронт?

Пришлось вернуться. Петрович вразвалочку сбегал в экспедицию и явился с пачкой свежееотпечатанных, пахнущих краской газет.

— Вот теперь порядок, по открытому листу поедем.

— А что такое открытый лист?

— Не знаете? Вот увидите.

Осталась позади последняя баррикада на окраинной московской улице, составленная из вереницы ржавых тракторов. Миновали последний пункт противовоздушной обороны, где под сенью здорового добродушного аэростата румяные девахи в военном грелись у костра. «Эмка» резво выбежала на Дмитровское шоссе, которое волей военной судьбы превратилось в важную фронтовую коммуникацию.

Эх, дороги, дороги, фронтовые дороги, сколько по ним уже пройдено в тяжелые дни отступления! Сколько горя, сколько самозабвенного солдатского мужества, сколько самоотверженности советских людей довелось мне видеть на этих дорогах на пути отступления от Себежа до Калинина! И сколько еще предстоит увидеть на обратном пути, сколько будет интересных встреч, сколько узнаю любопытных историй, рассказанных где-нибудь на пункте обогрева или у костра, у дорожного перекрестка. И куда приведете вы меня, военные дороги, или где, на каком километре, оборвется путь? Чем он закончится — репортажем откуда-нибудь из Берлина в день долгожданной победы или фанерной пирамидкой возле кюветы, которая два-три года будет напоминать прохожим, что здесь разыгрался эпизод, на ходе боев не отразившийся...

Пухлые руки Петровича с короткими пальцами небрежно лежат на баранке руля. Машина слушается его, и я уже перестаю пугаться, когда он с шиком проходит «впритир», обгоняя танк или грузовик с мотопехотой. Снег на дороге вытоптан до асфальта, движение — и этого нельзя не заметить — идет лишь в одну сторону — все на запад. Редкой машине, идущей в противоположном направлении, приходится, съехав с проезжей части, подолгу пережидать этот поток.

В машинах уже не те усталые, небритые солдаты в пилотках, жеванных шинелях, что, засев в наскоро отрытых окопчиках, с неиссякаемой яростью вели бой у калининских мостов. Это крепкие, молодые ребята, и мне все вспоминается фраза, слышанная ночью по пути к Москве:

— Сибирь в бой пошла. Дело будет...

В лесах и рощах, что тянутся вдоль дороги справа и слева, там и здесь видны дымки костров. На свежем веселом снегу четко отпечатались следы машин и танковых гусениц. Их тоже много — этих следов. И еще примечая: толпы людей — старики, женщины, дети. Кучатся у дороги, наблюдая поток военных машин. В иных местах, где-нибудь в леске, притулилось пестрое стадо, табор телег. Это колхозники-беженцы, снявшиеся с родных мест. Сейчас, стоя у обочин, они смотрят на бойцов, на машины, идущие в западном направлении, и на истомленных, худых лицах можно прочесть и надежду и колебание. Уходить дальше вроде бы и не стоит, а назад возвращаться рано. Разъяснили бы им, как поступать. Но что им скажешь, когда гигантские вражеские массы ведут бой у самых стен столицы? Впрочем, подалее от Москвы мы уже начинаем обгонять людей, бредущих на запад по обочинам. Матери с детьми. Старики с чемоданчиками, с баульчиками. Детские коляски, велосипеды, набитые или увешанные узлами.

Одну такую женщину с двумя ребятишками мы забираем в свою машину. Петрович устраивает на сиденье их узелок с добром, подсаживает детей. Оказывается, это учительница из села Городня, что на Волге, сравнительно недалеко от Калинина, с детьми она добралась почти до Дмитрова, а сейчас решила повернуть назад.

— Но в Городне же немцы, и в Калининне немцы.

— По радио говорили: на Красной площади был парад, как всегда. Товарищ Сталин речь держал... Теперь уж недолго. Пока дойдем, может, Городню и освободят. Жить-то все равно где, а к своему гнезду ближе — лучше... Я ведь уже поработала месяц на новом месте... няней в госпитале, а сейчас вот домой потянуло, хотя, может быть, школы-то уже и нет.

Вот отзвук вчерашнего парада. Едем, а из головы не выходит моя семья. Жена тоже учительница. Ушла из города в день его эвакуации с малышом, с сестренкой — школьницей седьмого класса и будто растворились в потоках людей — ни весточки, ни письма. Толпы эвакуировавшихся обстреливались с самолетов. Пароход с баржами, на которых уплы-

вали женщины и дети, неприятельская авиация не то сожгла, не то побила. Железнодорожный состав с эвакуированными тоже был разбомблен недалеко от станции Сонково. А мой? Нет, удлиним путь и обязательно заедем в Кашин, где помещаются областные учреждения,— может быть, туда пришли хоть какие-нибудь известия.

У поворота на Ивановку я впервые убеждаюсь, сколь предусмотрительно поступил Петрович, запасшись свежими газетами. На перекрестке — шлагбаум, только что сооруженный из источающей золотую смолу сосновой жерди. Два пожилых бойца с красными повязками решительно заворачивают поток машин направо. Узнаем, что дорога здесь приближается к передовой не то на два, не то на три километра. Вчера тут немцы подбили из крупнокалиберных пулеметов две машины.

— А велик ли объезд? Покажите.— Петрович важно разворачивает свою карту.

— Ну, не больно чтоб велик, но километров десять будет,— говорит боец домашним голосом.

— А не хочешь, дядя, все тридцать пять? — авторитетно заявляет Петрович, уже прикинувший по карте объездной путь.

— А может, и тридцать, кто его знает,— покладисто соглашается боец.— Зато от смерти подальше. Чего на тот свет-то торопиться?

— Нам это не годится, у нас бензина не хватит. Давай-ка, дядя, поднимай свою кочергу.

— Что значит кочерга? Это шлагбаум,— вступает в разговор второй солдат, судя по всему—человек суровый и хмурый.—У нас приказ— без специального разрешения не пускать. Давай поворачивай по стрелке.

— Мы ж из «Правды»,— говорит Петрович.— Вы «Правду» читаете? — И показывает на меня.— Это из «Правды» корреспондент. Корреспонденту писать едет. Вот ты его не пустишь, а на фронте, может, что произойдет, а он опоздает и не напишет. Понял?

Бойцы переглядываются, изучают документы. Вытисненное на красной книжечке слово «Правда» производит впечатление. Хитрый Петрович тянет им газеты.

— Вот, служивые, вам свеженькая. Прямо из машины... Видите, парад на Красной площади, товарищ Сталин речь держит.

Бойцы жадно, как голодные хлеб, хватают газету и наклоняются над ней.

— А ну, дяди, поднимайте свою палку.

— Что значит палку... Ну, уж ладно, вы, корреспонденты, поезжайте, а молодуху с детишками не пустим. Вылезай, милая.

— Только вы уж ее устройте на попутную,— заботится Петрович.

— Ладно, не впервой... У меня у самого дома трое.

Шлагбаум поднят. Во весь опор несемся по пустой дороге. Где-то невдалеке постреливают, мелькают две подбитые вчера машины, возле них копошатся люди в промасленных ватниках.

— Раскулачивают,— не без зависти произносит Петрович.— Жизнь есть жизнь.— Вообще он склонен, как я заметил, к философским обобщениям.

Должно быть, мы представляем ничтожную цель — ни одной пули не послано нам вслед. И когда угрожаемый участок пройден, Петрович самодовольно говорит:

— Ну, вот, а ты боялась.

По пути к Кашину еще раз убеждаюсь, сколь мудр мой попутчик, и начинаю понимать, что такое ехать «по открытому листу». Где-то на подъезде к городу иссякает бензин. Стрелка указателя судорожно дергается и подолгу застывает на крайней точке. Мотор чихает, машина идет

скачками, то и дело приходится останавливаться, продуть бензопровод.

— Только бы до какой-нибудь паршивой заправки дотянуть.

— И что? Ведь у нас все равно нет ни одного талона на горячее...

— А это что — хвост собачий? — Петрович самодовольно хлопает по пачке свежих газет. — Только бы дотянуть, а там не ваша боль, можете и из машины не вылезать.

Наконец-то видим у обочины шест, и на нем фанерная стрелка: «Бензин — 50 метров». Решительно сворачиваем в сторону, подруливаем к пирамиде железных бочек, лежащих в леске. У бочек — плотный боец в засаленной и заскорузлой шапке. Какой у заправщика с Петровичем происходит разговор, я не слышу, но, получив газету, боец идет в шалаш, выносит оттуда воронку, шланг, а сам углубляется в чтение, предоставляя Петровичу орудовать насосом. Тот, разумеется, не теряет времени.

Вернувшись, он тщательно вытирает концами руки и надевает кожаные перчатки.

— Ну, вот, а ты боялась!.. Теперь нам до Калинина горевать не придется. — И поучительно добавляет: — Из каждого положения есть минимум два выхода.

В Кашин въезжаем затемно. Древний городок так окутан туманом, что ехать приходится чуть ли не на ощупь. Порой надо идти впереди машины, указывая путь. И снова в бдительном этом городке, исправно исполняющем обязанности временной столицы области, мучают нас патрули. Слава богу, теперь я могу вести с ними разговор из машины. Им не видны мои высокие башмаки. Трое пожилых рабочих с льнозавода со старыми осовавихимовскими винтовками, задержавших нас у моста через речку Кашинку, особенно строги. Вертят документы и так и этак, но, получив свежую «Правду», тоже добреют, становятся разговорчивыми, доброжелательными. Один из них даже идет впереди машины...

В трех комнатках, где разместилась «Пролетарская правда», самая горячая пора — верстают номер. Свежая столичная «Правда», которую я, разумеется, вручил друзьям, была сейчас же изрезана на колонки. Отчет о торжественном заседании, доклад, речь — все это немедленно посылается в набор. В отделенный от общей комнаты шкафом уголок, где теперь «кабинет» редактора Василия Кузнецова, втискиваются все сотрудники, так что шкаф постепенно отползает к середине комнаты. Сыплются вопросы о Москве, о параде, о положении на фронтах (даже о намерениях советского командования). И хотя я, естественно, знаю не больше того, что печатается и в их газете, приходится отвечать, все время контролируя себя, чтобы не брехнуть лишнего.

Интересное дело — какой-нибудь месяц назад редакция и типография газеты занимали большое трехэтажное здание. Попробовал бы кто-нибудь тогда сказать, что всему коллективу придется втиснуться в три комнатки этого старого купеческого дома на рыночной площади. А вот разместились, работают, живут, по очереди колют и таскают дрова для печек, по очереди встают по ночам крутить маховик печатной машины, когда выключается ток, и при всем том не унывают.

Из обкома возвращается Василий Кузнецов, и первым, что я от него слышу, было:

— Вот когда мы научились работать! Понимаете, вовремя выходим, к семи даем тираж. — И потом, улыбаясь всем своим крупным белозубым ртом, торжественно протягивает мне три письма, на которых адреса написаны таким знакомым мне почерком жены. — Видите, и ваша нашлась. И мои там же. Они сейчас в городишке Молотовске Кировской об-

ласти... Живы, здоровы. Моя пишет: чудесно, прелестно, чуть ли не дом отдыха... Врет, конечно. Прочтете свои письма, обменяемся новостями.

Я ушел в пустые сени этого старого купеческого дома, сел на ступеньки деревянной лестницы и вскрыл сразу все три конверта. Кузнецов оказался прав: «Живем неплохо... Устроилась в школу... Преподаю литературу и русский язык... Мальчуган — прекрасный, тяжелый, осмысленно агукает и вроде бы даже пытается говорить... Повезло — в том же городе разместилась эвакуированная из Москвы Академия педагогических наук... Виднейшие ученые, по книгам которых мы занимались... Очень умные, добрые люди. Обещают организовать для нас курсы по повышению квалификации. Словом, о нас не забыть, береги себя, теплой одевайся, не студись...» Ну, конечно же, святая ложь. Она сквозит сквозь строки, написанные на чистой стороне каких-то школьных сочинений. Но такова уж человеческая натура — инстинктивно тянешься к хорошему, и зная, что все это неправда, что нелегко им живется, охотно даю себя обмануть и в отличном настроении возвращаюсь в редакцию, в комнату, где морозный ветер, врываясь в форточку, безуспешно пытается побороть тяжелый, прокуренный, много раз пропущенный через легкие воздух.

Потом до поздней ночи сидели с Василием Кузнецовым и под глухой рокот печатной машины, доносившийся с нижнего этажа, под треск пишущих машинок делились впечатлениями.

— И писать стали лучше, ей-богу лучше. Живее, интересней, честней.— Человек увлекающийся, зубастый, любящий покритиковать начальство, он входит в раж: — Да что там наша редакция, поглядите на областные учреждения. Бюрократизм из них будто бы ветром выдуло. В этом расприкрасном Кашине в тесноте, в холоде работают лучше, чем на своих насиженных местах, четче, человечнее. Аномалия, парадокс. А? — И смеется, показывая два ряда ровных белых зубов.

6. Представление начальству

Под жильё комендант штаба определил корреспонденту Совинформбюро Александру Евновичу и мне самую маленькую и самую ветхую избенку на окраине штабной деревни Чернево. В избе этой обитают одинокие старики, последние единоличники в селении. Она почти по крышу заметена снегом, в окна задувает. Ветер гуляет по полу, и по утрам у порога выстилается этакий снежный коврик. Но я считаю, что нам повезло, можно сказать, под боком и оперативный отдел, и разведка, и узел связи.

Старики наши днюют и ночуют на печке. Мы же с Евновичем живем внизу, и с нами целое семейство кур во главе с задиристым, крикливым петухом. Коллеге из Совинформбюро еще не прислали машину, и он ездит со мной. Вместе ходим на информацию, разъезжаем по частям, а потом пешком отправляемся по заснеженным полям на телеграф, который размещается в стороне от нашей деревни.

Мой новый товарищ — человек глубоко штатский. До войны работал заместителем Михаила Кольцова по журналу «За рубежом». Знает английский, японский, немножко немецкий. Свой человек в московских журналистских кругах. Выглядит он в военном, мягко выражаясь, странно. Длинная кавалерийская шинель висит на нем, как халат, ремни португали ходят, как незатянутая сбруя, на голове вместо обычной вэенной шапки роскошная пыжиковая ушанка со звездой, какие носят шеголеватые генералы, и вдобавок ко всему этому профессорские очки в золотой оправе. Но при этой своей штатской внешности он легко чи-

тает военные карты, умело привязывает их к местности, а с работниками оперативного отдела штаба говорит на равных, отлично разбираясь во всех тонкостях военной терминологии.

Мы познакомились и подружились с ним еще до того, как я стал корреспондентом «Правды», в самые тяжелые дни, когда Калинин был оккупирован, а Калининский фронт еще только организовывался. Очень хотелось мне тогда написать для земляков какую-то ободряющую корреспонденцию. Александр Евнович, только что приехавший в наши верховолжские края с мандатом Совинформбюро, горел тем же желанием. Вот мы и поладили, как бы сложив его важные полномочия и мое знание здешних верховолжских мест.

Сейчас на фронте он уже старожил. Вошел в обстановку, завел доброжелателей в штабных отделах и со свойственной ему душевной щедростью помогает мне.

На фронте тихо. Разведки боем... Операции местного значения. То там, то тут небольшие артиллерийские дуэли. Из всего этого для газеты ничего путного не выжмешь. Знаем, что по ночам, в особенности во вьюжные ночи, по всему фронту происходит скрытая передвижка войск. Чувствуем, готовится что-то большое, но расспрашивать о том, что готовится, не полагается. Об этом не говорят, но этого все ждут. Пока это журавль в небе, а довольствоваться приходится синичками, передавать, как говорят корреспонденты, «семечки»: сержант такой-то взял «языка» имярек; в завязавшейся перестрелке подбито столько-то машин с пехотой или убито столько-то солдат противника. Из всего этого настоящего материала не сделаешь. Это меня очень тяготит.

Привык к фронтовому быту. Теперь у меня уже военное звание, и внешне я больше не напоминаю окруженца. На мне белый дубленый армейский полушубок, ушанка, валенки. Сапог мне, правда, подходящих не подобрали, в оттепели приходится довольствоваться моими роскошными ботинками со шнурованными голенищами, но зима завязалась крутая, снега по пояс, оттепели редки, и валенки — самая подходящая обувь.

Говорят, что командующий фронтом генерал-полковник Конев очень требователен к маскировке своего штаба. И в самом деле, за шлагбаумом, у которого спрашивают пропуска, открывается обычная, заметенная снегами деревушка. Два ряда изб уставили свои окна в сугробы, наметенные в палисадники. Тишина, нарушаемая лишь перекличкой петухов. Изредка женщина просеменит по стежке к колодцу. Даже очутившись на деревенской улице, не сразу заметишь тонкую паутинку телефонных проводов, бегущих от избы к избе, не сразу углядишь, что в тени дворов стоят часовые. Мягко ступая валенками, они возникают из полутьмы, как привидения.

— Стой? Кто идет?

— Свои.

— Пароль?

— Архангельск. Отзыв?

— Арбуз. Проходите, товарищ батальонный комиссар.

Мы с Евновичем уже объездили и обходили все дивизии фронта. И в армии генерала Юшкевича, расположившегося на северо-востоке от Калинина, и в армии генерала Масленникова, державшего рубежи северо-западнее. Побывали у танкистов, у летчиков. Я передал несколько корреспонденций о людях фронта и о маленьких текущих событиях, но ни одна не напечатана. Поэтому я оттягиваю представление фронтовому начальству: не хочется идти с пустыми руками. Но Евнович убеждает: порядок есть порядок, тянуть нельзя. И хотя по-прежнему за душой у меня ни одного серьезного материала, я скрепя

сердце иду к члену Военного совета дивизионному комиссару Дмитрию Сергеевичу Леонову.

Он оказывается невысоким, худощавым, подвижным человеком, с серебристым бобриком коротко остриженных волос, с живыми глазами, в которых, как кажется, не затухают иронические искорки.

— А-а, явились! Лучше поздно, чем никогда. А то мне доклады вают, где-то бродит тут корреспондент «Правды». Бродит, а к начальству не показывается. Ну, ладно, будем знакомиться.

И как-то сразу пошла речь о роли печатного слова на войне. Заговорили о недостатках фронтовой газетной информации, о просчетах в освещении военных событий.

— Правда, правда сейчас нужна. Только правда, не подслащенная, не приукрашенная, дойдет до солдатского сердца. С солдатом надо уметь говорить напрямки... Помните, как однажды в тяжелую минуту Ленин прямо сказал с трибуны: да, мол, возможно, завтра отдадим и Москву. Так и сказал, не побоялся. И эта правда, страшная правда, сообщенная народу, как она подействовала на людей, как она всех мобилизовала!.. А у нас часто рассуждения, общие места, восклицательные знаки. А на восклицательных знаках в пропаганде далеко не уедешь. Сразу догадаться, что такая корреспонденция писалась в штабной тиши, далеко от фронта. А издали зови не зови — не услышат, да и слушать не захотят. Корреспондент — он, по-моему, прежде всего политработник, активный участник войны, не наблюдатель, а пламенный агитатор. Он, как комиссар, должен иметь право кликнуть: «За мной, товарищи!» — Говоря все это, член Военного совета расхаживает по избе. Остановился, усмехается. — Ну, я, кажется, сел на любимого конька. Хватит вас-то агитировать... А к командующему вы зря еще не являлись. Что же, что не печатают, придет время — напечатают. Ему о вас секретарь Калининского обкома Иван Павлович Бойцов говорил. Он ведь тоже член Военного совета. — Походил по комнате и вдруг спросил: — А вы биографию нашего командующего знаете?

Ставский, Лидов, Калашников уже рассказывали мне о Коневе. Ну, как же, первые добрые вести о контрнаступлении войск под руководством генерала Конева пришли в конце лета с центрального направления, вести об успешных боях в районе Ярцева и Духовщины, о первых населенных пунктах, отбитых у врага. Как эти сообщения Совинформбюро были тогда дороги! Знаю, что потом Конев командовал Западным фронтом.

— А у него ведь любопытная биография, — говорит Леонов.

И я узнаю о том, как молодой солдат-артиллерист Иван Конев вернулся с империалистической войны в свои родные северные края, как юношей вступил в партию, сделался уездным военным комиссаром, как сформировал отряд по борьбе с бандитизмом и, возглавив его, подавил кулацкое восстание. Как потом назначили его комиссаром одного из легендарных бронепоездов, которому народная молва присвоила имя «Грозный», как на этом бронепоезде он с боями пересек Зауралье, Сибирь до самой Читы, как его, на теперешний счет совсем молодого человека, назначили комиссаром штаба армии, которой командовал легендарный Блюхер.

— Вы своего коллегу Александра Фадеева знаете?

— Лично не знаком, но по книгам...

— Так вот, они оба были делегатами X съезда партии от Дальнего Востока, оба Кронштадт штурмовали, слушали Ленина... Вот какой у нас командующий. Можно сказать, полководец с комиссарской душой. И значение печатного слова он отлично понимает. Обязательно ему представьтесь... А что с пустыми руками — сейчас не беда.

Изба, где помещается штаб-квартира командующего, мало чем отличается от остальных: рубленая из бревен пятистенка, тот же палисадник под окнами, в котором по пояс в сугробе стоят черемухи. За дверью, обитой клеенкой, в крохотной прихожей меня встретил маленький, белокурый, кудрявый майор. Это адъютант командующего Соломахиных. Только что говорил с ним по телефону. При моем появлении майор смотрит на часы:

— На разговор вам отведено десять минут, а там принесут разведдонесения.

— Хорошо. Я командующего не задержу.

Майор усмехается, и в усмешке этой читаю: посмотрел бы я на тебя, если бы ты посмел его задержать. Он еще раз проверяет время, одергивает гимнастерку и скрывается за дощатой дверью.

— Войдите, генерал-полковник вас ждет.

Комната, освещенная лампочкой без абажура, обычная «белая половина», или горница. Все хозяйское на месте: и иконы, и фотографические карточки на стенах, и даже излюбленный калининцами цветок ванька-мокрый на замерзшем окне. Но там, где полагается стоять кровати со взбитыми до потолка подушками, возвышается небольшой складной стол, на нем рабочая карта, стакан с остро отточенными карандашами. Из-за стола поднимается русоволосый человек и протягивает через стол руку. Голубоватые глаза глядят прямо в лицо, изучающе глядят, как бы говоря: ну-ка, голубчик, посмотрим, что ты за гусь.

— Садитесь,— говорит командующий, а сам стоит, взглядывая на часы, как бы давая понять, что визит этот — простая формальность. Чувствуется, он привык приказывать и в людях разбирается, ценит их не по словам, а по делу. И так как хвастать мне нечем и ничего интересного я пока не опубликовал, начинаю рассказывать, где побывал, что написал и что послал в редакцию. Вероятно, получается, что я жалуюсь: мол, плохо печатают.

Ему это явно не нравится.

— А может быть, сейчас о нас и не надо писать? Это вам не приходило в голову? Может быть, товарищи в «Правде» считают, что не пришло наше время. И, может быть, правильно считают.

— А что, готовится что-нибудь?

Командующий смотрит на карту, делает вид, что не слышал этого вопроса. А я понимаю, что сморозил глупость, хотя, разумеется, вопрос этот действительно мучает всех нас, военных корреспондентов.

Взгляд командующего устремлен на то место карты, где обозначен Калинин. Здесь линии противостоящих войск, нанесенные красным и синим карандашами, делают как бы некрутой изгиб.

— ...Будет, будет о чем вам писать, а пока знакомьтесь с частями. Ваш брат любит обитать у летчиков, у артиллеристов. Спокойно и харч хороший. А вы к пехоте — ей все решать.

— А где сейчас самое горячее место фронта?

— Горячее место? — Генерал насмешливо смотрит на меня. — Только не тут, в штабной деревне Чернево. На передовой, где воюют, даже если сейчас там и нет стрельбы... Ясно, товарищ журналист?

И опять мне кажется, что светлые глаза его смотря изучающе: дескать, поглядим, чего ты стоишь.

В свою избу возвращаюсь поздно. Евнович сидит у лампы в одних исподних и старательно зашивает шаровары, которые разорвал, перелезая для сокращения пути изгородь. Рассказываю ему о своих визитах и о своем решении покинуть штабную деревню.

— Ну что ж, резон. Пойдем вместе,— спокойно говорит Евнович и вскрикивает, уколовшись иглой.

— Эх, интеллигенция, интеллигенция! — ворчит Петрович и, отобрав у него штаны, начинает зашивать дыру маленькими, умелыми стежками.

А мне вдруг вспоминается фраза, произнесенная Леоновым.

— Что, Ленин действительно говорил однажды, что да, мол, возможно, мы отдадим Москву?

Евнович удивленно вскидывает глаза.

— Говорил... Обосновывая на VII съезде необходимость Брестского мира, сказал, что, возможно, завтра отдадим и Москву. Но добавил: а потом перейдем в наступление. Вы что, полагаете, что нам понадобится ленинская цитата? Не понадобится, и судя по тому, что вы сейчас рассказали, мы действительно скоро перейдем в наступление.— И, подумав, повторил: — Перейдем, и скоро. А кстати, вы помните наш первый поход за «настоящей темой»?

Ну как же не помнить!

7. Поход за «настоящей темой»

Мы пришли тогда в оперативный отдел штаба, или «в оперу», как для краткости именуют его корреспонденты, чтобы позаимствовать карту-километровку и ориентироваться в обстановке. Пришли и спросили, где сейчас самый острый участок борьбы. На нас посмотрели удивленно и адресовали к полковнику Воробьеву, который по заданию командующего только что объехал сражающиеся дивизии. Этот очень интеллигентный командир, с тихим голосом и мягким взглядом, тоже посмотрел на нас с деликатным удивлением. Взял карту, обвел на ней овалом виадук, перекинутый через железнодорожный путь Москва—Ленинград, называющийся у калининцев Горбатый мост.

— Здесь,— сказал он.— Тут сейчас бьется танковая бригада полковника Ротмистрова, пришедшая из-под Валдая,— тут сейчас многое решается.— И глянул на двух журналистов вопросительно и, как мне показалось, насмешливо.

Он рассказал, что танкисты, устремляясь сюда, совершили за сутки марш-маневр почти в двести километров вместо уставных шестидесяти и сейчас ведут яростный бой, не давая противнику оседлать шоссе западнее Калинина. И кажется, уже нанесли существенные потери авангардам механизированной армии генерала Готта, имеющей, по-видимому, цель, оседлав шоссе, всадить клин между Северо-Западным и только что созданным Калининским фронтом.

Все это происходит не так далеко, в каких-нибудь двадцати пяти километрах от штабной деревни Чернево, где велся этот разговор, но сведения о боях поступают нерегулярно, так как постоянной проводной связи нет. Донесения носят нарочные, а им не всегда удается пройти через шоссе, на котором неприятельские машины. Неизвестно даже, где сейчас помещается командный пункт Ротмистрова. Кажется, в церкви погоста Николая Малицы, а может быть, в «домике эстонца», что недалеко от шоссе, или в блиндажах в овраге. Наш собеседник пометает на карте эти пункты. Ротмистровцы дерутся великолепно, но надолго ли хватит у них бензина, боеприпасов? Можно ли к ним пройти? Все неясно. Полковник Воробьев настойчиво отговаривает нас от этой вылазки:

— Пехотинцы, наверное, и проводника вам дать не смогут.

— Нам не нужен проводник.

В самом деле, это очень знакомые мне места. Все разворачивается в лесу, который тверяки зовут Комсомольской рошей. В детстве мы, ребяташки с «Пролетарки», бегали туда собирать грибы и колоть вилками пескарей на перекатах речушки Межурки. В комсомольские годы ходили туда в День леса благоустраивать рошу, сажать молодые деревья. В сторожке, которая на штабной карте именуется «домик эстонца», вырос и жил до войны мой товарищ журналист Август Порк. На погосте Николы Малицы похоронены дедушка и другие родственники моей жены. О каком проводнике может быть речь?

— И все-таки советую хотя бы повременить, пока не прояснится обстановка,— настаивает полковник.

Решили — поедем. И вот, несмотря на неожиданно наступившую оттепель, мы движемся к городу, обозначенному в ночи огромным заревом. Оно не меркнет уже третью ночь. Что там горит? Кто зажигает эти пожары?

Зарево постепенно отвалило в сторону. Город мы огибаем и едем по дороге, которая проложена проходившими здесь недавно частями. В лесу, недалеко от шоссе, дорога будто растаяла, расплзлась на несколько колеи, проложенных гусеницами. Не успели мы выйти из машины, как из тьмы возникли три неясные фигуры.

— Куда? К немцам в гости? А ну документы! — Два винтовочных ствола уставлены в нас. Старший, прикрыв фонарик полый полушубка, внимательно проверяет документы.

— До противника двести метров. К танкистам связные ночью ходят по ручью... Зайдите к комбату, уточните обстановку, он сейчас тут, в будочке.

В лесу по пояс в снегу стоят затейливые фанерные домики пионерского лагеря вагонного завода. Пестрые постройки расписаны на сказочные мотивы. Нас ведут в одну из них. На стенах лихо отплясывают три веселых поросенка. Чахнет над золотом Кашей. Черномор выводит на морской берег вереницу богатырей. Как раз под Черномором и сидят комбат и начальник штаба, оба в зеленых пограничных фуражках. Обстановка у танкистов? Неясная. Воюют они по шоссе то тут, то там... Слоеный пирог... Посыльные от комбрига, верно, проходят, но где-то рядом немцы. Все подходы к шоссе завалены. Вдоль шоссе наши артиллерийские засады... Очень неясная обстановка... То тут, то там на шоссе танковые схватки. Вот и сейчас стреляют, слышите?

Голос у командира батальона хриплый, простуженный, щека вздулась и перевязана платком. Он бережно придерживает ее рукой. Нет, не ранение — зубы. Так дергает, что хуже всякой раны. В глазах у него слезы. И странно видеть здесь, на передовой, эти слезы, выжатые самой прозаической зубной болью.

— Подремлите здесь, а я в штаб полка человека пошлю, узнаем у разведчиков, где у танкистов проходы.

Мы устраиваемся на полу, под Кашеем. Но подремать не успеваем. Входит красивый молодой парень, снимает халат, отряхивает его, вешает на стенку.

— Слышал, корреспонденты у нас в гостях. Здравствуйте. Заполит Ярославцев. Нет ли у вас, товарищи корреспонденты, свежей газеты? Старшина, чтоб ему пусто, о харчах заботится, а газет третий день не выдали.

Достаем свежий номер «Правды». Заполит развернул газету, пробежал по страницам глазами, сразу нашел что нужно.

Решаем до рассвета побыть тут, в этом игрушечном домике. Рябой старшина принесит соломенные тюфяки. Укладываемся, заснуть опять не удастся. Постепенно помещение набивается разным военным народом. Мы слышим сквозь дрему, как солдаты, только что сменившиеся на передовой, вслух читают газету. Читают всю — и вести с фронта, и вести из тыла.

Нас будит офицер, ходивший в штаб полка. Командный пункт танковой бригады действительно в церкви Николы Малицы. Вчера туда ходили запросто, но утром немцы опять вылезли на шоссе. Проход южнее. Командир батальона, маущийся зубами, не советует идти:

— Останьтесь здесь, расскажем интереснейшие боевые случаи, с героями познакомим. Сегодня вот, например...

— Нет, надо побывать у Ротмистрова.

— Ну, надо так надо... Кузьмин!

Из тьмы, в которой, задыхаясь, коптит пламя трофейной площадки, выступает маленький, неказистого вида боец

— Проводите товарищей корреспондентов. Переведете через шоссе. Там у мостка связные танкистов ходят. Переведете и сейчас же вернитесь и доложите.— Нам комбат поясняет: — Кузьмин у нас, как лиса, всюду проскочит...

— Есть перевести и доложить.— И, бросив руку к шапке, маленький Кузьмин стучает валенком о валенок с таким старанием, будто это кавалерийские сапоги со шпорами.

Мы едва поспеваем за нашим провожатым. Он двигается так ловко, что снег у него под валенками не скрипит. Благополучно минуем опасный участок. Зарево над городом теперь слева... Шоссе позади... Втягиваемся в лесок, под ногами похрустывает лед ручья... Пепелище погоста уже рядом, церковь отчетливо виднеется на фоне светлеющего неба, и вдруг откуда-то сзади будто выстрел:

— Стой! Руки вверх!.. Ложись.

Что сделаешь, ложимся в снег с поднятыми руками. Приказ дан на чистейшем русском языке да к тому же одобрен такими словечками, что не остается сомнения: мы у своих. Так и лежим на мокром снегу, пока не приходит командир в танкистском шлеме, в черном комбинезоне и не проверяет наши документы.

— Мы фактически в окружении. Держим круговую оборону,— пояснил он.— Еще раз посмотрев документы, покосился на мои ботинки со шнурованными голенищами, махнул рукой. Во взмахе этом чуялись и досада и осуждение: вот, мол, не вовремя принесло вас, товарищи корреспонденты.

В полуразбитой холодной церкви атмосфера грозового напряжения. Пока мы сюда добирались, с шоссе доносились звуки перестрелки: ухали пушки, трещали пулеметы. И своды старого храма гулко отзывались на каждый выстрел. В больших притворах постанывали раненые. Один из них пронзительно подвывал. Какие-то люди спали, привалившись к стене и засунув руки в рукава. Под старой иконой девушка в военном дула в трубку и с безнадежностью взывала:

— «Незабудка», «Незабудка»! Я — «Тюльпан», я — «Тюльпан».

— Где товарищ Ротмистров? — робко спросил я у этого охрипшего «тюльпана». Девичьи глаза глянули с недоумением, как на выходца с того света. Маленькая рука, должно быть инстинктивно, потянулась к карабину, и, держась за него, девушка кивнула в сторону алтаря, где за резным кружевом царских врат несколько человек склонились над столом. Один из них, с комиссарской звездой на рукаве, отделился от группы и подошел к нам:

— Вы кто такие, товарищи командиры?

Он долго изучал наши удостоверения. Смотрел на фотографии, на наши лица, на мои злосчастные ботинки, снова на лица и, только убедившись, что мы есть мы, отрекомендовался:

— Комиссар бригады Шаталов... Как вас сюда занесло? Оружие есть? Нет? Ну, знаете...

Сидя потом на сене в уголке церкви, перетирая старенькие винтовки, какие нам выдали, мы наблюдали жизнь этого окруженного неприятелем штаба. Командир бригады — полковник, в больших очках в черной оправе, с серым от усталости, но чисто выбритым лицом, на котором выделяются аккуратно подстриженные усики. Обликом своим он напоминал больше научного работника, чем военного. Выслушивал рапорты, хриловатым баритоном отдавал приказания, кого-то вызывал по ожившему наконец полевому телефону, кого-то распекал, и все это уверенно, спокойно, будто сидел он не в разрушенной церквушке, а в штабном кабинете. Его выдержка, по-видимому, успокаивающе действовала на окружающих. И хотя по облику они были очень разные, этим своим спокойствием напоминал он мне комбата Гнатенко — пехотинца в пограничной фуражке.

В штабе царил такая горячка, что мы долго не решались оторвать его от дела, хотя он сам несколько раз посматривал в нашу сторону. Наконец подошел:

— Ротмистров Павел Алексеевич.— В этой сугубо штатской рекомендации мы угадали великодушное снисхождение к нам.— Пройдемте ко мне.

Командиры подвинулись. Мы уселись на скамье у стола, на котором лежала карта участка.

— Комиссар сказал, что вы корреспонденты. Рад познакомиться, хотя, честно говоря, не понимаю, зачем вас сюда занесло и как вы сюда попали. Отсюда не только корреспонденции посылать — выйти-то отсюда трудно.

— Мне хотелось бы получить у вас интервью,— сказал Евнович.

— Интервью?.. Это вы всерьез?.. Самое подходящее слово для такой обстановки... Впрочем, если угодно.

Он зажал в ладони голову, клонящуюся от усталости, и, глядя на крупномасштабную карту, всю исчерченную овалами и стрелками, медленно, будто с трудом подыскивая слова, начал:

— Наша бригада, за сутки совершив бросок из-под Валдая сюда, к Калинин, прямо с марша вошла в бой... Третий день сражаемся на участке Горбатый мост — село Медное... Авангарды танковой армии генерала Готта, состоящие из трех танковых частей, усиленные бронетранспортерами с мотопехотой, рвутся и местами прорвались на шоссе. Вероятная тактическая цель противника — захватить Медное и Торжок. Его предполагаемая стратегическая цель — захватить железнодорожный узел Бологое, вбить клин между Калининским и Северо-Западным фронтами и таким образом нарушить или, вернее, затруднить их боевое взаимодействие.

Полковник диктовал, будто читал лекцию с кафедры:

— Наша ближайшая задача — срезать острие бронированного клина, протянувшегося из-за Волги к шоссе, — вот здесь и здесь.— Он карандашом показал на карте, где именно.— Наша дальняя цель — вместе с пехотными дивизиями, которые на подходе, содействовать полному срыву всей этой затеи.— Полковник вежливо подождал, пока мы все это записали.— Наши наличные силы... Впрочем, это вам ни к чему... Не записывайте. У меня сейчас девять средних танков, несколько поврежденных ремонтируется. Понятно? У нас раз в десять меньше, чем имеет Готт... Наше решение — сражаться до конца.

— Ну, а сколько все-таки у Готта?

— Ну, точно это известно лишь начальнику его штаба, но по данным моей разведки он ввел в бой машин восемьдесят. В ходе боев мы немало уже подбили. Из-за шоссе, где стали пограничники, нас хорошо поддерживает артиллерия. Она умно расставлена, а пехота застраховала дороги завалами, зарывается в землю.

— При таком соотношении сил...— начал было мой товарищ.

— Воевать можно при любом соотношении сил. Люди сейчас у меня обстрелянные, с большим опытом, поверившие в свое умение, в техническое преимущество наших танков. Носятся по шоссе, как черти, устраивают засады. Выбили Готта из Медного. У него потери растут, а у меня за последние двое суток не было. Готт — умный генерал, боевой, хитрый. Но, кажется, мы заставили его поверить, что тут, севернее Калининна, против него выдвинуты большие танковые заслоны. Тут мы применили одну хитрость, но об этом пока рано.

— Моральный фактор?

— И это, конечно, но, главное, предки учили нас воевать не числом, а умением... Есть еще вопросы, товарищи корреспонденты? Нет?.. Ну, так теперь я скажу вам: напишете — не напечатают... Всего хорошего...

Через минуту полковник уже уронил голову на руки.

— «Незабудка», «Незабудка», я — «Тюльпан»...— повторял девичий голосок.

Связь, должно быть, снова прервалась. Но вот где-то в отдалении загрохотало, под сводами церкви послышались торопливые шаги, у стола в алтаре возобновилась работа. Прибежавший связной сообщил, что немцы опять заняли «домик эстонца», потеряв на этом деле человек десять—пятнадцать. Положение бригады ухудшилось. Но комбриг, похожий на ученого, отдавал приказы по-прежнему спокойным голосом...

Около полутора суток провели мы в этом старом храме, слушая перестрелку, которая то удалялась, уходя за горизонт, то гроыхала совсем рядом на шоссе, так что в окнах начинали дребезжать осколки стекол. Дважды неприятельские танки прорывались к деревне, и штабникам и нам вместе с ними приходилось ложиться с оружием меж могил. Атаки отбивались, боевая жизнь продолжалась. За это время девять уцелевших танков маневрировали по шоссе, то соединялись в стальные кулаки, то рассредоточивались, то застывали в засадах, то вели на шоссе схватки с прорвавшимися машинами Готта. С помощью артиллерии и бронбойщиков вывели из строя еще шесть машин, и генерал Готт оттянул все, что осталось от его выброшенных за Волгу авангардов, обратно, то ли для того, чтобы залезать раны, то ли вообще отказавшись от мечты вбить клин между двумя нашими фронтами...

Попрошавшись с полковником и его штабом, мы покинули церквушку и по пути обратно зашли на кладбище повидать могилу деда моей жены. Искалеченное снарядами кладбище напоминало лунную поверхность с картинки школьного учебника. Прощаясь, полковник показал на мои ботинки:

— Удобно, конечно... шикарно. Но расстаньтесь-ка вы с ними, пока не случилось беды... Слишком уж вы в них смахиваете на немецкого парашютиста...

Много поучительного узнали мы в часы нашего пребывания в старой церкви. Учитывая соотношение сил, можно сказать — почти библейский случай: хитрый и умный, верящий в свои силы Давид победил Голиафа. А сколько таких вот сражений развертывается по гигантскому фронту! Интереснейший материал. Вот это-то я и напишу в «Правду». Написал. И озаглавил было «Давид и Голиаф». Очень нравилось мне это назва-

ние. Но Евнович убедил меня, что сейчас не время для библейских сравнений, и когда я отправляю эту статью, у нее было уже другое название: «Крушение генерала Готта».

Это была одна из моих первых корреспонденций в «Правду», данная с горячего участка фронта, которая, однако, так и не пошла в газете.

И все-таки командующий прав. Место корреспондента там, где идет война.

8. Началось

Войска Ростовского и Южного фронтов совместным ударом выбросили оккупантов из Ростова-на-Дону... Волховский фронт, разгромив зинскую группировку генерала Шмидта, занял город Тихвин и освободил окружающие его районы... Армии Юго-Западного фронта отбили город Елец... Всюду неприятель понес огромные потери в людях и технике. Захвачены большие трофеи.

Судя по всему, удары наши нарастают. И, наконец, сегодня в избу, где мы обитаем, ворвался корреспондент «Красной звезды» Леонид Лось. Он так запыхался, что ничего и выговорить не смог, только протянул свежую газету.

С первой страницы смотрело мужественное лицо командующего Западным фронтом генерала армии Г. К. Жукова. Передовая была озаглавлена «Славная победа в боях за Москву». Сообщение «В последний час» рассказывало подробности о поражении немецких войск у стен столицы: «6 декабря 1941 года войска нашего Западного фронта, измотав противника в предшествующих боях, перешли в контрнаступление против его ударных фланговых группировок. В результате начатого наступления обе эти группировки разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружение и неся огромные потери...» Сотни уничтоженных и захваченных танков, орудий, автомашин.

А как звучат заголовки корреспонденций: «Контрнаступление», «Удар конногвардейцев Белова», «Части генерала Мерецкова продолжают преследовать противника»...

Леонид Лось, слывающий среди нас «усатым энтузиастом», вскакивает на лавку и декламирует строфу из напечатанного сегодня стихотворения Алексея Суркова:

Сынов народ
На бой ведет.
Героям страх неведом.
Вперед, богатыри, вперед!
Отвага города берет,
В атаках — путь к победам...

Вот оно началось, то, о чем мечтали советские люди и, вероятно, все честные люди земли в эти последние трагические полгода. На днях жена Евновича, редактор одной из московских газет, прислала ему с оказией бутылку отличного армянского коньяку с наказом распить ее на Новый год. Какие круги мы ни делали вокруг этой бутылки, он был неумолим: приказ жены — только на Новый год. И даже собственная простуда, которую во фронтовых условиях лучше всего, конечно, лечить спиртным, не заставила его сбить сургуч с заветной бутылки. А тут он без всяких слов лезет в чемодан, на столе пестрой толпой выстраиваются разнокалиберные чашки и стаканы, и изба наша, обычно благоухающая куриным пометом, наполняется ароматом золотой жидкости. Ветхозаветные старики наши кряхтя слезли со своей печки. Пьем за победу и победителей, причем дед, перед тем как выпить, сначала осеняет свой

рот, а затем стакан крестным знаменем, а бабка, пригубив, плачет и, умильно смотря на смуглое лицо тощенькой сельской богородицы на иконе, шепчет:

— Пошли им, мать царица небесная, новых побед над татями и супостатами, спаси и сохрани их... В боях праведных помощи им, архистратиг архангел Михаил!

Наш фронт еще не двинулся. Но теперь-то уж и нам ясно, почему все наши корреспонденции пока что наглухо заперты в редакционных столах. Наша очередь еще не наступила, но она вот-вот придет.

Всем наличным корреспондентским составом двигаемся в армию генерала Юшкевича, передовая часть которой и сейчас продолжает держать в руках маленький кусочек оккупированного города, тот самый недостроенный силикатный завод, в подвалах которого я написал свою корреспонденцию в «Правду».

Морозный рассвет ясен. Тихо. Редкие артиллерийские выстрелы, доносящиеся из города, лишь обостряют тишину. Тихи и неподвижны леса. Пухлые подушки снега пригибают к земле ветви сосен. Но деревья издали похожи на бойцов в маскхалатах, приготовившихся к контратаке, и, в общем-то, это какая-то настороженная тишина.

Вести, принесенные радио и газетами, так всех захватили, что по дорогам по направлению к оккупированному городу уже тянутся люди: старики с узлами и чемоданами на саночках, женщины, ведущие за руки закутанных ребятишек. В детских колясках катят по снегу остатки своего добра. Темные лица, обостренные скулы, глубоко запавшие глаза ребят. Но на всех этих исхудавших лицах какая-то неистребимая вера в то, что кончатся беды эвакуации, что скоро все будут дома. Дома! Существует ли он, этот их дом? Что осталось от торопливо брошенных квартир? Впрочем, это уже и не так важно. Дома! И люди тянутся по военным дорогам, прорубленным сквозь сугробы, по заиндевевым лесам, где под деревьями прячется подтянутая к фронту техника.

Куда они идут? Ведь фронт неподвижен. В оперативном отделе мы сегодня получили самую обыденную информацию. Смелые действия партизан... Удачный ночной поиск южнее Калинина... Захвачены «языки»... Зенитчики подбили пикирующий бомбардировщик... Ничего, ну, ничего существенного, но в человеческом потоке, инстинктивно движущемся к оккупированному еще городу, и мы, которым положено быть наиболее информированными, черпаем уверенность, что скоро начнется и у нас.

Это подтверждается на месте. Маскировка соблюдается особенно тщательно. Задолго до прибрежных укреплений нас заставляют спешиться и оставить машину. Глянешь кругом — и бойца не увидишь. Но траншеи и ходы сообщения, несмотря на то, что вчера над ними гуляла метель, за ночь плотно утрамбованы сотнями ног. Пусто кругом, но связисты, утопая в снегу, почти бегом разматывают катушку проводов. На батальонном КП, который помещается все там же, в отбитых у немцев месяц назад блиндажах, знакомый комбат Гнатенко встречает нас словами:

— Вовремя, товарищи командиры, в самую пору... Нюх у вас есть.

На нем та же зеленая фуражка, но в петлицах уже капитанская шпала. Он то и дело смотрит на большие круглые часы. И вдруг земля вздрагивает и начинает ощутительно колебаться под ногами, а уши на мгновение глохнут. Из леса бьет артиллерия. Снаряды с журавлиным курлыканием летят над нашими головами, и по всему противоположному берегу, в зоне видимости, всплескиваются бурые султаны разрывов. Вскоре весь берег окутывается дымом. Грохот такой, что во

рту становится кисло. Но и с того берега летят снаряды. Отдельного выстрела или разрыва уже не различишь, но по тому, как нет-нет да и встряхнет наш блиндаж и меж бревен посыплется на головы песок, догадываешься, что рвутся они недалеко.

— Очухались, дьяволы! — сквозь зубы цедит комбат и все смотрит на свои большие часы. — Товарищи корреспонденты, отойдите от амбразуры. — Он прислушивается к канонаде, как меломан к симфоническому оркестру. — Ага, перенесли огонь на глубину... Скоро... Сейчас.

Со лба у него течет пот.

Вдруг он сбрасывает полушубок, поправляет на голове фуражку, расстегивает кобуру нагана. Потом выбегает в отсек, где, свернувшись клубочком, сидит девушка-телефонист, и возбужденно кричит в трубку:

— Первая рота, в атаку!

В амбразуру нам хорошо видно, как из окопов повыскакивали бойцы и двинулись по глубокому снегу туда, вниз, на лед Волги.

— Вторая рота, в атаку!

Я не узнаю комбата. Он всегда поражал своим спокойствием, а тут просто хрипит в трубку.

Вторая волна темных фигурок высыпает из окопов и катится вниз с некрутого берега. Они уже на льду, они пересекают Волгу. Наша артиллерия продолжает грохотать. Противник, должно быть, совсем оправился. Бьет уже не разрозненно, а расчетливо, бьет по льду Волги, где быстро, бросками устремились к тому берегу темные фигурки бойцов. Среди них что-то краснеет. Это знамя. Оно то замирает на снегу рывками, то перемещается вперед.

В редкую паузу меж выстрелов и разрывов доносится какой-то очень певнушительный и тонкий крик, и я догадываюсь, что так вот, не в кино и театре, а в настоящем наступлении звучит наше знаменитое русское «ура».

Новые и новые волны наступающих скатываются на лед, передовые начинают карабкаться на противоположный берег, и среди них знамя, которое несет высокий боец в полушубке. На гребне высокого берега обозначается сразу несколько лихорадочно вспыхивающих огней. Теперь, когда наш огонь перенесен в глубину, немцы подтянули на гребень пулеметы. Рядом в отсеке телефониста незнакомый тонкий и властный голос кричит в трубку:

— Пушкари, какого черта! Огонь! Самый интенсивный! По пулеметам!

Оказывается, на батальонный КП пришел командир дивизии. Он в бекеше, в папахе, заломленной на затылок. Весь напрягаясь, он смотрит на тот берег, на гребне которого неистовствуют пулеметы. Бойцы, не дойдя до гребня, залегли.

— Эх, боевой порыв потеряли! — досадует генерал и кричит кому-то в трубку: — Поднять атакующих!

Тут совершается то, чего никто из нас не ожидал. Худая ладная фигура без полушубка, в одной гимнастерке вымахивает из передового окопчика на снег. Зигзагами добирается до берега, скатывается вниз. Бежит через реку. У бегущего в руках наган, на голове зеленая фуражка. Генерал застывает у амбразуры.

— Пошел-таки! — И телефонистам: — Пушкарей мне... Чего вы стихли! Огня, огня!

Зеленая фуражка опередила залегшие цепи атакующих. Размахивая наганом, комбат преодолевает последние метры до гребня. Приходит в движение исчезнувшее было знамя. Его несет уже другой боец. И вот вслед за комбатом один, два, десятки бойцов проворно карабкаются вверх. И тут же над берегом поднимается шеренга черных разрывов.

— Дали наконец! — ворчит генерал, не отрываясь от амбразуры. — Только бы комбата не подбили. — И опять в трубку: — Огонь, огонь, черт возьми!..

Карабкаются, карабкаются вверх бойцы, скатываются, снова лезут. Вот уже и вторая волна приблизилась к гребню. Знамени уже не видно. Оно, должно быть, в отбитых у врага блиндажах. Зеленая фуражка тоже скрылась в чужих окопах. Пулеметы смолкли. Генерал снимает папаху и, должно быть, сам не замечая, вытирает ею лицо. Потом обращается к грузному командиру с тремя шпалами на зеленых петлицах:

— Медицину на лед!

На льду реки темнеют фигуры, иные, по-видимому легко раненные, идут, иные ползут, направляясь к этому берегу. Вон двое ковыляют, поддерживая друг друга. А некоторые лежат неподвижно. Генерал смотрит на часы.

— За сорок минут реку на этом участке форсировали... Волгу, други мои, Волгу!.. Неплохо... Ну что же, лиха беда начало!

Он уходит грузной походкой вместе с командиром полка и автоматчиками из охраны. Из-за леса выплывает напряженное гудение. Девятка пикирующих бомбардировщиков. Сделав круг над рекой, она исчезает за гребнем берега, откуда слышится тягучий грохот. Опоздали, господа хорошие, опоздали! Через реку почти бегом движется целое подразделение. Санитары на льду собирают раненых, ведут, волокут на носилках, тащат на плащ-палатках...

Старшина со своими помощниками хозяйственно собирает в подвале батальонное имущество. Он уже получил приказ перебазироваться за Волгу, в отбитые у противника блиндажи. Связисты сматывают провод. Порученец комбата прибежал из-за реки и требует у одного из бойцов охраны снять валенки:

— Давай, давай, ни у кого больше сорок шестого номера нет.

— Как себя чувствует капитан?

— Ругается. Руку у него оцарапало. И сапог потерял.

Судя по выстрелам, которые слышатся уже издалека, бой отошел в глубину, по-видимому, атакуют деревню Большие Перемерки. Не терпится побывать на освобожденной территории. Решили двигаться вслед за подразделениями. Нужно повидать бойца, который первым ворвался в немецкие окопы, поговорить со знаменосцем. Спускаемся на лед. Давно ли над рекой взлетали султаны воды и льда, подброшенные разрывами, а сейчас это уже тыл наступления. Торопливыми косяками без потерь движутся роты, идут повозки со снарядами. Артиллеристы конной тягой переправляют по льду пушки, над рекой звучит надсадный: «Марш, марш, марш!», которым подбадривают заиндевевших коней...

Должно быть, немецкая разведка прошляпила: удар вышел внезапным. Артиллеристы, хотя и бранил их комдив, поработали на славу. Об этом рассказывают прибрежные блиндажи, разрушенные и перепаханные настолько, что командный пункт батальона разместить в них будет затруднительно.

С каким-то особым, еще неизведанным чувством хожу я по этим искореженным блиндажам и траншеям. Все тут вокруг — твердая земля, родная, знакомая до мелочей. По этому вот крутому берегу гулял когда-то с девушками. На поле, по которому идет наступление, сдавал лыжный бег по комплексу ГТО. Но вот смотрю на пушки брошенной батареи, на завязшие в снегу машины, на трупы немецких солдат и испытываю ощущение человека, очутившегося в лагере марсиан, как то описано у Уэллса в «Борьбе миров»: и интересно, и противно, и, что там греха таить, жутковато.

Бой отошел далеко за деревню, которая сейчас неярко полыхает в свете ясного морозного дня. Встретили комиссара батальона, распорядившегося эвакуацией раненых. С его слов записали фамилию бойца, который первым ворвался в немецкие траншеи. Это мой земляк, попавший в армию из истребительного батальона, Василий Падерин, коммунист. В гражданской своей жизни слесарь-ремонтник с прядильной фабрики имени Вагжанова. Но поговорить с ним не удастся: ранен и уже эвакуирован в медсанбат. Ну, а кто нес знамя? Оказывается, трое. Один из них убит, второй ранен, третий и сейчас у знамени. К героическим этим происшествиям добавляется комическое: комбат Гнатенко, когда бежал по сугробам, потерял валенок. Те, что принес ему старшина, оказались все же малы, и он сидел у разбитого блиндажа, обмотав ногу теплой портянкой, пока вестовой не отыскал-таки на льду его потерю.

Начинает смеркаться, огни пожаров, полыхающих в окрестности, становятся ярче. Их уже много, этих огней,— и справа и слева, а город вырисовывается вдаль желтым силуэтом на фоне синеющих вечерних снегов. Возвращаемся прежней дорогой и где-то у силикатного завода встречаем Петровича. Он тоже со своей «лайбой» передислоцировался вперед, и, садясь в машину, мы видим в ней какой-то внушительный сверток, обернутый в пеструю, не нашу, плащ-палатку. Ну, конечно же, предприимчивый наш возница не мог сидеть сложа руки. Он упросил часового приглядеть за машиной, сходил на противоположную сторону, исследовал брошенные немцами блиндажи и автомобили, добыл, по его словам, «мировой комплект» ключей и электрическую грелку, с помощью которой, по его словам, лобовому стеклу не будут страшны никакие морозы.

О том, что еще добыто, он предпочитает умалчивать. Трофеи привели его в наилучшее состояние духа. Вертя баранку, он даже поет из «Пиковой дамы»:

— ...Пусть неудачник плачет, кляня свою судьбу.

Евнович, осенью поработавший на Западном фронте, дает добрый совет: передавать материал о борьбе за Калинин по частям, по мере нарастания событий, чтобы в финале операции в редакции из этих кусков можно было сложить обстоятельную корреспонденцию. Добрый совет! На военном телеграфе, куда я принес этот, так сказать, первый эшелон своей корреспонденции, меня ждет телеграмма: «Из «Тайги» в «Рошу». Корреспонденту «Правды» батальонному комиссару Полевому. Поздравляем началом настоящей работы! Активизируйтесь. В финале операции ждем статью или беседу с командующим. Полковой комиссар Лазарев».

9. И вот дома

Вот уже несколько дней все кругом гудит и грохочет. Идут упорные, тяжелые бои. На следующий день враг бросился в контратаку. Одна контратака следует за другой. Немцы не жалеют ни снарядов, ни техники, ни живой силы. Только за три дня отражено более двадцати контратак, яростных, я бы сказал отчаянных, поддержанных танками, авиацией. И все же дивизии генерала Юшкевича продолжают наступать. Юго-западнее города они уже перерезали Ленинградское шоссе, железную дорогу у станции Чуприяновка и шоссе-дорогу, ведущую на Тургиново, закрепились тут и таким образом лишили немецкое командование возможности получать подкрепление с юго-востока.

Западнее Калинина, где наступают дивизии генерала Масленникова, нам не так повезло. Перешедшие на правый берег Волги соединения не

успели закрепиться и были вынуждены отойти с немалыми, говорят, потерями.

Недавно прилетевший к нам корреспондент «Красной звезды» подполковник Леонид Высокоостровский, уже успевший зарекомендовать себя главным стратегом нашего журналистского корпуса, уверяет, что план освобождения города, осуществляемый генералом Коневым, состоит в том, чтобы перерубить основные коммуникации немцев и создать угрозу окружения. Окружение! Не так-то легко его осуществить. Противник судорожно цепляется за город, подтягивает новые и новые силы. По данным воздушной разведки, подтвержденным наземными наблюдениями и показаниями взятых «языков», перед нашим фронтом появились новые номера немецких дивизий и танковых бригад. Сила боев нарастает...

На заре армии генерала Масленникова все же удалось форсировать Волгу и перерезать, кажется на этот раз прочно, Старицкое шоссе, по которому два месяца назад немецкие моторизованные части подкатились к стенам города. Охваченная таким образом с флангов, или, как теперь говорят, «взятая в клещи», немецкая группировка лишилась возможности получать подкрепления. 16 декабря противнику был нанесен решающий удар. Он начал задыхаться в сжимающихся клещах. В его частях явно наступило замешательство, если не паника, и, сбросив оружие, оставив оказавшиеся без горючего танки и машины, он стал покидать город, прикрываясь, правда, сильными арьергардными боями.

Все это мы узнали вчера вечером, а сегодня с утра мы на пегой нашей «эмочке» двинулись к городу, намереваясь попасть в него с юго-востока по Ленинградскому шоссе. Пересекли Волгу по хорошему, уютному, аккуратно обвешенному пути в районе селеньица Власьево, куда, бывало, в комсомольские годы ездили мы на лодках в праздники. В прекрасной березовой роще стояла здесь маленькая красивая церквушка, и служивший в ней священник, известный в нашем городе как «власьевский поп», был знаменит тем, что перед алтарем брал у алкоголиков, которых водили сюда жены, зарок перед богом и богородицей, и зарок этот будто бы спасал от запоя.

Прекрасная березовая роща оказалась наполовину вырубленной снарядами. Церквушка разрушена. Домик популярного у текстильщиц попа представлял собой пепелище с торчавшей трубой. В завидовском леске хозяйничали тылы знакомой нам бригады Ротмистрова: изучали брошенные противником танки, походные мастерские, инвентаризировали пирамиды бочек с бензином, беря на учет все, что могло пригодиться в сложном танковом хозяйстве.

Выехали на шоссе, и оказалось, что по прекрасному его полотну двигаться на скорости нельзя. Его загромаждали уже заметенные снегом машинки, машины, машинищи. Всех марок, всех стран Европы: немецкие, чешские, австрийские, французские, даже наши, побывавшие в немецких руках. Выставка трофейной техники. Да, здесь немцы уже не просто отступали, а бежали, боясь полного окружения. У выезда на шоссе девушки-регулировщицы, останавливая красным флажком машины, предупреждали: «Осторожно, в башнях элеватора немцы. Стреляют отсюда по дороге из пулеметов». И еще предупреждали: «Путь минирован, ехать нужно строго по пробитой колее».

Петровича предупреждать было не надо. Он-то знал, что такое фронтовая дорога на боевых участках. И хотя мне не терпелось поскорее попасть в родной город, мы двигались, будто в похоронной процессии, не покидая пробитой танками колеи. На наши уговоры Петрович хладнокровно отвечал:

— Тише едешь, дальше будешь... Мне на тот свет путевка еще не выписана.

И как он оказался прав! Нас догнала проворная, этакая костлявая трофейная машина-вездеход, набитая какими-то чересчур веселыми командирами с интендантскими петлицами. Они отчаянно, озорно гудели, требуя пропустить их. Петрович и ухом не повел. Тогда костлявый вездеход выскочил из колеи и, обогнав нас, покатился дальше. Развеселые его пассажиры корчили нам рожи: дескать, вот как ездить надо. И вдруг раздался грохот. Машина исчезла в буром клубе дыма, а когда дым опал, мы увидели мегаллические обломки и обрывки, именно обрывки человеческих тел, разбросанные по почерневшему снегу.

— Поспешили! — проворчал Петрович, притормозив у рокового места.

Осмотрели, не требуется ли кому помощь. Помощь, увы, никому уже не была нужна.

Следуем дальше. Навстречу тягачи волокут трофейные пушки. Двумя шеренгами, вытянувшись вдоль обочин, движется колонна пленных: мордатые, крепкие солдаты в опущенных на уши пилотках, в касках с подшлемниками. И вид у них не испуганный и даже не удрученный, а какой-то, я бы сказал, недоуменный. После недавнего происшествия мы уже не торопим Петровича, хотя город рядом и глаз жадно рыщет по горизонту, ища знакомые контуры. Всюду следы тяжелых боев. Снег рябой от черных пятен разрывов. Иные воронки похожи на маленькие кратеры. Снова и снова машины, машины, сожженные и целые, — лучшее подтверждение того, что удалось перерезать выходные пути и отступить оккупантам пришлось уже пешком, прямо по снежной целине. Впрочем, они еще огрызаются: откуда-то издалека, из Затьмачья, со стороны фабрик «Вагжановка» и «Пролетарка» доносятся звуки интенсивной стрельбы.

Наконец мы в городе, и глаз никак не может привыкнуть к его новому облику. Огнем истреблены целые улицы деревянных домиков. Каменные строения стоят без окон, исклеванные снарядами, местами полуразрушенные. За Тьмаку не пускают: там бой, да и не проедешь — мосты взорваны. Не знаю, как там на фабриках, а город весь изуродован, искалечен. Сожжено самое красивое его здание — Екатерининский путевой дворец, построенный когда-то Матвеем Казаковым. Главная — Миллионная, она же Советская — улица, две центральные площади, которые она пересекает, красивейшая набережная архитектуры все того же Казакова — все разрушено, сожжено, искалечено. Дома смотрят пустыми глазницами выгоревших окон. На площади перед дворцом и на другой, где у пьедестала памятника В. И. Ленину валяется огромная черная свастика, — немецкие кладбища: шеренги крестов, выстроенных, как солдаты на параде.

Петрович вылезает, чтобы сфотографировать это кладбище, и тут же бежит к нам своим развалистым медвежьим бегом.

— Смотрите! Не могилы, а коммунальные квартиры.

И в самом деле, взрыв снаряда раскрыл одну из могил. И там видно не две, а целых восемь ног. Стало быть, в одну могилу, под один крест с одной надписью клали по несколько человек. Рядом на площади перед сожженным дворцом красное кирпичное здание школы, где я когда-то учился. Судя по обвисшему над дверью белому флагу, тут был госпиталь. Отворяю тяжелую парадную дверь, ручку которой отполировали поколения школьников. В лицо ударяет отвратительный запах тления. Справа и слева просторные раздевалки. Там, где стояли вешалки, штабелями, как дрова, лежат замерзшие трупы, раздетые до белья, и на ступнях, будто вырезанных из кости, чернильным карандашом выведены номера. В раздевалке направо последний номер 261-й, в раздевалке

налево — 112-й. Этих не успели похоронить даже в «коммунальных квартирах».

Евнович ворчит:

— Можно ли терять время на сентиментальные воспоминания о детстве!

А меня ноги сами несут по маршам широкой лестницы на второй этаж, где был когда-то класс «В», в составе которого я и прошел через детство. Запах гления сменился острыми ароматами антисептики. Осторожно отворяю дверь класса. Полутьма. Окна забраны картоном. С потолка спускаются к трем столам зеркальные хирургические лампы. Все кругом забрызгано кровью. В углу эмалированное ведро, из которого торчит ампутированная рука. А на стене портрет Тимирязева — как висел когда-то, так и висит. За рекой Тьмакой редко грохочет артиллерия. Шальной разрыв нет-нет да и встряхнет массивное здание, но что поделаешь, в голову лезет всякая чепуха: вон в том углу я потихоньку ронял слезы, провалившись на школьном спектакле, а вон там, где эмалированное ведро с торчащей из него рукой, я, будучи дежурным, поймал ужа, запущенного каким-то злодеем из восьмого «А» на уроке математики.

Но вдруг по коридору гулко звучат шаги. Рука невольно тянется к пистолету. Черт его знает, кто может появиться здесь сейчас в городе, на западной окраине которого идет бой! Шаги приближаются. Теперь уже можно разглядеть, что идет лейтенант, молодой паренек лет двадцати — двадцати двух. Заметив нас, он настороженно останавливается, потом представляется.

— Вы что здесь делаете?

На молодом его лице явное смущение.

— Я, товарищ батальонный комиссар, здесь учился, это моя школа... Вот не утерпел, зашел...

— В каком году кончили?

— В тридцать восьмом.

Я кончил эту школу на двенадцать лет раньше. И все-таки одноклассники. Уже вместе осматривали классы. В физическом кабинете, под его овальным амфитеатром находим два трупа — женщины в белых халатах. Халаты в крови. Неужели их пристрелили при отступлении?

Евнович продолжает ворчать: нашли время предаваться воспоминаниям, ведь мы тут ничего путного еще не собрали, но та же сила влечет меня на бульвар, в дом, где моя семья жила до эвакуации. Он цел, этот большой дом, хотя разрыв снаряда отвалил от него целый угол. И в доме этом жили: из окон торчат черные железные трубы.

Осторожно оглядываемся — во дворе никого. Жили, по-видимому, оккупанты, ибо на стрелках надписи только на немецком языке. В подъезде шибает в нос аммиачный запах мочи. Желтый лед покрывает ступеньки, но в нем аккуратно прорублена дорожка. Вот наш этаж, наша квартира. Дверь распахнута. Отсюда два месяца назад под бомбежкой уходила жена, унося сынишку. Все оставили, что же тут сохранилось? Ничего. Квартира пуста. В комнатах только койки по стенам, как в больнице. Ага, все-таки сохранился платяной шкаф, на стенке которого я когда-то на радостях в день рождения сына выскреб надпись: «1 мая 1941 года. Ноль-ноль часов 30 минут. Мальчик, 56 сантиметров, пять килограммов. Громко орет. Ура!» Вот она, эта надпись. Как-то очень остро вспоминается сын, маленький, толстый человечек с задорным вихорком на макушке круглой головы. Вспоминается жена, милая деятельная женщина, которая дала мне проборку за то, что я изуродовал сей надписью славянский шкаф...

— Нет, вы поглядите, чем они шкаф этот набили,— говорит Евнович, отрывая меня от воспоминаний.

На полках шкафа аккуратно упакованные посылки с тщательно выведенными на них немецкими адресами. Петрович тесаком распарывает материю. На пол сыплются салфетки, простыни, женские платья, детские штанишки, ботиночки — все новенькое. Должно быть, «организовано» в каком-то магазине. И кукла — русская кукла «сплетница», какие у нас сажают на чайники. Посылки вскрываются одна за другой — теперь здесь вещи, украденные из каких-то квартир. Петрович начинает яростно пинать наши находки, разбрасывая их по полу. Перед уходом делаем еще одно маленькое открытие, рисуемое быт оккупантов в непокоренном городе. Отопление, естественно, не работало, воду жители носили с реки. Бегать за надобностью во двор по скользким, покрытым застывшей мочой ступеням было лень. Так вот нашли выход: ходили в ванную, предоставляя морозу схватывать их отходы. За два месяца образовался огромный сталагмит, на котором для удобства с величайшей аккуратностью вырублены ступеньки, сверху вморожены две дощечки, чтобы на них вставать ногами.

Я, вероятно, никогда не решусь рассказать жене, во что было превращено жилье, которым сна очень гордилась.

Прочь отсюда! Тут все еще дышит вражеским запахом.

Я знаю адрес двух пожилых людей, оставленных в городе для подпольной работы. Интеллигентная супружеская пара: инженер на пенсии и учительница. Беспартийные люди, они сами вызвались остаться в роли связных. И храбро работали. Не знаю только, дожили ли они до этого дня.

Их обоих мы находим перед домиком на одной из тихих улочек. Они стоят на крыльце, смогрят на проходящих солдат и, кажется, не могут насладиться этим зрелищем. Они еще не освоились со своей радостью, и, может быть, им даже и не верится, что вернулась родная власть. Бойцам некогда, бойцы спешат туда, в Затьмачье, в район текстильных фабрик, где еще идет бой, и потому почтенные эти люди тратят весь заряд своей радости на нас... Улыбаются, плачут, уговаривают друг друга:

— Ну, зачем, ну, к чему? Все прошло, вот видишь — свои.

Понемногу успокаиваются, зовут к себе. Маленький домик в старой части города. Три комнатки, кухонька. Мягкая дореволюционная мебель в полосатых чехлах. С потолка в столовой свешивается лампа с висюльками из стекла. Фарфоровые безделушки в горке и на комод. Фотографии хозяина и хозяйки в овальных рамах — симпатичные молодые люди начала века. Пустые горшки из-под цветов. Цветы померзли: нечем было топить. Хозяева (разведчики называли их между собой — Пульхерия Ивановна и Афанасий Иванович) просто тают от радушия.

— Вот только нечем вас, дорогие, угостить, ничего, ну, ничего нет, кроме мороженой картошки.

Петрович, который успел уже вкатить машину во двор, многозначительно произносит: «Момент» — и исчезает. В немецких блиндажах он в свое время, как мы уже знаем, захватил не только технические трофеи, он создал и некоторый продуктовый запасец, который, впрочем, держит в багажнике машины, прикасаясь к нему лишь в исключительных случаях.

Сегодня именно такой случай. Петрович возвращается с сумкой из-под немецкого противогаса и с охалкой дощечек — остатки какого-то порубленного забора. А пока он орудует на кухне, хозяева рассказывают, как им жилось. Они успокоились, и рассказ течет довольно вятно, причем они как бы дополняют друг друга.

Трудно, очень трудно прожил город эти два месяца. По существу он был пустым. Все, кто мог и кому удалось уйти, ушли, а для тех, кто остался, эти два месяца были сплошным кошмаром — ни света, ни топлива, ни воды. Поначалу немцы вели себя тихо: говорят, они даже берегли город, думая оставить его на зиму как штаб-квартиру на пути к Москве. Заигрывали с населением, приглашали его к сотрудничеству, пытались наладить работу коммунальных учреждений. Обещали заработок, пайки, награды. Ничего из этого не вышло. Мало кто польстился на их посулы: пухли с голоду, замерзали, а на работу к оккупантам не шли. Чтобы согреться, разбирали заборы, сараи, а в центре жгли мебель. За водой ходили на Волгу, питались главным образом замерзшими овощами, копали их на брошенных огородах, да зерном, которое сперва оккупанты позволяли брать с разрушенных элеваторов.

В городе с первого же дня начала действовать подпольная организация. Они, наши собеседники, мало что знают о ней. Их дело было представлять собою как бы почтовый ящик, им запрещалось непосредственное общение с подпольщиками. О подпольщиках они судят только по их делам. В районе «Вагжановки» сгорели большие интендантские склады. Три дня горели, много погибло немецкого добра... Поджигались мастерские, где немцы ремонтировали подбитую технику... В офицерском казино, что помещалось в клубе «Текстильщик», бросили бомбу. Ну, и двух полицаяев кто-то повесил ночью в городском саду. Много об этом было разговоров. Впоследствии комендант приказал расстрелять двадцать пять заложников...

— Ну, а предатели?

— Были, что греха таить,— вздыхает наш хозяин.— Нашлись. В семье не без урода. Вот бургомистр Ясинский — страшный негодяй. Он, правда, не наш, не калининский. Его немцы откуда-то с собой притащили. Он и по-русски-то говорил с акцентом... Этот организовал грабеж квартир... Женщин к нему полицайи водили. Понуждал к сожительству, а тех, кто на домогательства его не соглашался, грозил выдать немцам как комсомолок... Мерзавец... Садист...

— Неужели ж его не поймают, этого прохвоста? — восклицает хозяйка.

— Погоди, погоди, дай рассказать по порядку. А полицмейстером, представьте себе, был наш, Бибилов по фамилии. Может, знали, с бородкой такой, вывески расписывал, но называл себя художником. И приказы по городу подписывал: ротмистр Бибилов...

— Представьте себе, какой негодяй,— частит старушка.— Оказывался, все годы хранил в сундуке уланскую форму, царские ордена. Пришли немцы, надел все это, ордена прицепил и явился в комендатуру: так, мол, и так, настал счастливейший день в моей жизни, ротмистр Бибилов рад предоставить себя в распоряжение великой германской армии...

— Ну, откуда ты знаешь, что он так говорил? — недовольно произносит старик, не склонный к живописным подробностям.

— Люди, люди говорили.

— Подожди, дорогая, теперь по делу... Так вот заместителем у него был тип, тоже именовавший себя художником,— Сверчков. Николай Сверчков. Этот подписывался: «Корнет Сверчков»... Раньше сидел за соращение малолетних, может быть, помните, о нем еще в «Пролетарской правде» фельетон был... Вот эта мразь и именовалась у немцев «представителями свободных профессий»,— говорит старик и вдруг взрывается: — Негодяи...

— Еще один был, музейный деятель,— тихим голосом продолжает старушка.— Тоже из бывших. Он у них что-то по культуре пытался

делать... Да вы, конечно, помните его. Корректором у вас в «Пролетарской правде» работал. Длинный такой, тоже с бородой. Чудной. Бывало, идет по улице, мамашу-старушку под руку ведет. А она у него маленькая, шупленькая. Склонится к ней в три погибели. На все церкви крестится, и на те, которые действуют, и на те, которые давно стали музеями, библиотеками, архивами. Да помните, конечно, помните вы его. Его за блаженного считали.

Действительно, вспоминаю эту странную фигуру, человека неопределенных лет. Почему-то сразу возникли в памяти его худые, тонкие пальцы, украшенные какими-то древними перстнями.

— Как, неужели этот чудак?..

— Он был безвредный, — спешит заявить наш собеседник. — Он даже, говорят, защищал перед комендантом интеллигентов, попавших в беду. А потом отказывался упаковывать музейные ценности и картины из галереи, которые гитлеровцы хотели вывозить... Его будто бы даже расстрелять хотели, но он спрятался в какой-то церкви.

Больше всего меня поразило в этом рассказе упоминание о режиссере Калининского театра Сергее Виноградове. Я хорошо знал его. Он частенько писал в «Пролетарской правде» на театральные темы. Статьи его были сверхортодоксальны, густо насыщенные цитатами из речей, постановлений и газетных передовых. В спорах об искусстве он был беспощаден к коллегам. Готов был видеть крамолу в любой ошибке, там, где ею и не пахло, и, что греха таить, в областных организациях пользовался уважением...

— Мне тяжело об этом рассказывать, и я не хочу быть голословным, — говорит наш хозяин.

Он идет к посудному шкафчику, достает оттуда подшивку газетенки «Тверской вестник», издававшейся гитлеровцами. В ней статьи этого самого Виноградова с цитатами из речей доктора Геббельса. Черт знает что! Перед глазами стоит фигура этого человека — сухое, аскетическое лицо, непримиримые глаза. Звучит в ушах менторский скрипучий голос. Театр, наш славный старый Калининский драматический театр, все его актеры, которых этот тип всегда поучал, покинули город в самые последние минуты эвакуации, бросив в своих квартирах все реликвии, которые так дороги сердцу работников искусства, а этот «ортодокс» остался у врага. И, судя по рассказу, верно служил ему, организуя разные фривольные постановочки для развлечения господ офицеров.

— Не понимаю, как это случилось...

— Тут говорили, будто у него была богатая театральная библиотека. И он будто бы остался ее охранять, — тихо произносит наша собеседница, которая по мягкости души готова искать хоть какое-нибудь оправдание и для этого гада. — Остался, ну и пришлось идти в комендатуру регистрироваться. А там, как говорится, коготок увяз — всей птичке пропасть.

Версия с библиотекой сразу напоминает мне профессора Успенского. Он ведь бросил действительно уникальную библиотеку. По ассоциации вспоминается разговор с знаменитым хирургом о Лидии Тихомировой. Разведчики, проходившие через фронт, не раз говорили, что она работает в немецком госпитале.

— Да не в немецком, не в немецком! — в один голос кричат супруги. — Наш, русский гражданский госпиталь... Просто его не успели вывезти, она с ранеными и осталась. Не знаем, как уж она их лечила и сохраняла. Говорят, женщины с «Пролетарки» ей помогали. Тихомирова святая женщина!

— Однако святая женщина водила же дела с комендантом?

— Ну и что, ну и что?.. А что ей оставалось делать? На руках десяти-

ки раненых и больных. Кормить и лечить надо. Лекарства на улице не найдешь,— запальчиво заступается наша собеседница.

А я вспоминаю эту самую Лидию Петровну, Лиду, сероглазой девушкой с симпатичным строгим лицом, жену друга моей юности Сергея Никифорова, рабочего с Первомайского завода, ставшего секретарем горкома и давшего мне когда-то рекомендацию в комсомол. Его сейчас нет. В 1937 году он был арестован, где он сейчас, я не знаю. Но сердцем чувствую: не может он, слесарек с Первомайки, ставший крупным партийным работником, быть врагом своего народа. Оговор, ложный донос, судебная ошибка — мало ли? А Лидия Петровна?.. Теперь, конечно, выяснится, но нелегко ей придется...

Пока Петрович вместе с хозяйкой накрывают на стол и все мы, наголодавшись за день, вдыхаем ароматы, доносящиеся из кухни, вспоминаю первое задание, которое дал мне полковник Лазарев в день, когда я выезжал на фронт. Танк! Единственный танк, который будто бы ворвался в город с запада, с боем прошел по улицам и площадям и вышел к своим за Московской заставой. Наводил уже справки в штабе фронта, расспрашивал у ротмистровцев — никаких следов. Так, догадки, предположения, основанные на смутных слухах. Да и был ли этот танк или это один из героических мифов, каких немало распространялось в тяжелые дни войны. Супруги единогласно уверяют: был. Они его не видели, но, по рассказам многих, он действительно появился со стороны «Пролетарки», прошел через весь город, обстрелял комендатуру, помещавшуюся в городской сберегательной кассе, и не то был сожжен, не то действительно пробился к своим. Во всяком случае переполох у оккупантов он вызвал страшный. Говорили о нем потом несколько дней.

— Был, определенно был,— уверяют супруги.

Убеждаюсь, тема действительно интереснейшая. За обедом торопливо глотаю суп из каких-то трофейных концентратов, ем сардины, жую голландский шоколад. Скорей бы по следам танка.

Хозяева едят не торопясь. Но разве не видно, как они голодны и какое впечатление производит на них, живших два месяца на мерзлых овощах, деликатеснейшая трофейная пища запасливого Петровича? В конце трапезы хозяйка торжественно поит нас чаем, настоящим чаем, пачечку которого супруги сохраняли «до лучших времен». Теперь эти лучшие времена наступили, и они делятся с нами своим сокровищем.

10. На родном пепелище

Договариваемся: коллег я завезу в нашу комендатуру, оттуда они, возможно даже по прямому телефону, передадут в редакции свои корреспонденции, там и заночуют. Я же поеду искать следы таинственного танка. В уме уже мелькают заголовки: «Легендарный рейд», «Сквозь вражеский огонь», «Один прогив вражеской армии». Следы приводят меня в Первомайский поселок текстильщиков, откуда танк ворвался в так называемые Хлопковые ворота комбината «Пролетарка». Нужно также выполнить наказ матери — поискать следы двоюродного брата Андрея, ушедшего в истребители. Может, кто-нибудь из соседей матери о нем и знает.

Перед войной мать заведовала здесь амбулаторией. Тут и жила в одном из стандартных деревянных домиков рабочего поселка. Захожу в ее квартиру. Дверь не заперта, стекла выбиты, в комнате снег. Я вижу знакомую с детства мебель, стоящую в снегу. Ничего не тронут. Портрет отца, умершего двадцать пять лет назад, смотрит на меня со стены, неожиданно поражая молодостью своих черт. Семья ткачей, жившая в

квартире напротив, присмотрела за брошенной квартирой и бережно сохранила у себя белье и картины. Подтверждают то, о чем говорила мама: Андрей вместе с двумя товарищами-восьмиклассниками из поселка был в отряде истребителей. Сражались на подступах к «Пролетарке», и он был убит в стычке у железнодорожного виадука. Похоронен в братской могиле неизвестно где.

— Ведь совсем, совсем мальчик... Приемник его и сейчас у нас работает... Москву все время слушали,— печалится соседка.— И велосипед я его сохранила...

Захожу в его комнату. Андрей! Рассеянный подросток. Мечтатель, увлекшийся электротехникой, загромоздивший квартиру радиоприемниками собственного изготовления, боец, еще не успевший даже получить паспорт. Беру со стены фотографию, где он снят вместе с приятелем, и иду к маминым соседям...

Они тоже слышали о танке. Точно известно, что он прошел здесь, потом через Малую рошу в Хлопковые ворота. Куда пошел дальше — не знают. Надо расспросить во дворе «Пролетарки». Там наверняка найдутся очевидцы.

Едем туда. Невольно волнуюсь. Ситцевая фабрика, где я начинал работать, откуда писал в «Тверскую правду» и «Смену» первые свои корреспонденции, цела. А вот огромный корпус прядильный — самое большое здание в городе — весь выгорел. Стены стоят, как декорации. Сквозь проемы окон он просвечивает насквозь. Спешиваюсь. Говорим с одним, другим жителем. Да, действительно, танк прорывался и где-то у так называемых Главных ворот обогнал и раздавил грузовик с солдатами. А оттуда будто бы через Тьмаку прошел в город...

Смеркается. Какая-то сила неудержимо тянет меня к моему бывшему жилью. Вот во дворе так называемый дом служащих № 61. Здесь я жил мальчишкой. Отсюда пошел в школу.

И дом цел, и квартира на первом его этаже тоже цела. Но все перевернуто, распотрошено. От женщины из квартиры напротив узнаю, что жил тут какой-то изменник, пытавшийся по заданию комендатуры наладить на фабрике выпуск ширпотреба. Не наш — приезжий. Будто бы даже и не русский. Вчера он бежал с семьей. Их увезли на немецкой машине, а погром учинили уже свои в отместку за предательство жильца, которого не удалось схватить.

Узнаю, что в этом же доме произошла и другая история.

В соседнем подъезде, на третьем этаже остался старый механик. Семья ушла, а он, прикованный болезнью к койке, не смог. Электростанцию комбината при отступлении не успели взорвать, но важные части, без которых машины не могли работать, были утоплены в речке Тьмаке. И вот на квартиру больного механика приехала депутация от бургомистра во главе с полицмейстером Бибиковым. Привезли продукты, напитки, даже топливо для печурки, обещали лечить и поставить на ноги, только пусть откроет, где спрятаны части. Механик заявил, что не знает. Его убеждали, ему грозили. Кончилось тем, что дары были отобраны, а возле квартиры поставлен полицей. Бибиков издевательски сказал на прощанье:

— Подумайте, если вспомните, где спрятаны части, сообщите. Не скажете — замерзнете в нетопленной квартире,дохнете с голоду.

Время подумать у механика было. Пять дней продолжалась его агония. Но он так и замерз в своей постели, не выдав тайны предателям. Устрашения ради труп его был повешен на козырьке парадного подъезда. Ночью неведомые люди сняли его и похоронили тело, пока неизвестно где.

Вот две истории о жильцах всего только одного дома.

Среди куч поломанного барахла Петрович отыскал два матраца. Буржуйку мы затопили обломками сокрушенной мебели. Отыскался даже старый пузатый будильник. Мы поставили бой на шесть часов и, загородив комодом дверь, улеглись спать. Петрович тотчас же захрапел, а ко мне сон не шел. Вот в эти забытые сейчас досками окна смотрел я в детстве, под этими окнами играл мальчишкой, по вонючей речке Тьмаке, до которой рукой подать, плавал летом на плотках, которые мы сколачивали из досок; зимой из снега и старых ящиков строил с ребятами будки. И в школу отсюда пошел. И заметку тут первую свою написал в «Тверскую правду», как сейчас помню, зимой 1924 года. Теперь все разрушено, осквернено. В квартире моего детства жил предатель, а незаметный беспартийный механик, известный в доме как безропотный подкаблучник, тихий, покорный муж своей красивой жены, совершил подвиг и умер, как герой. Как все перепуталось. Что только творится на белом свете!..

И все-таки «Пролетарка», родная моя «Пролетарка», с честью прошла через величайшие испытания. Было больно сегодня ходить по заметенному снегом двору комбината, среди пепелищ и развалин. Комбинат напоминал кладбище. Но как это здорово, что в дни оккупации все станки и машины были мертвы!

— Мы с «Пролетарки»,— любили всегда говорить мои друзья и соседи.

«Мы с «Пролетарки» — эти слова звучат сейчас гордо, как никогда.

11. Бывают ли чудеса?

Если бы я был верующим, я обязательно решил бы, что тут, в Калининe, совершилось чудо. Речь идет все о том же таинственном танке, что, как игла сквозь масло, прошел через оккупированный город с запада на восток.

Переночевав в разгромленной квартире, умывшись утром снегом и наскоро закусив трофейными деликатесами из мешка Петровича, мы вновь отправились по следам таинственной машины. Переговорили по крайней мере с десятком людей, и все подтверждают — это было. Слышали об этом, а один даже видел машину. Судя по его описанию, это танк новейшей конструкции Т-34. На броне заметны следы от осколков снарядов, и броня как бы закопчена. Говорит, что даже рассмотрел на башне цифру «3».

На Советской улице, в центре города, мы увидели молодого архитектора Регину Г., писавшую когда-то в «Пролетарской правде» статьи по вопросам градостроительства. Она побывала в оккупации и, как оказалось, тоже видела этот танк.

— Иду с Волги с бидоном воды — водопровод-то у нас не работал, — рассказывала она, — иду и слышу — стрельба. Совсем рядом. Я — в подворотню. И вдруг вижу — на площади танк. Затормозил, развернулся, навел пушку на здание сберкассы — там у немцев комендатура была, флаг их над дверью висел, — дал два выстрела и понесся дальше по Советской по направлению к Градской больнице... А в комендатуре начался пожар. Подвезите, я вам покажу, куда попали снаряды, — закончила собеседница.

Это, пожалуй, самое реалистическое свидетельство. А были и такие: «Сотни гитлеровцев передавил...», «По колонне их машин, как по мосту, проехал — одни щепки». И уже совсем фантастическое: «Снаряды у него такие — как даст, на сто частей разлетаются, и каждый осколок горит и все кругом сжигает».

Регина Г. поехала с нами, показала, где стояла с водой, где был танк, а главное, показала следы его снарядов, разворотивших стену массивного здания, возле которого еще валялась вывеска комендатуры.

Более ничего конкретного узнать не удалось. Танк, совершив невероятное свое дело, будто бы испарился. Стальная махина мало похожа на архистратига Михаила, который, по словам нашей старушки хозяйки, умел, поразив врага огненным мечом, исчезать незаметно. С этим танком с цифрой «3» на броне произошло нечто подобное. Что же это было? Плод воображения или правда?

Так, должно быть, и останется задание полкового комиссара Лазарева невыполненным. «Правда» есть «Правда», и писать туда о том, что может быть выдумано жителями, нельзя¹.

Осталось второе задание — организовать статью командующего Конева о Калининской операции. Может быть, хоть с этим повезет. Но в деревеньке, где его штаб-квартира, сообщили: генерал где-то на правом фланге наступления в дивизиях Масленникова; выехал на заре, а будет разве что к ночи.

12. Что такое «Тайфун»?

Вернувшись в штаб фронта на узел связи, узнаю, что сообщение Евновича и статья Леонида Лося уже в Москве. Остаются считанные часы. Решаю писать здесь, на узле, и по мере возможности по страничкам передавать в Москву.

Узел связи помещается в двух избах. Правила охраны штабов воспрещают кому-либо без специального разрешения заходить в помещение, где потрескивают и жужжат телеграфные аппараты «бодо» и румяные девахи в военном отстукивают телеграммы. Они передают в Москву оперативные сводки, разведдонесения, политинформацию. Нашего брата корреспондента в аппаратную обычно не пускают.

Но я побывал и даже ночевал в только что освобожденном Калинин; был свидетелем события, которого весь фронт так ждал, и строгий дежурный связи, ДС, которого наша пишущая братия обычно побаивается, оказывает снисхождение. Он сам забирает у меня листки корреспонденции по мере их написания и сам относит телеграфисткам. Так и дей-

¹ Ровно двадцать пять лет спустя, когда праздновалось четверть века со дня освобождения Калинина, загадка легендарного танка все-таки разрешилась. На юбилейный этот день приехал с Украины уже немолодой человек по фамилии Литовченко, подполковник в отставке, ныне инженер одного из заводов. Он представился как бывший механик-водитель этого танка-«тройки», экипаж которого состоял из командира старшего сержанта Горобца, башнера Григория Коломийца и стрелка-радиста Ивана Пастушина. Легенда объяснилась так. В октябрьский непогожий день их экипаж, посланный в разведку, оторвался от колонны, попавшей под бомбежку. Назад ехать было уже нельзя, и танкисты приняли решение прорываться к своим через оккупированный город. По пути они своими снарядами подожгли на вражеском аэродроме цистерну с горючим, обстреляли два стоявших в капонирах пикировщика, ведя огонь на ходу, прорвались сквозь немецкий артиллерийский заслон. Действительно, через Хлопковые ворота вошли во двор «Пролетарки», далее проследовали в район больничного городка, догнали колонну автомашин с немецкой пехотой и, не сбавляя скорости, проутюжили ее. Действительно, на Советской площади дали два орудийных выстрела по помещению немецкой комендатуры, даже не зная, что там комендатура, просто стреляли по нацистскому флагу. Недалеко стоял танк охраны, стрельнули и по нему и, двинувшись дальше вдоль Советской улицы, вырвались на Ленинградское шоссе и, преследуемые огнем немецких батарей, неслись на полной скорости, пока не наткнулись на засаду уже своих батарей. От своих им особенно попало, но все-таки танк сохранился. Экипаж отдохнул в селе Эммаус, а потом прибыл в расположение своей части, в танковый батальон Героя Советского Союза М. П. Агibalова, который к тому времени уже вернулся из рейда по вражеским тылам юго-западнее Калинина. Так разрешилась спустя четверть века загадка таинственного танка. Она описана теперь в книге П. Иванова и С. Флигельмана «Ярче легенды».

ствуем. И пока я пишу, он скрипит новенькой портупеей у меня за спиной, дышит в затылок, заглядывая через плечо. Корреспонденция пишется и передается одновременно и, вероятно, поспеет вовремя. Только бы не оборвалась связь, только бы не замешкался в Москве посыльный. Передал, принял из «Сокола», как в эту неделю именуется по шифрованному коду узел связи генштаба, получил подтверждение о принятии и вдруг вспомнил, что не вставил такой эпизод. Когда покидал Калинин, увидел перед зданием Дома Красной Армии, где у немцев был офицерский клуб, длиннейшую очередь, которая даже заворачивала в конце квартала за угол. Что такое? Что там дают или продают? Все разъяснило рукописное объявление на куске обоев: «Сегодня, 17 декабря, с двух часов дня в помещении Дома Красной Армии демонстрируется кинокартина «Ленин в Октябре». Вход свободный...» Этот кусок обоев был наклеен прямо на немецкие афиши, на которых рекламировались прелести каких-то дебелых красоток. Интереснейший штрих! Я тут же диктовал несколько строк уже прямо на аппарат, поблагодарил связистов и пошел было к выходу, но в сенях меня догнал ДС.

— Товарищ батальонный комиссар, вам из «Сокола». Только приняли.— И передал обрывок телеграфной ленты: «Из «Сокола» в «Синицу» корреспонденту «Правды» Полевому. Очерк, добавление приняли. Срочно ждем статью генерал-полковника Конева. Тема — Калининская операция. Торопитесь. Лазарев».

Срочно! Поди-ка его найди, командующего, когда он все эти горячие дни даже и не заглядывал в свою штаб-квартиру, провел их на своем НП в пригородной деревеньке Змиево, где саперы врыли в землю небольшой сруб на пригорке, откуда простым глазом можно было видеть город, следить за наступающими дивизиями. А сегодня он был вместе с секретарем обкома И. П. Бойцовым в Калинин. Где его взять, командующего; если он даже и вернулся к себе, то, наверное, сейчас влезает в обстановку и разбирается в куче донесений за истекшие сутки. Но приказ есть приказ. Это-то я усвоил.

Иду к члену Военного совета корпусному комиссару Д. С. Леонову. Показываю ему ленту: как быть? Ничего не ответил, крутнул ручку полевого телефона.

— Это я, здравствуйте. Не разбудил?.. Вот тут у меня сидит Полевой с челобитной из «Правды». «Правда» просит вас срочно написать статью о Калининской операции.

Трубка рокошет. Корпусной комиссар, слушая сердитый ее рокот, смотрит на меня прищуренными глазами.

— Я ему уже сказал, что вы две ночи голову на подушку не опускали... Сказал, сказал... Он? Как и все корреспонденты, нахал страшный, говорит — нужно. Вот я вам прочту телеграмму из редакции.— Читает, но вместо «полковой комиссар Лазарев» говорит «главный редактор Пошпелов»... Трубка рокошет уже не так сердито.— Как я считаю? Считаю, Иван Степанович, стоит написать. Ведь, что ни говори, операция интереснейшая. Крупный областной город отбили. Сколько у «Правды» тираж? — спрашивает он у меня. Я отвечаю.— Ну вот видите, миллионы людей читать будут.— Корпусной комиссар уже не скрывает улыбки.— Так, так, хорошо. А я, знаете, ему уже рассказал, что вы еще в юные годы комиссарили и знаете толк в большевистской пропаганде... Хорошо, зайду. Сейчас?.. Выхожу.

Корпусной комиссар кладет на ящик трубку. Он доволен.

— Ну вот, будет у «Правды» статья. В пять ноль-ноль он вас примет.

— Может быть, чтобы не затруднять командующего, мне пока что написать проект статьи или подробный конспект?

— Вы давно знаете командующего?

— Был только раз у него перед операцией.

— Вот сразу и видно... Выставил бы он вас как миленького вместе с вашим проектом. С одним из ваших коллег такое уже случилось... Диктовать будет — приготовьтесь записывать...

Глубокая ночь. Сильно морозит. После вчерашнего тумана деревья, кусты, палисадники перед избами покрыты пушистым инеем, будто оренбургским платком, а в зените сияет луна с размытым туманным ореолом — «месяц в рукавичках», как говорят наши старики хозяева. По их приметам, это к морозу. А куда еще — мороз и так градусов тридцать. Нет-нет да в тишине раздастся треск — это лопнуло прокаленное морозом бревно сруба, и в треске этом, хорошо слышном в тишине ночи, чудится что-то первобытное, сказочное.

Деревня кажется пустой, мертвой, но в темноте у крыльца похрупывают валенками часовые, а когда в ясном небе, усыпанном звездами, слышится гул самолетов, где-то в конце деревни бьют в рельс, и раздается протяжное:

— Воздух!

Точно в пять утра появляюсь в сенях знакомой избы. За ночь ее незримо выстудило, и белокурый майор топит чугунную походную печурку, пристроенную к большой русской печи. Смотрит на часы.

— Так, вовремя. Сейчас доложу.

Несмотря на поздний, а точнее говоря, на ранний час, командующий выбрит. Китель на нем застегнут на все пуговицы, и ничто, кроме землистого оттенка лица да покрасневших век, не говорит, сколько времени он провел в напряженной работе.

— Бумага с вами? Садитесь к столу. Вот прежде всего прочитайте это. Приняли в последний час.

Он подает отпечатанную на тонкой бумаге радиограмму: «После ожесточенных боев войска Калининского фронта 16 декабря сего года овладели городом Калинин. В боях в районе города Калинин наши войска нанесли крупное поражение 9-й немецкой армии генерал-полковника Штраус, разгромив 86, 110, 129, 161, 162 и 251 пехотные дивизии, входившие в состав этой армии. Остатки разбитых дивизий противника отступают на запад. В боях за город Калинин отличились войска генерал-лейтенанта т. Масленникова и генерал-майора т. Юшкевича. Захвачены большие трофеи, которые подсчитываются. Наши войска преследуют и уничтожают отходящего противника. Совинформбюро».

— Прочли? Тут главное... И, видите, спокойно, без хвастовства.

Командующий стоит по ту сторону длинного походного стола, покрытого картой, его рабочей картой, исчерченной синим и красным карандашами. Толстая красная стрелка с городом Калинином у основания, пронзив широкую синюю линию, протянулась на запад, глубоко врезавшись в расположение синих кружочков и овалов. Острие ее уже далеко за Калинином, но, как я ни пялю глаза, не могу разобрать названия пунктов, до которых она дотянулась.

— Село Медное на Ленинградском шоссе, — подсказывает командующий, видя тщетность моих усилий. — На двенадцать ноль-ноль форсировали реку Тверцу и продвигаемся дальше.

Он задумывается над картой. Вместо этих кружочков, овалов, стрел с номерами дивизий он, наверное, видит движение огромных масс войск, видит картину продолжающегося сражения, движение авангардов наступающих, перемещение тылов — огромное сложное сражение, в котором ему приходится не только направлять свои дивизии, но разгадывать и стараться предусмотреть намерения противника. По сведениям разведки и показаниям пленных офицеров, которых взято уже немало, гене-

рал-полковник Штраус, командующий левым флангом наступавших на Москву войск,— опытный генерал, и он, конечно, сейчас делает все возможное, чтобы локализовать последствия калининского разгрома.

— Ну что же, начнем,— говорит командующий, отрывая глаза от карты.— Заглавие... Нет, заглавие пусть «Правда» сама даст.— И он начинает диктовать медленно, точно, делая паузы на запятых и отчетливо отделяя фразу от фразы. Записывая, я вижу, что он, сразу отбросив публицистическую словесность, берет, что называется, быка за рога и с большим, может быть, даже излишним лаконизмом показывает самую суть только что отшумевшей битвы.

Иногда, взяв со стола боевое донесение или разведсводку, он уточняет по ним ту или иную подробность, иногда склоняется над картой, берет большую лупу и разбирает название того или другого пункта. И он действительно полководец с комиссарской душой, как говорил о нем член Военного совета Леонов. Когда он говорит о том, как в тяжелейшие дни войны фронт и тыл сплотились вокруг большевистской партии и какой небывалый подъем был достигнут в эти дни в войсках, как бурно начали расти именно в эти дни полковые партийные организации, как армейские большевики всегда были первыми в атакующих колоннах, голос его теплеет.

Вот он опустил на стул, крепко трет виски. Китель по-прежнему застегнут на все пуговицы, но теперь уже видно, что это усталый, вдоволь потрудившийся и не успевший отдохнуть после этих трудов человек.

— Вы ведь, наверное, знаете военную историю? Скажите, где и когда народ так объединился в самые тяжкие минуты испытания? Нет, нет, это вы не записывайте, это не для статьи... Или была ли когда-нибудь такая партия, в которую люди вступали бы десятками, сотнями тысяч в момент, когда все дело этой партии оказывалось под страшной угрозой, когда быть членом этой партии значило первым идти под пули, становиться на самое ответственное, а стало быть, и самое опасное место... Вот подумайте над этим... А ведь по-настоящему об армейских большевиках нашего фронта никто из вас еще не написал... «Коммунист Сидоров гранатой подбил немецкий танк» или «Коммунист Петров уничтожил из снайперской винтовки трех фрицев». Разве это описание? А вот о партсобраниях перед боем или о том, как за эти дни выросла парторганизация того или иного полка,— вот вам темы, товарищи корреспонденты. Ну, ладно... За статью, за статью.

Рисую картину наступления войск фронта, он показывает на карте, как дивизии генерала Юшкевича с юго-востока и генерала Масленникова с северо-запада встречным движением взяли город в клещи, как острия этих клещей, укрепляемых все новыми и новыми вводами в бой частями, к 15 декабря почти сомкнулись.

— Мы по существу выдавили противника из города,— говорит командующий.— Нет, нет, «выдавили» — это несерьезный образ. Пишите так: «К концу 15 декабря кольцо вокруг Калинина почти сомкнулось. Враг почувствовал угрозу окружения и начал в панике бежать, бросая оружие, боеприпасы, технику». — И тут же обобщает, диктуя, как нечто уже давно обдуманное и проверенное: — «Борьба за Калинин еще раз подтвердила боязнь немцев окружения: при первой же серьезной угрозе окружения они начинают панически метаться и беспорядочно бежать. Отсюда мы можем сделать вывод, что смелые действия наших войск по флангам и тылам противника должны повсеместно применяться как весьма эффективный способ истребления его живой силы».

Я прошу развить эту мысль. Ведь картина развернувшегося наступления нуждается и в некотором обобщении.

— Теоретизировать будем после войны,— обрывает командующий.— Пишите концовку: «После двухмесячного перерыва советский флаг снова взвился над старинным русским городом Калинином. Наши войска продолжают преследовать отступающего противника». Записали? Пишите дальше: «Взятие Калинина не дает нам основания для самоуспокоения».

Пока статью перепечатывают, командующий работает, говорит с командармами по телефону, выслушивает доклады оперативных офицеров, отдает распоряжения. Я сижу у печки. Сухие березовые дрова разгорелись, огонь ревет в трубе. Чугунный бок печи стал вишнево-красным, даже начинает искристо светиться.

— Красивая штука огонь,— раздается сзади голос командующего.— Недаром ему в древности поклонялись.— Генерал вышел из своей светелки, стоит, прислонившись плечом к косяку.— Я в первую мировую войну фейерверкером был. Бывало, нет большей радости, чем погреться у костра... Горький, говорят, жечь костры любил. Верно это? — Присел на корточки, кочережкой пошуровал в печке.— А вы знаете, как Гитлер свое генеральное сражение за Москву закодировал? «Тайфун». Осенью я командовал Западным фронтом. Помнится, в конце сентября под Ярцевом привели ко мне их аса, сбили его наши летчики. Матерый, заслуженный, грудь в крестах. Но, в общем-то, разговорчивым оказался. Рассказал о готовящемся наступлении на Москву, о том, что немцы сосредоточили на этом направлении до ста дивизий и что будто бы фельдмаршал Кейтель и рейхсмаршал Геринг прибыли в Смоленск, имея от Гитлера приказ любой ценой обеспечить успех этого генерального наступления.

— Они листовки тогда кидали о том, что в начале ноября Гитлер въедет в Москву на белом коне и будет на Красной площади принимать парад своих отборных войск.

— Читал я эти листовки. Геббельсовская стряпня. А вот это серьезное, это они для себя писали.— Он вышел в светелку и принес перевод какого-то трофейного документа.— «...Город должен быть окружен так, чтобы ни один русский солдат, ни один житель, будь то мужчина, женщина или ребенок, не мог бы его покинуть. Всякую попытку выхода из города беспощадно подавлять силой». Вот какую задачу он ставил. И это не пропаганда. И действительно стянулись на московском направлении около восьмидесяти дивизий, около двух тысяч танков, около тысячи боевых самолетов. Вот как он выглядел, этот «Тайфун». Никогда ни в одной битве не сосредоточивалось таких армий.

— А у нас?

— У нас... Эх, сразу видно, что в душе-то вы еще не военный. Кто ж задает такие вопросы — «у нас»? В этой битве мы количественно не превосходили неприятеля ни в живой силе, ни в технике. Мы были сильнее их духом. Войска горели желанием отстоять Москву. Наша Ставка проявляла мудрую выдержку и искусство скрытного сосредоточения сил и подтягивания резервов. На врага были обрушены сокрушительные удары. И вот это наступление силами трех фронтов по существу — разгром немцев под Москвой, так, вероятно, его назовут историки.

— А как, товарищ командующий, вступили в войну лично вы? Где приняли первый бой?

— Лично я? Под Витебском.— И снова, помешивая кочергой в печке, глядя на искры, устремляющиеся в гудящую трубу, он задумчиво говорит: — Не очень счастливо, впрочем, вступил. Пришлось даже вспомнить старую свою специальность фейерверкера...

И он рассказывает удивительную историю. В первый месяц войны он, командующий 19-й армией, расположенной на Украине, получил приказ срочно грузить армию в эшелоны и на максимальной скорости дви-

гаться на запад, где положение стало очень тяжелым. Пререзирование происходило в труднейших условиях. Эшелоны ежедневно бомбили, железнодорожное хозяйство на некоторых узловых станциях оказывалось разрушенным или поврежденным. К месту выгрузки вовремя прибыл только головной эшелон с управлением армии и полком связи. По пути в штаб фронта машину командующего обстреляли с воздуха и зажгли. Был ранен адъютант, сгорел портфель с документами. Остановив попутный грузовик, командующий добрался на нем до штаба фронта. Деревня, где тот размещался, горела. Командование работало в блиндажах. Связь с Витебском, куда должна была быть направлена армия, отсутствовала.

Командарм решил выяснить обстановку на месте и уже по пути к городу убедился: положение тяжелое. Навстречу, от Витебска, отступали дезорганизованные группы, вереницы машин с военным имуществом, артиллерия, шли отдельные танки, и все это под почти непрерывной бомбежкой.

Еще по опыту гражданской войны командарм знал: нет ничего страшнее неразберихи при отступлении. Он вышел из машины и с револьвером в руках стал останавливать бегущих. К Витебску генерал прибыл во главе немало уже отряда с артиллерийской батареей и тремя тяжелыми танками. Город горел и был пуст, его покидали жители. Где руководство, где командование? Генерал вышел на площадь к зданию обкома партии и тут увидел группу военных с оружием. Подозвал старшего среди них.

— Кто вы? Доложите обстановку.

Тот представился: майор Рожков, из 17-й дивизии. С остатками своего полка с боями отступает от самой границы. Сейчас сколотил отряд и занял оборону у моста на реке. Отряд усилен рабочими из истребительных батальонов. Они вооружены плохо, старыми осовашихимовскими винтовками, но отличные, стойкие ребята.

— Действия ваши одобряю. Назначаю командовать обороной,— сказал генерал и передал в распоряжение майора Рожкова тех людей, что привел с собой, и три танка КВ, которые в обороне моста могли сыграть роль дотов. А батарею он расположил на холме, чтобы она могла контролировать улицы, ведущие к переправе.

Все это успели сделать до того, как на противоположной стороне реки показались авангарды немцев. Их встретили хорошо организованным огнем, и они откатились. Артиллерия со своей высоты поддерживала отряд майора Рожкова интенсивным огнем. Тогда противник подтянул свою артиллерию, стал обрабатывать высоту. Обрабатывал методично: снаряды падали справа, слева. В вилку берут, понял командарм. Он приказал оружейной прислуге отойти в укрытие, а сам залег неподалеку в какой-то колдобине. Командир батареи не успел этого сделать, осколок срезал его наповал. Командарм принял командование батареей на себя. В нем в эти часы как бы жило два человека — командующий армией, который мысленно набрасывал, обдумывал план обороны этого района, размещал полки, дивизии, тылы, и опытный артиллерист, направляющий огонь батареи...

— Вот как прошел мой первый боевой день на этой войне.— Командующий улыбнулся.

Сейчас, когда дивизии генерала Штрауса под ударами армий Калининского фронта откатывались на запад, увязая в необыкновенно обильных снегах, опытному воину было приятно вспоминать этот боевой день.

У меня вдруг возникла мысль написать очерк о самом Коневе. Командующий резко встал.

— Чепуху вы выдумали. Кто же в разгар войны пишет о генералах? О генералах уместно будет писать, когда Красная Армия Берлин возьмет... Не раньше.

На том и прощаемся. Надо скорее на телеграф. Еще ночь, звезды сверкают так же остро, так же сияет круглая мордастая лунища, но во дворах перекликаются петухи и чувствуется приближение рассвета. Где-то в звездной синеве не очень громко, но басовито гудят моторы наших бомбардировщиков. Мы сразу узнаем их голоса. Летят с запада на восток, должно быть, с бомбежки далеких немецких тылов, а может быть, и самой Германии. Они не очень быстры, эти наши тяжелые бомбардировщики. Часами измеряется их путь. Трудно даже представить себе расстояние от этой утопающей в предутренней тишине деревушки в тверских лесах до главной цитадели нацизма. Но мы уже тронулись в этот путь. Мы идем на Берлин по множеству дорог, по лесным тропам, по снежной целине. И радостно думать, что сейчас вот затрещат аппараты «бодо», передавая в «Правду» статью командующего фронтом, и еще о том, что, если, черт возьми, буду жив после взятия Берлина, обязательно напишу очерк о генерале Коневе, к которому я сегодня начал собирать интересный материал¹.

¹ Забегая вперед, могу теперь сказать, что очерк такой я действительно написал. И именно после взятия Берлина. И в нем очень пригодились сведения, полученные в ту ночь в занесенной снегом избе под Калинином.

(Окончание следует)



ВАСИЛЬ БЫКОВ

★

СОТНИКОВ

Повесть

Глава первая

Они шли лесом по глухой, занесенной снегом дороге, на которой уже не осталось и следа от лошадиных копыт, полозьев или ног человека. Тут, наверно, и летом не много ездили, а теперь, после долгих февральских метелей, все заровняло снегом, и если бы не лес — ели попеременно с ольшаником, — который неровно расступался в обе стороны, образуя тускло белеющий в ночи коридор, было бы трудно и понять, что это — дорога. И все же они не ошиблись. Вглядываясь сквозь голый, затянутый сумерками кустарник, Рыбак все больше узнавал эти еще с осени запомнившиеся ему места. Тогда он и еще четверо из группы Смолякова как-то под вечер тоже пробирались этой дорогой на хутор и тоже с намерением разжиться какими-нибудь продуктами. Вон как раз и знакомый овражек, на краю которого они сидели втроем и курили, дожидаясь, пока двое, ушедшие вперед, подадут сигнал идти всем. Теперь, однако, в овраг не сунуться: с края его свисал наметенный вьюгой карниз, а голые деревца на склоне по самые верхушки утопали в снегу.

Рядом над вершинами елей легонько скользил в небе тоненький серпик месяца, который почти не светил — лишь слабо поблескивал в холодном мерцании звезд. Но с ним казалось не так одиноко в ночи — вроде кто-то живой и ненавязчивый деликатно сопровождал их в этом пути. Поодаль в лесу было мрачновато от темной мешанины елей, подлеска, каких-то неясных теней, беспорядочного сплетения стылых ветвей; вблизи же на чистой белизне снега дорога просматривалась без труда. То, что она пролегалла здесь по нетронутой целине, хотя и затрудняло ходьбу, зато страховало от неожиданностей: вряд ли кто мог подстеречь их в этой глуши. И все же Рыбак был настороже, особенно после Глинян, возле которых они часа два назад едва не напоролись на немцев. К счастью, на околице деревни повстречался дядька с дровами, он предупредил об опасности, и они повернули в лес, где долго проплутали в зарослях, пока не выбрались на эту дорогу.

Впрочем, случайная стычка в лесу или в поле не очень страшила Рыбака: у него было оружие. Правда, маловато набралось патронов, но тут ничего не поделаешь: те, что остались на Горелом болоте, отдали им что могли из своих тоже более чем скудных запасов. Теперь, кроме пяти штук в карабине, у Рыбака позвякивали еще три обоймы в карманах полушубка, столько же было и у Сотникова. Жаль, не прихватили гранат, но и то не беда — к утру они будут в лагере. По крайней мере

должны быть. Правда, Рыбак чувствовал, что после неудачи в Глинянах они немного запаздывали, надо было поторапливаться, снег в лесу лежал неглубокий, а на дороге был плотно примят вьюгой. Но подвёл напарник.

Все время, пока они шли через лес, Рыбак слышал за спиной его глуховатый простудный кашель, раздававшийся иногда ближе, иногда дальше. Но вот он совершенно затих, и Рыбак, сбавив шаг, оглянулся — изрядно отстав, Сотников едва тащился в ночном сумраке. Подавляя нетерпение, Рыбак минуту глядел, как тот устало гребется по снегу в своих неуклюжих, стоптанных бурках, как-то незнакомо опустив голову в глубоко надвинутой на уши красноармейской пилотке. Еще издали слышалось его частое затрудненное дыхание, с которым Сотников, даже остановившись, все еще не мог справиться.

— Ну как? Терпимо?

— Так, — неопределенно махнул тот рукой и удобнее закинул за плечо винтовку. — Далеко еще?

Прежде чем ответить, Рыбак помедлил, вопросительно взглядываясь в тощую, туго подпоясанную по короткой шинели фигуру напарника. Он уже знал, что тот не признается, хотя и занемог, будет бодриться: мол, обойдется, — чтобы избежать чужого участия, что ли? Уж чего другого, а самолюбия и упрямства у этого Сотникова хватило бы на троих. Он и на задание попал отчасти из-за своего самолюбия — больной, а не захотел сказать об этом командиру, когда тот у костра подбирал Рыбаку напарника. Сначала были вызваны двое — Вдовец и Глущенко, но Вдовец только что разобрал и принялся чистить свой пулемет, а Глущенко сослался на мокрые ноги: ходил за водой и по колено провалился в трясины. Тогда командир назвал Сотникова, и тот молча поднялся. Когда они уже были в пути и Сотникова начал донимать кашель, Рыбак спросил, почему тот смолчал, тогда как двое других отказались, на что Сотников ответил: «Потому и не отказался, что другие отказались». Рыбаку это показалось не совсем понятным, но погодя он подумал, что, в общем, беспокоиться не о чем: человек на ногах, стоит ли обращать внимание на какой-то там кашель — от простуды на войне не умирают. Дойдет до жилья, обогрется, поест горячей картошки, и всю хворь как рукой снимет.

— Ничего, теперь уже близко, — ободряюще сказал Рыбак и повернулся, чтобы продолжить путь. Но не успел он сделать и шага, как Сотников сзади как-то резко всхрипнул и зашелся в долгом нутряном кашле. Стараясь сдержаться, согнулся, зажал рукавом рот, но кашель оттого только усилился.

— А ты снега! Снега возьми, он перебивает! — подсказал Рыбак.

Борясь с приступом раздирающего его грудь кашля, Сотников зачерпнул пригоршней снега, пососал, и кашель в самом деле понемногу унялся.

— Черт! Привязался, хоть разорвись!

Рыбак впервые озабоченно нахмурился, но промолчал, и они пошли дальше.

Из оврага на дорогу выбежала ровная цепочка следов, приглядевшись к которым Рыбак понял, что недавно здесь проходил волк (тоже, наверно, тянет к человеческому жилью — не сладко на таком морозе в лесу). Оба они взяли несколько в сторону и дальше уже не сходили с волчьего следа, который в притуманенной серости ночи не только обозначал дорогу, но и указывал, где меньше снега: волк это определял безошибочно. Впрочем, их путь подходил к концу, вот-вот должен был показаться хутор, и это настраивало Рыбака на новый, более радостный лад.

— Любка там, вот огонь девка! — негромко сказал он, не оборачиваясь. Сотников на ходу вскинул голову.

— Что?

— Девка, говорю, на хуторе. Увидишь, всю хворь забудешь.

— У тебя еще девки на уме?

С заметным усилием волочась сзади, Сотников уронил голову и еще больше ссутулился. По-видимому, все его внимание теперь было сосредоточено лишь на том, чтобы не сбиться с шага, не потерять посильный ему темп.

— А что ж! Поесть бы только...

Но и упоминание о еде никак не подействовало на Сотникова, который опять начал отставать, и Рыбак, замедлив шаг, оглянулся.

— Вчера вздремнул на болоте — хлеб приснился. Теплая буханка за пазухой. Проснулся, а это от костра пригрело. Такая досада...

— Не диво, приснится,— глухо согласился Сотников.— Неделю на пареной ржи продержаться...

— Да уж и парёнка кончилась. Вчера Гронский остатки роздал,— сказал Рыбак и замолчал.

Все, что теперь действительно беспокоило его, он переживал молча. К тому же стало не до разговоров: кончался лес, дорога выходила в поле. Далее по одну сторону пути тянулся мелкий кустарник, заросли лозняка по болоту. Потом дорога круто сворачивала на пригорок, где из-за ольшаника должна была показаться дырявая крыша пуньки, а там за изгородью будет и дом с сараями и задраным журавлем над колодезем. Если журавль торчит концом вверх — значит, все в порядке, можно заходить; если же зацеплен крюком в колодезном срубе, то поворачивай обратно — в доме чужие. Так по крайней мере когда-то условились с дядькой Романом. Правда, то было давно, с осени они сюда не заглядывали — кружили в других местах, по ту сторону шоссе, пока голод и фельдшанмерия опять не загнали их туда, откуда месяц назад выгнали.

Они приближались к повороту дороги. Рыбак со все возрастающим нетерпением всматривался поверх кустарника, но в сером дремотном сумраке по-прежнему ничего не было видно. Потом минуту поднимались по склону краем дороги — так вели волчьи следы. Очевидно, чувствуя близость жилья, волк осторожно и нешироко ступал, все время прижимаясь к кустарнику. Они так же настороженно и не спеша пробирались снежной обочинной.

Наконец Рыбак первым взшел на пригорок и тут же подумал, что, по-видимому, ошибся — наверно, хутор был несколько дальше. Так нередко случается на малознакомой дороге, что некоторые участки ее исчезают из памяти и весь путь тогда сдается короче, чем на самом деле. Рыбака все сильнее охватывало нетерпение, он ускорял шаг, но опять сзади начал отставать Сотников. Впрочем, Рыбак уже перестал обращать на него внимание — неожиданно и как будто без всякой причины им завладела тревога.

Пуньки все еще не было видно в ночной серости, как не было видно впереди и других построек, зато несколько порывов ветра донесли до них горьковато-едкий смрад гари. Рыбак сначала подумал, что это ему показалось, что несет откуда-то из леса. Он прошел еще сотню шагов, сиюсь увидеть сквозь заросли привычно оснеженные крыши усадьбы. Однако его ожидание не сбылось — хутора не было. Зато и еще потянуло гарью — не свежей, с огнем или дымом, а противным смрадом давно остывших углей и пепла. Поняв, что не ошибается, Рыбак вполголоса выругался и почти бегом припустил краем дороги, пока не наткнулся на изгородь.

Изгородь была на месте, хотя и поломанная, без двух верхних жердочек — несколько пар перевязанных лозой кольев неровно торчали в снегу. Тут, за полоской картофляница, и стояла когда-то та самая пунька. Сейчас на ее месте возвышался белый снеговой холмик, на котором местами выпирало-бугрилось что-то темное — недогоревшие головешки, что ли? Немного в отдалении, у молодой яблоневого посадки, где были постройки, тоже громоздились занесенные снегом бугры с полуразрушенной, нелепо оголенной печью посередине. На местах же саераев — не понять было, — наверно, не осталось и головешек.

Минуту Рыбак стоял возле изгороди все с тем же неумолкавшим ругательством в душе, не соображая, что делать дальше. Невольно перед глазами возникла недавняя картина человеческого жилья с его немудреным крестьянским уютом: в хате возле печи хлопотала бабка Меланья, пекла драники, а они сидели без сапог на печи и дурачились с хохотуньей Любкой, угощавшей их сушеными лесными орехами.

Тем временем сзади подошел Сотников. Наверно, он тоже понял все с первого взгляда и, покашливая, молча смотрел на погребенные под снегом остатки бывшей хуторской усадьбы. Рыбак, преодолев наконец оцепенение, перешагнул жердь и прошел по двору к печи, укрытой шапкой свежего снега. Совершенно нелепо было видеть на ней этот снег, плотным пластом лежавший на загнетке и даже запечатавший устье печи. Трубы наверху уже не было, наверно, обвалились во время пожара и сейчас вместе с головешками неровной кучей бугрилась под снегом.

— Сволочи! — зло выругался Рыбак.

За ним на чистый снег пустого подворья вышел Сотников, уныло постоял немного и отошел к колодезному срубу. Колодец, кажется, был тут единственным, что не пострадало в недавнем разгроме. Цел оказался и журавль. Высоко задранный его крюк тихо раскачивался на холодном ветру.

Рыбак растерянно побродил по двору, пнул сапогом пустое дырявое ведро, обошел разломанный, без колес, ящик полузаметенной снегом телеги. Больше тут нечем было поживиться — то, что не сожрал огонь, наверно, давно растащили люди. Усадьба сгорела, и никого на ней уже не было. Даже не сохранилось следов человеческих ног, лишь волчьи петляли за изгородью — наверно, волк тоже имел какие-то свои виды на этот хутор.

— Ах, гады, гады! — сокрушался Рыбак.

— Выдал кто-то, — сипло отозвался у колодца Сотников. Боком прислонившись к срубу, он заметно поеживался от стужи, и когда переставал кашлять, слышно было, как в его груди тихонько похрипывало, словно в неисправной гармонии. Рыбак помолчал, потом запустил в карман руку и собрал между патронов горсть пареной ржи — остаток его сегодняшней нормы.

— Хочешь?

Без особой готовности напарник протянул руку, в которую Рыбак отсыпал из своей горсти. Оба молча пожевали мягкие холодные зерна.

— Подрубали, называется!

Рыбак понимал, что начинает всерьез не везти, и впервые подумал, что это их невезение перестает быть случайностью. И не так важно было, что сами остались голодными, — больше тревожила мысль о тех, которые мерзли теперь на болоте. За неделю боев и беготни по лесам люди измотались, отошдали на одной картошке, без хлеба, к тому же чегверо было ранено. двоих несли с собой на носилках. А тут полицаи и жандармерия обложили так, что нигде не высунуться, только один этот край болота и оставался еще не закрытым. Но сюда далеко не

пройдешь — через три километра местечко с гарнизоном, патрули на дорогах, полиция, к тому же безлесье — туда путь им заказан.

Дожевав рожь, Рыбак оценивающе оглядел Сотникова.

— Ну как ты? Если плох, топай назад. А я, может, куда в деревню подскочу.

— Один?

— Один, а что? Не возвращаться же с пустыми руками.

Сотников молчал, лишь зябко подрагивал от холода: на ветру начал люто пробирать мороз. Чтобы как-то сохранить остатки тепла, он все глубже засовывал озябшие руки в широкие рукава шинели.

— Что ты шапки какой не достал? Разве эта согреет? — с упреком сказал Рыбак.

— Шапки же в лесу не растут.

— Зато в деревне у каждого мужика шапка.

Сотников ответил не сразу:

— Что же с мужика снимать?

— Не обязательно снимать. Можно и еще как.

— Ладно, давай потопали, — оборвал разговор Сотников.

Они перелезли через изгородь и сразу оказались в поле. Сотников враз ссутулился, глубже втянул в воротник маленькую в пилотке голову, норовя на ходу отвернуться от ветра. Рыбак откуда-то из-за пазухи вытащил замусоленное, будто портянка, вафельное полотенце и, стяхнув его, повернулся к Сотникову.

— На, обмотай шею. Все теплей будет.

— Да ладно...

— На, на! Оно, знаешь, как греет!

Сотников нехотя остановился, зажал между колен винтовку и скрюченными, негнущимися пальцами кое-как закутал полотенцем шею.

— Ну во! — удовлетворенно сказал Рыбак. — А теперь давай рванем в Гузаки. Тут пара километров, не больше. Чем-нибудь расстараемся, не может быть...

Глава вторая

В поле было намного холоднее, чем в лесу, навстречу дул упругий, не сильный, но морозный ветер, от него до боли заходились ооченевшие без перчаток руки: как Сотников ни прятал их то в карманы, то в рукава, то за пазуху — все равно мерзли. Тут недолго было обморозить лицо и особенно уши, которые Сотников то и дело тер суконным рукавом шинели. За ноги он не опасался: ноги в ходьбе грелись. Правда, на правой отнялись, потеряв чувствительность, два пальца, но они теряли ее всегда на морозе и обычно начинали болеть в тепле. Но на холоде мучительно ныло все его простуженное тело, а сегодня вдобавок ко всему его начало еще и лихорадить.

Хорошо, что снег в поле был достаточно тверд или не слишком глубокий, они почти всюду шли поверху, лишь местами проваливаясь то одной, то другой ногой, проламывая затвердевший от мороза наст. Держались вдоль грядки бурьяна на меже, направляясь по склону вниз; сзади из сумерек тянулись два неровных ряда следов. В поле было немного светлее, чем в лесу, серый призрачный сумрак раздвинулся шире, вокруг на снегу дрожали от ветра сухие мерзлые стебли бурьяна. По сторонам кое-где виднелись одинокие полевые деревца. Спустя четверть часа в ложине перед ними затемнелся какой-то кустарник — наверно, лозняк или ольшаник над речкой.

Сотников чувствовал себя куда как скверно: кружилась голова. временами что-то как будто проваливалось, исчезало из сознания, и

тогда на короткое время он забывал, где находится и кто с ним. Наверно, в самом деле надо было воротиться или вовсе не трогаться из леса в таком состоянии, но он просто не допускал мысли, что может всерьез заболеть. Не хватало еще болеть на войне. Никто из них не болел так, чтобы освобождали от заданий, да еще таких пустяковых, как это. Кашляли, простуживались многие, но простуда не считалась в лесу болезнью. И когда там, у костра на болоте, командир вызвал его по фамилии, Сотников не подумал о болезни. А минуту спустя, узнав, что предстоит сходить за продуктами, даже обрадовался, потому что все эти дни был голоден, к тому же привлекала возможность погреться какой-нибудь час в домашнем тепле.

И вот погрелся.

В лесу все-таки было легче, а тут, на ветру, он почувствовал себя совсем плохо и даже испугался, что может упасть: так кружилась голова и от слабости вело из стороны в сторону.

— Ну, как ты?

Остановившись, Рыбак обернулся, подождал, и от этого его простого вопроса, на который не обязательно было отвечать, у Сотникова потеплело в душе. Больше всего он боялся из напарника превратиться в обузу, хотя и знал, что, если случится наихудшее, выход для себя найдет сам, никого не обременяя. Даже и Рыбака, на которого как будто можно было положиться. После недавнего перехода шоссе, когда они прикрывали остатки их группы, они как-то сблизились между собой и все последние тяжелые дни держались вместе. Наверно, потому вместе попали и на это задание.

— Вот лошину протопаем, а там за бугром и деревня. Недалеко уже,— подбадривал Рыбак, замедляя шаг, чтобы идти рядом.

Сотников догнал его, и они вместе пошли по склону. Снег тут стал глубже, чем был на пригорке, ноги чаще проламывали тонковатый наст; месяц теперь блестел за их спинами. Ветер сильными порывами раздольно гулял по снежному полю, короткие полы шинели хлестали по озябшим коленям Сотникова. Рыбак вблизи пристальнее взглянул на товарища.

— Все спросить хочу: в армии ты кем был? Наверно, не рядовым, а?

— Комбатом.

— В пехоте?

— В артиллерии.

— Ну так мало ходил. А я вот в пехоте всю дорогу гопаю.

— И далеко протопал? — спросил Сотников, вспоминая свой путь на восток. Но Рыбак это понял иначе.

— Да вот как видишь. От старшины до рядового прошел. А ты кадровый?

— Не совсем. До тридцать девятого в школе работал.

— Что, институт окончил?

— Учительский. Двухгодичный.

— А я, знаешь, пять классов всего. И то хоть бы...

Рыбак не договорил — вдруг провалился обеими ногами, негромко выругался и взял несколько в сторону. Тут начинался кустарник, заросли лозы, камыша, снег стал рыхлее и почти не держал наверху; под ногами, кажется, было болото. Сотников нерешительно остановился, выбирая, куда ступить.

— За мной, за мной держи. По следам, так легче,— издали сказал Рыбак и решительно двинул в заросли.

Сотников пошатнулся, не сразу попадая в его след, но тоже полез в кустарник.

Какое-то время они пробирались по широкой ложине в кустарнике, вылезли из зарослей мерзлого тростника, отчаянно шелестевшего вокруг, перешли засыпанную снегом речушку и снова пошли лугом, разгребая ногами рыхлый глубокий снег. Сотников совершенно изнемог, тяжело дышал и едва дождался, когда кончится эта болотистая низина и начнется поле. Наконец кустарник остался позади, перед ними полого поднимался склон. Снега стало меньше. Но идти вверх оказалось не легче. Сотникова все больше одолевала усталость, появилось какое-то странное безразличие ко всему на свете. Только огромным усилием воли он принуждал себя двигаться, не упасть. В ушах тягуче со звоном гудело — от ветра или, может, с усталости.

На середине длинного склона стало и вовсе плохо: подкашивались ноги. Хорошо еще, что снегу тут было мало, а местами его и вовсе поддувало ветром, и тогда под подошвами проступали пыльные глинистые плешины. Рыбак вырвался далеко вперед — наверно, старался достичь вершины холма, чтобы оглядеться, — кажется, уже скоро должна была появиться деревня. Но еще не дойдя до вершины, он остановился. Сотникову показалось, что он там что-то увидел, но отсюда ему еще плохо видно: снеговой холм полого поднимался к звездному небу и где-то растворялся там, исчезая в тусклом мареве ночи. Позади же широко и проторно раскинулась серая притуманенная равнина с прерывистой полосой кустарника, слабыми очертаниями каких-то пятен, расплывчатых теней, а еще дальше, почти не просматриваясь отсюда, затаился в темени лес, из которого они вышли. Оя был далеко, тот лес, а вокруг стыло на морозе ночное поле — если что случится, помощи ждать неоткуда.

Рыбак все еще стоял, отвернувшись от ветра, когда Сотников кое-как приволокся к нему. Он уже не придерживался его следа — ступал куда попало, лишь бы не упасть. И, подойдя, неожиданно увидел: Рыбак стоял на дороге.

Они ничего не сказали друг другу, вслушались, взгляделись и медленно пошли вверх — один по правой, а другой по левой колее дороги. Дорога, наверно, вела в деревню — значит, может, еще удастся дойти туда, не свалиться в пути. Вокруг простирался все тот же призрачный ночной простор — серое поле, снег, сумрак со множеством неуловимых теневых переходов, пятен, и нигде не было ни огонька, ни движения — смолкла, замерла, притаилась земля.

— Тихо!

Рыбак шагнул и замер, коротко скрипнул и затих под его сапогами снег. Рядом неподвижно вытянулся Сотников. Откуда-то с той стороны, куда уходила дорога, невнятно донесся голос, обрывок какого-то окрика — вырвался в морозную ночь и пропал. Они тревожно взгляделись в ночь — недалеко впереди, в ложбинке, похоже, была деревня: неровная полоса чего-то громоздкого мягко серела в сумраке. Но ничего определенного там нельзя было разобрать.

Замерев на дороге, оба минуту всматривались, не будучи в состоянии понять, действительно ли это был крик или, может, им показалось, — вокруг с присвистом шуршал в бурьяне ветер и лежала немая морозная ночь. И вдруг снова, гораздо уже явственней, чем прежде, донесся человеческий крик — команда или, может, ругательство, — а затем, разом уничтожая все их сомнения, вдали бабахнул и эхом прокатился по полю выстрел.

Рыбак, что-то поняв, с облегчением выдохнул, а Сотников, наверно, оттого, что долго сдерживал дыхание, вдруг закашлялся.

Минуту его неотвязно бил кашель, как он ни старался унять его, все прислушиваясь, не донесутся ли новые звуки. Правда, и без того

уже было понятно, чей это выстрел: кто же еще, кроме немцев или их прислужников, мог в такую пору стрелять в деревне? Значит, в том направлении путь им закрыт, надо поворачивать обратно.

Выстрелов, однако, больше не было, раза два ветер донес что-то похожее на голос — разговор или окрик, не разобрать. Выждав, Рыбак сквозь зубы сплюнул на снег и выругался:

— Шуруют, сволочи! Для великой Германии.

Они еще постояли недолго, прислушиваясь к ветреной тиши, обеспокоенные вопросом: что делать дальше, куда податься? Будто еще на что-то надеясь, Рыбак продолжал вглядываться в ту сторону, где во мраке исчезала дорога; Сотников же, отвернувшись от ветра, мелко дрожал.

— Значит, туда нечего и соваться, — решил Рыбак, озадаченно переминаясь на скрипучем снегу. — Как ты, ничего? Может, давай ложбинкой пройдем? Тут где-то, помнится, еще должна быть деревушка.

— Давай, — односложно согласился Сотников и зябко передернул плечами. Ему было все равно куда идти, лишь бы не стоять на этом пронизывающем ветре. Чувства его дремотно тупели, по-прежнему кружилась голова. Все его усилия теперь уходило на то, чтобы не споткнуться, не упасть.

Они свернули с дороги и по снежной целине направились туда, где вдали широким пятном темнел кустарник. Снег на склоне сначала был мелкий, по щиколотку, но постепенно становился все глубже, особенно в низинке. К счастью, низинка оказалась неширокой, они скоро перешли ее и повернули вдоль зарослей мелколесья, близко, однако, не подходя к ним. Сотников плохо ориентировался на этой местности и во всем полагался на Рыбака, который облазил здешние места еще осенью, по черной тропе, когда их небольшой отряд только еще собирал силы на Горелом болоте. Начав с небольшой диверсии на дороге, этот отряд затем перешел к более крупным делам — взорвал мост на Ислянке, сжег льнозавод в местечке, но после убийства какого-то крупного немецкого чиновника экупанты всполошились. В конце ноября три роты жандармов, оцепив Горелое болото, начали облаву, из которой они едва вырвались тогда в соседний Борковский лес.

Сотников, однако, в то время был далеко отсюда и едва ли думал о партизанах. Он делал третью попытку пробиться через линию фронта и не допускал мысли, что может оказаться вне армии. Двенадцать суток он пробирался из-под Слонима от самой Щары с небольшой группой артиллеристов — теми, кто уцелел из всего когда-то мощного корпусного артиллерийского полка. Но на Березине во время переправы они почти все были расстреляны из засады, а кто уцелел или не пошел к дну, оказался в плену у немцев.

Да, это были отличные ребята, его артиллеристы, разведчики, огневики и связисты, круглый год он получал с ними только пятерки и благодарности от начальства — за боевую подготовку, мастерство и меткую стрельбу на полковых, армейских и показательных учениях.

А на войне все получилось иначе. Случилось так, что в распоряжении батареи осталось несколько считанных секунд, и наибольший результат дали те, кто скорее сориентировался, проворнее успел зарядить, кто просто оказался ловчее и не растерялся в момент, когда у него самого задрожали руки.

Рыбак уверенно шагал вперед вдоль опушки леска. Снег тут был неглубокий, сукожные растоптанные бурки Сотникова, недавно доставшиеся ему от убитого партизана из местных, ровно шорхали по снежной замяти. Их путь лежал вниз, ветер заходил сбоку, месяц тускло и ровно блеснул с небосклона. По-прежнему было морозно и ветрено, от стужи

у Сотникова все сжалось, одревенело внутри. Казалось, никогда в жизни он не испытывал такого собачьего холода, как в эту проклятую ночь. От усталости и однообразного шуршания ветра в бурьяне голова полнилась гулом и путаницей случайных мыслей, невнятными обрывками фраз, разговоров...

Наихудшее из всего состояло для Сотникова в том, что это был его первый и его последний фронтвой бой, к которому комбат готовился в течение всей своей службы в армии. Послушная ему ждала его команд грозная техника, были снаряды, рядом ехали натренированные за много месяцев орудийные расчеты, готовые показать врагу огневую силу своих орудий. К сожалению, этот злосчастный бой еще раз засвидетельствовал тот непреложный, но нередко игнорируемый факт, что в усвоении опыта предыдущей войны не только сила, но, наверное, и слабость армии. Наверно, все же характер каждой следующей войны складывается не столько из типических закономерностей предыдущей, сколько из незамеченных или игнорированных ее исключений и неожиданностей, что и формирует как ее победы, так и ее поражения. Жаль, что Сотников понял это слишком для себя поздно, когда уроки короткой фронтвой науки были для него уже бесполезны, а вся его батарейная мощь превратилась в грудку покореженного металла на булыжном шоссе под Слонимом.

Все это представлялось теперь, как страшный, кошмарный сон, и, хотя и потом на его долю выпало немало чудовищных испытаний, тот первый бой никогда не изгладится в его памяти.

...Четвертый день грохочущая колонна полка тащилась по лесным и проселочным дорогам на запад, потом свернула на юг, но не проехала и десятка километров, как ее повернули на север. Трактора своим неумолчным ревом оглушали окрестность, от перегрева кипела вода в радиаторах, пот и пыль разъедали лица бойцов. С раннего утра до темноты над ними висела немецкая авиация, «юнкерсы» непрерывно осыпали колонну бомбами. Все на дороге было завалено песком и землей, смрадно горели тягачи, уцелевшие безостановочно объезжали их: колонна не прекращала движения. Бойцы со станин беспорядочно палили вверх из винтовок, но пользы от такой их стрельбы было мало. Они даже не могли заставить самолеты подняться выше, и те носились над дорогой, едва не задевая верхушки посадок.

Сотников сидел на головном тракторе и как избавления, как самого большого счастья жаждал команды съехать с этой проклятой дороги, развернуться и с ячейкой управления выйти навстречу врагу. Тогда бы он обрушил на его голову такое, что тому и не снилось. Но не было даже команды остановиться, полк все двигался и двигался, и каждые два часа над ним разгружались обнаглевшие «юнкерсы» и «хейнкели», перед которыми вся эта огневая мощь была беззащитной.

Так наступила последняя ночь их блуждания по западнобелорусским дорогам.

Полк был уже далеко не тот, что вначале, несколько расчетов погибло, в его батарее почти прямым попаданием бомбы разворотило на дороге орудие. Правда, три еще оставались исправными, разве что со вмятинами на щитах, с изодранной гусматикой колес и множеством осколочных царапин на стволах и станинах. У второго орудия потек пробитый накатник. Четверых погибших батарейцы везли в прицепе на снаряжных ящиках, семерых раненых отправили в тыл. Впрочем, это были еще не самые большие потери — другим батареям досталось хуже. Полковая колонна сократилась едва не наполовину, несколько орудий осталось на дороге: поврежденные трактора не могли их тянуть, а запасных не было. Теперь почти всю ночь двигались на восток, и в этом

был плохой признак: ПНШ, закуривший из его пачки, намекнул на окружение, оно и в самом деле было похоже на то. Бойцы не спали все четверо суток, некоторые, сидя на станинах, немного вздремнули по утрам — ночь была самой спокойной порой, если бы не эта неопределенность в обстановке, черной плахой нависшая над полком. Перед рассветом сделали короткую остановку в какой-то деревне, навстречу шли пехотинцы; невдалеке, видно было в ночи, зажженное авиацией что-то горело ярким на полнеба пламенем, — говорили, станция. Никто им не объяснил ничего, видно, командиры знали не больше бойцов, но людям как-то само собой передалось, что совсем близко немцы. Вскоре командир полка майор Парахневич повернул колонну на боковую, обсаянную вербами дорогу. Поехали куда-то на юг. Ночью было спокойнее без авиации, зато они были слепы и глухи: за ревом тракторов ничего невозможно было услышать, а в летней ночной темноте не много увидишь. Перед самым рассветом Сотников не выдержал и только задремал на сиденье, как громовой взрыв на обочине вырвал его из сна. Комбата обдало землей и горячею волной взрыва, он тут же вскочил: «комсомолец» сильно осел на правую гусеницу. И тут началось...

Как раз светало, за вербами ярко синел край неба и серело овсяное поле, а откуда-то спереди, от головы колонны, их начали расстреливать танки. Не успел Сотников соскочить с трактора, как рядом заглох тягач третьей батареи, провалилась в воронку гаубица. Оглушенный близкими ударами взрывов, он скомандовал батарею развернуться вправо и влево, но не так просто было вывернуться с громоздкими орудиями на узкой дороге. Второй расчет бросился через канаву в овес и тут же получил два снаряда в трактор, гаубица опрокинулась, задрав вверх колесо. Утро осветилось ярким пламенем горящих тракторов, посадки застлало соляровым дымом — танки расстреливали полк на дороге.

Это было наихудшее, что могло случиться, — они погибали, а всяих огневая мощь оставалась почти неиспользованной. Поняв, что им отведено несколько скупых секунд, Сотников с расчетом кое-как развернул посреди дороги последнюю уцелевшую гаубицу и, не укрепляя станин, едва успев содрать чехол со ствола, выстрелил тяжелым снарядом. Сначала нельзя было и разглядеть, где те танки: головные в колонне машины горели, уцелевшие бойцы с них бежали назад, дым и покореженные трактора на дороге мешали прицелиться. Но полминуты спустя между вербами он все же увидел первый немецкий танк, который медленно полз за канавой и, свернув орудийный ствол, гахал и гахал выстрелами наискосок по колонне. Сотников оттолкнул наводчика (орудие было уже заряжено), дрожащими руками кое-как довернул толстенный гаубичный ствол и наконец поймал это еще тусклое в утренней дымке страшилище на перекрестии панорамы.

Выстрел его грохнул подобно удару грома, гаубица сильно сдала назад, больно ударила панорамой в скулу; внизу из-под незакрепленных сошников брызнуло искрами от камней, одна станина глубоко врезалась сошником в бровку канавы, вторая осталась на весу на дороге. Сквозь пыль, поднятую выстрелом, он еще не успел ничего разглядеть, но услышал, как радостно закричал наводчик, и понял, что попал. Он тут же опять припал к панораме — едва не закрывая собой все ее поле зрения, за дорогой двигался второй танк, комбат вперил гаубичный ствол в его серый лбище — так близко тот казался в оптике — и крикнул: «Огонь!» Замковый отреагировал вовремя, выстрел опять оглушил его, но в этот раз он успел уклониться от панорамы и за пылью перед стволом увидел, как то, что за секунду до выстрела было танком, хрястнуло, будто яичная скорлупа, и от мощного внутреннего взрыва круп-

ными частями развалилось в стороны. Неповоротливая, тяжелая, предназначенная для стрельбы из далекого тыла гаубица своим мощным снарядом разнесла танк вдребезги.

Неожиданно их охватил азарт боевой удачи. Уже не обращая внимания на потери, на убитых и раненых, что, истекая кровью, корчились на пыльном булыжнике, на огонь, пожиривший их технику, и град пуль оттуда, из танков, несколько уцелевших орудий вступили в неравный бой с танками. Тем временем рассвело, уже стало видать, куда целиться. Несколько пожаров дымно пылали за дорогой: немецкие машины горели.

Сотников выпустил шесть тяжелых снарядов и разнес вдребезги еще два танка. Но какое-то подсознательное, обостренное опасностью чувство подсказало ему, что удача кончается, что судьбой или случаем отпущенные секунды использованы им полностью, что следующий второй или третий снаряд из танков будет его. Впереди живых, наверное, уже не осталось, последним притащился оттуда и упал, обливая кровью станину, командир полка; рядом в канаве бахали из карабинов несколько бойцов — метили в танковые щели. Возле ящиков уткнулся головой в землю заряжающий Коготков, сзади никого больше не было. Тогда Сотников на четвереньках сам бросился к снарядному ящику, однако еще не успел доползти до него, как сзади оглушающе грохнуло. Тугая волна взрыва распластала его на булыжнике, и черное удушливое покрывало на несколько долгих секунд совершенно закрыло собой дорогу. Задохнувшись от земли и пыли, он краешком сознания все же почувствовал, что жив, и тут же под левой земляной трухи, которая низринулась сверху, рванулся к орудию. Но гаубица уже немощно скосбочилась на краю воронки, ствол взрывом свернуло в сторону, смрадно горела резина колесного обода. И тогда он понял, что это — конец. Он плохо еще соображал, сам уцелел или нет, но только чувствовал, что оглох: взрывы вокруг ушли за непроницаемую толстую стену, другие звуки все разом исчезли, в голове стоял протяжный болезненный звон. Из носа показалась кровь, он грязно размазал ее по лицу и сполз с дороги в канаву. Напротив за вербами, тяжело переваливаясь на гусеницах, шел, наверно, тот самый, подбивший его танк. Свежий утренний ветер стлал черные космы дыма от пылающего трактора, жирно воняло соляжкой и тротилом от взрывов, дымно тлела гимнастерка на плече уже неживого командира полка...

Потрясенный неожиданностью разгрома, Сотников минуту осоловело смотрел на ползущие за дорогой немецкие танки, их номера и чернобелые, выбитые по трафарету кресты. И тогда кто-то дернул его за рукав, он повернул голову — рядом появилось запачканное сажей и кровью лицо бойца, который что-то кричал ему и показывал рукой в тыл, куда по канаве бежали бойцы.

Они вскочили и сквозь вонючий дым над дорогой, пригнувшись, также побежали туда.

Глава третья

Рыбак обошел мысок мелкоколосья и остановился. Впереди на склоне пригорка в едва серевшем пространстве ночи тускло темнели крайние постройки деревни. Как она выглядела отсюда, Рыбак уже не помнил: когда-то, в начале осени, они проходили стороной по дороге, но в деревню не заходили. Впрочем, сейчас это его мало интересовало — важнее было угадать, нет ли там немцев или полицаев, чтобы ненароком не угодить в западню.

Минуту он постоял возле кустарника, прислушиваясь, но ничего подозрительного в деревне вроде не было слышно. Донеслось несколько разрозненных, приглушенных ночью звуков, лениво протягивала собака, по-прежнему упруго и настойчиво дул ветер, тихо посвистывая рядом в мерзлых ветвях, пахло дымом — где-то, наверно, топили. Тем временем сзади подошел Сотников и, остановившись, тоже всмотрелся в сумерки.

— Ну что?

— Вроде тихо,— негромко сказал Рыбак.— Пошли помалу.

Было бы удобнее и короче свернуть к крайней в этой деревне избушке, что темнела невдалеке, но самые окна увязнув в сугробе,— там началась улица. Но возле нее всегда большой риск напорются на неприятность: в конце улицы обычно заканчивают свой маршрут караульщики и патрули, там же устраивает засады полиция. И он свернул по снегу в сторону. Вдоль проволочной ограды они перешли лощинку, направляясь к недалеким постройкам, тесно сгрудившимся в конце огородов на отшибе. Это было гумно. Там еще постояли минуту за растрескавшимся углом пуньки или тока с продранной крышей, прислушались, и Рыбак с оглядкой вышел на пригуменье. Отсюда было рукой подать до низенькой, сиротливо покосившейся избушки при одном сарайчике, куда вела протоптанная по снегу тропинка,— он сделал по ней два шага, но тут же соступил на снег — на тропинке пронзительно закрипело под сапогами. За ним принял в сторону Сотников, и они пошли вдоль стежки к избе.

Они еще не достигли сарайчика, как до их слуха явственно донесся стук,— похоже, кто-то рубил дрова, рубил вроде бы с неохотой, вполсилы. Рыбак обрадовался: если рубят дрова — значит, в деревне, наверно, все тихо, чужих нет. К тому же не надо стучать в окно, проситься впустить — обо всем можно будет расспросить дровосека. Правда, он тут же подумал, что неосторожностью можно спугнуть человека,— завидев чужих, запрется, тогда попробуй его вытащить из избы. И он как можно тише обошел сарайчик, переступил через концы брошенных на снегу жердей и вышел из-за угла.

В темновато-серых сумерках двора он не сразу разглядел сгорбленную женскую фигуру у ограды. Заслышав шаги, женщина испуганно вскрикнула.

— Тихо, мамаша! — негромко сказал Рыбак.

Растерявшись, она стояла перед ним — низенькая пожилая тетка в грубом, толсто повязанном на голове платке — и не могла вымолвить слова. Рыбак из предосторожности взглянул на ведущую в сени дверь, та была закрыта, больше во дворе вроде никого не было. Впрочем, он не очень и опасался, так как уже решил, что в этой деревне спокойно. Полицаи, пожалуй, засели за самогон, а немцы вряд ли тут появлялись.

— Ой, господи-боже, и напугалась же! Ой, господи...

— Ладно, хватит креститься. Полицаев в деревне много?

— А нет полицаев. Был один, так в местечко недавно перебрался. А больше нет.

— Так.— Рыбак прошелся по двору, выглянул из-за угла.— Деревня как называется?

— Лясины. Лясины деревня,— полная внимания и еще не прошедшего испуга, с готовностью отвечала тетка. Ее топор глубоко сидел в суковатом еловом полене, которое она, очевидно, тщетно пыталась расколоть пополам.

Рыбак уже прикинул, что неплохо тут бы и отовариться: подход — выход хороший, на пути гумно, лесок, если что, все это прикроет от чужого глаза.

— Кто еще дома?

— Так одна ж я,— будто удивившись их неосведомленности, ответила женщина.

— И больше никого?

— Никого. Одна вот живу,— вдруг пожаловалась она, все не сводя с него выжидательно-тревожного взгляда, наверно стараясь угадать гайную цель их ночного визита. Рыбака, однако, мало тронул этот ее жалостливо-покорный тон, ему уже были знакомы эти наивные повадки деревенских теток,— разжалобить его было трудно. Теперь он изучал обстановку на дворе — увидел раскрытые ворота в сарай и заглянул в его глухой, полный навозного запаха мрак.

— Что, пусто?

— Пусто,— упавшим голосом подтвердила женщина, не отходя от топора.— Забрали все чисто.

— Кто забрал?

— Ну, известно кто. Как у красноармейской матери. Чтоб им подавиться.

Тут Рыбак с мимолетным сочувствием взглянул на женщину — если та перешла на проклятия, значит, не врет, можно верить. И он про себя недовольно чмыкнул, поняв, что и здесь ничего не выйдет — не до нитки же обирать ее, и без того обобранную немцами. Придется искать дальше.

Сотников, ссутулясь, уныло ожидал под стеной, и Рыбак шагнул к женщине:

— Что, не расколешь?

Тетка догадалась, что он поможет, и, заметно обрадовавшись, как-то сразу сбросила с себя пугливую настороженность.

— Да вот, лихо на него, вбила — не выдеру. С вечера бьюсь, ни туда, ни сюда.

— А ну дай!

Рыбак закинул за спину карабин и обеими руками взялся за гладкое сухое топорщице. Хакнув, сильно ударил поленом о колоду, потом еще. Ударял метко, с удовольствием, ощущая силу в руках и привычную с детства сноровку, когда так же вот зимними вечерами колол на утро дрова. Пилить не любил, а колоть всегда был готов с охотой, находя как бы извечное удовлетворение в этой трудной, но не лишенной мужского удалества работе.

На четвертом ударе трещина криво обежала сук, и полено развалилось надвое. Он расколол еще и половинки.

— От спасибо, сынок. Дай тебе бог здоровечка,— без тени недавней скованности благодарила тетка.

— Спасибом не отделаешься, мать. Продукты имеются?

— Продукты? А какие продукты? Бульбочка есть. Мелкая, правда. Если что, заходите, сварю затирки.

— Это что! Нам с собой надо. Скотину какую.

— Э, скотину. Где ее взять теперь...

— А там кто живет? — Рыбак показал рукой через огород, где за островерхим тыном белела снежная крыша соседней постройки. Кажется, там топили: ветер заносил во двор запах дыма и чего-то съестного.

— А Пётра Качан. Он теперь старостой тут,— простодушно сообщила тетка.

— Да? Здешний староста? Ты слышишь?—Рыбак повернулся к Сотникову, который, прислонясь к бревну, терпеливо стоял под стеной.

— Ну. Поставили старостой.

— Сволочь, да?

— А не сказать. Свой человек, тутушный.

Рыбак, секунду помедлив, решил:

— Ладно, пошли к старосте. Он-то уж, наверно, побогаче тебя.

Они не стали искать стежку, подлезли под жердь в изгороди, перешли засыпанный золой и картофельной кожурой огород и через дыру в старом тыне пролезли во двор старосты.

Тут порядки было побольше, чем на соседнем дворе, во всем чувствовалась заботливая рука хозяина. С трех сторон двор обступали постройки: изба, сарай, какой-то легкий навес; у крыльца стояли сани с остатками сена в розвальнях — верное свидетельство того, что хозяин дома. Под крышей сарая высился ладный штабелек наготовленных — напиленных и поколотых — дров.

Когда они еще переходили огород, Рыбак заметил в замерзшем окошке тусклые отблески света — наверно, от коптилки, и теперь уверенно ступил на скрипучие ступеньки крыльца.

Он не стучал — дверь была не заперта, справиться с ней ему, сельскому жителю, было привычно и просто: повернул на четверть оборота завертку, и дверь, тихо скрипнув, сама растворилась. Он прошел в темные сени, вдыхая полузабытые, густо устоявшиеся крестьянские запахи, осторожно повел рукой по стене. Пальцы его наткнулись на какую-то залубеневшую от стужи одежду, затем на дверную планку. Нашупав подле нее прокаленную морозом завесу, он легко отыскал одинаковую во всех деревенских домах скобу. И эта дверь оказалась незапертой, он потянул ее на себя и переступил высоковатый порог, передавая скобу в холодные руки Сотникова.

На опрокинутой посреди стола миске горела коптилка, огонек ее испуганно выгнулся от клуба холодного воздуха. Пожилой, с коротко подстриженной бородой человек, сидевший за столом в наброшенном на плечи тулупчике, поднял седую голову. На его широко, непривычно освещенном снизу лице коротко блеснул недовольный взгляд, тут же, однако, и потухший под низко опущенными седыми бровями.

— Добрый вечер, — со сдержанной вежливостью поздоровался Рыбак.

Конечно, можно бы и без этого приветствия немецкому прислужнику, но Рыбаку не хотелось сразу начинать неприятный для него разговор. Старик, однако, не ответил, даже не пошевелился за столом, только еще раз уже без любопытства глянул на них.

Сзади все несло холодом — Сотников неумело громыхал дверью, тщетно стараясь захлопнуть ее. Рыбак обернулся, с привычным приступком закрыл дверь. Хозяин наконец медленно выпрямился за столом, не меняя, однако, безучастного выражения на лице — будто и не догадывался, кто они, эти непрошенные ночные гости.

— Ты здешний староста? — официально спросил Рыбак, вразвалку направляясь к столу. В трофейных его сапогах было скользко с мороза, и он невольно сдерживал свой шаг. Старик вздохнул и, наверно поняв, что предстоит разговор, закрыл толстую книгу, которую перед тем читал у коптилки.

— Староста, ну, — сказал он ровным, без тени испуга или подобострастия голосом. В то время в запечье послышался короткий шорох, и из-за занавески, поправляя на голове платок, появилась маленькая, худенькая и, видно по всему, очень подвижная женщина — наверно, хозяйка этой избы. Рыбак снял с плеча и приставил к ногам карабин.

— Догадываешься, кто мы?

— Не слепой, вижу. Но ежли за водкой, так нету. Всю забрали.

Рыбак со значением взглянул на Сотникова: старый пень — не принимает ли он их за полицаяв? Впрочем, так, может, и лучше, подумал он и, сохраняя добродушную невозмутимость, сказал:

— Что ж, обойдемся без водки.

Староста помолчал, будто размышляя над чем-то, подвинул ближе к краю стола миску с коптилкой. На полу стало светлее.

— Если так, садитесь.

— Ага, садитесь, садитесь, детки,— обрадовалась приглашению хозяйина женщина. Подхватив от стола скамейку, она поставила ее у печки, в которой, видно было, догорали на ночь дрова.— Тут будет теплее, наверно же, озябли. Мороз такой...

— Можно и присесть,— согласился Рыбак, но сам не сел — кивнул Сотникову: — Садись, грейся.

Сотникова не надо было уговаривать — он тотчас опустился на лавку и прислонился спиной к побеленному боку печи. Винтовку держал в руках, будто опирался на нее, пилотку на голове не поправил даже — как была глубоко насунута на примороженные уши, так и осталась. Рыбаку тем временем становилось все теплее, он расстегнул сверху полушубок и сдвинул на затылок шапку. Хозяин оставался за столом с независимо-бесстрастным видом, а хозяйка, сложив на животе руки, настороженно и трепетно следила за каждым их движением. «Боится»,— подумал Рыбак. Следуя своей партизанской привычке, он, прежде чем сесть, прошелся по избе, будто невзначай заглянул в темный запечек и остановился возле красного фанерного шкафа, отгораживавшего угол с кроватью. Хозяйка уважительно отступила в сторону.

— Там никого, детки, никого.

— Что, одни живете?

— Одни. Вот с дедом так и коптим свет,— с заметной печалью сказала женщина. И вдруг не предложила, а как бы запросила даже: — Может, вы бы поели чего? Верно ж, голодные, а? Конечно, с мороза да без горячего...

Рыбак еле заметно улыбнулся и довольно потер озябшие руки.

— Может, и поедим. Как думаешь? — с деланной нерешительностью обратился он к Сотникову.— Подкрепимся, если пани старостиha угощает...

— Вот и хорошо. Я сейчас,— обрадовалась женщина.— Капусточка, наверно, теплая еще. И это... Может, бульбочки сварить?

— Нет, варить не надо. Некогда,— решительно возразил Рыбак и искоса взглянул на старосту, который, облокотясь на стол, неподвижно сидел в углу. Над ним, повязанные вышитыми полотенцами, темнели три старинные иконы. Рыбак тяжело протопал сапогами к протенку и остановился перед большой застекленной рамой с фотографиями. Он умышленно избегал прямо взглянуть на старосту, чувствуя, что тот сам не переставая, втихомолку наблюдает за ним.

— Значит, немцам служишь?

— Приходится,— вздохнул старик.— Что поделаешь!

— И много платят?

Дед не мог не почувствовать явной издевки в этом вопросе, но ответил спокойно, с достоинством:

— Не спрашивал и знать не хочу. Своим обойдусь.

«Однако! — заметил про себя Рыбак.— Видно, с характером».

В березовой раме на стене среди полдюжины различных фотографий он высмотрел молодого, чем-то неуловимым похожего на этого деда парня в гимнастерке с артиллерийскими эмблемами в петлицах и тремя значками на груди. Было в его взгляде что-то безмятежно-спокойное и в то же время по-младому нанвно-уверенное в себе.

— Кто это? Сын, может?

— Сын, сын. Толик наш,— ласково подтвердила хозяйка, останавливаясь и через плечо Рыбака заглядывая на фото.

— А теперь где он? Не в полиции случайно?

Староста поднял нахмуренное лицо.

— А нам откуда знать? На фронте был...

— Ой, божечка, как пошел в тридцать девятом, так и пропал. С самого лета ни слуху ни духу. Хотя бы знать: живой или, может, уже и косточки сгнили...— ставя на стол миску со щами, заговорила старостиха.

— Так, так,— сказал Рыбак, не отзываясь на ее жалостливое причитание. Выждав, пока она выговорится, он с нажимом объявил старику:— Опозорил ты сына!

— А то как же! И я ж ему о том твержу день и ночь,—с жаром подхватила от печи хозяйка.— Опозорил и сына и всех чисто...

Это было несколько неожиданно, тем более что старостиха говорила вроде бы с искренней болью в голосе. Староста, однако, никак не отозвался на эти ее слова, неподвижно сидел с поникшим видом, и Рыбаку показалось, что этот дед — просто недоумок какой-то. Но только он подумал о том, как хмурое лицо старосты нахмурилось еще больше.

— Будет! Не твое дело!

Женщина тотчас умолкла, остановившись на полуслове, а староста перил укоряющий взгляд в Рыбака.

— А он меня не опозорил? Немцу отдал — это не позор?

— Так вышло. Не его в том вина.

— А чья? Моя, может? — строго, без тени стеснения или страха спросил старик и многозначительно постучал по столу: — Ваша вина.

— Да-а,— неопределенно произнес Рыбак, не поддержав малоприятный для него и не очень простой разговор, которому, знал, по нынешним временам нету конца.

Хозяйка расстелила коротенькую, на полстола, скатерку, поставила миску со щами, мясной запах от которых властно заглушил все его другие чувства, кроме враз обострившегося чувства голода. Рыбак не испытывал к этому человеку никакого почтения, его общие рассуждения и причины, почему он стал старостой, Рыбака не интересовали — факт службы у немцев определял для него все. Теперь, однако, очень хотелось есть, и Рыбак решил на время отложить дальнейшее выяснение взаимоотношений старика с немцами.

— Сядьте, подкрепитесь немножко. Вот хлебушка вам,— с ласковой приветливостью приглашала хозяйка.

Рыбак, не снимая шапки, полез за стол.

— Давай подрубаем,— сказал он Сотникову. Тот вяло повертел головой:

— Ешь. Я не буду.

Рыбак внимательно посмотрел на товарища, который, покашливая, ссутулился на скамейке. Временами он даже вздрагивал, как в ознобе. Хозяйка, видно мало что понимая в состоянии гостя, удивилась:

— Почему же не будете? Может, брезгуете нашим? Может, еще чего дать?

— Нет, спасибо. Ничего не надо,— решительно сказал Сотников, зябко пряча в рукава тонкие кисти рук.

Хозяйка чистосердечно встревожилась.

— Божечка, может, не догодила чем? Так извините...

Рыбак удобно уселся на широкой скамье за столом, зажал меж колен карабин и не заметил, как в полном молчании опорожнил всю миску. Староста все с тем же угрюмым видом неподвижно сидел в углу. Хозяйка стояла невдалеке от стола с искренней готовностью услужить гостю.

— Так, хлебушко я приберу. Это на его долю,— сказал Рыбак, кивнув в сторону Сотникова.

— Берите, берите, детки.

Староста, казалось, чего-то молча ожидал — какого-нибудь слова или, может, начала разговора о деле. Его большие узловатые руки спокойно лежали на черной обложке книги. Засовывая остаток хлеба за пазуху, Рыбак сказал с неодобрением:

— Книжки почитываешь?

— Что ж, почитать никогда не вредит.

— Советская или немецкая?

— Библия.

— А ну, а ну! Первый раз вижу Библию.

Подвинувшись за столом, Рыбак с любопытством взял в руки книгу, отвернул обложку. Однако он тут же почувствовал, что не надо было делать этого — обнаруживать своего интереса к этой чужой, может еще немцами изданной, книге.

— И напрасно. Не мешало бы и почитать, — проворчал староста.

Рыбак решительно захлопнул Библию.

— Ну, это не твое дело. Не тебе учить. Ты немцам служишь, поэтому нам враг, — сказал Рыбак, ощущая тайное удовлетворение от того, что подвернулся повод обойтись без благодарности за угощение и переключиться на более отвечающий обстановке тон. Он вылез из-за стола на середину избы, поправил на полушубке несколько туговатый теперь ремень. Именно этот поворот в их отношениях давал ему возможность перейти ближе к делу, хотя сам по себе переход и нуждался еще в некоторой подготовке.

— Ты враг. А с врагами у нас, знаешь, какой разговор?

— Смотри кому враг, — будто не подозревая всей серьезности своего положения, тихо, но твердо возразил старик.

— Своим. Русским.

— Своим я не враг.

Староста упрямо не соглашался, и это начинало раздражать Рыбака. Не хватало еще доказывать этому прислужнику, почему тот — хочет того или нет — является врагом советской державы. Вести с ним такой разговор Рыбак не имел никакого желания и спросил с плохо скрытой издевкой:

— Что, может, силой заставили? Против воли?

— Нет, зачем же силой, — сказал хозяин.

— Значит, сам.

— Как сказать. Вроде так.

«Тогда все ясно, — подумал Рыбак, — не о чем и разговаривать». Неприязнь к этому человеку в нем все нарастала, он уже сожалел о времени, потраченном на пустой разговор, тогда как и без того с самого начала все было ясно.

— Так! Пошли! — жестко приказал он.

Вскинув руки, к Рыбаку бросилась старостиха.

— Ой, сыночек, куда же ты? Не надо, пожалей дурака. Старик он, по глупости своей...

Староста, однако, не заставил повторять приказ и с завидным самообладанием неторопливо поднялся за столом, надел в рукава тулуп. Был он совсем седой и, несмотря на годы, большой и плечистый — встав, заслонил собой весь угол с иконами.

— Замолчи! — приказал он жене. — Ну!

Видно, старостиха привыкла к послушанию — всхлипнула напоследок и подалась за занавеску. Староста осторожно, будто боясь что-то задеть, вылез из-за стола.

— Ну что ж, воля ваша. Бейте! Не вы, так другие. Вон, — он коротко кивнул на прогенок, — ставили уже, стреляли.

Рыбак невольно взглянул, куда указывал хозяин,— действительно, на белой стене у окна чернело несколько дыр — похоже, от пуль.

— Кто стрелял?

Готовый ко всему, хозяин неподвижно стоял на середине избы.

— А такие, как вы. Водки требовали.

Рыбак внутренне передернулся: он не хотел уподобляться кому-то. Свои намерения он считал справедливыми, но, обнаружив чьи-то, похожие на свои, воспринимал собственные уже в несколько другом свете. И в то же время не верилось, чтобы староста его обманывал — таким тоном не врут. Тихонько всхлипывая, из-за занавески выглядывала старостиha. На скамейке, сгорбившись, кашлял Сотников, но он ни одним словом не вмешался в его разговор с хозяином — кажется, напарнику было не до того.

— Так. Корова есть?

— Есть. Пока что,— безо всякого интереса к новому обороту дела отрешенно ответил староста. Старостиha перестала всхлипывать и затихла, прислушиваясь к разговору. Рыбак полминуты раздумывал: было весьма соблазнительно пригнать в лес корову, но, пожалуй, отсюда будет далековато, можно не успеть до утра.

— Так, пошли!

Он закинул за плечо карабин, староста покорно надел снятую с гвоздя шапку и молча толкнул дверь. Направляясь за ним, Рыбак бросил Сотникову:

— Ты подожди.

Глава четвертая

Как только дверь за ним затворилась, хозяйка бросилась к порогу.

— Ой, божечка! Куда же он его? Ой, за что же он! Ой, господи!

— Назад! — хрипло выдавил из себя Сотников и, не поднимаясь со скамьи, вытянул ногу, преграждая путь к двери. Женщина испуганно остановилась и отошла на середину избы. Она то всхлипывала, то смолкала, напряженно прислушиваясь к звукам извне. Сотников плохо уловил смысл недавнего здесь разговора, но то, что дошло до его затуманенного горячкой сознания, давало основание думать, что Рыбак, наверное, пристрелит старосту.

Но шло время, а выстрела не было. Закрывая рот уголком платка, женщина все охала и причитала, а Сотников сидел на скамье и стерег, чтобы она не выскочила во двор — не подняла бы крик. Чувствовал он себя плохо. Донимал кашель, очень болела голова, возле горячей печи его бросало то в жар, то в холод.

— Сынок, дай же я выйду! Дай гляну, что они там...

— Нечего глядеть.

Женщина слепо кидалась в полумраке избы, все причитая, наверно, чтобы разжалобить его и прорваться к двери. Но ничего не выйдет, он не поддастся на эти ее причитания. Он очень хорошо помнил, как прошлым летом ему едва не стоила жизни его чрезмерная доверчивость к такой же вот тетке. И также с виду была сама простота с благообразным лицом, в белом платочке на голове. Выйдя из леска, он сразу заметил ее среди свекольной ботвы на огороде и подумал: вот хорошо! Она укажет, как попасть на тропу через болото Черные Выгоры, которое, как сказали ему вчера, можно перейти, лишь разыскав единственную тропку, берущую начало вот от этой деревни.

Он выбрался из мокрого кустарника и вдоль полоски рослой конопля, никем не замеченный, близко подошел к ней, сосредоточенно колушавшейся на грядке. До сих пор его глазам видится ее подоткнутая тем-

ная юбка, белые, незагоревшие икры ног и какая-то поношенная куртка с заплаткою на плече — женщина ломала ботву и не сразу увидела его. Он сдержанно поздоровался, и она, к удивлению, не испугалась, только пристально взгляделась в него, слушая и будто не понимая его такой простой просьбы.

Потом она все очень толково объяснила — и как попасть на тропинку и перейти кладки, и по какую руку оставить хвойный грудок, чтобы не угодить в трясину. Он поблагодарил и хотел уже идти дальше, как она, оглянувшись, сказала: «Погоди, наверное же голоден», — торопливо сложила в подол ботву и повела его по меже на усадьбу. И надо же было ему согласиться! Но он и в самом деле, как весенний волк, был выморен голодом и покорно пошел за ней, радостно предвкушая сытный деревенский завтрак.

Пока они шли, она так же ласково обращалась к нему «сын» и еще, помнил, раза два назвала его «горотничком» — был он небритый, как и сейчас, неумытый, мокрый по колени от росы и вообще весьма жалкий на вид. Разговаривать по-здешнему тоже не умел и скрыть свое явно армейское происхождение не мог — сразу было видеть, кто он и откуда. Оружия в то время у него никакого не было — лишь накануне чудом удалось избежать смерти, когда уже не оставалось малейшей надежды спастись...

Старостиха тем временем все не могла успокоиться, металась по избе и плакала.

— Сыночек, ну как же это? Он же его застрелит.

— Надо было раньше о том думать, — холодно сказал Сотников, стараясь прислушаться к звукам со двора.

— А, деточка, разве я не говорила, разве мало просила! На какое же лихо ему было браться? Были, которые помоложе. Но хорошие сами не хотели, а недобрых люди боялись.

— А его не бояться?

— Петра? Ай, так его же тут все знают, мы же тут весь век свой живем, нашей вон родни полсела. Он же старается ко всем по-хорошему.

— Так уж и по-хорошему!

— Может, и не совсем так. Может, и правда твоя, сынок, — не выходит ко всем по-хорошему. Его же заставляют: то хлеб сдай, то одежду какую собери, то на дорогу приказывают выгонять снег чистить. А он же где возьмет — людей надо принуждать. Своих же обирать.

— А вы как думали? На то и оккупанты, чтоб грабить.

— Грабят, а как же. Чтоб их бог ограбил! Приехали на машинах, побрали свиней. А у нас телку забрали. Говорят: сын в Красной Армии, так чтоб вину сгладить перед Германией. Чтоб она ясным огнем сгорела, та их Германия!

«Проклинай, но не очень я тебе поверю», — сонно думал Сотников, не убирая вытянутой ноги. Помнится, та тоже говорила что-то и про Германию, пока собирала ему еду и нарезала хлеб. Несколько раз выбежала в сени — за салом и молоком в кувшине, а он сидел на скамье у стола и, глотая слюну, дожидался, дурак, угощения. Правда, однажды ему послышалось, будто в сенях кто-то тихо отозвался, потом долетел коротенький шепот, но тут же он узнал в нем сонный голос ребенка и успокоился. Да и хозяйка вернулась в избу спокойная и по-прежнему ласковая, налила ему кружку молока, нарезала сала, и его, помнится, почти что растрогала эта ее доброта. Потом он с жадностью ел хлеб с салом, запивая его молоком, и так, наверное, пропал бы ни за что, если бы какой-то инстинктивный, без видимой причины, испуг не заставил его взглянуть в заслоненное цветами окно. И он на секунду обмер в растерянности: по улице быстро шли двое с винтовками, на их руках белели

повязки, а рядом, объясняя что-то, бежала маленькая, лет восьми девочка.

Жаль, у него тогда отнялся язык и он ничего не сказал той ласковой тетке — он только оттолкнул ее от двери и бешено рванул на огород, через забор на выгон, в овраг. Сзади стреляли, кричали, ругались. Уже, наверно, в овражке он расслышал среди других голосов крикливый, совсем непохожий на прежний голос той женщины — она показывала полициям, где он скрылся в кустарнике.

А теперь вот и эта — «сынок», «деточка»...

Старостиha, не слыша ничего страшного со двора, немного успокоилась и присела перед ним на конец скамьи.

— Деточка, это же неправда, что он по своей воле. Его же тутошные мужики упросили. Ой, как же он не хотел! А тут бумага из района пришла — старост на совещание вызывали. А у нас, в Лясинах, еще никакого старосты нету. Ну, мужчины и говорят: «Иди ты, Петро, ты в плену был». А он и взаправду в ту, николаевскую, два года в плену был, у немца работал. «Так, говорят, тебе их норов знаком, потерпи каких пару месяцев, пока наши не вернуться. А то Будилу поставят — беды не оберешься». Будила этот тоже из Лясин, плохой страх. До войны каким-то начальником работал, по деревням разъезжал — еще тогда его мужики боялись. Так он теперь нашел место в полиции. Влез, как свинья в лужу.

— Дождется пули.

— И пусть, черт бы по нем плакал... Так это, Петра, дурака, и угорили, пошел в местечко. На свое лихо, на горюшко свое. А теперь разве ему хочется немецким холуем быть? Каждый день божий грозятся, кричат да еще наганом в лоб тычут, то водки требуют, то еще чего. Переживает он, не дай бог.

Сотников сидел, пригревшись возле печи, и, мучительно напрягаясь, старался не уснуть. Правда, бороться с дремотой ему помогал кашель, который то отставал на минуту, то начинал бить так, что кололо в мозгу. Старостику он слушал и не слушал, вникать в ее жалобы у него не было охоты. Он не мог сочувствовать человеку, который согласился на службу у немцев и так или иначе исполнял эту службу. То, что у него находились какие-то к тому оправдания, не трогало Сотникова, уже знавшего цену такого рода оправданиям. В жестокой борьбе с фашизмом нельзя было принимать во внимание никакие, даже самые уважительные, причины — победить можно было лишь вопреки всем причинам. Он понял это с самого первого боя и всегда придерживался именно этого убеждения, что в свою очередь во многом помогло ему сохранить твердость своих позиций во всех сложностях этой войны.

Спохватившись, что дремлет, Сотников попытался подняться, но его так повело по избе, что он едва не ударился о стену. Хозяйка, сама испугавшись, кое-как поддержала его, и он подобрал с пола винтовку.

— Фу, черт!

— Сынок, да что же это с тобой? Да ты же больной. Ах, божечка! В жару весь! Тебе же лежать надо. Вон как хрипит все в груди. Подожди, посиди, я зелья скоренько заварю...

Она с искренней готовностью помочь юркнула в запечек, зашумела там чем-то. И он подумал, что, наверно, и впрямь его дело дрянь, если так беспокоилась эта тетка. Но не хватало еще лечиться у старостики!

— Не беспокойтесь, мне ничего не надо.

Ему и в самом деле не хотелось уже ни пить, ни есть и ничего не нужно было, кроме тепла и покоя.

— Как же не надо, сынок? Ты же хворый, разве не видно? Я давно уже примечаю. Если, может, некогда, то на малинки сухой, может, заварить где-либо, попьешь. А это вот зельечко...

— Ничего не надо.

Она совала ему что-то из мешочков, которые достала с печи, а он не хотел ничего брать. Он не желал этой тетке ничего хорошего и потому не мог согласиться на ее сочувствие и ее помощь. Но в это время в сенях застучали, послышался голос Рыбака, и в избу заглянул староста.

— Идите, товарищ зовет.

Он встал с гулом в голове, шатаясь от слабости, выбрался в холодные темные сени. Сквозь раскрытую дверь на снежном дворе был виден Рыбак, у его ног лежала на снегу темная тушка овцы, которую тот, кажется, собирался поднять на плечи.

— Так. Ты иди,— ровным, без недавней неприязни голосом сказал Рыбак старосте.— И прикрой дверь, нечего глядеть.

Староста, похоже, хотел что-то сказать, да, наверно, раздумал и молча повернулся к дому. Сенная дверь за ним плотно закрылась, потом слышно было, как стукнула дверь в избу.

— Что, отпускаешь? — с упреком сипло спросил Сотников, когда они вдвоем остались посреди двора.

— А, черт с ним.

Рыбак сильным рывком забросил на плечо овцу и шагнул за угол сарая, оттуда свернул по целине к знакомому гумну, кособокие постройки которого темнели невдалеке на снегу.

Сотников потащился следом.

Глава пятая

Они шли молча по прежним следам — через гумно, вдоль проволочной ограды, вышли на склон с кустарником. В деревне все было тихо, нигде не проглянуло ни пятнышка света из окон; в сумерках по-ночному сонно серели заснеженные крыши, стены, ограды, деревья в садах. Рыбак быстро шагал впереди с овцой на спине — откинутая голова ее с белой лысиной безучастно болталась на его плече. Время, наверно, перевалило за полночь, месяц взобрался в самую высь неба и тихо мерцал там в круге светловато-туманного марева. Звезды на небе искрились ярче, нежели вечером, громче скрипел снег под ногами — в самую силу входил мороз. Рыбак с сожалением подумал, что они все-таки задержались у старосты, хорошо еще, что недаром: отдохнули, обогрелись, а главное, возвращались не с пустыми руками. С овцы, конечно, не много достанется для семнадцати человек, но по куску мяса будет. Хотя и далековато, но все-таки раздобыли, сейчас успеть бы принести до рассвета.

Он споро шагал под ношей, не слишком уже и остерегаясь на знакомом пути в ночном поле. Если бы не Сотников, которого нельзя было оставлять одного, он бы, наверно, ушел далеко. Пожалуй, впервые за эту ночь у Рыбака шевельнулось легкое недовольство напарником, но что поделаешь: разве тот виноват? Впрочем, мог бы где-нибудь разжиться и более теплой одежкой и тогда, наверно, был бы здоров, а теперь вот еще и помог бы нести эту овцу. Поначалу та показалась совсем не тяжелой, но как-то постепенно стала наливаться заметным грузом, который все больше давил на его плечи, заставляя пригибать голову, отчего было неудобно смотреть вперед. Рыбак начал перемещать ношу с плеча на плечо: пока груз был на одном, другое недолго отдыхало — так стало легче.

На ходу он хорошо согрелся в теплом черном полушубке, недавно совсем еще новым, который неплохо послужил ему в эту стужу. Без полушубка он бы, наверно, пропал. А так и легко и тепло, и надеть и укрыться где-нибудь на ночлеге — спасибо дядьке Ахрему: не пожалел,

отдал. Хотя, конечно, у Ахрема были свои на это причины, и главная из них, безусловно, заключалась в Зосе, сердце которой — это он знал точно — очень уж прикипело к нему, завидному, но такому недолгому по войне примаку.

Но что ж — если бы не война! Впрочем, если бы не война, где бы он встретил ее, эту Зосю? Каким образом старшина стрелковой роты Рыбак мог оказаться в той их Корчевке — маленькой глуховатой деревеньке у леса? Наверно, и не заглянул бы никогда в жизни, разве что проехал невдалеке большаком во время осенних учений, и только. А тут вот пришлось притащиться с раненой ногой, толсто обмотанной грязной окровавленной сорочкой, попросился в избу — боялся, днем начнут ездить немцы и за здорово живешь подберут его на дороге. С рассветом они и в самом деле на мотоциклах и верхом начали объезжать заваленное трупами поле боя, но в то время он уже был надежно припрятан в пуньке под кучей гороховин.

Ахрем и Зоська караулили его днем и ночью — сберегли, не выдали. А потом... А потом вокруг все утихло, водворилась новая, немецкая власть, не стало слышно даже артиллерийского гула ночью; было очень тоскливо. Казалось, все прежнее, для чего он жил и старался, рухнуло навсегда. Очень горько ему было в то время, и тогда единственным утешением в его погайной деревенской жизни стала пухленькая ласковая Зоська. И то ненадолго.

Здоровье никогда не подводило его, молока и сметаны хватало, рана на ноге за месяц кое-как зажила и лишь слегка напоминала о себе при ходьбе. Он все больше начинал думать о том, как быть дальше. Особенно когда узнал, что после летних успехов немец неожиданно застрял под Москвой, и несмотря на то, что трубили, будто большевистская столица со дня на день падет, Рыбак думал: наверно, еще подержится. Москва — не Корчевка, защитить ее, пожалуй, найдется сила.

А тут объявились дружки, такие же, как он, окруженцы — кто выздоровев от ран, кто просто оправившись по хуторам и селам от первого шока разгрома, — начали сходиться, договариваться, повытаскивали припрятанное оружие. Решили: надо подаваться в лес, сколько можно сидеть по крестьянским закуткам возле добросердечных молодок, нерасписанных и невенчаных деревенских жен. И пошли.

Невеселым было его прощание с Корчевкой. Правда, он не стал, как другие, обманывать или, еще хуже, уходить тайком — объяснил все как было, и, к удивлению, его поняли, не обиделись и не отговаривали. Зоська, правда, всплакнула, а дядька Ахрем сказал: «Раз надо, так надо: дело военное». И он и тетка Гануля собрали его, как сына, которого у них не было. Рыбак пообещал давать знать о себе и навещаться при случае. Однажды и наведался, в конце осени, а потом стало далеко — а главное, не тянуло: наверно, отвык, что ли? А может, не было того, что привораживает всерьез и надолго, а так — появилось, перегорело и отошло. И он о том не жалел, собой был доволен — не обманывал, не лгал, поступил честно и открыто. Пусть люди судят, как знают, его же совесть перед Зосей была почти чистой.

Он не любил причинять людям зло — обижать невзначай или с умыслом, не терпел, когда на него таили обиду. В армии, правда, трудно было обойтись без того — случалось, и взыскивал, но старался, чтобы все выглядело по-хорошему, ради пользы службы. Теперь злой, измученный простудой Сотников упрекнул его в том, что отпустил, не наказал старосту, но Рыбаку стало противно наказывать — черт с ним, пусть живет. Конечно, к врагу следовало относиться без всякой жалости, но тут получилось так, что очень уж мирным, по-крестьянски знакомым показался ему этот Петр. Если что, пусть его накажут другие. В избе, пока шел не-

приятный разговор, у Рыбака еще было какое-то желание проучить старосту, но потом, когда занялись овцой, это его желание постепенно исчезло. В сарае мирно и буднично пахло сеном, навозом, скотом, три овцы испуганно кидались из угла в угол; одну, с белым пятнышком на лбу, Петр словчился удерживать за шерсть, и тогда он ловко и сильно обхватил ее шею, почувствовав на минуту какую-то полузабытую радость добычи. Потом, пока он держал, а хозяин резал ей горло и овца билась на соломе, в которую стекал ручеек парной крови, в его чувствах возникло памятное с детства ощущение пугливой радости, когда в конце осени отец вот так же резал одну или две овцы сразу, и он, уже будучи подростком, помогал ему. Все было таким же: и запахи в скотном сарае, и метание в предсмертном испуге овец, и терпкая парность крови на морозе...

Поле, на которое Рыбак свернул от кустарника, оказалось неожиданно широким и длинным; наверно, около часа они шли по его целине. Рыбак не знал точно, но чувствовал, что где-то на их пути должна быть дорога, та самая, по которой недолго они шли сюда, потом начнется склон в сторону речки. Однако прошло много времени, они отмерили километра два, если не больше, а дороги все не было, и он начал опасаться, что они могли перейти ее, не заметив. Тогда нетрудно было потерять направление, не вовремя повернуть влево, в низину. Плохо, что эта местность была ему мало знакома и он даже не расспросил о ней у местных партизан в лесу. Правда, тогда он не думал, что им придется забрести так далеко.

Рыбак остановился, подождал Сотникова, который, отстав, обессиленно тащился в сумраке. На месяц наплыла сизая плотная мгла, ночь потемнела, вдали и вовсе ничего нельзя было различить. Он сбросил на снег овцу, положил на ее бок карабин и с облегчением расправил натруженные плечи. Минуту спустя заплетающимся шагом притащился Сотников.

— Ну как ты? Ничего?

— Знаешь... Ты уж как-нибудь. Сегодня я не помощник.

— Ладно, обойдется,— отсапываясь, сказал Рыбак и перевел разговор на другое: — Ты не заметил, мы правильно идем?

Тяжело дыша, Сотников посмотрел в ночь.

— Вроде бы правильно. Лес там.

— А дорога?

— Тут где-то и дорога. Если не свернула куда.

Оба молча вглядывались в сумеречную снежную даль, и в это время в шумном порыве ветра их напряженный слух уловил какой-то неясный далекий звук. В следующее мгновение стало понятно, что это — чуть слышный топот копыт. Оба враз они повернулись навстречу ветру и не так увидели, как угадали в сумерках едва заметное, неясное еще движение. Сперва Рыбаку показалось, что их догоняют, но тут же он понял, что едут совсем не вдогон, а скорее наперерез, наверно, по той самой дороге, которую они не нашли. Ощувив, как дрогнуло сердце, он скоренько закинул на плечо карабин. Однако тут же чутье подсказало ему, что кто-то едет в отдалении и мимо, правда, останутся ли они незамеченными, он определить не мог. И он, нагнувшись, сильным рывком опять вскинул на себя косматую тушу овцы. Поле поднималось на пригорок, надо было как можно быстрее перебежать его, и тогда бы, наверно, их уже не увидели.

— Давай, давай! Бегом! — негромко крикнул он Сотникову, с места пускаясь в бег.

Ноги его сразу обрели легкость, тело, как всегда в минуты опасности, стало ловким и сильным. И вдруг он увидел в пяти шагах от себя дорогу — разъезженные ее колеи наискось пересекали их путь. Теперь

уже стало понятно, что это та самая дорога, по которой ехали, он взглянул в сторону и отчетливо увидел поодаль тусклые подвижные пятна; был слышен негромкий перезвон чего-то из упряжи, сани уверенно приближались. Совладав с коротким замешательством, Рыбак, будто заминированную полосу, перебежал эту проклятую дорогу, неожиданно и не ко времени появившуюся перед ними, и тут же ясно почувствовал, что сделал не так. Наверно, надо бы податься назад, по ту сторону, но было уже поздно о том и думать. Проламывая сапогами наст, он бежал на пригорок и с замираньем сердца ждал, что вот-вот их окликнут.

Еще не добежав до вершины, за которой начинался спуск, он снова оглянулся. Сани уже отчетливо были видны на дороге, их оказалось двое — вторые почти вплоты следовали за первыми. Но седоков пока еще нельзя было различить в сумерках, крику также не было слышно, и он с маленькой, очень желанной теперь надеждой подумал, что, может еще, это крестьяне. Если не окликнут, то, наверно, крестьяне — по какой-то причине запоздали в ночи и возвращаются в свою деревню. Тогда напрасен этот его испуг. Обнадеженный этой неожиданной мыслью, он спокойнее раза два выдохнул и на бегу обернулся к Сотникову. Тот, как назло, шатко топал невдалеке, будто не в состоянии уже был поднапрячься, чтобы пробежать каких-нибудь сотню шагов до вершины пригорка.

И тогда ночную тишь всколыхнул злой, угрожающий окрик:

— Э-эй! А ну стой!

«Черта с два тебе стой!» — подумал Рыбак и с новой силой бросился по снегу. Ему оставалось совсем уже немного, чтобы скрыться за покатою спиной пригорка, дальше, кажется, начинался спуск — там бы они наверно ушли. Но именно в этот момент сани остановились, и несколько голов оттуда яростно закричали вдогон:

— Стой! Стой! Стрелять будем! Стой!

В сознании Рыбака мелькнула сквернейшая из мыслей: «Попапись!» — все стало просто и до душевной боли знакомо. Рыбак устало бежал по широкому верху пригорка, мучительно сознавая, что главное сейчас — как можно дальше уйти. Наверно, на лошадях догонять не будут, а стрелять пусть стреляют: ночью не очень попадешь. Овцу, которая так некстати оказалась теперь на его плечах, он, однако, не бросил — тащил на себе, не желая расставаться со слабой надеждой на то, что авось еще как-либо прорвутся.

Вскоре он перебежал и пригорок и размашисто помчался по его обратному склону вниз. Ноги так несли его, что он опасался, как бы не упасть с ношей. Немецкий карабин за спиной больно бил прикладом по бедру, тихонько звякали в карманах патроны. Еще издали он заметил что-то расплывчато-темное впереди, наверно опять кустарник, и повернул к нему. Крики позади на какое-то время умолкли, выстрелов пока не было. Похоже было на то, что они с Сотниковым уже скрылись из поля зрения тех, на дороге.

Но вот склон пригорка окончился, стал глубже снег, и Рыбак, охваченный новой заботой, глянул назад. Сотников отстал так далеко, что показалось: вот-вот его схватят живьем. Впрочем, тот и теперь как будто совсем не спешил — не бежал, а едва тащился в снеговом сумраке. И самое скверное было в том, что Рыбак ничем не мог пособить ему, он только безостановочно стремился вперед, тем самым увлекая товарища. Надо было добежать до кустарника, который вроде уже недалеко чернел впереди.

— Стой! Бандитское отродье, стой! — опять раздались сзади угрожающие, с ругательством крики.

Значит, все-таки догоняют. Не оглядываясь — неудобно было огля-

нуться с овцой,— Рыбак по крикам понял, что те уже на пригорке и, наверно, увидели их. Слишком невыгодным оказалось их положение, особенно Сотникова, которому до кустарника еще бежать да бежать. Но что ж... Как всегда в минуту наибольшей опасности, каждый заботился о себе, брал свою судьбу в собственные руки. Что до Рыбака, то который уже раз за войну его выручали ноги.

Кустарник, оказывается, был значительно дальше, чем показалось в ночи. Рыбак не одолел еще и половины пути к нему, как сзади забахали выстрелы. Стрелки были, однако, более чем никудышные, он, не оглядываясь, понял это по тому, как тугой струной над ним прошла пуля. Слишком высоко прошла, это он понял точно. И он заставил себя под теми пулями добежать до кустарника.

Наверно, тут начиналось луговое болотце — на снежной равнине ошетинились голыми ветвями ольшаник, в рыхлом снегу под ногами мягко бугрились кочки. Рыбак упал в самом начале кустарника, свалил со спины овцу. Пожалуй, надо было бежать дальше, но у него уже не оставалось сил. Сзади всюду шла перестрелка, и он понял, что их задержал Сотников. Сначала это обрадовало Рыбака: значит, оторвался, теперь в кустарнике можно запутать свой след и уйти. Но прежде надо было оглядеться. С карабином в руке он привстал на коленях и увидел вдаль Сотникова, который слабо шевелился под самым пригорком. Однако отсюда сквозь серый сумрак ночи невозможно было понять, куда он двигался, или, может, вовсе стоял на одном месте. После трех-четырех выстрелов с пригорка один грохнул ближе — в нем Рыбак отчетливо узнал выстрел Сотникова. Но все-таки какой смысл в их положении начинать перестрелку с полицией, этого Рыбак не знал. Наверно, надо было как можно скорее уходить — кустарник на их пути позволил бы оторваться от преследователей. Но Сотников будто не понимал этого, похоже, залег и даже перестал шевелиться. Если бы не его выстрелы, можно было бы подумать, что он убит.

А может, он ранен?

От этой мысли Рыбаку стало не по себе, но чем-либо помочь Сотникову он не мог. Полицаи сверху, с пригорка, наверно, отлично видят одинокого на снегу человека и хотя пока не бегут к нему — они, безусловно, расстреляют его из винтовок. Если же Рыбак бросится на помощь, убьют обоих — в этом он был уверен. Так уж случилось во время финской, когда проклятые кукушки набивали по четыре-пять человек за минуту и все тем же самым примитивным способом: к первому подстреленному бросался на выручку сосед по цепи и тут же ложился рядом; потом к ним полз следующий. И каждый из этих следующих не мог не понимать, что его ждет там, но и не мог удержаться, видя, как погибает товарищ.

Значит, пока есть возможность, надо уходить: Сотникова уже не спасешь. Решив так, Рыбак скоренько забросил за спину карабин, решительным усилием взвалил на плечи овцу и, спотыкаясь о кочки, припустился краем болота.

Наверно, он далеко уже ушел с того места и снова выбился из сил. Выстрелы сзади на какое-то время стихли, и он, прислушиваясь к тишине, с неясным облегчением думал, что, по-видимому, там все уже кончено. Но спустя минуту или две выстрелы раздались снова. Бабахнуло три раза, одна пуля с затухающим визгом прошла над болотом. Значит, Сотников еще жил. И именно эти неожиданные выстрелы отозвались в Рыбаке новой тревогой. Они сдерживали его бег и будоражили его обостренные опасностью чувства. Овца все тяжелела, порой ее мягкий, податливый груз казался чужим и нелепым, и он механически тащил ее, думая совсем о другом.

Через минуту впереди показался неглубокий овражек-промоина, возможно — берег замерзшей речушки. Наверно, следовало перейти на другую сторону, но только Рыбак сунулся туда, как, поскользнувшись, выпустил ношу и на спине сполз по снегу до низа. Выругавшись, вскочил, разгребая руками снег, выбрался наверх и вдруг отчетливо понял, что уходить нельзя. Как можно столько силы тратить на эту проклятую овцу, если там оставался товарищ? Конечно, Сотников был еще жив и напоминал о себе выстрелами. По существу, он прикрывал Рыбака, тем спасая его от гибели, но ему самому было очень плохо. Ему уже не выбраться. А Рыбаку так просто было уйти — вряд ли они его теперь догонят.

Но что он скажет в лесу?

Вся неприглядность его прежнего намерения стала столь очевидной, что Рыбак тихо выругался и в смятении опустился на край овражка. Вдали за кустарником грохнул еще один выстрел, и больше выстрелов с пригорка уже не было. Может, там что изменилось, подумал Рыбак. Наступила какая-то тягучая пауза, в течение которой у него окончательно вызрело новое решение, и он вскочил.

Стараясь не рассуждать больше, он быстрым шагом двинулся по своему следу назад.

Глава шестая

Сотников не имел никакого намерения начинать перестрелку — он просто упал на склоне, в голове закружилось, все вокруг поплыло, и он испугался, что уже не поднимется.

Отсюда ему хорошо было видно, как Рыбак внизу изо всех сил мчался к кустарнику, руки его по-прежнему были заняты ношей, и Сотников не позвал его, не крикнул, потому как знал: спастись уже поздно. Несколько долгих секунд, задыхаясь от усталости, он неподвижно лежал в снегу, пока не услышал сзади голоса и не понял, что его скоро схватят. Тогда он вытащил из снега винтовку и, чтобы на минуту отодвинуть от себя то самое страшное, что должно было произойти, выстрелил в сумерки. Пусть знают, что так просто он им не дастся.

Наверно, это подействовало, они там, в поле, вроде остановились, и он подумал, что надо попытаться еще. Хотя он и знал, что шансы его слишком ничтожны, он все же как-то совладал со своей слабостью, напрягся и, опершись на винтовку, встал. В это время они появились неожиданно близко от него — три неподвижных силуэта на сером горбу пригорка, настороженно смотревших вниз. Наверное, заметив его, крайний справа что-то вскрикнул, и Сотников, почти не целясь, выстрелил второй раз. Было видно, как они там шарахнулись от его пули, присели или пригнулись в ожидании новых выстрелов. Он же, загребая бурками снег, шатко и неуверенно побежал вниз, каждую секунду рискуя снова распластаться на снеговом склоне. Рыбак уже был далеко, под самым кустарником, и Сотников подумал: может, уйдет? Он и сам старался из последних сил подальше отбежать от этого пригорка, но не отбежал и сотни шагов, как сзади почти залпом ударили три выстрела.

Несколько шагов он еще бежал, уже чувствуя, что упадет, — в правом бедре вдруг запекло, липкая горячая мокрядь поползла по колену в бурок. Еще через несколько шагов он почти перестал чувствовать ногу, которая быстро тяжелела и с трудом подчинялась ему. Через минуту он рухнул на снег. Сильной боли он, однако, не чувствовал, было только нестерпимо жарко в груди и очень жгло выше колена. В штанине все стало мокрым. Некоторое время он лежал, до боли закусив губу. В сознании его уже не было страха, который он пережил раньше, не было даже сожаления — пришло лишь трезвое и будто не его, а чье-то посторон-

нее, чужое и отчетливое понимание всей неотвратимости скорой гибели. Слегка удивляю, что настигла она его так внезапно, когда меньше всего ее ждал. Сколько раз в самые безвыходные минуты смерть все-таки обходила его стороной. Но тут уже обойти она не могла.

Сзади опять послышались голоса — наверно, это приближались лица, чтобы взять его живым или мертвым. Испытывая быстро усиливающуюся боль в ноге и едва превозмогая слабость, он приподнялся на руках, сел. Полы его шинели, бурки, рукава и колени были густо вывалены в снег, на штанине выше колена расплывалось мокрое пятно крови. Впрочем, он уже перестал обращать на это внимание — двинув затвором, он выбросил из винтовки стреляную гильзу и достал новый патрон.

Он снова увидел троих на склоне — один впереди, а двое других сзади, — неясными тенями они не очень уверенно спускались с пригорка. Сжав зубы, он осторожно вытянул на снегу раненую ногу, лег и тщательнее, чем прежде, прицелился. Как только звук выстрела отлетел вдаль, он увидел, что они там, на склоне, все разом упали, и сразу же в ночной тишине загрохали их гулкие винтовочные выстрелы. Он понял, что задержал их, заставил считаться с собой, и это вызвало какое-то удовлетворение в нем. Расслабляясь после болезненного напряжения, он опустился лбом на приклад. От усталости он не мог непрерывно следить за ними или хорониться от их выстрелов — он только тихо лежал, приберегая остатки своей способности выстрелить еще. А те, с пригорка, дружно били по нему из винтовок. Раза два он услышал и пули — одна взвизгнула над головой, другая ударила где-то под локоть, обдав его лицо снегом. Он не пошевелился — пусть бьют. Если убьют, так что ж... Но пока жив, он их к себе не подпустит.

Смерти в бою он не боялся — переболел уже за десяток самых безнадёжных случаев, и не слишком дорожил своей жизнью, которая давно не была для него удовольствием, а с некоторых пор перестала быть и обязанностью. Важно было жить, когда он был командиром в армии и у него были сила и власть, от которых зависели судьбы людей, исход боя. Теперь же он был сам один и заботился лишь о себе. Правда, в их партизанской жизни это тоже было не просто — так заботиться о себе, чтобы не стать для других обузой. Такой, например, как их взводный Жмаченко. Осенью в Крыжовском лесу тот был ранен осколком в живот, и они всю ночь тащили его по болоту мимо карателей, когда каждому нелегко было уберечь собственную голову, и только выбрались в безопасное место, как Жмаченко скончался.

Сотников больше всего боялся именно такой участи, хотя, кажется, такая его минует. Спасется, разумеется, не придется, но он был в сознании и имел оружие — это главное. Нога как-то странно мертвела от стопы до бедра, он уже не чувствовал и теплоты крови, которой, наверно, натекло немало. Те, с пригорка, после нескольких выстрелов теперь выжидали. Но вот кто-то из них поднялся. Остальные остались лежать, а он, этот один, черной тенью быстро прокатился по склону и замер. Сотников потянулся руками к винтовке и почувствовал, как он ослабел. К тому же сильнее стала болеть нога. Болело почему-то колено и сухожилие под ним, хотя он знал, что пуля попала выше, в бедро. Он сжал зубы и слегка повернулся на левый бок, чтобы с правого снять часть нагрузки. В тот же момент на пригорке мелькнула еще одна тень — сдастся, они там по всем правилам армейской тактики перебежками приближались к нему. Он дождался, пока поднимется третий, и выстрелил. Выстрелил наугад, приблизительно — мушка и прорезь были плохо различимы в сумраке. В ответ опять загрохотали выстрелы оттуда — на этот раз их раздалось около десятка, не меньше. Когда они утихли,

он вынул из кармана новую обойму и перезарядил винтовку. Все-таки патроны надо было беречь, их оставалось всего пятнадцать.

Наверное, много времени он пролежал в этом снегу. Тело его начало мерзнуть, нога болела все больше; от стужи и потери крови стал донимать озноб. Было очень мучительно ждать. А те, постреляв, смолкли, будто пропали в ночи — нигде на пригорке не стало видно ни одной их тени. Но он чувствовал, что вряд ли они оставили его тут — еще постараются взять живым или мертвым. И он подумал: а может, они к нему подползают? Или он стал плохо видеть? От слабости в его глазах начали мельтешить темные пятна, слегка поташнивало. Он испугался, что может потерять сознание и тогда случится то самое худшее, чего он больше всего боялся на этой войне. Значит, последнее, для чего он должен сберечь остатки своих малых сил, — не сдаться живым.

Он осторожно приподнял голову — в морозных сумерках впереди что-то мелькнуло, показалось — человек. Но вскоре он с облегчением понял, что ошибся: на ветру перед стволом мельтешил быльник. Тогда, сдерживая стон, он пошевелил раненой ногой, которую тут же пронзила сквозная судорога боли, немного подвигал коленом. Пальцев ступни он уже не чувствовал вовсе. Впрочем, черт с ними, с пальцами, теперь они ему ни к чему. Вторая его нога была здоровой.

Времени, наверно, прошло немало, а может, и не так много — он утратил всякое ощущение времени. Его теперь тревожила самая главная мысль: не дать себя захватить врасплох. Подозревая, что они ползут и чтобы как-нибудь задержать их, он приложился к винтовке и опять выстрелил в ответ. Но полицаи что-то медлили, и он подумал, что, может, они заползли в лощину и пока не видят его. Тогда он также решил воспользоваться этой маленькой передышкой и мучительно перевалился на бок.

Намерзший его бурок вообще плохо снимался с ноги, сейчас его надо было содрать, не вставая. И он скорчился, напрягся, до скрипа сжал челюсти и изо всех сил потянул бурок. Первая попытка ничего не дала. Через минуту он уже изнемог, жарко дышал, обливаясь холодным потом. Но передохнув немного и оглядевшись, с еще большей решимостью ухватился за бурок.

Он стащил его после пятой или шестой попытки и, вконец обессиленный, несколько минут не мог пошевелиться на снегу. Потом, боясь не успеть, бросил на снег бурок и приподнял голову. Сдается, перед ним никого не было. Теперь пусть бегут — он был готов прикончить себя, стоило только впереть в подбородок ствол винтовки и пальцем ноги нажать спуск. И он порадовался тихой злой радостью: все-таки живым его не возьмут. Но у него еще были две обоймы патронов — ими он даст последний свой бой. Он привстал выше — где-то должны же они быть, эти его противники, не сквозь землю же они провалились...

Почему-то их не оказалось поблизости. Или, может, он плохо видел в ночи? Впрочем, ночь, кажись, потемнела, месяц вверх опять куда-то исчез. Значит, жизнь все-таки окончится ночью, подумал он, в мрачном промерзшем поле, при полном одиночестве, без людей. Потом его, наконец, отвезут в полицию, обыщут, разденут и заруют где-нибудь на конском могильнике. Братская могила, которая когда-то страшила его, сейчас была недостижимой мечтой, почти роскошью. Заруют, и никто никогда не узнает, чей там покоится прах. Впрочем, все это мелочи. Теперь у него не оставалось ничего такого, о чем бы стоило пожалеть перед концом. Разве что эта винтовка, безотказно прослужившая ему с осени. Ни разу она не заела, ни единым механизмом не подвела при стрельбе. бой ее был удивительно справен и меток. Другие имели скорострельные немецкие автоматы, некоторые носили СВТ — он же не

расставался с трехлинейкой. Ползими она была его надежной защитницей, а теперь вот, наверно, достанется какому-нибудь полицаяу.

Начала мерзнуть его босая нога, не хватало еще отморозить ее — как тогда нажмешь на спуск? Превозмогая слабость и боль, он пошел велился в снегу и вдруг заметил на пригорке движение. Только — не оттуда к нему, а туда. Две едва заметные, размытые в сумерках тени медленно двигались по склону вверх. Скоро они уже были на самом верху пригорка, и он не мог понять, что там случилось. Они наверняка куда-то направлялись — возможно, к саням или за помощью, он не смел даже и подумать, что они оставляли его. Но он видел: они возвращались к дороге.

Но ведь он все равно долго не выдержит на таком морозе, посреди поля и будет лишь медленно погибать от стужи и потери крови. Будто злясь на них за это, он кое-как прицелился и выстрелил.

И тут он понял, что испугался напрасно: невдалеке из-под пригорка прозвучал выстрел в ответ. Значит, караульщик все же остался. Те, наверно, отправились за помощью, а одного оставили следить за ним и держать его под обстрелом. Наверно, они сообразили, что он ранен и далеко не уйдет. Что ж, все правильно.

Это, однако, даже воодушевило его — с одним можно было побороться. Плохо, правда, что он не видел своего противника — наверно, удачно замаскировался, гад. А по выстрелам ночью не очень угадаешь, где он засел. Полнцая же, наверно, все время держал его на прицеле — стоило Сотникову чуть приподнять голову, как вдали грохал выстрел. Значит, придется пока лежать и мерзнуть. Озноб уже тряс его непрерывно, и Сотников подумал, что долго так не протянет.

Но он тянул, неизвестно на что надеясь, хотя так просто мог бы покончить со всем. Может, он хотел жить? По-видимому, хотел, особенно теперь, когда те сняли осаду. Только как? Ползти он не мог, раненой ногой старался не двигать. Но здоровая нога уже замерзала — значит, он вовсе оставался без ног. А без ног какое спасение?

Оставив в снегу винтовку, он повернулся на бок и, не поднимая головы, поискал бурок. Тот лежал близко, голенищем в снегу. Он дотянулся до него, высыпал снег и начал нащупывать его окоченевшей ногой, чтобы надесть. Надеть, однако, не удалось — это оказалось труднее, чем снять. Нога только вошла в голенище, как опять zakружилась голова, и он сжался, стараясь перетерпеть приступ слабости и боли. В это время бахнул и гулким морозным эхом покотился по полю выстрел — оттуда же, из-под пригорка. Потом бахнуло в другой раз и в третий. Пуль, однако, он не услышал, да он и не вслушивался вовсе. Боком, скорчившись в своем снежном лежбище, он изо всех сил старался натянуть бурок. И он нагянул его хотя и не до конца, кое-как, и ему стало легче. Он даже повернул лицо, чтобы не так сильно жгло на снегу щеку и лоб. И тогда он услышал в ночи непонятно откуда донесшийся до него голос:

— Сотников, Сотников...

Это поразило его, но потом он подумал, что, наверно, это ему уже мерещится. Тем не менее он оглянулся — сзади в темноте ворошилось что-то живое, вроде бы даже ползло и повторяло с тихой настойчивостью:

— Сотников, Сотников!

Ну, разумеется, это Рыбак. Сотников отчетливо расслышал его низкий встревоженный голос и тогда разом обмяк в своем мучительном напряжении. Хотя он не совсем представлял, хорошо это или нет, что Рыбак вернулся (может, путь к отходу был также отрезан), но он вдруг понял: его гибель откладывается.

Глава седьмая

Они поползли к кустарнику — впереди Рыбак, за ним Сотников. Это был долгий и тяжелый путь. Сотников не успевал за товарищем, а иногда и вовсе замирал в снежной борозде, и тогда Рыбак, развернувшись, хватал его за ворот шинели и тащил за собой. Он также выбился из сил — мало того, что помогал Сотникову, еще волок на себе обе винтовки, которые все время сваливались со спины и застревали в снегу. Ночь потемнела, в сумрачной дымке совсем пропал месяц — это, наверное, и спасло их. Правда, из-под пригорка два раза хлопнули выстрелы — наверно, тот полицай все же что-то заметил.

Кое-как добравшись до края кустарника, они залегли между мягких заснеженных кочек — темные ветки ольшаника неплохо скрывали их в ночных сумерках. Рыбак был весь мокрый — таял снег в рукавах и за воротником полушубка, от обильного пота взмокла спина. Он так устал, как не уставал, наверное, никогда в жизни, и беспомощно лежал ничком, лишь поглядывая в сторону пригорка: не бегут ли за ними. Но сзади никого не было, полицай хотя и заметил что-то, но преследовать, наверно, не отважился — тут недолго было и самому схлопотать пулю.

— Ну как ты? — подал голос Рыбак, все еще жарко дыша густым, видимым даже в сумерках паром.

— Плохо, — едва слышно признался Сотников.

Он лежал на боку, запрокинув голову в плотно облежавшей ее смерзшейся пилотке. Раненая его нога была слегка приподнята коленом вверх и мелко, нервно дрожала. Рыбак тихо про себя выругался.

— Давай трогать. А то... Обложут — не вырвешься.

Он приподнялся, но, прежде чем встать, вытащил из-за воротника у Сотникова мягкое свое полотенце и дрожащими от усталости руками туго перевязал того выше колена. Сотников раза два дернулся от боли, задержал дыхание, но не застонал. Рыбак, встав на колени, подставил ему спину:

— Ну, цепляйся.

— Подожди, я сам, может...

Слабо заворотившись на снегу, Сотников кое-как поднялся на одно колено, с болезненной осторожностью отставляя в сторону раненую ногу, попытался подняться совсем, но это ему не удалось.

— Куда тебе! А ну держись!

Рыбак подхватил его под руку, и Сотников наконец встал; сильно припадая на раненую ногу, сделал два шага. Это ободрило Рыбака — если человек на ногах, то, наверно, не все потеряно. А то, как приполз к Сотникову и узнал, что тот ранен, стало не по себе: что он мог сделать с ним в таком положении? Теперь Рыбак понемногу стал успокаиваться, подумав, что, может, как-нибудь удастся вывернуться.

С помощью Рыбака Сотников неуклюже прыгнул на одной ноге, слегка пособяя себе и раненой. Они полезли в негустой здесь, низкорослый кустарник с его рыхлым и довольно глубоким снегом. Сотников одной рукой держался за Рыбака, а другой хватался на ходу за стывшие ветки ольшаника и, сильно припадая на раненую ногу, изо всех сил старался ступать быстрее. В груди у него все хрипело с каким-то несхорошим присвистом, иногда он начинал глухо и мучительно кашлять, и Рыбак весь сжимался: их легко могли услышать издали. Но он молчал. Он уже не спрашивал о самочувствии — не давая себе передышки, он настойчиво тащил Сотникова сквозь заросли.

За кустарником после ложины, оказавшейся довольно просторным замерзшим болотом, опять начался крутоватый подъем на пригорок. Они наискось вскарабкались на него, и Рыбак почувствовал, что силы

его на исходе. Он уже не в состоянии был поддерживать Сотникова, который все грузнее оседал книзу, да и сам так изнемог, что они, не сговариваясь, почти одновременно рухнули в снег. Потом, сосредоточенно и громко дыша, долго лежали на склоне с удивительным равнодушием ко всему. Рыбак понимал, что с минуты на минуту их могут настичь полицаи, он все время ждал их рокового окрика, но все равно тело его было бессильно одолеть сковывающую его усталость.

Может, четверть часа спустя, несколько справясь с дыханием, он повернулся на бок. Сотников лежал рядом и мелко дрожал в ознобе.

— Патроны остались?

— Одна обойма,— глухо прохрипел Сотников.

— Если что, будем отбиваться.

— Не очень отобьешься.

Да, действительно, с двадцатью патронами не долго продержишься, думал Рыбак, но другого выхода он не видел. Не сдаваться же в конце концов в плен — надо будет драться.

— И откуда их черт принес! — Рыбак с новой силой начал переживать случившееся.— Вот уж действительно: беда одна не ходит...

Сотников молча лежал рядом, с немалым усилием подавляя стоны. Его потемневшее на стуже, истерзанное болью лицо с заиндевшей от дыхания щетиной вдруг показалось Рыбаку почти незнакомым, чужим, и это вызвало какие-то скверные предчувствия. Рыбак подумал, что дела напарника, по-видимому, совсем плохи.

— Очень болит?

— Болит. — буркнул Сотников.

— Терпи,— грубовато подбодрил Рыбак, подавляя в себе невольное и совершенно неуместное теперь чувство жалости. Затем он сел на снег и начал озабоченно присматриваться к местности, которая показалась ему совсем незнакомой: какое-то холмистое поле, недалекий лесок или рощица, а где был большой, нужный им лес, он не имел о том никакого понятия. Закрутившись во время бегства в кустарнике, он вдруг перестал понимать, где они находились и в каком направлении можно выйти к своим.

Это отзывалось в душе новой тревогой — не хватало еще заблудиться в ночи. Он хотел заговорить об этом с Сотниковым, но тот лежал рядом, будто не чувствуя уже ни тревоги, ни стужи, которая становилась все нестерпимее на холодном ветру в поле. Разгоряченное при ходьбе его тело очень скоро начал пробирать мороз. Пока, однако, усталость приковывала их к земле, и Рыбак всматривался в сумеречные окрестности, мучительно соображая, куда податься.

Он пытался определить это, тщетно восстанавливая в памяти их путаный путь сюда, а инстинкт самосохранения настойчиво толкал его в направлении, противоположном кустарнику, за которым их настигла полиция. Казалось, полицаи опять появятся по их следу оттуда, следовательно, надо было уходить в противоположную сторону.

Когда это чувство окончательно овладело им, Рыбак встал и повесил на плечо обе винтовки.

— Давай как-нибудь...

Сотников начал с трудом подниматься, Рыбак и на этот раз поддерживал его, но тот, оказавшись на ногах, высвободил свой локоть.

— Дай винтовку.

— Что, пойдешь?

— Попробую.

«Что ж, попробуй»,— подумал Рыбак, с облегчением возвращая ему винтовку. Опираясь на нее, как на палку, Сотников кое-как ступил несколько шагов, и они очень медленно побрели по снежному полюю.

Час спустя они уже далеко отошли от болота и слепо тащились пологим полевым косогором. Рыбак чувствовал, что скоро начнется рассвет, что на исходе последние часы ночи и что они теперь очень просто могут не успеть. Если утро застигнет их в поле, тогда уже наверняка им не выкрутятся.

Пока их спасало то, что снег тут был неглубокий, ноги проваливались не так часто, как на болоте. Вокруг на снегу серели высохшие стебли бурьяна, местами они казались чуть гуще, и Рыбак обходил эти места, выбирая, где было помельче. Он старался не спускаться в лощину, боясь залезть там в сугробы, на пригорках было надежнее. Но их след слишком отчетливо обозначился на снегу — раз оглянувшись, Рыбак испугался: так просто было их догнать даже ночью. Оглядываясь вокруг, он подумал, что какой бы опасной для них ни была дорога, которая уже едва их не погубила сегодня, но, видимо, опять надо выбирать на нее. Только на дороге можно спрятать среди других два своих следа, чтобы не привести за собой полицаев в лагерь.

Между тем из сгустившихся ночных сумерек едва проступало снежное поле с редкими пятнами кустарника, одинокими полевыми деревцами; в одном месте что-то неясно зачернело, подойдя ближе, Рыбак увидел, что это валун. Дороги нигде не было. Тогда он круто повернул вверх — идти так стало труднее, но появилась надежда, что наверху, за пригорком, все-таки появится лес. В лесу удалось бы скрыться, потому что полицаи вряд ли сразу сунутся следом — наверно, сначала подумают и тем дадут возможность оторваться от преследователей.

Рыбак не впервые попадал в такое положение, но всякий раз ему как-то удавалось вырваться. В подобных случаях выручали быстрота и находчивость, когда единственно правильное решение принималось без секунды опоздания. И он уходил. Тут тоже была такая возможность, по неизвестной причине предоставленная им полицаями, и он бы отлично воспользовался ею, если бы не Сотников. Но с Сотниковым далеко не уйдешь. Они еще не взобрались на холм, как тот в который уж раз грудно закашлял, согнулся, несколько минут тело его мучительно содрогалось как будто в напрасных потугах что-то выкашлять. Рыбак остановился, потом вернулся к товарищу, попробовал поддержать его под руку. Но Сотников с трудом стоял на ногах, и он опустил его на твердый, вылизанный ветром снег.

— Подожди, дай отдышаться.

— Что, плохо?

— Видно, не выбраться...

Рыбак промолчал — ему не хотелось заводить о том разговор, неискренне обнадеживать или утешать, — он сам толком не знал, как выбраться. И даже в какую сторону выбираться.

Минуту он стоял над Сотниковым, который неподвижно скорчился на боку, подобрав раненую ногу. В сознании Рыбака начали перемешиваться различные чувства к нему: и невольная жалость оттого, что столько досталось одному (мало было болезни, так еще и подстрелили), и в то же время появилась неопределенная еще досада-предчувствие — как бы этот Сотников не навлек беды на обоих. В этом изменчивом и неуловимом потоке чувств все чаще стала напоминать о себе, временами заглушая все остальное, тревога за собственную жизнь. Правда, он старался гнать ее от себя и держаться как можно спокойнее. Он понимал, что страх за свою жизнь — первый шаг на пути к растерянности: стоит только начать горячиться, нервничать, как беды посыплются одна за другой. Тогда уж наверняка крышка. Теперь же хотя и пришлось туго, но еще не все, возможно, потеряно.

— Так. Ты подожди.

Оставив Сотникова на снегу, Рыбак потащился по склону вверх, чтобы осмотреться. Ему все казалось, что за пригорком лес. Они столько уже прошли в этой ночи, и если шли правильно, то должны очутиться где-то поблизости от леса.

Плохо, что совсем пропал месяц, поодаль ничего не было видно — ночь тонула в морозной туманной мгле, глухие предутренние сумерки обволакивали все вокруг. Тем не менее леса поблизости не было. За пригорком опять простиралось неровное, с пологими холмами поле, на котором что-то смутно серело, наверно рощица, очень уж куцая рощица — гривка в поле, не больше. Всюду виднелись неопределенные пятна, темные брызги бурьяна, размытые, нечеткие силуэты кустов. И вдруг из снежного полумрака выглянула коротенькая косая линия — обозначилась на земле и исчезла. Рыбак с неожиданной легкостью заторопился к ней ближе и не заметил, как черточка эта как-то вдруг превратилась на снегу в темноватую полоску дороги. Довольно накатанная, с уезженными колеями и следами конских копыт, она явилась, как никогда, кстати. Рыбак завернул назад и легко сбежал с пригорка к неподвижному, скрюченному на снегу Сотникову.

— Дорога тут! Слышь!

Тот вяло приподнял кругловатую, неестественно маленькую в пилотке голову, задвигался, вроде начал вставать.

— С дороги где-нибудь сошмыгнем — не найдут. Только бы успеть — не напороться на какого черта.

Сотников молча с помощью Рыбака поднялся со снега, непослушными пальцами удобнее охватил ложе винтовки.

Они медленно побрели к дороге. Рыбак тревожно оглядывался в сумерках — не покажутся ли где люди. Его напряженный взгляд привычно обшаривал поле, с наибольшим усилием стремился проникнуть туда, где исчезал в ночи дальний конец дороги. И вдруг совершенно неожиданно для себя он заметил, что небо над полем как будто прояснилось, сделалось светло-синим, звезды притушили свой блеск, только самые крупные кое-где еще горели на небосклоне. Этот явный признак рассвета взволновал его больше, чем если бы он увидел людей. Все в нем передернулось, подалось вперед, только бы прочь с этого голого, предательски светлеющего поля. Но ноги его были налиты неодолимой усталостью, к тому же сдерживал товарищ: хочешь или нет, надо было медленно тащиться подвернувшейся им дорогой — другого выхода у них не осталось.

Поняв это, он приглушил в себе нетерпеливое желание поспешить и тверже сжал зубы. Он ни слова не сказал Сотникову — тот и так едва брел, видно расходуя последние свои силы, и у Рыбака что-то сдвинулось внутри — он уже знал: удачи не будет. Ночь кончалась и тем снимала с них свою опеку, день обещал мало хорошего. И Рыбак с поникшей душой наблюдал, как медленно и неуклонно занималось зимнее утро: быстро светлело небо, из-под исчных сумерек все яснее проступал печальный снежный простор; дорога впереди постепенно длиннела и становилась видной далеко.

По этой дороге они пошли в сторону рощи.

Глава восьмая

Сотников не хуже Рыбака видел, что ночь на исходе, и отлично понимал, чем для них может обернуться это преждевременное утро.

Но он шел. Он собрал в себе все, на что еще было способно его обессиленное тело, и, помогая себе винтовкой, с огромным усилием

передвигал ноги. Бедро его мучительно болело, стопы он не чувствовал вовсе, мокрый от крови бурок смерзся и закаменел; другой, не до конца надетый, загнулся на половине голенища, то и дело неуклюже загребая снег. Сотников знал, что по-светлому их наверняка схватят, но это уже не отзывалось в нем особой тревогой — им овладело безразличие ко всему, что не было его болью, его реальной, ежеминутной, а не предполагаемой мукой. Если бы не Рыбак, он бы давно, наверное, прекратил эти бесплодные свои мучения. Но теперь, после всего, что тот для него сделал, Сотников почувствовал какие-то обязанности по отношению к усилиям товарища.

Покамест они добрались до леска, рассвело еще больше. Стало видно поле окрест, покатые под снегом холмы; слева, поодаль от дороги, в ложине тянулись заросли мелкоколосья, кустарник, но, кажется, это был тот самый кустарник, из которого они вышли. Большого же леса, который сейчас так нужен был им, не оказалось даже на горизонте — будто он провалился за ночь сквозь землю.

Рыбак, как обычно, настойчиво стремился вперед, что, впрочем, было понятно: они шли, как по лезвию бритвы, каждую секунду их могли заметить, догнать, перехватить. К счастью, дорога все еще лежала пустая, а хвойный клочок впереди хотя и медленно, но все-таки приближался. Опираясь на винтовочный приклад и сильно хромая, Сотников сквозь боль то и дело бросал туда нетерпеливые взгляды — он жаждал скорее дойти, и не столько затем, чтобы скрыться с дороги, а больше — чтобы обрести покой.

На беду, не успели они одолеть и половины пути к этой рощице, как Рыбак, выругавшись, будто вкопанный встал на дороге.

— Твое-мое! Это ж кладбище!

Сотников вскинул голову — действительно, теперь уже стало видно, что хвойный клочок, показавшийся им рощицей, на деле был сельским кладбищем: под раскидистыми ветвями сосен ясно виднелось несколько деревянных крестов, оградка и небольшой кирпичный памятник в глубине на пригорке. Но самое худшее было в том, что из-за сосен выглядывали соломенные крыши недалекой деревни; ветер, видно было, косо тянул в небо хвост дыма из трубы.

Рыбак высморкался, рассеянно вытер пятерней нос.

— Ну, куда деться?

Деваться действительно было некуда, но и не стоять же так, посреди дороги. И они, еще более приунывшие и встревоженные, потащились к деревне.

Поначалу им вроде везло: деревня, наверно, только еще просыпалась, и они, никого не встретив на своем пути, благополучно добрались до кладбища. Разных следов тут было в избытке — на дороге и возле нее в поле. По слабо обозначенной на снегу тропинке они поспешно свернули под низко нависшие ветви сосен. Обычно Сотников с трудом преодолевал в себе какое-то пугающе-брезгливое чувство при виде этого печального пристанища, всегда старался обойти его, не задерживаясь. Но теперь это кладбище, казалось, будто послано богом для их спасения — иначе где бы они укрылись на виду у деревни.

Они торопливо прошли мимо свежего, еще не присыпанного снегом глинистого бугорка детской могилки, и раскидистые сукроватые сосны да несколько оград на снегу заслонили их от деревенских окон. Идти тут стало легче — Сотников, усердно помогая себе руками, хватался то за крест, то за комель дерева или штакетник ограды. Порядком отойдя от дороги, он подобрался к толстому комлю сосны и тяжело рухнул в снег. Казалось, только бы лечь, успокоиться, как-нибудь унять боль в ноге — и для него наступило бы неземное блаженство. За эту проклятую

ночь все в нем исстрадалось, намерзлось, зашло глубинной неутраченной болью, и его помутненное сознание едва уже воспринимало обстоятельства, мир и его, Сотникова, в нем положение. Разумеется, он понимал, что положение это было весьма незавидным, если не совсем безнадежным, и наибольшие его муки происходили именно от этой своей беспомощности, совершенной неспособности изменить что-нибудь к лучшему. Разум, сознание тут отходили в сторону, теперь все решала простая физическая сила, которой как раз и не было.

Он лежал, прислонясь спиной к шершавому комлю сосны и закрыв глаза, чтобы не встретиться взглядом с Рыбаком, не заговорить с ним. Он чувствовал себя почти виноватым оттого, что, страдая сам, подвергал риску товарища, который без него, конечно, был бы уже далеко. Рыбак был здоров, обладал большей, чем Сотников, жаждой жить, и это налагало на него определенную ответственность за обоих. Так думал Сотников, нисколько не удивляясь безжалостной настойчивости Рыбака в попытках выручить его этой ночью и как должное принимая все его понукания. Он относил это к обычной солдатской взаимовыручке и не имел ничего против Рыбаковой помощи, будь она обращена кому-нибудь третьему. Но сам он, хотя и был ранен, ни за что не хотел признать себя слабым, нуждавшимся в посторонней помощи — это было противно всему его существу. Как мог, он старался справиться с собой сам, а там, где это не получалось, умерить свою зависимость от кого бы то ни было. И от Рыбака тоже.

Однако Рыбак, видно мало вникая в переживания товарища, продолжал заботиться о нем и, немного передохнув, сказал:

— Подожди тут, а я подскочу. Вон хата близко. В случае чего в гумне перепрыгнемся.

Подождать — это хорошо, подумал Сотников, лишь бы не идти. Ждать он готов был долго, только бы дожидаться чего-нибудь обнадеживающего. Рыбак устало поднялся на ноги, взял карабин. Чтобы тот не бросался в глаза, перехватил его, словно палку, за конец ствола и широко зашагал по заснеженным буграм могил. Сотников раскрыл глаза, повернувшись немного на бок, подобрал поближе винтовку. Между стволов сосен совсем недалеко была видна крайняя изба деревни, развалившийся сарай при ней; на старом, покосившемся тыне ветер трепал какую-то забытую тряпку. Людей там как будто не было.

Рыбак вскоре пропал из его поля зрения, но в деревне по-прежнему все было тихо и пусто. Чтобы удобнее устроить раненую ногу, Сотников ухватился за шероховатую, в лишаях палку ограды, и та, тихо хрустнув, осталась в его руке. Могилка была старая, наверно давно заброшенная, в ее ограде из-под снега торчал одинокий камень, не было даже креста. Струхлевшая оградка доживала свой век — видимо, это было последнее, что осталось от человека на земле. И вдруг Сотникову стало нестерпимо тоскливо на этом деревенском кладбище, среди могильных оград и камней, гнилых, покосившихся крестов, глядя на которые он с печальной иронией подумал: зачем? Весь этот стародавний обычай с памятниками — по существу не более чем наивная попытка человека продлить свое присутствие на земле после смерти. Но разве это возможно? И зачем это нужно?

Нет, жизнь — вот единственная реальная ценность для всего существа и для человека тоже. Когда-нибудь в совершенном человеческом обществе она станет категорией-абсолютом, мерой и ценой всего. Каждая такая жизнь, являясь главным смыслом живущего, станет не меньшей ценностью для всего общества в целом, сила и гармония которого определится счастьем всех его членов. А смерть, что ж — смерти не избежать. Важно только устранить насильственные, преждевременные смер-

ти, дать человеку возможность разумно и с толком использовать и без того не так уж продолжительный свой срок в этом мире. Ведь человек, при всем его невероятном могуществе, наверно, долго еще останется все таким же физически легко уязвимым, когда самого маленького кусочка металла более чем достаточно, чтобы навсегда лишить его единственной и такой дорогой ему жизни.

Утешали разве что скрытые в человеческих душах духовные возможности. Сотников на всю жизнь запомнил, как летом в полевом штаб-лагере немцы допрашивали пожилого седого полковника, искалеченного в бою, с перебитыми кистями рук, едва живого. Этому полковнику, казалось, просто неведомо было чувство страха, и он не говорил, а метал в гестаповского офицера гневные слова против Гитлера, фашизма и всей их Германии. Немец мог бы прикончить его кулаком, мог застрелить, как за час до того застрелил двух политруков-пехотинцев, но этого человека он даже не унижил ругательством. Похоже, что он впервые услышал такое и просто опешил, потом схватился за телефон, что-то доложил начальству, видно, ожидая решения свыше. Разумеется, полковника затем расстреляли, но те несколько минут перед расстрелом были его триумфом, его последним подвигом, наверно не менее трудным, чем на поле боя: ведь полковник даже не надеялся, что его кто-то услышит из своих (они случайно оказались рядом за стеной барака).

Медленно и все глубже промерзая, Согников терпеливо поглядывал на край кладбища, где сразу же, как только появился, он увидел Рыбака. Вместо того, чтобы пойти напрямик, Рыбак старательно прошел вдоль ограды к полю, наверно, чтобы не было видно из деревни, и только потом повернул к нему. Минуту спустя он был уже рядом и, запыхавшись, упал под сосной.

— Кажись, порядок. Понимаешь, там хата, клямка на щепочке. Послушал, будто никого...

— Ну?

— Так это, понимаешь... Может, я тебя заведу, погреемся, а потом...

Рыбак умолк в нерешительности, озабоченно поглядел в утренний простор поля, который уже был виден далеко. Голос его сделался каким-то неуверенным, будто виноватым, и Сотников догадался.

— Ну что ж! Я останусь.

— Да, знаешь, так лучше будет,— заметно обрадовался Рыбак.— А мне надо... Только где тот чертов лес, не пойму. Заблудились мы.

— Спросить надо.

— Спросим... А ты это, потерпи пока. Потом, может, переправим куда-нибудь. Понадежнее.

— Ладно, ладно,— нарочито бодрым тоном ответил на это Сотников.

— И ты не беспокойся, я договорюсь. Накажу, чтоб смотрели и все прочее...

Согников молчал. В общем, все было логично и, пожалуй, правильно, тем не менее что-то обидное шевельнулось в его душе. Правда, он тут же почувствовал, что это — от слабости и как следствие проклятой ночи. На что было обижаться? Отношения их равноправные, никто никому не обязан. И так, слава богу. Рыбак для него сделал все, что было возможно. Можно сказать, спас при самых безнадежных обстоятельствах, и теперь пришло время развязать ему руки.

— Что ж, тогда пошли. Пока никого нет.

Сотников первым попытался подняться, но только чуть двинул раненой ногой, как его пронзила такая лютая боль, что он вытянулся на снегу. Выждав минуту, он кое-как совладел с собой и, крепко сжав зубы, поднялся.

По краю пригорка между молодых сосенок они сошли с кладбища. Невдалеке попалась хорошо утоптанная стежка, которая привела их на голый, ничем не огороженный двор. Несколько на отшибе от села стояла довольно большая, но уже старая, запущенная изба с замазанными глиной углами, выбитым и заткнутым какой-то тряпкой окошком. В почерневшем пробое на двери действительно торчала наспех воткнутая щепка — наверно, кто-то недалеко вышел, и дома никого не осталось. Сотников подумал, что так, может, и лучше: по крайней мере на первых порах обойдутся без объяснений, всегда не очень приятных в подобных случаях.

Рыбак вынул щепку, пропустил в сени напарника, дверь тихо прикрыл изнутри. В сенях было темновато. Под стенами громоздились какие-то кадки, разная хозяйская рухлядь, стоял громадный, окованный ржавым железом сундук; угол занимали жернова. Сотников уже видел однажды это нехитрое деревенское приспособление для размола зерна: два круглых камня в неглубоком ящике и укрепленная где-то вверху палка-вертушка. Маленькое, затянутое паутиной окошко в стене позволило им отыскать дверь в избу.

Опираясь о стену, Сотников кое-как добрался до этой двери, с помощью Рыбака перелез высокий порог. Изба встретила их затхлою смесью запахов и теплом. Он протянул руку к ободранному боку печи — та была свежо натоплена, и в его тело хлынуло такое блаженство, что он не сдержал стона, наверно впервые прорвавшегося за всю эту ужасную ночь. Обессиленно и неуклюже он опустился на коротенькую скамейку возле печи, едва не опрокинув какие-то горшки на полу. Пока устраивал ногу, Рыбак заглянул за полосатую рогожку, которой была занавешена дверь в другую половину избы — там раза два тихонько проскрипела кровать. Сотников напряг слух — сейчас должно было решиться самое для них главное.

— Вы одни тут? — твердым голосом спросил Рыбак, стоя в двери.

— Ну.

— А отец где?

— Так негу.

— А мать?

— Мамка у дядьки Емельяна молотит. На хлеб зарабатывает. Ведь нас четверо едоков, а она одна.

— Ого, как ты разбираешься! А там что — едоки спят? Ладно, пусть спят, — тише сказал Рыбак. — Ты чем покормить нас найдешь?

— А бульбочку мамка утром варила, — отозвался словоохотливый детский голос.

Тотчас на полу там затопали босые пятки, и из-за занавески выглянула девочка лет десяти со включенными волосами на голове, в длинноватом и заношенном ситцевом платье. Она коротко взглянула на Сотникова черными глазенками, но не испугалась, а с хозяйской уверенностью подошла к печи и на цыпочках потянулась к высоковатой для нее загнетке. Чтобы не мешать ей, Сотников осторожно подвинул в сторону свою бедолагу-ногу.

Под окном стоял непокрытый стол, возле него была скамья с глиняной миской, девочка переставила миску на конец стола и вытряхнула в нее из горшка картошку. Движения ее маленьких рук были угловаты и не очень ловки, но девочка с очевидным усердием старалась угодить гостям — вынула из посудника нож, повозившись в темном углу, поставила на стол тарелку с большими сморщенными огурцами. Потом отошла к печи и с молчаливым любопытством стала рассматривать этих вооруженных, заросших бородами, наверно страшноватых, но, безусловно, интересных для нее людей.

— Ну, давай подрубаем,— подался к столу Рыбак.

Сотников еще не отогрелся, намерзшее его тело дрожало от озноба, но от картошки на столе струился легкий, удивительно ароматный парок, и Сотников встал со скамейки. Рыбак помог ему перебраться за стол, устроил на скамье раненую ногу. Так было удобнее. Сотников взял теплую, слегка подгоревшую с одной стороны картофелину и привалился спиной к побеленной бревенчатой стене. Девочка с прежней уважительностью стояла в проходе и, колупая край занавески, поглядывала на них быстрым взглядом своих темных глаз.

— А хлеба что, нет? — спросил Рыбак.

— Так вчера Леник все съел. Как мамку ждали.

Рыбак, помедлив, достал из-за пазухи прихваченную у старосты горбушку и отломил от нее кусок, затем отломил другой и молча протянул девочке. Та взяла хлеб, но есть не стала — отнесла за перегородку и снова вернулась к печи.

— И давно мать молотит? — спросил Рыбак.

— От позавчера. Она еще неделю молотить будет.

— Понятно. Ты — старшая?

— Ага, я большая. Катя с Леником малые, а мне уже девять.

— Минго. А немцев у вас нету?

— Однажды приезжали. Как мы с мамкой к тетке Гелене ходили. У нас подвинка рябого забрали. На машине увезли.

Сотников кое-как проглотил пару картофелин и опять зашелся в своем неотвязном кашле. Минут пять тот бил его так, что казалось — вот-вот что-то оборвется в груди. Потом немного отлегло, но стало не до картофеля, он только выпил полкружки воды и закрыл глаза. В ощущениях его что-то плыло, качалось, болезненно-сладостная усталость убаюкивала, он засыпал. В болезненном сознании быстро отдалялись смешивающиеся голоса Рыбака и девочки.

— А мать твою как звать? — хрустя огурцом, спрашивал Рыбак.

— Демчиха.

— Ага. Значит, ваш папка Демьян?

— Ну. А еще Авгинья мамку зовут.

Было слышно, как Рыбак заскрипел скамьей, наверно потянулся за новой картофелиной, под столом загрели его сапоги. Разговор на какое-то время умолк, но затем прозвучал вкрадчивый, с лукавым любопытством голос девочки:

— Дядя, а вы — партизаны?

— А тебе зачем знать? Пацанка еще.

— А вот и знаю, что партизаны.

— Знаешь, так помолчи.

— А того дядю, наверно, ранили, да?

— Ранили или нет, о том ни гу-гу. Поняла?

Девочка промолчала. Разговор на минуту затих.

— Я за мамкой сбегая, хорошо?

— Сиди и не рыпайся. А то еще накличешь какую холеру.

— ...Холера на них! Люди мы или скотина?

— Были люди...

Но это уже не настоящее — это голоса из прошлого. Сознание Сотникова еще успевает отметить этот почти неуловимый переход в забытье, и дальше уже видится тот, раненный в ногу лейтенант, который едва ковыляет в колонне, опираясь на плечо более крепкого товарища. У лейтенанта забинтована еще и голова. Бинт старый, грязный, с запекшейся коркой крови на лбу; иссохшие губы и нехороший лихорадочный блеск в покрасневших глазах придают его исхудавшему лицу какой-то полупомешанный вид. От его раненой ноги распространяется такая

вонь, что Сотникова слегка мутит: сладковатый запах гнили на пять шагов отравляет воздух. Их гонят колонной в лес — реденький соснячок при дороге. Под ногами пересыпается белый, с хвойными иголками песок, нещадно жжет полуденное солнце. Конные и пешие немцы сопровождают колонну.

Говорят, гонят расстреливать.

Это похоже на правду — тут те, кого отобрали из всей многотысячной массы в шталаге: политработники, коммунисты, евреи и прочие, чем-либо вызвавшие подозрение у немцев. Сотникова поставили сюда за неудачный побег. Наверно, там, на песчаных холмах в сосняке, их расстреляют, они уже чувствуют это по тому, как, свернув с дороги, настроенно подобрались, стали громче прикрикивать их конвоиры — начали теснее сбивать в один гурт колонну. На пригорке, видно было, стояли и еще солдаты, наверно ждали, чтобы организованно сделать свое дело. Но, вероятно, случаются накладки и у немцев. Колонна еще не достигла пригорка, как конвоиры что-то загергетали с теми, что были на краю соснячка, затем прозвучала команда всем сесть — как это обычно делалось, когда надо было остановить движение. Пленные опустились на солнцепеке и под стволами автоматов стали чего-то ждать.

Все последние дни Сотников был словно в прострации. Чувствовал он себя скверно, мало что обессилел без воды и пищи, так еще и изверился в людях и своей судьбе: после всего, что случилось, не очень хотелось и жить. От жажды в его нутре все пересохло, но воды не было, как не было ни малейшей надежды на какое-нибудь спасение, и он думал: пусть бы уж скорее кончали, лишь бы меньше страдать. Там, где смерть освобождала от страданий, она не была страшной — была печальной необходимостью, и только. И он молча, в полузабытьи сидел среди тесной толпы людей на колючей сухой траве без особых мыслей в голове и, наверно, потому не сразу понял смысл лихорадочного шепота рядом: «Хоть одного, а прикончу. Все равно...» — «Погоди ты. Посмотрим, что дальше». — «Разве не ясно что». Сотников осторожно повел взглядом — тот самый его сосед-лейтенант незаметно для других доставал из-под грязных бинтов на ноге обыкновенный перочинный ножик, и в глазах его таилась такая решимость, что Сотников подумал: такого не удержишь. Наверно, выскочит и наделает глупостей, ибо что он еще мог сделать тем своим ножиком? Тот, к кому он обращался, — пожилой человек в комсоставской, без петлиц гимнастерке — опасно поглядывал на конвоиров, — двое поблизости, сойдясь вместе, прикуривали от зажигалки, один на коне чуть поодаль бдительно осматривал колонну.

Они еще посидели на солнце, может, минут пятнадцать, пока с холма не послышалась какая-то команда, и немцы начали поднимать колонну. Сотников уже знал, на что решился сосед, который сразу же начал забирать из колонны в сторону, поближе к конвоюру. Конвоир этот был сильный приземистый немец, как и все, с автоматом на груди, в тесном, пропотевшем под мышками кителс; из-под мокроватой с краев суконной пилотки выбивался совсем не арийский — черный, почти смоляной чуб. Немец торопливо докурил сигарету, сплюнул сквозь зубы и, по-видимому намереваясь подогнать пленного, нетерпеливо ступил два шага к колонне. В то же мгновение лейтенант, словно коршун, бросился на него сзади и по самый черенок вонзил нож в его загорелую шею.

Коротко крикнув, немец осел наземь, кто-то поодаль крикнул: «Полундра!» — и несколько человек, будто их пружиной метнули из колонны, бросились в поле. Сотников от неожиданности на миг обмер, но тут же, подчиняясь бездумному порыву самосохранения, также рванулся

прочь. Он едва не наскочил на лейтенанта, который сначала бежал, но вдруг споткнулся, упал на бок под самые ноги Сотникову и тут же ножом широко полоснул себя поперек живота. Сотников перескочил через его тело, едва не наступив на его судорожно скрюченную руку, из которой, коротко сверкнув мокрым лезвием, выпал в песок маленький, с указательный палец ножик.

Замешательство немцев длилось секунд пять, не больше, сейчас же в нескольких местах ударили очереди — первые пули прошли над его головой. Но он бежал. Кажется, никогда в жизни он не мчался с такой бешеной прытью, в несколько широких прыжков взбежал на бугор с сосенками. Пули уже густо и беспорядочно пронизывали сосновую чащу, со всех сторон его осыпало хвоей, а он все мчал, не разбирая пути, как можно дальше, то и дело с радостным изумлением повторяя про себя: «Жив! Жив!»...

К сожалению, соснычок оказался совсем узенькой недлинной полоской, которая через сотню шагов неожиданно окончилась, впереди разлеглось уставленное рядами крестцов сжатое поле. Однако деваться ему было некуда, и он рванулся дальше — по стерне через поле туда, где курчавились зеленые кусты ольшаника.

Тут его скоро заметили, сзади раздался крик, треснул недалекий выстрел — пуля, словно кнутом, хлестко стеганула его по брюкам, разрубив пустой портсигар в кармане. Сотников явственно почувствовал этот удар и оглянулся: низко пригнувшись над гривой лошади и вскинув правую с пистолетом руку, за ним скакал всадник. От лошади, понятно, не уйдешь, Сотников сказал себе «амба» и повернулся лицом к преследователю. Конь едва не сшиб его с ног, в последний момент он как-то увернулся от его копыт, метнувшись за ближайший в ряду крестец. Немец, резко откинувшись в седле, выбросил руку — грохнувший выстрел перебил на верхнем снопе перевясло, солома, туго пырнув в стороны, осыпалась на стерню. Но Сотников все же уцелел и в отчаянном порыве схватил из-под ног камень — обычный, размером с кулак, полевой булыжник. Опять как-то уклонившись от лошади, он с силой бросил камнем прямо в лицо всаднику, тот преждевременно грохнул выстрелом, но и в этот раз мимо. Почувствовав спасительную силу в этих камнях, Сотников начал хватать их из-под ног и швырять в немца, который вертелся на разгоряченном коне вокруг, норовя выстрелить наверняка. Еще два его выстрела прогремели в поле, но и они не задели беглеца, который, обрадовавшись своей удаче, с камнем в руке бросился за другой ряд крестцов.

Пока немец управлялся со вздыбившимся конем, Сотников пробежал десяток шагов к следующему ряду и снова круто обернулся, чтобы ударить навстречу. На этот раз он попал в голову лошади, и немец снова промазал. Сотников швырнул в него еще три камня подряд, увертываясь от лошадиных копыт и все дальше перебегая от крестца к крестцу. Но вот крестцы кончались, в ряду остался последний, Сотников в изнеможении упал за ним на колени, сжав в кулаке камень. В этот раз немец решительно направил коня на крестец, видимо намереваясь сшибить беглеца копытами. Конь высоко взвился на задних ногах и, екнув селезенкой, тяжело прыгнул, обрушивая крестец и заваливая снопами Сотникова. Падая, он, однако, радостно вскрикнул — промелькнувший перед ним парабеллум в руке немца круто выгнулся вверх затвором: вышла обойма. Поняв свою оплошность, немец сгоряча резко осадил коня, и тогда Сотников, вскочив, со всех ног бросился к недалекому уже кустарнику.

Его преследователь потерял несколько очень важных секунд, пока перезаряжал пистолет — для этого надо было придержать коня, — и

Сотников успел добежать до ольшаника. Тут уже конь ему был не страшен. Не обращая внимания на опять раздавшиеся выстрелы, а также ветки, раздиравшие его лицо, он долго бежал, пока не забрался в болото. Деваться было некуда, и он влез в кочковатую, с окнами стоячей воды трясиину, из которой уже никуда не мог выбраться. Там он, однако, понял, что если не утонет, то может считать себя спасенным. И он затаился, до подбородка погрузившись в воду и держась за тоненькую, с мизинец, лозовую ветку, все время напряженно соображая: выдержит она или нет. Если бы ветка сломалась, он бы уже не удержался, силы у него не осталось. Но ветка не позволила ему скрыться с головой в прорве, мало-помалу он отдышался и, как только вдали затихла стрельба, с трудом выбрался на сухое.

Была уже ночь, он отыскал в небе Полярную и, почти не веря в свое спасение, побрел на восток.

Глава девятая

Сотников неподвижно лежал на скамье, наверно уснул, а Рыбак пересел поближе к окну и из-за косяка стал наблюдать за тропинкой. Он немного перебил голод картошкой, делать тут ему было нечего, но и уйти нельзя — надо было ждать. А кому не известно, что ждать и догонять хуже всего. Наверно, по этой или еще по какой-либо причине в нем начала расти досада, даже злость, хотя злиться вроде и не было на кого. Разве на Сотникова, которого он не мог оставить на этих детей. Хозяйка не возвращалась, послать за ней он не мог: как в таком деле полагаться на ребятенка?

И он сидел у окна, неизвестно чего ожидая, прислушиваясь к случайным звукам извне. По ту сторону перегородки повставали дети, слышалась их приглушенная возня в кровати — иногда на двери отодвигалась дерюжка, и в щели псыявлялось мурзатое, любопытствующее личико, но тут же исчезало снова. Девочка там крикливо командовала ими, никого не выпуская из-за перегородки.

Рыбак до мельчайших подробностей изучил стежку за окном, остатки разломанной изгороди и край неогороженного кладбища с колючим кустарником по меже. Тряпка, затыкавшая разбитое стекло, неплохо скрывала его в окне. На сыром гниловатом подоконнике стояло несколько грязных пустых пузырьков от лекарств, валялся клубок льняных ниток и тряпичная кукла, глаза и рот которой были искусно нарисованы чернилами. Напротив за столом беспокойно дышал во сне Сотников, которого надо было устроить надежнее, но для того нужна была хозяйка. Томясь и нервничая в неопределенном своем ожидании, Рыбак почти с неприязнью слушал нездоровое дыхание товарища, все больше сокрушаясь оттого, что им так не повезло сегодня. И все из-за Сотникова. Рыбак был незлой человек, но, сам обладая неплохим здоровьем, относился к больным без особенного внимания, не понимая иногда, как это возможно простудиться, занемочь, расхвораться. Действительно, думал он, заболеть на войне — самое нелепое, что можно придумать.

За время продолжительной службы в армии в нем появилось несколько пренебрежительное чувство к слабым, болезненным, разного рода неудачникам, которые по тем или другим причинам чего-то не могли, не умели. Он-то старался уметь и выполнять все. Правда, до войны кое в чем было трудновато, особенно когда это касалось грамотности, образования — он не любил книжной науки, для которой нужны были терпение и усидчивость. Рыбаку больше по душе было живое, реальное дело со всеми его хлопотами, трудностями и неувязками. Наверно, по-

этому он три года прослужил старшиной роты — характером его бог не обидел, энергии также хватало. На войне в некотором смысле ему стало даже легко, по крайней мере просто: цель борьбы была очевидной, а над прочими обстоятельствами он не очень раздумывал — знал, чем больше фашистам вреда, тем лучше. До сих пор ему, в общем, везло, наибольшие беды его обходили, он понял, что главное в их партизанской войне — не растеряться, не прозевать, вовремя принять решение. Если считать правильным, что главный смысл борьбы заключался в том, чтобы, отстаивая собственную жизнь, причинять вред врагу, то он имел все основания считать себя полноценным партизанским бойцом. Во всяком случае не хуже других.

— Мамка, мамка идет! — вдруг радостно вскричала детвора за перегородкой.

И он увидел на стезжке женщину, которая мелкими шагками торопливо направлялась к избе. Длинноватая темная юбка, замызганный полушубок и платок, толсто накрученный на голову, свидетельствовали не о первой молодости хозяйки, хотя, по-видимому, она еще не была и старой. Ведя за ней взглядом, Рыбак осторожно подвинулся за окном. От детского крика встрепенулся Сотников, тревожным взглядом покрасневших глаз метнул по избе, но, увидев его на месте, опять вытянулся на скамье.

Когда в сенях стукнула щеколда, Рыбак отодвинулся на конец скамьи и постарался принять спокойный, вполне добропорядочный вид. Надо было как можно приветливее встретить ее, не напугать и не обидеть: с ней предстояло договориться о Сотникове.

Она еще не открыла двери, как из-за перегородки высыпала детвора — две девочки, приподняв занавеску, остались на выходе, а лет пяти мальчик, босой, в рваных, на шлейках штанишках, бросился к порогу навстречу:

— Мамка, а у нас палтизаны!

Войдя, она сразу подалась вперед, чтобы подхватить мальчика на руки, но вдруг выпрямилась и с недоуменным испугом взглянула на незнакомого человека.

— Здравствуйте, хозяйка, — со всей доброжелательностью, на которую он был способен сейчас, сказал Рыбак.

Но хозяйка уже согнала с усталого лица удивление, мельком взглянула на стол с пустой миской, и что-то на ее лице передернулось.

— Здравствуйте, — холодно ответила она, отстраняя от себя ребенка. — Сидите, значит?

— Да вот как видите. Вас ждем.

— Это какая же у вас ко мне надобность?

Нет, тут не заладилось что-то, женщина явно не хотела настраиваться на тот тон, который ей предлагал Рыбак, — что-то суровое, злое и сварливое послышалось в ее голосе.

Он пока смолчал, а она тем временем расстегнула старенький латаный тулупчик, стащила с головы платок. Рыбак пристально взглядывался в нее — сваленные, нечесанные волосы, запыленные мочки ушей, утомленное, какое-то серое, не очень еще и пожилое лицо с сетью ранних морщин возле рта красноречиво свидетельствовали о непреходящей горечи ее трудовой жизни.

— Какая еще надобность? — Она бросила платок на шест возле печи, опять повела взглядом на конец стола с миской. — Хлеба? Сала? Или, может, яиц на яичницу захотелось?

— Мы не немцы, — сдержанно сказал Рыбак.

— А кто же вы? Может, красные армейцы? Так красные армейцы на фронте воюют, а вы по зауглам шастаете. Да еще подавай вам буль-

бочки, огурчиков... Гэлька, возьми Леника! — крикнула она старшей, а сама, не раздеваясь, на скорую руку начала прибираться возле печи: горшки — на загнетку, ведро — в порог, веник — в угол.

За столом начал настойчиво кашлять Сотников, она покосилась на него, нахмурилась, но промолчала, продолжая убирать, одернула грязную занавеску над лазом в подпечье. Рыбак поднялся, сознавая, что допустил ошибку: видимо, обращаться с ней надо было поосторожнее, с этой сварливой, раздраженной бабой.

— Напрасно, тетка. Мы к вам по-хорошему, а вы ругаться.

— Я разве ругаюсь? Если бы я ругалась, вашей бы и ноги здесь не было. Цыц, вы, холеры! Вас еще не хватало! — прикрикнула она на детей. — Гэля, возьми Леника, сказала! Леник, побью!

— А я, мамка, палтизанов смотлеть хочу.

— Я тебе посмотрю! — с угрозой топнула она к перегородке, и дети исчезли. — Партизаны!

Рыбак внимательно наблюдал за ней, размышляя, отчего бы ей быть такой злой, этой Демчихе? В голове его возникали самые различные на этот счет предположения: жена полиция, какая-нибудь родня здешнего старосты или, может, чем-либо обиженная при советской власти? Но, поразмыслив, он отбросил все эти домыслы, явно не согласовавшиеся с бедственной жизнью этой женщины.

— А где твой Демка? — вдруг спросил Рыбак.

Она выпрямилась и как-то настороженно, почти испуганно взглянула на него:

— А вы откуда знаете Демку?

— Знаем.

— Чего ж тогда спрашиваете? Разве теперь бабы знают, где их мужики? Побросали вот, живи как хочешь.

Она взяла с порога веник и начала заметать возле печи. Все ее размашистые движения свидетельствовали о крайнем нерасположении к этим непрошеным гостям. Рыбак все думал, не зная, как наконец подступить к Демчихе с тем главным разговором, ради которого он дождался ее.

— Тут видишь ли, тетка, товарищ того...

Она разогнулась, подозрительно взглянула на Сотникова в углу. Тот двинулся, попытался встать и заметно подавил стон. Демчиха на минуту замерла с веником в руках. Рыбак поднялся со скамьи.

— Вот видишь, плохо ему, — сказал он.

Сотников минуту корчился от боли в ноге, обеими руками держась за колено и сжимая зубы, чтобы не застонать.

— Черт, присохла, наверно.

— А ты не дергайся. Лежи. Тебя же не гонят.

Пока Рыбак устраивал на скамье его ногу, Демчиха все хмурилась, но мало-помалу резковатое выражение на ее лице стало смягчаться.

— Подложить что-нибудь надо, — сказала она и пошла за перегородку, откуда вынесла старую, с вылезшими клочьями серой ваты измятую телогрейку. — На, все мягче будет.

«Так, — мысленно отметил Рыбак. — Это другое дело. Может, еще подобрет эта злая баба». Сотников приподнялся, она сунула телогрейку под его голову, и он, покашливая, тут же опустился снова. Дыхание его по-прежнему было частым и трудным.

— Больной, — уже другим тоном, спокойнее сказала Демчиха. — Жар, видно. Вон как горит!

— Пройдет, — отмахнулся рукой Рыбак. — Ничего страшного.

— Ну, конечно, вам все не страшно,— начала сердиться хозяйка.— И стреляют вас — не страшно. И что мать где-то убивается — ничего. А нам... Зелья надо сварить, напиток, спотеть. А то вон кладбище рядом.

— Кладбище — не самое худшее,— сквозь кашель сказал Сотников.

Он как-то нехорошо оживился после короткого забытья, наверно, от температуры резко покраснелись щеки, в глазах появился лихорадочный блеск, неестественная порывистость сквозила в его движениях.

— Что же еще может быть хуже? — допытывалась Демчиха, убирая со стола миски.— Наверно ж, в пекло не верите?

— Мы в рай верим,— шутливо бросил Рыбак.

— Дождетесь рая, а как же.

Забрякав заслонкой, хозяйка полезла в печь, задвигала там чугунами. Однако похоже было на то, что она уже успокоилась, даже подобрела. Рыбак чувствовал это и думал, что, может, как-либо все еще устроится.

— Нам бы теплой водички рану обмыть. Ранили его, тетка.

— Да уж вижу. Не собака укусила. Вон всю ночь под Старосельем бахали,— как бы невзначай сообщила она, опершись на ухват.— Говорят, одного полицая подстрелили.

— Полицая?

— Ну.

— А кто сказал?

— Бабы говорили.

— Ну, если бабы, то верно,— улыбнулся на конце скамейки Рыбак.— Они все знают.

Демчиха сердито оглянулась от печи.

— А что, нет? Бабы-то знают. А вы вот не знаете. Если бы знали — не спрашивали.

Она подала им воду в чугушке и направилась за занавеску к детям.

— Ну, вы уж сами. А то не хватало мне еще вам портки снимать.

— Ладно, ладно,— согласился Рыбак и ступил к Сотникову.— Давай снимем.

Сотников сжал зубы, вцепился руками в скамью, и Рыбак с усилием стащил с его ноги мокрый, окровавленный бурок. Дальше надо было снять брюки, и Сотников, поморщившись, выжал:

— Я сам.

Видать по всему, ему было мучительно больно, и все же, расстегнув, он сдвинул до колен также окровавленные штаны. Среди подсохших кровавых подтеков на теле Рыбак увидел наконец ранку. Она оказалась совсем небольшой, подпухшей, с синеватым ободком вокруг и вовсе не страшной — типичной пулевой раной, которая еще чуть-чуть кровоточила. С другой стороны бедра выхода не было, что значило: пуля застряла в ноге. Это уже было похуже.

— Да, слепое,— озабоченно сказал Рыбак.— Придется доставать.

— Ладно, ты же не достанешь,— начал раздражаться Сотников.— Так завязывай, чего разглядывать.

— Ничего, что-то придумаем. Хозяюшка, может, и перевязать чем найдется? — громче спросил Рыбак, а сам мокрым полотенцем начал отирать с тела подсохшую кровь.

Нога Сотникова болезненно вздрагивала, тот, однако, напрягался и терпел, и Рыбак подумал, что, в общем, ранение не слишком тяжелое, если только пуля не задела кости. Если пулю извлечь, то за месяц все зарастет. Куда важнее было этот месяц где-то перепрятаться, чтобы не попасть к немцам.

Вскоре Демчиха появилась в дверях с чистым полотняным обрывком в руках, и Сотников стеснительно съезжился.

— Не бойтесь! Нате вот, перевязывайте, чем нашла.

Все время, пока Рыбак бинтовал бедро, Сотников, сжимая зубы, подавлял стон, и как только все было окончено, пластом свалился на скамью. Рыбак сполоснул в чугушке руки.

— Ну вот операция и закончена. Хозяюшка!

— Вижу, не слепая,— сказала Демчиха, появляясь в дверях.

— А что дальше — вот загвоздка.— Рыбак с очевидной заботой сдвинул на затылок шапку и вопросительно посмотрел на женщину.

— А я разве знаю, что у вас дальше?

— Идти он не может — факт.

— Сюда же пришел.

Наверно, она что-то почувствовала в его дальнем намеке, и они пристально и настороженно посмотрели друг другу в глаза. И эти их продолжительные взгляды сказали больше, чем их слова. Рыбак снова ощутил в себе неуверенность — что и говорить: слишком тяжел был тот груз, который он собирался переложить на плечи этой вот женщины. Впрочем, она, видать, не хуже его понимала, какому подвергалась риску, согласившись с ним, и решила стоять на своем.

В довольно беглом, до сих пор ни к чему не обязывающем разговоре наступила заминка. Сотников выжидательно притих на скамье, а Рыбак озабоченно взглянул в окно.

— Немцы!

Как ужаленный, он отпрянул к порогу, за какую-то долю секунды все же успев охватить взглядом нескольких вооруженных людей, стоящих на кладбище. Они именно стояли, а не шли, хотя он даже не понял, куда были обращены их лица,— он только увидел их силуэты со стволами винтовок, торчащими из-за спин.

Сотников поднялся из угла, зашарил подле себя рукой — старался схватить винтовку. Хозяйка как стояла, так и замерла, кровь разом отхлынула от ее лица, ставшего совершенно серым. Рыбак сначала бросился к двери, но тут же вернулся, чтобы еще раз взглянуть в окно.

— Идут! Трое сюда идут!

Действительно, трое с кладбища не спеша шли вниз к стожке, как раз, наверно, по их недавним следам. Только Рыбак увидел это, внутри в нем все сжалось в щемящем предчувствии беды. Никогда он не пугался так, даже сегодняшней ночью в поле. Казалось, самым разумным было бежать, но он бросил взгляд на скорченного на скамье Сотникова, сжимавшего в руке винтовку, и остановился. Бежать было нельзя. Демчиха, наверно, также поняла это и вдруг затвердила паническим шепотом:

— На чердак! На чердак! Лезьте на чердак!

Ну, разумеется, на чердак, где же еще можно спрятаться в крестьянской избе. Они сунулись в темноватые сени, в углу которых чернел квадратный лаз на чердак, но лестницы под ним не было, и Рыбак вскочил на круглые камни жерновов. Там он перебросил на чердак карабин и оглянулся.

— Давай твою!

Сотников, расставив руки, перебирался через порог, Демчиха поддерживала его. Он подал винтовку, и Рыбак также сунул ее в темную дыру чердака. Затем, едва не опрокинув жернова, втащил на них Сотникова. Верхнее бревно отсюда было еще высоко, но Рыбак все-таки дотянулся до него и, гремя по стене сапогами, как-то взобрался наверх. Тут же схватил за протянутые руки Сотникова. Демчиха все время усердно, хотя и не в лад помогала снизу; полминуты Сотников ослабело карабкал-

ся, напрягаясь из последних сил, и наконец перевалился через верхнее бревно стены.

— Там пакля! За паклю лезьте! — подсказывала снизу хозяйка.

Рыбак пробежал по мягкой чердачной засыпке, тут, как и в сенях, господствовал полумрак, хотя из-под крыши и сквозь маленькое слуховое окошко во фронте пробивалось немного света, в котором был виден широкий столб кирпичной трубы, какие-то обноски на длинном шесте, сломанная прялка внизу. Поодаль под крышей он рассмотрел поряточный ворох пакли.

— Сюда давай!

Сотников, подобрав винтовку, на четвереньках подался под скос крыши в угол, куда указал Рыбак, и тот, поддев сапогом, навалил на него ворох пакли. Потом и сам затиснулся под крышу за спину товарища.

Минуту они, замерев, лежали, едва справляясь с дыханием. В нос шибало резким пеньковым запахом, костра из пакли обсыпала лицо и кололась за воротником. Напрягая слух, Рыбак старался понять, шли немцы по их следам или так просто направлялись в деревню. Если по следам, то, разумеется, будут искать. Тогда вряд ли им тут отсидеться. В груди Сотникова громко хрипело, это мешало слушать, и все же они старались не пропустить ни одного звука снаружи. Голоса там раздавались уже так близко, что Рыбака охватила оторопь: немцы заговорили с Демчихой.

— Привет, фрава! Как жисть?

Оказывается, это были полицаи, Рыбак узнал их с первого слова. Не останавливаясь, они прошагали по двору, кажется направляясь к двери. Демчиха почему-то молчала, и Рыбак весь напрягся, страстно желая, чтобы они прошли мимо.

— Что молчишь? Зови в гости,— глуховато донеслось снизу.

— Пусть вас на кладбище зовут, таких гостей,— был им ответ.

«Э, не надо так,— с сожалением пронеслось в голове у Рыбака.— Зачем задираться!» Чутко вслушиваясь, он почти со страхом переживал грубые слова хозяйки и очень опасался, что та каким-нибудь неосторожным словом навлечет беду.

— Ого! Ты что, недовольна?

— Довольна. Радуюсь, а как же!

— То-то! Водка есть?

— А у меня лавка, что ли?

— Тогда гони пару колбас!

— Еще чего захотели! Из кошки я их вам наделаю? Подсвинка забрали, а теперь колбас им!

— Вот как ты нас встречаешь! — ехидно заскрипел другой голос.— Партизан так, наверно, сметанкой кормила бы.

— Мои дети полгода сметаны не видели.

— А мы сейчас это дело проверим!

Ну, конечно, нельзя было так зло и задиристо обходиться с ними, вот они и не прошли мимо — их тяжелые шаги затопали уже в сенях. Но, кажется, дверь в избу еще не открывали, и Рыбак похолодел от неожиданного и такого простого теперь предположения: а вдруг полезут на чердак за колбасами? Но нет, пока что застучали в сенях, наверно откинули крышку сундука, что-то там упало и с громким жестяным стуком покатилося на пол. Боясь шевельнуться, Рыбак тихо лежал, вперив глаза в сухое, почерневшее стропило, и думал: нет, пришли не за ними. Ищут продукты — обычный полицейский промысел в деревне, а на кладбище, по всей вероятности, пост-засада — будут караулить дорогу.

Они еще не прекратили своего обыска в сенях, как Сотников рядом неестественно напрягся, в груди у него что-то ужасающе всхлипнуло, и Рыбак почти обмер в испуге — показалось, закашляет. Но он не закашлял, как-то сдержался, притих, а они там, внизу, уже стукнули дверь, и вскоре их голоса приглушенно зазвучали в избе.

— Где хозяин? В Московщине?

— А мне откуда знать?

— Не знаешь? Тогда мы знаем. Стась, где ее мужик?

— В Москву, наверно, подался.

— О, сука, скрывает! А ну врежь ей!

— А-яй! Гады вы! — дико закричала Демчиха. — Чтоб вам околеть до вечера! Чтоб вам глаза ворон повыклевал! Чтоб вы детей своих не увидели!..

— Ах, вот как! Стась!

В избе испуганно заверещала детвора, вскрикнула и умолкла девочка. И вдруг из напряженной груди Сотникова пушечным выстрелом грохнул кашель. У Рыбака как будто оборвалось что внутри, руки под паклей сами рванулись к Сотникову, но тот кашлянул снова. В избе враз смолкли, будто все выскочили из нее, Рыбак с невероятной силой зажимал Сотникову рот, и тот мучительно давился в неумных потугах. Но, видимо, было уже поздно.

— Кто там? — наконец послышалось снизу.

— А никто. Кошка там у меня простуженная, ну и кашляет, — слышно было, перестав плакать, испуганно заговорила Демчиха. Но ее не слишком уверенный голос, наверно, не убедил полицейских.

— Стась! — властно скомандовал громкий свирепый голос.

Рыбак на выдохе задержал дыхание, с необыкновенной ясностью сознавая, что все пропало. Наверно, надо было защищаться, стрелять, пусть бы погибли и эти наемники, но неизвестно откуда явилась последняя надежда на чудо, подумалось: а вдруг пронесет!

От удара двери о стену задрожала изба, полицаи с грохотом потревоженного стада ринулись в сени, наружная дверь распахнулась, на чердаке под крышей вдруг стало светлее. Невидящим взглядом Рыбак уставился в черное ребро стропила, за которым торчал в соломе старый поржавленный серп. Несколько проникших на чердак теней, скрещиваясь, заметались по соломенной изнанке крыши.

— Лестницу! Лестницу давайте! — свирепым басом командовал внизу привыкший приказывать голос.

— Нету лестницы, никого там нету, чего вы прицепились? — снова заплакала Демчиха.

Стук, удар в стену, скрежет сапог по бревнам и совсем близко — задыхающийся голос:

— Так темно там. Ни черта не видать.

— Что не видать? Лезь, я приказываю, туды-т твою мать!

— Эй, кто тут? Вылазь, а то гранатой влуплю! — раздалось почему-то под самой крышей. Но шагов по потолку еще не было слышно — наверно, полицаи все-таки не решался перелезть стену.

— Так он тебе и вылезет! — гудел внизу командирский бас. — Начка там есть какая?

— Есть. Сено будто.

— Пырни винтовкой.

— Так не достану.

— От, идрит твою муттер! Тоже вояка! НÁ автомат! Автоматом чесани!

Это уже все, точка, сказал себе Рыбак, почти физически ощущая, как его тело вот-вот разнесет в клочья горячая автоматная очередь. Ста-

раясь использовать последние секунды, он мысленно метался в поисках выхода, но абсолютно нигде не находил его: так ловко попались они в эту ловушку. Наверно, все уже было окончено, надо было вставать, и вдруг ему захотелось, чтобы первым поднялся Сотников. Все-таки он ранен и болен, к тому же именно он кашлем выдал обоих, ему куда с большим основанием годилось сдаваться в плен. Но Сотников лежал, будто неживой, выгнулся, напрягся всем телом, похоже даже, перестал и дышать.

— Ах, не лезешь!

Под крышей раздался сухой металлический щелчок — слишком хорошо знакомый Рыбаку звук автоматного затвора, сдвинутого на боевой взвод. Дальше должно было последовать то самое худшее, за чем ничего уже не следует. Только какая-нибудь секунда отделяла их от этого последнего рубежа между жизнью и смертью, но и тогда Сотников не шевельнулся, не кашлянул даже. И Рыбак, в последний раз ужаснувшись, отбросил ногами паклю.

— Руки вверх! — взвопил полицай.

Рыбак поднялся, с опаской подумав, как бы тот сдуру не всадил в него очередь. На четвереньках он выполз из-под крыши и встал. Над бревном у лаза настороженно и опасно застыла голова в кубанке, рядом торчал направленный на него ствол автомата. Теперь самым страшным для Рыбака был этот ствол — он решал все. Искося, но очень пристально поглядывая на него, Рыбак поднял руки. Очереди пока что не было, гибель как будто откладывалась, это было главное, а остальное для него уже не имело значения.

— А, попались, голубчики, в душу вашу мать! — почти ласковой бранью приветствовал их полицейский и взобрался на чердак.

Глава десятая

Откуда-то притащили лестницу, на чердак влезли все трое, перерыли в углах, перетрясли паклю, забрали винтовки. Пока двое занимались обыском, пленные под автоматом третьего стояли в стороне у трубы.

Сотников, поджав босую ногу, прислонился к трубе и кашлял. Теперь уже можно было не сдерживаться и накашляться вдоволь. Как ни странно, но он не испугался полицейских, не очень боялся, что могут убить — его оглушило сознание невольной своей оплошности, и он мучительно переживал оттого, что так подвел Рыбака, да и Демчиху. Он очень жалел, что не прикончил себя, пока была винтовка, не погиб в ночной перестрелке с полицаями — зачем было тащиться сюда, чтобы так нелепо попасться в их руки. Он готов был теперь провалиться сквозь землю, только бы избежать встречи с Демчихой, имевшей все основания выдрать обоим глаза за все то, на что они обрекали ее. И он в отчаянии думал, что напрасно они отзывались, пусть бы полицайи стреляли — погибли бы, но только вдвоем.

С грубыми окриками их толкнули к лестнице вниз, в сени, где возле раскрытой двери в избу всхлипывала Демчиха и за перегородкой испуганно плакал малой. Рыбак слез по лестнице скоро, а Сотников замешкался, сползая на одних руках, и тот старший полицай — плечистый мужик с угрюмым бандитским видом, одетый в черную железнодорожную шинель, — так хватил его за плечо, что он вместе с лестницей полетел через жернова наземь. Правда, он не очень ударился, только сильно потревожил ногу — в глазах потемнело, захолонулось дыхание, и он не сразу, ослабело начал подниматься с пола.

— Что вы делаете, злодеи! Он же ранен, али вы ослепли! Людоеды вы! — закричала Демчиха.

Старший полицей важно повернулся к тому, в кубанке.

— Стась!

Тот, видно, уже знал, что от него требовалось — выдернул из винтовки шомпол и со свистом протянул им по спине женщины.

— Ой!

— Сволочь! — теряя самообладание, сипато выкрикнул Сотников. — За что? Женщину-то за что?

Взрыв гнева, однако, вернул часть его силы, Сотников как-то вскарабкался под стеной и, весь трясаясь, повернулся к Стасю. В этот момент он не подумал даже, что его крик может оказаться последним, что полицей может тут же пристрелить его. Но даже и в этом случае он не мог удержаться, чтобы не вступить за эту несчастную Демчиху, перед которой оказался безмерно виноват сам. Однако ловкий на подхвате Стась, видно, не собирался пока стрелять, он только ухмыльнулся в ответ и точным, заученным движением вдел шомпол назад в винтовку.

— Будет знать, за что!

Сотников понемногу совладал с собой, справился с дыханием и начал успокаиваться. Все было просто и слишком обычно. Если не постреляют сразу, начнутся допросы и пытки, которые, конечно же, закончатся смертью. На какое-нибудь спасение он уже не рассчитывал, все его надежды безвозвратно кончались крахом.

В сенях их обыскали — выгребли из карманов все скудные их пожитки, патроны, ременными супонями туго скрутили руки — Рыбаку сзади, а Сотникову спереди — и усадили обоих на шершавый глиняный пол. Затем старший пошел в избу к Демчихе, а другой, которого звали Стасем, остался на пороге их караулить.

Морозный воздух сеней обжигал большую грудь Сотникова, в голове у него тошнотворно кружилось, пощипывало на стуже примороженные уши — пилотку он потерял где-то, наверное на чердаке, и теперь сидел с всклокоченной непокрытой головой. Мерзла и потому еще больше болела его раненая нога. Колено распухло, он с трудом сгибал его, босая его стопа отекала и сделалась багрово-синей. Наверно, надо было попросить принести бурок, но он, представив, как больно будет надеть его, решил: черт с ним! Теперь уж все равно — пусть отмерзает нога, скоро она будет ему не нужна. Сидя на полу и все кашляя, он поглядывал на конвоира — молодого, ловкого парня в черной форсистой кубанке: на его красивом, с породистым носом лице порой мелькала живая, неожиданно привлекательная улыбка. За этой улыбкой чудилось что-то по-молодому прямодушное и даже знакомое, солдатское, что ли, — может, потому, что тот был в армейском бушлате и справных хромовых сапожках, в которые были заправлены, однако, черные штатские брюки. На одном плече он держал на ремне винтовку, другим прислонялся к косяку и, поплеывая белой шелухой тыквенных семечек, поглядывал куда-то на улицу — ждал транспорт. Но транспорта пока не было, и он, недолго потоптавшись, уселся на пороге, зажав между ног винтовку. С малого расстояния пристально, но беззлобно, скорее насмешливо смотрел обоих.

— За паклю залезли, ха! Как тараканы!

Они молчали, только Рыбак в напряженной попытке что-то понять взглянул на него и снова опустил голову.

— А теперь вас помоют-побанят и того, мало-мало подвешат. Посушиться, ха-ха! — засмеялся полицей так добродушно и естественно, что Сотников невольно подумал: веселый, однако, малый! Но смех этого

мало как-то враз оборвался, и уже совершенно другим тоном, от которого их передернуло, полицай разразился матом.

— Такие-сякие немзаные! Ходоронка убили? За Ходоронка мы вам разматаем кишки!

— Не знасм мы никакого Ходоронка,— уныло сказал Рыбак.

— Ах, не знаете? Может, это не вы ночью стреляли?

— Мы не стреляли.

— Вы или не вы, а ребра ломать вам будем. Поняли?

Стась посерьезнел, глаза его угрожающе похолодели, и все то человеческое, что молодой добротой лежало на его лице, как-то сразу исчезло, уступив место злой, бездушной решимости.

Они ненадолго замолчали. Наверно, чтобы перевести разговор на другое, Рыбак негромко спросил:

— В армии служил?

— В какой армии?

— Красной хотя бы.

— С... я хотел на вашу армию, понял? — вдруг еще пуще вызверился полицай, по-страшному округляя свои выразительные глаза. Затем его лицо как-то постепенно преобразилось, смягчась, и на нем появилась все та же подкупающая улыбка. Отставив в сторону ногу, он подошвой сапога размеренно пошлепал по земляному полу сеней.

— А бушлат?

— Ах, бушлат! У одного жидка-комиссара взял. Тому не понадобился,— сказал полицай и, заметив его вопросительный взгляд, спокойно добавил: — Твой полушубочек тоже приберем. Будила возьмет, его очередь. Вот так. Понял?

— А не подавитесь? — едва сдерживаясь, тихо сказал Сотников.

Стась вскинул голову:

— Что?

— Не подавитесь, говорю? Полушубочками и вообще?

— Это зачем нам давиться? За нас Германия, понял, ты, чмур? А вот вам точно — капут! Будьте уверены, в бога душу мать! — свирепо закончил Стась.

Что ж, и это было просто и понятно, на другое они и не рассчитывали. Рыбак уныло сидел, опустив голову, а Сотников, полулежа на боку, осторожно попробовал шевельнуться — деревенело бедро, узкая сыромятная супонь резала кисти рук.

Наконец полицай пригнал двое саней, одни остались на улице, а другие со скрипом и лошадиным топотом подъехали под самое крыльцо. Стась поднялся с порога. Первым он втолкнул в розвальни Рыбака, затем сильным рывком за ворот поднял с земли Сотникова. Кое-как тот добрался до саней и упал на сено возле товарища; сзади в розвальни влез полицай. Возчик — староватый напуганный дядька в рваном тулупе — осторожно приткнулся в передке. Замерзшую босую ногу Сотников, преодолевая боль, подтянул под полу шинели. Ему опять становилось скверно, казалось, сознание вот-вот оставит его, огромным усилием он превозмогал немощь, понимая, что сейчас от него требовалось только одно — терпеть. И он терпел, экономно расходуя очень небогатый запас этого своего терпения — другой цели у него уже не осталось.

Он думал, что они поедут, но из избы почему-то не возвращался старший полицай, за ним пошел тот, что пригнал сюда сани. Вскоре оттуда послышались голоса и плач Демчихи. Сотников с тревогой вслушался — оставят ее или нет? Минуту, похоже было, там что-то искали, постукивала о перекладину лестница, плакали дети, а затем отчаянно запричитала Демчиха:

— Что вы надумали, поганцы? Чтоб вам до воскресенья не дожить! Чтоб вы матерей своих не увидели!

— Ну-ну! Живо, сказано, живо!

— На кого я детей оставляю? Гады вы немилосердные!..

— Живо!

Нет, не вышло, забирали и ее, — значит, их положение и еще усложнялось. Наверно, будет хуже. Сотников взглянул на Рыбака, сидевшего к нему боком, заросшее щетиной лицо того скривилось в страдальческой гримасе. Было от чего.

По той самой тропинке возле ограды они выехали на дорогу и свернули за кладбище. Сотников втянул голову в поднятый ворот шинели, слегка прислонился плечом к овчинной спине Рыбака и беспомощно закрыл глаза. Розвальни дергались под ними, полозья то и дело заносило в стороны. Стась, слышно было, все грыз свои семечки. Видимо, их везли в полицию или в СД — значит, спокойного времени осталось немного, надо было собраться с силами и подготовиться к худшему. Разумеется, они им правды не скажут, хотя того, что пришли из леса, по-видимому, скрыть не удастся, но только бы выгородить Демчиху. Бедная тетка! Бежала домой, и во сне не снилось, что ее ждало там. Сейчас она что-то кричала сзади, ругалась и плакала, свирепый полицай вызверялся на нее отборным, бесстыжим матом. Но и Демчиха старалась не остаться в долгу.

— Звери! Немецкие ублюдки! Куда вы меня везете? Там дети! Деточки мои родненькие, золотенькие мои! Галечка моя, как же ты будешь?!

— Надо было раньше думать.

— Ах ты поганя несчастная! Ты меня еще упрекаешь, запродонец немецкий! Что я сделала вам?

— Бандитов укрывала.

— Это вы бандиты, а те как люди: зашли и вышли. Откуда мне знать, что они на чердак залезли? Что я, своим детям враг? Гады вы! Фашисты проклятые!

— Молчать! А то кляп всажу!

— Чтоб тебя самого на кол посадили, гад ты!

— Так! Стась, стой! — послышалось с задних саней, и они остановились, не доезжая двух тонких березок, стывших в кусте лозняка за канавой. Рыбак и возчик обернулись, а Сотников весь съезжился в ожидании чего-то устрашающе-зверского. И действительно, Демчиха вскоре закричала, забилась в сани, розвальни сзади сдвинулись на дороге, скрипнул хомут, и даже лошадь беспокойно переступила на снегу. Потом все стихло. Стась было соскочил с розвальней, но скоро опять удовлетворенно завалился на свое место.

— Хе! Рукавицу в глотку — не кричи, бешеная баба.

Сотников с усилием повернул голову и очутился лицом к лицу с конвоиром:

— Палачи!

— Ты, заступник! Отверни нюхалку, а то красную жижу спущу! — заорал полицай, сделав страшное выражение лица, но Сотников уже знал, с кем имеет дело. и с полным безразличием отнесся к его угрозе.

— Попробуй, гад!

— Ха, пробовать! Да знаешь, я тебя сейчас шпокну и отвечать не буду. Это тебе не Советы!

— Шпокни, пожалуйста!

— А то слабó? — Полицай в показной решимости схватился за за-

твор винтовки, но лишь толкнул его стволом в грудь и выругался. Сотников не моргнул даже — он не боялся этого выродка. Он знал, что на его вызывающее хамство надо отвечать точно таким же хамством — эти люди понимали только такое обхождение.

— Женщина ни при чем, запомни,— сказал он с расчетом на Рыбака, намекая ему, как надо отвечать на допросах.— Мы без нее залезли на чердак.

— Будешь бабке сказки сказывать,— закивал головой Стась и опустил винтовку.— Небось Будила из тебя дурь выбьет. Подожди!

— Плевать мы хотели на Будилу!

— Скоро поплюешь! Кровью похаркаешь!

«Какого черта он задирается?» — раздраженно думал Рыбак, слушая злую перебранку Сотникова с полицаем.

Их везли дорогой, которой утром они тащились в деревню, только теперь поле не казалось ему таким длинным и уныло-равнинным, лошадка бодро перебирала ногами, постегивая по саням жестким на морозе хвостом. Рыбак с растущей досадой думал, что едут они слишком уж быстро, ему изо всех сил хотелось замедлить езду. Чувствовала его душа, это — последние часы на свободе, с ними быстро убывала возможность спастись, больше такой не будет. Он проклинал себя за неосмотрительность, за то, что так глупо забрался на тот проклятый чердак, что за километр не обошел той крайней избы — мало ему было науки не соваться в крайнюю, куда всегда лезли и немцы. Он не мог простить себе, что так необдуманно забрел в эту злосчастную деревню — лучше бы передневали где-либо в кустарнике. Да и вообще с самого начала этого задания все пошло не так, все наперекос, когда уже трудно было надеяться на удачный конец. Но того, что случилось, просто невозможно было представить.

И все из-за Сотникова. Досада на товарища, которая все время пробивалась в Рыбаке и которую тот усилием воли до сих пор заглушал в себе, сейчас заглушить было нельзя. Рыбак уже отчетливо сознавал, что если бы не Сотников, не его простуда, а затем и ранение, они наверняка добрались бы до леса. Во всяком случае полицаи бы их не взяли. У них были винтовки — можно было постоять за себя. Но если уж дал загнать себя на чердак, а в избе куча детишек, тогда и с винтовкой не шибко развернешься.

Рыбак коротко выругался с досады, живо представив себе, как нетерпеливо их ждут в лесу, доедая последние крски из карманов. Наверно, думают, что они гонят корову и потому так задерживаются. Конечно, можно бы и корову... Никогда еще Рыбак не подводил так товарищей и не попадал впросак сам, потому что имел на плечах трезвую голову и, в общем, был удачлив в войне.

Пока на его пути не оказался Сотников.

С Сотниковым он сошелся случайно неделю или дней десять назад, когда, вырвавшись из Борковского леса, отряд переходил шоссе. Там они тоже запоздали, вышли к дороге по-светлому и столкнулись с немецкой колонной из грузовиков. Немцы открыли огонь и, спешившись, начали их преследовать. Чтобы оторваться от фашистов, командир оставил заслон — его, Сотникова и еще одного партизана по фамилии Гостинович. Но долго ли могут устоять трое перед несколькими десятками вооруженных пулеметами немцев? Очень скоро они стали пятиться, слабо отстреливаясь из винтовок, а немецкий огонь все усиливался, и Рыбак подумал: будет хана! Как на беду, придорожный лесок кончался, сзади раскинулось огромное снежное поле с кудрявым сосняком вдали, куда торопливо втягивались потрепанные остатки из небольшого отря-

да. Мудрено было уцелеть на том поле под огнем двух десятков немцев. И тогда Сотников крикнул: «Бегите, я останусь!»

Рыбак не заставил себя уговаривать — вскочил вдвоем с Гастиновичем, нерасторопным пожилым партизаном из местных, и короткими перебежками припустил по полю. Сотников же сзади открыл такой частый и меткий огонь по немцам, что те по одному начали залегать в снегу. Наверно, он там подстрелил нескольких фрицев, они же с Гастиновичем тем временем добежали до кучи камней в поле и, укрывшись за ними, тоже начали стрелять по кустарнику.

Минут пять они торопливо били туда из винтовок, тем самым давая возможность отбежать Сотникову. Под автоматным огнем тому как-то удалось проскочить самый опасный участок, добежать до камней, и, только упав, он погнал их дальше. Хорошо, что патронов тогда хватало. Сотников вскоре свалил еще одного не в меру прыткого автоматчика, выскочившего впереди других и густо сыпавшего по полю трассирующими очередями; у остальных, наверно, поубавилось прыти, и они стали сдерживать бег. Тем не менее одна пуля все-таки настигла Гастиновича, который как-то странно сел на снегу и повалился на бок. К нему сразу же бросился Сотников, но помощь тому уже была без надобности, и он с винтовкой убитого быстро догнал Рыбака.

Оставшись вдвоем, они залегли за небольшим холмиком: тут было безопаснее; отдышавшись, можно было бежать дальше. Но вдруг Рыбак вспомнил, что у Гастиновича в сумке осталась горбушка хлеба, которой тот разжился вчера на хуторе. Всю неделю они голодали, и эта горбушка так завладела его вниманием, что Рыбак, недолго поколебавшись, пополз к убитому. Сотников выдвинулся повыше и опять взял под обстрел немцев, прикрывая тем Рыбака, благополучно проползшего сотню метров, отделявшую их от Гастиновича. Они тут же разломали горбушку и, пока догоняли своих, почти всю ее съели.

Тогда все обошлось, отряд осел в Горелом болоте, и они с Сотниковым, хотя еще мало что знали друг о друге, стали держаться вместе — рядом спали, ели из одного котелка и, может поэтому, вместе попали на это задание.

Но теперь будет конец, это точно. Не важно, что они не отстреливались — все-таки их взяли с оружием, и этого было достаточно, чтобы расстрелять обоих. Конечно, на что другое Рыбак и не рассчитывал, когда вставал из-за палки, но все же...

Он хотел жить! Он еще и теперь не терял надежды, каждую секунду ждал случая, чтобы обойти судьбу и спастись. Теперь уже Сотников не имел для него большого значения. Оказавшись в плену, бывший комбат освобождал его от всех прежних по отношению к себе обязательств. Теперь лишь бы повезло, и совесть Рыбака перед ним была бы чистой — не мог же он в таких обстоятельствах спасти еще и раненого. И он все шарил глазами вокруг с той самой минуты, как поднял руки: на чердаке, потом в сенях, все ловил момент, чтобы убежать. Но там убежать не было никакой возможности, а потом им связали руки — сколько он незаметно ни выкручивал их из этой супони, ничего не получалось. И он думал: проклятая супонь, неужели из-за нее суждено погибнуть?

Может, стоило попытаться счастья со связанными руками? Но для этого было необходимо более подходящее место, не ровнядь, а какой-нибудь поворот, овражек с кустарником, какой-либо обрыв или лес. Тут же, на беду, было чистое поле, пригорок, затем дорога пошла низиной. Однажды попался мостик, но овражек при нем был совсем неглубокий, открытый, в таком не скроешься. Стараясь не очень вертеть головой в санях, Рыбак тем не менее зорко оглядывался вокруг, высматривая хоть сколько-нибудь подходящее для побега место, и не находил ничего.

И чем больше проходило времени и чем они ближе подъезжали к местечку, тем все большая тревога, почти растерянность овладевала Рыбаком. Становилось все более неоспоримым: они пропали.

Глава одиннадцатая

В том, что они пропали, Сотников ни на минуту не сомневался, намерения бежать у него не было, надежды на милость полицаев также. И он напряженно молчал, придавленный тяжестью вины, лежавшей на нем двойным грузом — и за Рыбака и за Демчиху. Особенно его беспокоила Демчиха. Пока, однако, неизвестно было, что узнали о ней полицаи и насколько серьезны их подозрения относительно ее связей с лесом. Он думал также и о ночной перестрелке, в которой, судя по всему, досталось кому-то из этих бобиков. Какому-то Ходоронку. Разумеется, подстрелил его Сотников, тут уж ни Рыбак, ни тем более Демчиха не имеют к нему никакого отношения.

Они въезжали в местечко. Дорога шла между посадок — два ряда кривых верб с обеих сторон долго сопровождали большак, потом началась улица. Было уже не рано, но кое-где еще тянулись из труб дымы, невысоко над заиндевевшими крышами в морозной дымке висело холодное зимнее солнце. Впереди через улицу торопливо прошла женщина с коромыслом на плечах. Отойдя по тропке к дому, обернулась, с затаенной тревогой вглядываясь в эти сани с полицаями. Во дворе напротив простоволосая, в галошах на босу ногу девушка плеснула на снег помоями и, прежде чем пугливо исчезнуть в дверях, также с любопытством оглянулась на дорогу. Где-то заливалась лаем собака; бесприютно возлилась нахолившиеся воробьи в голых ветвях верб. Здесь шла своя — беспокойная, трудная, но все-таки будничная — жизнь, которой давно не знали и теперь уже никогда не узнают они.

Сани переехали мостик и возле деревянного с мезонином дома свернули в боковую улочку. Кажется, они подъезжали. Как ни странно, но Сотникову хотелось скорее приехать, он мучительно озяб на ветру в поле; селение, как всегда, сулило кров и пристанище, хотя на этот раз пристанище, разумеется, не принесет радости. Но все равно тянуло в какое-нибудь помещение, чтоб хоть немного согреться, а там... А там будь что будет.

Еще издали Сотников увидел широкие ворота и возле них полицаи в длинном караульном тулупе, с винтовкой под мышкой. Рядом высился прочный каменный дом, наверно бывшая лавка или какое-нибудь учреждение, с четырьмя зарешеченными по фасаду окнами. Когда они подъехали ближе, угрюмого вида полицаи взял на ремень винтовку и широко распахнул ворота. Сани въехали в просторный, очищенный от снега двор со старой, обглоданной коновязью у забора, каким-то сарайчиком, дощатой уборной в углу. На крыльце появился еще один полицаи, на этот раз подтянутый малый в немецком кителе, на рукаве которого белела аккуратно разглаженная повязка.

— Привезли?

— А то как же! — хвастливо отозвался Стась. — Мы да чтобы не привезли. Вот, принимай кроликов!

Он легко соскочил с саней, небрежно закинул за плечо винтовку, — вокруг был забор, отсюда уже не убежишь. Пока возчик и Рыбак выби-
рались из саней, Сотников уныло осматривал дом, где, по всей вероятности, им предстояло узнать, почем фунт лиха. Прочные стены, высокое, покрытое жестью крыльцо, ступени, ведущие к двери в подвал. В одном из зарешеченных окон вместо выбитых стекол желтели куски фанеры с

обрывком какой-то готической надписи. Все здесь было прибрано-убрано, являло порядок и надежную прочность этого полицейского гнезда — оплота немецкой власти. Тем временем полицай в кителе вынул из кармана ключ и по ступенькам направился вниз, где на погребной двери виднелся огромный амбарный замок с перекладиной.

— Давай всех сюда!

Уже все повставали из саней — Стась, Рыбак с возницей, поодаль отряхивались полицай и обреченно стояла Демчиха, при виде которой у Сотникова болезненно сжалось сердце. Со связанными руками та согрбилась, согнулась, сползший платок смято лежал на ее затылке, а изо рта нелепо торчала суконная рукавица — видно, они не спешили освобождать ее от этого кляпа.

Сотникову стоило немалого труда выбраться из саней — как ни повернись, болью заходила нога. Превозмогая боль, он все-таки вылез на снег и два раза прыгнул возле саней. Он намеренно подождал Демчиху, и как только та поравнялась с ним, отчужденно избегая его взгляда, поднял обе связанные руки и выдернул рукавицу.

— Ты что? Ты что, чмур?! — взвопили сзади, и в следующее мгновение, сбитый жестким ударом полицейского сапога, он вытянулся на снегу.

Боль в ноге разбежалась по его телу, потемнело в глазах, он молча сцепил зубы, но не удивился и не обиделся — он принял этот удар как заслуженный. Потом, пока он, сразу же зайдясь в давящем кашле, медленно поднимался на одно колено, где-то рядом злобно матерился старший полицай:

— Ах ты, выродок комиссарский! Ишь, заступник нашелся. Стась! А ну в штубу его! К Будиле!

Однако сзади, выкрикивая проклятия Гитлеру, запричитала Демчиха, и они все разом остервенело набросились на нее. В их злобной хватке и в гаркающих голосах чувствовалась непонятная заматеревшая ненависть к пленным, которая тут проявлялась в полную меру.

Усмирив Демчиху, все тот же ловкий, исполнительный Стась подскочил к Сотникову, сильным рывком схватил его под руку. Сотников снова упал связанными руками на снег, но бездушная молодая сила этого полицая бесцеремонно подхватила-поволокла его дальше — на крыльцо, через порог, в дверь. Оберегая больную ногу, он сильно ударился плечом о косяк. Стась одним духом протащил его по коридору, пнул ногой створку какой-то двери и сильным рывком бросил его на затоптанный, в мокрых следах пол. Сам же на прощание разрядился трехэтажным матом и с силой захлопнул дверь.

Вдруг стало тихо. Слышны были только шаги в коридоре да из-за стены приглушенно доносился размеренный, будто отчитывающий кого-то голос. Превозмогая лютую боль в ноге, Сотников медленно поднял от пола лицо. В помещении никого больше не было, это немного озадачило, и он с внезапной надеждой глянул на окно, которое, однако, было прочно загорожено железными прутьями решетки. Нет, отсюда не уйдешь! Поняв это, он опустился на пол, без интереса оглядывая помещение. Комната имела обычный казенный вид, казалась неудобной и пустоватой, несмотря на застланный серым байковым одеялом стол, облезлое, просиженное кресло за ним и легонький стульчик возле печи-голландки, от черных круглых боков которой шло густое, такое приятное теперь тепло. Но сзади по полу растекалась от двери стужа. Сотников содрогнулся в ознобе и, сдерживая стон, бережно вытянул в сторону ногу.

«Ну вот, тут все и кончится! — подумал он. — Господи, только бы выдержать!» Он почувствовал, что вплотную приблизился к своему рубежу, своей главной черте, возле которой столько ходил на войне, а сил

у него было немного. И он опасался, что может не выдержать физически, поддаться, сломиться наперекор своей воле — другого он не боялся. Вдохнув теплого воздуха, он начал кашлять, как всегда до судорожных спазмов в груди, до колотья в мозгу — самым привязчивым, «собачьим» кашлем, жестоко терзавшим его второй день. Так скверно он давно уже не кашлял, наверно с детства, когда своей простудой причинял столько беспокойства матери, бесконечно переживавшей за его слабые легкие. Но тогда ничего не случилось, он перерос хворь и более или менее благополучно дожил до своих двадцати шести лет. А теперь что ж — теперь здоровье уже не имело для него большого значения.

За кашлем он не расслышал, как в помещение кто-то вошел, — вдруг перед ним на полу появились сапоги, не очень новые, но досмотренные, с аккуратно подбитыми носками и начищенными голенищами. Сотников поднял голову.

Напротив стоял немолодой мужчина в темном цивильном пиджаке, при галстукке, повязанном на несвежую, с блеклой полоской сорочку, в военного покроя диагоналевых бриджах. Во взгляде его маленьких, очень пристальных глаз было что-то хозяйское, спокойное, в меру рассудительное; под носом топорщилась щеточка коротко подстриженных усиков — как у Гитлера. «Будила, что ли?» — недоуменно подумал Сотников, хотя ничего из того угрожающе-зверского, что приписывалось полицией этому человеку, в нем вроде не было. Однако чувствовалось, что это было начальство, и Сотников сел немного ровнее, как это позволила его все еще заходившаяся от боли нога.

— Кто это вас? Гаманюк? — спросил человек сдержанным хозяйским тоном.

— Стась ваш, — с неожиданно прорвавшейся ноткой жалобы сказал Сотников, тут же, однако, пожалев, что не выдержал независимости тона. Начальник решительно растворил дверь в коридор:

— Гаманюка ко мне!

Кашель стал утихать, оставались лишь слабость и боль, очень неудобно было опираться об пол связанными руками. Сотников мучился, но молчал, не совсем понимая смысла явно заступнического намерения этого человека. Тем не менее через полминуты в комнату ввалился тот самый Стась и с подчеркнутым подбострастием щелкнул каблуками своих щегольских сапог.

— Слушаю вас!

Хозяин комнаты нахмурил несколько великоватый для его сморщенного личика выпуклый, с залысинами лоб.

— Что такое? Почему опять грубость? Почему на пол? Почему без меня?

— Виноват! — двинул локтями и еще больше вытянулся Стась.

Но по той бездумной старательности, с которой он делал это, так же как и по бесстрастной строгости его начальника, Сотников сразу заподозрил, что перед ним разыгрывается бездарный, рассчитанный на дурака фарс.

— Разве вас так инструктировали? Разве этому учит немецкое командование? — не дожидаясь ответа, долбил он полиция своими вопросами, а тот в деланном испуге все круче выгибал грудь.

— Виноват! Больше не буду! Виноват!

— Немецкие власти обеспечивают пленным соответствующее отношение. Гуманное, я бы сказал, отношение...

Нет, хватит! Как немецкие власти относятся к пленным, Сотников уже знал и не сдержался, чтобы не оборвать всю эту их нелепую самодеятельность:

— Напрасно стараетесь!

Полицейский резко обернулся в его сторону, видно недослышав, озадаченно нахмурил лоб:

— Что вы сказали?

— Что слышали. Развяжите руки. Я не могу так сидеть.

Полицейский еще немного помедлил, сверля его насупленным взглядом, но, кажется, понял, что опасаться не было оснований, и сунул руку в карман. Подцепив кончиком ножа ремешок супони, он одним махом перерезал ее и спрятал нож. Сотников разнял отеки, с рубцами на запястьях руки.

— Что еще?

— Пить,— сказал Сотников. Он решил, пока была возможность, хотя бы утолить жажду, чтобы потом уж терпеть.

Полицай кивнул Гаманюку:

— Дай воды!

Тот выскочил в коридор, а полицай обошел стол и неторопливо уселся в своем кресле. Все время он держал себя подчеркнуто сдержанно, настороженно, будто таил что-то важное и многообещающее для арестанта. Взгляд своих острых, чем-то озабоченных глаз почти не сводил с Сотникова.

— Можете сесть на стул.

Сотников кое-как поднялся с пола и боком опустился на стул, отставив в сторону ногу. Так стало удобнее, можно было терпеть. Он вздохнул, повел взглядом по стенам, глянул за печку, в угол у окна, не сразу поняв, что ищет каких-либо орудий пыток — наверное, должны же они тут быть. Но, к его удивлению, ничего подходящего тут не было видно. Между тем он чувствовал, что отношения его с этим полицаем уже перешли границу условности и, поскольку игра не удалась, предстоял разговор по существу, который, разумеется, обещал мало приятного.

Тем временем Стась Гаманюк принес эмалированную кружку воды, и Сотников жадно выпил ее до дна. Полицай за столом терпеливо ждал, наблюдая за каждым его движением, о чем-то все размышлял или, может, старался что-то понять.

— Ну, познакомимся,— довольно миролюбиво сказал он, когда Стась вышел.— Фамилия моя Портнов. Следователь полиции.

— Моя вам ничего не скажет.

— А все-таки?

— Ну, Иванов, допустим,— сказал Сотников сквозь зубы: болела нога.

— Не возражаю. Пусть будет Иванов. Так и запишем,— согласился следователь, хотя ничего не записывал.— Из какого отряда?

Ого, так сразу и уже про отряд! Прежде чем ответить на этот более чем неприятный для него вопрос, Сотников помолчал. Следователь, по-прежнему бурявя его взглядом, взял со стола выпачканный чернилами деревянный пресс, неопределенно повертел им в руках. Сотников невидяще смотрел на его пальцы и не знал, как лучше: играть в поддавки или сразу отказаться от показаний, чтобы не лгать и не путаться. Тем более что в его ложь этот, наверно, не очень поверит.

— А вы думаете, я вам скажу правду?

— Скажешь! — негромко и с таким внутренним убеждением сказал следователь, что Сотникову на минуту стало не по себе и он исподлобья вопросительно посмотрел на полицейского.— Скажешь!

Начало не обещало ничего хорошего. На этот вопрос он, разумеется, отвечать не станет, но и другие, наверно, будут не легче. Следователь ждал, рассеянно играя прессом. Движения его худых тонких пальцев были спокойно уверенными, неторопливыми, этой своей неторопливостью,

однако, и выдававшие тщательно скрытую до поры напряженность. Странно, что с виду он был совсем мало похож на палача-следователя, наверно имевшего на своем счету не одну загубленную жизнь, а скорее напоминал скромного, даже затрапезного сельского служащего. И в то же время было заметно, как дремлет в нем что-то коварно-вероломное, ежеминутно угрожающее арестанту. Сотников начал ждать, когда оно наконец прорвется,— хотя и не знал, как крепки нервы этого человека и за каким вопросом последует его взрыв.

— Какое имели задание? Куда шли? Как давно агентом у вас эта женщина?

— Никакой она не агент. Мы случайно зашли к ней в избу, забрались на чердак. Ее и дома в то время не было,— спокойно объяснил Сотников.

— Ну, конечно, случайно. Так все говорят. А к лесиновскому старосте вы также зашли случайно?

Ого, вот как! Значит, уже известно и про старосту. Хотя донес, наверно, в тот самый вечер. Пожалели, называется, не захотели связываться, подумал он. Выходило, однако, что полиция знали о них куда больше, чем они предполагали, и Сотников на минуту смешался. Наверно, это был рассчитанный ход в допросе. Следователь отметил достигнутый им эффект, бросил свой пресс и закурил. Потом аккуратно прибрал со стола портсигар, зажигалку, крошки табака сдунул на пол и сквозь дым уставился на него, ожидая ответа.

— Да, случайно,— после паузы твердо сказал Сотников.

— Не оригинально. Вы же умный человек, а хотите выехать на такой примитивной лжи! Надо было придумать что-нибудь похитрее. Это у нас не пройдет.

Не пройдет — видимо, так. Но черт с ним! Будто он надеялся, что пройдет. Он вообще ни на что не надеялся, только жалел несчастную Демчиху, которую неизвестно как было выручить.

— Вы можете поступить с нами, как вам заблагорассудится,— как можно рассудительнее сказал Сотников,— но, прошу, не трогайте женщину. Просто ее изба оказалась крайней, а я не мог идти дальше.

— Где ранен?

— В ногу.

— Я не о том. Где, в каком районе?

— В лесу. Два дня назад.

— Не пройдет,— глядя в упор, объявил следователь.— Заливаете. Не в лесу, а на большаке этой ночью.

«Черт, знает точно или, может, ловит?» — подумал Сотников. Он не знал, как следовало держаться дальше: неудачно совершь в мелочах — не поверит и в правду. А правду о Демчихе ему очень важно было внушить этому прислужнику, хотя он и чувствовал, что внушить ее будет труднее, чем какую-нибудь явную ложь. Ситуация уже вначале складывалась самым наихудшим образом.

— А если я, например, подтвержу, вы отпустите женщину? Вы можете это обещать?

Глаза следователя, вдруг вспыхнувшие злобой, кажется, пронзили его насквозь.

— Я вам ничего не обязан обещать! Я ставлю вопросы, а вы должны на них отвечать!

«Значит, не удастся»,— уныло подумал Сотников. Разумеется, из своих рук они никого уже не выпустят. Знакомый обычай! Тогда, наверное, пропала Демчиха.

— Ни за что погубите женщину. А у нее трое ребят.

— Губим не мы. Губите вы! Вы ее в банду втянули! Почему тогда не подумали о ребятах? — ошетинился следователь. — А теперь поздно. Вы знаете законы великой Германии?

«Законы! Давно ли ты сам узнал их, проклятый ублюдок? — подумал Сотников. — Недавно еще, наверное, зубрил совсем другие законы!» Однако последний вопрос полицейского прозвучал несколько двусмысленно — похоже, что он не прочь был что-то переложить с себя на плечи великой Германии.

Сотников помолчал, а следователь поднялся, отодвинул кресло и прошелся к окну, сквозь решетку рассеянно посмотрел во двор, где слышались голоса полицейских. Опять он носил в себе что-то затаенное, особенно не напирал с допросом и то ли думал, как похитрее подловить его, то ли размышлял о чем-то своем, постороннем.

В коридоре тяжело затопали, послышались голоса, ругань. По всей вероятности, там кого-то вели или даже уносили. Когда толчея переместилась на крыльцо, следователь энергично отчеканил:

— Так, хватит играть в прятки! Назовите отряд! Его командира! Связных. Количественный состав. Место базирования. Только не пытайтесь лгать. Напрасное дело.

— Не много ли вы от меня хотите?

Незаметно для себя он обратился к иронии, как обычно поступал в минуты неприятных объяснений с дураками и нахалами. Конечно, для Стася или еще для кого-нибудь из этих предателей его ирония была за пределами их понимания — на этого же начальника она, кажется, действовала самым надлежащим образом. До поры тот, однако, сдерживался, только однажды криво передернул губами.

— Куда шли?

— Мы заблудились.

— Не пройдет. Ложь! Даю две минуты на размышление.

— Не утруждайтесь. Наверно, у вас много работы.

Тут он угадал точно. Морщинистое личико следователя опять передернулось, но, кажется, он умел владеть собой. Он даже не повысил голоса.

— Жить хочешь?

— А что? Может, помилуете?

Сузив маленькие глазки, следователь посмотрел в окно.

— Нет, не помилуем. Бандитов мы не милуем, — сказал он и вдруг круто повернулся от окна; пепел с кончика сигареты упал и разбился о носок его сапога — кажется, его выдержка кончилась. — Расстреляем, это безусловно. Но перед тем мы из тебя сделаем котлету. Фарш сделаем из твоего молодого тела. Повытянем все жилы. Последовательно переломаем кости. А потом объявим, что ты выдал других. Чтобы о тебе там, в лесу, не шибко жалели.

— Не дождетесь, не выдам.

— Не выдашь ты — другой выдаст. А спишем все на тебя. Понял? Ну как?

Сотников молчал, ему становилось плохо. Лицо быстро покрывалось испариной, разом пропала вся его склонность к иронии. Он понял, что это не пустая угроза, не шантаж — они способны на все. Гитлер их освободил от совести, человечности и даже элементарной житейской морали, их звериная сила оттого, конечно, увеличилась. Он же перед ними только человек. Он обременен многими обязанностями перед людьми и страной, возможности скрывать и оправдываться у него не слишком большие. Было ясно, что их средства в этой борьбе оказались не равными, преимущество было на стороне противника: все, что выставлял Сотников, с необычайной легкостью отбрасывал следователь.

Расставив ноги в обвисших на коленях бриджах, Портнов вперил в него острый, теперь уже открыто неприязненный взгляд и ждал. Сотникову было чертовски трудно, казалось, опять уходило сознание, он обливался холодным потом и мучительно подбирал слова для ответа — чувствовал, это будут последние его слова. Правая рука следователя медленно потянулась к пресс-папье на столе.

— Ну?

— Сволочи! — не найдя ничего другого, выдавил из себя Сотников.

Следователь несколько поспешнее, чем надо было, схватил пресс-папье и пристукнул им по столу, будто ставил последнюю точку в этом бескровном и тем не менее страшном допросе.

— Будилу ко мне!

В коридоре зычно раздалось: «Будилу — к господину следователю», после чего Портнов, обойдя стол, спокойно уселся в кресле. На Сотникова он уже не смотрел, будто его и не было тут. Он начал закуривать. Сдается, его миссия была закончена, начиналось второе отделение допроса.

Внешне стараясь оставаться спокойным, Сотников весь напрягся, как только отворилась дверь и на пороге появился Будила.

Вероятно, это был здешний полицейский палач — могучий буйволоподобный детина с костлявым, будто лошадиная морда, лицом. Неприятно поражал весь его кретинически-свирепый вид, но особенно пугали вылезшие из рукавов большие косматые кисти рук, которыми впору было разгибать подковы. Наверно, по установленной здесь традиции, войдя, он с порога прицелился в жертву хмурым взглядом немного косивших глаз.

— А ну!

Объятый слабостью, Сотников продолжал сидеть, отодвигая от себя что-то безусловно ужасное. Тогда Будила с многозначительной неторопливостью шагнул к стулу. Огромная ручища широко сгребла на запавшей груди Сотникова суконные борта шинели, напряглась и оторвала его от стульчика.

— А ну, большевистская гнида!

Глава двенадцатая

«Достукался!» — почти равнодушно подумал Рыбак, когда Стась на дворе схватил Сотникова и поволок его в помещение. Он думал, что следом погонят и их с Демчихой, но для них полицаи открыли двери в подвал. Прежде чем затолкать их туда, ему развязали руки, вытянули ремешок из брюк. Демчиху же оставили со связанными руками и кляпом во рту.

— Давай вниз! Быстро!

В подвале царила глухая темень, или, может, Рыбаку так показалось после дневного света на улице. Сначала они очутились в каком-то сыром коридорчике, шедший впереди полицай загредел железным запором, и Рыбак, наткнувшись на спину Демчихи, остановился, потирая набрякшие зудом кисти.

— Марш, марш! Чего стал? — подтолкнул его тот, что шел сзади, — оказывается, перед ним уже отворилась новая дверь в темноту. Делать было нечего, Рыбак протиснулся между полицаем и Демчихой, опасливо вогнул голову и очутился за порогом какой-то затхлои сырой каморки. Минуту он ничего не мог рассмотреть тут, маленькое окошко вверху слепо светило на поголок, вниз же было темно. В нос ударило чем-то про-

кисшим, несвежим, совершенно невозможным для дыхания, и он остановился, не зная, куда ступить дальше.

Сзади тем временем звякнул засов, Демчиха осталась с полицаями, которые повели ее дальше. В камере слышен был их беглый деловой разговор.

— А бабу куда? В угловую?

— Давай в угловую.

— Что-то пусто сегодня?

— Немцы вчера разгрузили. Одна жидовка осталась.

Несколько пообвыкнув в темноте, Рыбак рассмотрел в углу человека. Занятый чем-то своим, тот сосредоточенно возился там, то ли раздеваясь, то ли подстилая под себя одежду — наверно, готовился лечь. Густой мрак под стеной совершенно скрывал его место, лишь седая голова человека да его плечи временами появлялись в скупо освещенном пространстве у окна.

— Садись. Чего стоять. Стоять уже нечего.

Рыбак удивился и даже вроде обрадовался — голос старика показался знакомым, и он тут же вспомнил: староста! Ну так и есть, в углу устраивался их недавний знакомый — лесиновский староста Петр.

— И ты тут? — недоуменно вырвалось у Рыбака.

— Да вот попал. Овцу-то опознали, ну и...

«Так-так», — стучала в голове у Рыбака односложная мысль: все было понятно. Странно, но он только сейчас вспомнил о той злополучной овце и только сейчас с непростительным опозданием подумал, чем она может обернуться для ее хозяина.

— А при чем тут ты? Мы же забрали силой, — несколько деланно удивился Рыбак.

Староста что-то расстелил под собой, но не лег, а сел, прислонясь к стене и почти весь погружаясь во тьму. На слабом свете из окна оставались лишь согнутые его колени.

— Как сказать? Ежли забрали, так надо было доложить. А я... Да теперь что... Теперь уже все равно.

Теперь, по-видимому, действительно уже все равно, теперь поздно выкручиваться, подумал Рыбак. Наверно, полиции все уже давно известно.

Не расстегивая полушубка, он уныло опустился на слежалую соломенную подстилку и тоже прислонился спиной к стене. Было совершенно непонятно, что делать дальше, но, кроме как ждать, тут вообще, наверно, ничего нельзя было делать. Только сейчас он почувствовал, как здорово измотался за истекшую ночь, его начало клонить в сон, но мысли тревожно сновали в голове. Вдруг он подумал, что неплохо бы сговориться со старостой и отрицать их заход в Лесины — пусть бы Петр сказал, что приходили другие. Если разобраться, так старосте уже все равно, на кого указывать, а им, возможно, это помогло бы оправдаться. Какой-либо вины или даже неловкости по отношению к Петру Рыбак нисколько не чувствовал — разве впервые ему таким способом приходилось добывать продукты? Да и взяли всего только овцу, и не у какой-нибудь красноармейской семьи, а у самого старосты — было о чем заботиться. С этой стороны он оставался совершенно спокойным и не понимал только, как это староста не свалил всей вины на них и позволил себя засадить в этот вонючий подвал.

Прошел час или больше, Сотников не возвращался, и Рыбак не без короткого сожаления подумал: может, его там и убили? Разговаривать ему ни о чем не хотелось. Он чувствовал, что вот-вот должны прийти и за ним, и тогда начнется самое худшее. Все думая и прикидывая и так и этак, он старался найти какую-нибудь возможность перехитрить поли-

цию, вывернуться совсем или хотя бы оттянуть приговор. Чтобы оттянуть приговор, видимо, имелось лишь одно средство — затянуть следствие (все-таки должно же быть какое-то следствие). Но для этого надо было найти веские факты, такие, чтобы заинтересовать полицию, ибо, если та порешит, что ей все ясно, тогда уж держать их не станет. Тогда им определенно конец.

В подвале было тихо и сонно, лишь откуда-то сверху доносились голоса, топот сапог в здании. Временами топот становился довольно громким, что-то приглушенно стучало, явственно врывался чей-то крикливый голос. Вся эта суматошная возня наверху не могла не напомнить ему о Сотникове, и у Рыбака мучительно сжималось сердце — бедный, невезучий Сотников! Но, по-видимому, та же участь ждала и его... Правда, он не хотел думать об этом — он старался понять, как уйти от расправы и, может, еще и пособить Сотникову. Но, видно, все это было напрасно. Сквозь маленькое, чем-то заставленное снаружи окошко в камеру пробились тусклые сумерки, в которых слабо брезжило светловатое пятно на затоптанной соломе да белела под окном поникшая голова старосты. Тот неподвижно сидел у стены, погружившись в свои, тоже, разумеется, невеселые, мысли, — теперь каждый переживал за себя.

— Говорили, кто-то полиция ночью поранил, неизвестно, выживет ли, — после долгого молчания сказал старик.

Для Рыбака это сообщение не было новостью, он только забыл об этом ранении и теперь встревожился еще больше. Однако разговор перевел на другое.

— Тебя уже брали наверх? — спросил он с робкой надеждой, что очередь на допрос, возможно, еще не его. Но староста тут же разрушил эту его надежду.

— На допыт? А как же! Сам Портнов допрашивал.

— Какой Портнов?

— Следователь их.

— Ну и как? Здорово били?

— Меня-то не били. За что меня бить? Бьют того, кто скрывает что-либо. А мне что скрывать?

Рыбак, затаив дыхание, слушал: хотелось по возможности предугадать, что ждало его самого.

— Этот Портнов, скажу тебе, хитрый, как черт. Все знает, — сокрушенно заметил старик.

— Но ты же вывернулся.

— А что мне выворачиваться! Вины за мной никакой нет. Что перед богом, то и перед людьми.

— Такой безгрешный?

— А в чем мой грех? Что не побег докладывать про овцу? Так я стар уже по ночам бегать. Шестьдесят семь лет имею.

— Да-а, — вздохнул Рыбак. — Значит, кокнут. Это у них просто: по-собачьи партизанам.

Все тем же бесстрастным голосом Петр сказал:

— Ну что ж, значит, судьба. Куда денешься...

«Какая покорность!» — подумал Рыбак. Впрочем, шестьдесят семь лет — свое уже прожил. А тут всего двадцать шесть, хотелось бы еще немного пожить на земле. Не столько страшно, сколько противно ложиться зимой в промерзшую яму...

Нет, надо бороться!

А что, если ко всей этой истории припутать старосту? В самом деле, если представить его партизанским агентом или хотя бы пособником, сказать, что он уже не впервые оказывает услуги отряду, направить следствие по ложному пути? Начнут дополнительно расследовать, понадо-

бятся новые свидетели и показания, пройдет время. Наверно, Петру это не слишком прибавит его вины перед немцами, а им двоим, возможно, и поможет.

Предавшись своим размышлениям, он вдруг встрепенулся от неожиданности — рядом тихонько зашуршала солома, и что-то живое и мягкое перекатилось через его сапог. Староста в углу брезгливо двинул ногой: «Кыш, холера на вас!» — и в тот же момент Рыбак увидел под стеной крысу. Шустрый ее комок с длинным хвостом проשמыгнул краем пола и исчез в темном углу.

— Развелось их тут,— сказал Петр.— И на людей не смотрят — носятся, как холеры какие. Похоже, еще Ицковы. Когда-то тут лавка была, Ицка конфеты продавал. Потом сельпо открыли. Сколько поменялось порядков, а крысы все бегают.

— Крысам теперь только и бегать.

— Ну. Кому же их выводить? Человек за человеком охотится — не до крыс ему. Ах ты боже мой...

Он не успел договорить, как где-то за дверью послышался топот шагов, знакомо брякнул засов, и скоро в глаза ярко ударил свет зимнего дня. В сиянии этого света на пороге появилась поджарая фигура Стась в подпоясанном армейском бушлате, с закинутым за плечо карабином.

— Ну, где цвай бандит? К следователю!

Полицай хохотнул коротко и противно, а в Рыбаке что-то мучительно перевернулось внутри. Наверно, с излишней поспешностью он вскочил на ноги и пошел на вызов. В сознании его нелепой тревогой промелькнул вопрос: где Сотников? Сначала же, наверно, должны были привести Сотникова, а потом уже взять на допрос его. Или, может, Сотникова уже убили?

Он покорно подошел к ступенькам, обождал, пока Стась закрыл за ним дверь, потом впереди конвоира быстро взбежал вверх. Двигался он почти механически, без всякого участия сознания, не замечая ничего вокруг. Чувствовал себя отвратительно. Нет, это не было страхом: его донимало бессилие, невозможность прибегнуть к испытанному средству — силе, чтобы по-солдатски постоять за себя. Отсутствие всякого выбора предельно сузило его возможности, мысль относительно старосты осталась лишь намерением — он не продумал ее как следует, ничего не решил конкретно и теперь нес к следователю полное смятение в душе.

— Вот полшубочек и скинешь,— с силой хлопнул его по плечу Стась.— А ничего полшубочек, ей-богу. И сапоги! Ну, сапожки-то я заберу. А то жаль такие трепать, правда?—сказал он доверительно, взмахнув перед арестантом ногой в добротном хромовом сапоге.— У тебя какой номер?

— Тридцать девятый,— солгал Рыбак, замедляя шаг: после смрадного подвала хотелось хоть надышаться.

— Холера, маловаты! Эй, в рот тебе оглоблю! — вдруг выверился полицай.— Шире шаг!

Остерегаясь тумака, Рыбак не стал упрячиться — быстрым шагом проскочил крыльцо, двери, недлинный полутемный коридор с мордатым дневальным у тумбочки. Стась вежливо постучал согнутым пальцем в филенку какой-то двери:

— Можно?

Будто во сне, предчувствуя, как сейчас окончательно рухнет и рассыплется вся его малоудачная жизнь, Рыбак переступил порог и вперся взглядом в могучую печь-голландку, которая каким-то недобрым предзнаменованием встала на его пути. Ее крутые черного цвета бока всем своим траурным видом напоминали нелепый обелиск на чьей-то могиле. За столом у окна стоял шупловатый человек в пиджаке, он ждал. Рыбак

остановился у порога, подумав, не тот ли это полицей-следователь, о котором говорил староста.

— Фамилия? — гаркнул человек. Он был явно рассержен чем-то, его немолодое личико недобро хмурилось, взгляд исподлобья жестко ощупывал арестанта.

— Рыбак,— подумав, сказал арестант.

— Год рождения?

— Девятьсот шестнадцатый.

— Где родился?

— Под Гомелем.

Следователь отошел от окна, сел в кресло. Держал он себя настороженно, энергично, но вроде не так угрожающе, как это показалось Рыбаку вначале.

— Садись.

Рыбак сделал три шага и осторожно опустился на скрипучий венский стульчик напротив стола.

— Жить хочешь?

Странный этот вопрос своей неожиданностью несколько снял напряжение, Рыбаку даже послышалось в нем что-то от шутки, и он неловко пошевелился на стуле.

— Ну кому ж жить не хочется. Конечно..

Однако следователь, кажется, был далек от того, чтобы шутить, и в прежнем темпе продолжал сыпать вопросами:

— Так. Куда шли?

Энергичная постановка вопросов, наверное, требовала такой же энергии в ответах, но Рыбак опасался прозевать какой-либо подвох в словах следователя и несколько медлил.

— Шли за продуктами. Надо было пополнить припасы,— сказал он и подумал: «Черт с ним! Кто не знает, что партизаны тоже едят. Какая тут может быть тайна?»

— Так, хорошо. Поверим. Куда шли?

Было видно, как следователь напрягся за столом, пристально вглядываясь в малейшее изменение на лице пленника. Рыбак, однако, разгладил на колене полу полушубка, поскреб там какое-то пятнышко — он старался отвечать обдуманно.

— Так это... На хутор шли, а он вдруг оказался спаленный. Ну, пошли куда глаза глядят.

— Какой хутор сожжен?

— Ну тот, Кульгаев или как его? Который под лесом.

— Верно. Кульгаев сожжен. Немцы сожгли. А Кульгай и все кульганята расстреляны.

«Слава богу, не придется взять грех на душу»,— с облегчением подумал Рыбак.

— Как оказались в Лесинах?

— Обыкновенно. Набрели ночью, ну и... Зашли к старосте.

— Так, так, понятно,— соображая что-то, прикинул следователь.— Значит, шли к старосте?

— Нет, почему? Шли на хутор, я же сказал...

— На хутор. Понятно. А кто командир банды? — вдруг спросил следователь и, полный внимания, замер, впери в него жесткий, все замечающий взгляд. Рыбак подумал, что тут уж можно солгать — пусть проверят. Разве что Сотников...

— Командир отряда? Ну этот... Дубовой.

— Дубовой? — почему-то удивился следователь, и Рыбак продолжительным взглядом уставился в его глаза. Но отнюдь не затем, чтобы

уверить следователя в правдивости своей лжи, важно было понять, верят ему или нет.

— Прохвост! Уже с Дубовым снюхался! Так я и знал! Осенью не взяли, и вот, пожалуйста...

Рыбак не понял: кого он имеет в виду? Старосту? Но как же тогда? Видно, он здесь что-то напутал... Однако размышлять было некогда, Портнов стремительно продолжал допрос:

— Где отряд?

— В лесу.

Тут уж он ответил без малейшей задержки и прямо и безгрешно посмотрел в холодно-настороженные глаза следователя — пусть уверится в его абсолютной правдивости.

— В Борковском?

— Ну.

(Дураки они, что ли, сидеть в Борковском лесу, который хотя и большой, но после взрыва моста на Ислянке обложен с четырех сторон. Хватит того, что там осталась группа этого Дубового, остатки же их отряда перебрались за шестнадцать километров, на Горелое болото.)

— Сколько человек в отряде?

— Тридцать.

— Врешь! У нас есть сведения, что больше.

Рыбак снисходительно улыбнулся. Он почувствовал надобность продемонстрировать легкое пренебрежение к неосведомленности следователя.

— Было больше. А сейчас тридцать. Знаете, бои, потери...

Следователь довольно поерзал в кресле:

— Что, пощипали наши ребята? То-то же! Скоро пух-перо полетит. От всех вас.

Рыбак промолчал. Его настроение заметно тронулось в гору. Кажись, от Сотникова они не много узнали, значит, можно наказать сказок — пусть проверяют. Опять же похоже было на то, что следователь вроде начал добреть в своем отношении к нему, и Рыбак подумал, что это его отношение надобно как-то укрепить, чтобы, может, еще и воспользоваться им.

— Так! — Следователь откинулся в кресле. — А теперь ты мне скажи, кто из вас двоих стрелял ночью? Наши видели, один побежал, а другой начал стрелять. Ты?

— Нет, не я, — сказал Рыбак не слишком, однако, решительно. Тут уж ему просто неловко было оправдываться и тем самым перекладывать вину на Сотникова. Но что же — брать ее на себя?

— Значит, тот? Так?

Этот вопрос был оставлен им без ответа — Рыбак только подумал: чтоб ты издох, сволочь! Так хитро ловит! Да и на самом деле, что он мог ответить ему?

Впрочем, Портнов не очень и настаивал.

— Так, так, понятно. Как его фамилия?

— Кого?

— Напарника.

Фамилия! Зачем бы она стала ему нужна, эта фамилия? Но если Сотников не назвал себя, то, видно, не следует называть его и ему. Наверно, надо было как-либо соврать, да Рыбак не сразу сообразил как.

— Не знаю, — наконец сказал он. — Я недавно в этом отряде...

— Не знаешь? — с легким упреком переспросил Портнов. — А староста этот, говоришь. Сыч? Так он у вас значится?

Рыбак напряг память — кажется, он даже и не слышал фамилии старосты или его клички.

— Я не знаю. Слышал, в деревне его зовут Петр.

— Ах, Петр.

Ему показалось, что Портнов этот какой-то путаник, но тут же он сообразил: следователь хочет запутать его.

— Так, так. Значит, родом откуда? Из Могилева?

— Из-под Гомеля,— терпеливо поправил Рыбак.— Речицкий район.

— Фамилия?

— Чья?

— Твоя.

— Рыбак.

— Где остальная банда?

— На... В Борковском лесу.

— Сколько до него километров?

— Отсюда?

— Откуда же?

— Не знаю точно. Километров восемнадцать будет.

— Правильно. Будет. Какие деревни рядом?

— Деревни? Дегтяря, Ульяновка. Ну и эта, как ее... Драгуны.

Портнов заглянул в лежащую перед ним бумажку.

— А какие у вас связи с этой... Окунь Авгиньей?

— Демчихой? Ей-богу, никаких. Просто зашли перепрятаться, ну и поесть. А тут ваши ребята...

— А ребята и нагрязнули! Молодцы ребята! Так, говоришь, никаких?

— Точно, никаких. Авгинья тут ни при чем.

Следователь бодро вскочил из-за стола, локтями подпернул сползавшие в пояс бриджи.

— Не виновата? А вас принимала? На чердаке прятала? Что, думаешь, не знала, кого прятала? Отлично знала! Покрывала, значит. А по законам военного времени что за это полагается?

Рыбак уже знал, что за это полагается по законам военного времени, и подумал, что, пожалуй, придется отказать от непосильного теперь намерения выгородить Демчиху. Было очевидно, что на каждую такую попытку следователь будет реагировать, как бык на красный лоскут, и он решил не дразнить. До Демчихи ли тут, когда неизвестно, как выкарабкаться самому.

— Так, хорошо! — Следователь подошел к окну и бодро повернулся на каблучках; руки его были засунуты в карманы брюк, пиджак на груди широко распахнулся.— Мы еще поговорим. А вообще должен признать: парень ты с головой. Возможно, мы сохраним тебе жизнь. Что, не веришь? — Следователь иронически ухмыльнулся.— Мы можем. Это Советы ничего не могли. А мы можем казнить, а можем и миловать. Смотря кого. Понял?

Он почти вплотную приблизился к Рыбаку, и тот, почувствовав, что допрос на том, наверно, кончается, почтительно поднялся со стула. Следователь был ему по плечо, и Рыбак подумал, что с легкостью придушил бы этого маломерка. Но подумав так, он почти испугался своей такой нелепой тут мысли и с деланной преданностью взглянул в живые, с начальственным холодком глаза полицейского.

— Так вот! Ты нам расскажешь все. Только мы проверим, не думай! Не наврешь — сохраним жизнь, вступишь в полицию, будешь служить великой Германии...

— Я? — не поверил Рыбак.

Ему показалось, что под ногами качнулся пол и стены этого заплыванного помещения раздались вширь. Сквозь минутное замешательство в себе он вдруг ясно ощутил свободу, простор, даже легкое дуновение свежего ветра в поле.

— Да, ты. Что, не согласен? Можешь сразу не отвечать. Иди, подумай. Но помни: или пан, или пропал. Гаманюк!

Прежде чем он, ошеломленный, успел понять, что будет дальше, дверь раскрылась, и на пороге вырос тот самый Стась.

— В подвал!

Стась дурашливо уставился на следователя.

— Так это... Будила ждет.

— В подвал! — взвизгнул следователь. — Ты что, глухой?

Стась встрепенулся.

— Яволь в подвал! Биттэ, прошу!

Рыбак вышел, как и входил, в крайней растерянности, на этот раз, однако, уже по другой причине. Хотя он еще и не осознал всей сложности пережитого и в еще большей степени предстоящего, но уже чувствовал остро и радостно — будет жить! Появилась возможность жить — это главное. Все остальное — потом.

— Гы, значит, откладывается? — дернул его за рукав полушубка Стась, когда они вышли во двор.

— Да, откладывается! — твердо сказал Рыбак и впервые с вызовом посмотрел на красивое, издевательски-улыбчивое лицо полиция. Тот хотнул хрипловатым, вроде козлиного блеяния, голосом.

— Никуда не денешься! Отдашь! Добровольно, но обязательно — требуха из тебя вон!

«Дурной или прикидывается?» — подумал Рыбак. Но Стась теперь мало беспокоил его: у него появился защитник.

Глава тринадцатая

Сотникова спасала его немощность: как только Будила начинал пытку, он быстро терял сознание. Его отливали, но ненадолго, мрак опять застилал сознание, тело не реагировало ни на ременные чересседельники, ни на специальные стальные щипцы, которыми Будила сдирал с пальцев ногти. Напрасно провозившись так с полчаса, двое полицейских вытащили Сотникова из помещения и бросили в ту камеру, к старосте.

Некоторое время он молча лежал на соломе в мокрой от воды одежде, с окровавленными кистями рук и тихо стонал. Сознание то возвращалось к нему, то пропадало. Когда за дверью утихли шаги полицейских, к нему на коленях подполз староста Петр.

— Ай-яй! А я и не узнал. Вот что наделали...

Сотников услышал новый возле себя голос, который показался ему знакомым, но истерзанное его сознание уже не в состоянии было восстановить в памяти, кто этот человек. Впрочем, человек вроде был расположен к нему, Сотников почувствовал это по голосу и попросил:

— Воды!

Человек, слышно было, поднялся, не сильно, хотя и настойчиво постучал в дверь.

— Черта! Не слышит никто.

Плохо соображая уже, Сотников все же понял, что помощи здесь не будет. И он ничего не просил больше, погружаясь в забытие и оставаясь один на один со своими муками. Но он очень хотел пить. Какой-то густой знойный туман обволакивал все вокруг. Сотников как-то странно тащился в нем на ватных ногах, пока не увидел у забора колодец с ведром на цепи. Такими же ватными руками он начал опускать это ведро в колодец, как вдруг из его черной бездны с тревожным фырканьем бросился врассыпную шустрый кошачий выводок. Сотников терпеть не мог кошек и почти в испуге отпрянул от сруба, медленно приходя в себя. Затем он каким-то образом очутился на улице их довоенного городка и вдруг увидел

перед собой Редькина, давнишнего своего ординарца, несшего связку мокрых, наполненных водой фляг. Сотников схватился за одну из них, но фляга в его руках почему-то превратилась в противогазную сумку, а в сумке какая же вода...

Спустя некоторое время он все-таки дождался котелка с водой и долго и мучительно пил. Но вода была теплая, невкусная, она не утоляла жажды, только противно наполняла желудок. Вождеденное это питье не принесло ему облегчения, лишь усилило муки, его стало тошнить. Было очень жарко от полуденного солнца, в окопчике, где он стоял, всюду пересыпался раскаленный песок с клочками сухой колючей травы. Он ничуть еще не напился, как рядом послышался окрик руководителя стрельбами полковника Логинова: «Темп! Темп!» Сотникова это удивило и обеспокоило одновременно: показалось странным, как он мог отвлечься на этот водопой во время стрельбы? Он испугался, что не уложится в темп подачи команд, который вместо полагавшихся шести — десяти секунд, наверно, перевалил за минуту.

Потом его видения стали тускнеть, сознание заволокло бессмыслицей, за которой едва пробивались какие-то странные образы. Неизменным оставались только страдания...

Когда в камеру вернули Рыбака, Сотников, как труп, тихо лежал на соломе, с головы до пят накрытый шинелью. Рыбак сразу же опустился рядом, откинул полу шинели, поправил ему руку. Сломанные пальцы Сотникова слиплись в кровавых сгустках, и он ужаснулся при мысли, что то же самое могли сделать и с ним. На первый раз расправа каким-то образом миновала его, но что будет завтра?

— Хлопец, тут это... Воды надо... — сказал из угла Петр, пока Стась запирает дверь.

— Я тебе не хлопец, а господин полицай! — злобно огрызнулся Стась.

— Пускай полицай. Извините. Человек помирает.

— Туда и дорога бандиту. Тебе тоже.

С громовым грохотом захлопнулась дверь, стало темно; Петр, вздохнув, опустился на солому в углу.

— Звери!

— Тихо вы! — сказал Рыбак. — Услышат.

— Пусть слышат. Чего уж бояться...

Закрылась и наружная дверь, на ступеньках заглохли шаги полицая. Сделалось очень тихо, и стало слышно, как неподалеку, в подвале, кто-то тихонько плакал — короткие всхлипывания, паузы — наверно, ребенок или, возможно, женщина. На соломе все еще в забытьи промышал что-то Сотников.

— Да-да, этого изувечили. Выживет ли? — сказал Петр.

Рыбак подумал: «Вряд ли он выживет». И вдруг ему открылось чрезвычайно четко и счастливо: если Сотников умрет, то его, Рыбака, шансы значительно улучшатся. Других здесь свидетелей нет.

Он понимал, конечно, всю бесчеловечность этого открытия, но сколько ни думал, неизменно возвращался к мысли, что так будет лучше. Ему, Рыбаку, да и самому Сотникову, которому после всего, что случилось, все равно уже не жить. А Рыбак, может, еще и вывернется и тогда уж наверняка рассчитается с этими сволочами за его жизнь и за свои страхи тоже. Он вовсе не собирался выдавать им партизанских секретов, ни тем более поступать в полицию, хотя и понимал, что уклониться от нее, видно, будет не просто. Но ему важно было выиграть время — все остальное зависело от того, сколько дней он найдет возможность продержаться.

Сотников тяжело и хрипло дышал, слегка постанывая, и Рыбак подумал: нет, не вытянет. Тут и с крепким здоровьем недолго загнуться, где уж ему!

— А тебе, гляжу, больше повезло,— рассудительно и вроде бы со смыслом наемкнул старик. Эти его слова неприятно задели Рыбака — какое ему дело? Но он спокойно заметил:

— Мое все впереди.

— Ясное дело — впереди. Так они не оставят.

Рыбак неприязненно посмогнул в угол — ему становилось не по себе от непрошенных пророчеств этого человека: откуда ему знать, простят или нет? У него шел зачет по особому от прочих счету, в благотворную силу которого он почти что поверил и старался подробнее все обдумать.

Но, видимо, это место было не очень подходящим для длительных размышлений: только он сосредоточился на своих заботах, как по ступенькам опять застучали шаги. Показалось, кого-то ведут, но шаги замерли возле их камеры, громыхнул засов, и на пороге вырос тот самый Стась:

— На воды! Живо! И чтоб этот бандюга к завтраму был как штык! А ты, старый хрен, марш к Будиле!

Рыбак притушил в сердце вспыхнувшую было тревогу, взял из рук полицаю круглый котелок с холодной водой. Петр из угла недоуменно уставился в Стася.

— А зачем, не знаешь?

Полицай с неподдельным весельем заржал:

— Знаю: в подкидного играть. Ну, живо!

Старик тяжело поднялся, подобрал с пола тулупчик и, нагнув голову, вышел из камеры. Все с тем же грохотом захлопнулась тяжелая дверь.

Встав на колени, Рыбак начал тормошить Сотникова. Тот, однако, только стонал. Тогда он одною рукой наклонил котелок, а другой приподнял голову Сотникова и немного влил в его рот воды. Сотников вздрогнул, но тут же жадно припал губами к шершавому краю котелка. несколько раз сдавленно, трудно глотнул.

— Кто это?

— Это я. Ну как ты? Лучше?

— Рыбак? Фу ты! Дай еще.

Рыбак снова придержал его голову, — стуча зубами о котелок, Сотников выпил еще и пластом слег на солому.

— Что, мучили здорово? — спросил Рыбак.

— Да, брат, досталось, — выдохнул Сотников.

Рыбак заботливо оправил на нем шинель и привалился спиной к стене, рассеянно вслушиваясь в шумное дыхание товарища, которое, однако, помалу выравнивалось.

— Ну, как самочувствие?

— Теперь хорошо. Лучше. А тебя?

— Что?

— Били?

Этот вопрос застал Рыбака врасплох. Он не знал, как коротко объяснить товарищу, почему его не пытали.

— Да нет, не очень.

Сотников закрыл глаза. Его изможденное, серое, с отросшей щетиной лицо едва выделялось в сумерках на серой соломе. В груди все хрипело. И тогда Рыбаку пришло в голову, что, пока имеется такая возможность, надо бы кое о чем условиться относительно предстоящих допросов.

— Слушай, я вроде их обхитрю,— шепнул он, склонившись к товарищу. Тот удивленно раскрыл глаза — широкие белки в глазницах тускло блеснули отраженным от потолка светом.— Только нам надо говорить одно. Прежде всего — шли за продуктами. Хутор сожжен, притопали к Лесинам, ну и...

— Ничего я им не скажу,— перебил его Сотников.

Рыбак прислушался, нет ли кого поблизости, но, кажется, всюду было тихо. Только сверху доносились голоса и шаги, как раз над их камерой. Но сверху его не слышат.

— Ты брось, не дури. Надо кое-что и сказать. Так слушай дальше. Мы из группы Дубового, он сейчас в Борковском лесу. Пусть проверят. Сотников задержал дыхание:

— Но Дубовой действительно там.

— Ну и что?

Рыбак начинал злиться: вот же несговорчивый человек, разве в этом дело! Безусловно, Дубовой с группой в Борковском лесу, но оттого, что они назовут место его расположения, тому хуже не станет — полицаям до него не добраться. Остатки же их отряда как раз в более ненадежном месте.

— Слушай. Ты послушай меня! Если мы их не проведем, не схитрим, то через день-два нам каюк. Понял? Надо немного и в поддавки сыграть. Не рвать через силу.

Сотников, слышно было, будто насторожился, притих, дыхание его замерло — сдается, он что-то обдумывал.

— Ничего не выйдет,— наконец сказал он.

— Как не выйдет? А что тогда выйдет? Смерти достукаться легче всего.

Вот дурила, подумал Рыбак. Уж такого неразумного упрямства он не ожидал. Впрочем, сам одною ногой в могиле, так ему все нипочем. Не хочет даже шевельнуть мозгами, чтобы не потащить за собой и товарища.

— Ты послушай,— помолчав, горячо зашептал Рыбак.— Нам надо их повáдить. Знаешь, как щуку на удочке. Иначе перетянешь, порвешь — и все пропало. Надо прикинуться смиренными. Знаешь, мне предложили в полицию,— как-то сам не желая того, сказал Рыбак.

Веки у Сотникова вздрогнули, затаенным тревожным вниманием сверкнули глаза:

— Вот как! Ну и что ж -- побежишь?

— Не побегу, не бойсь. Я с ними поторгуюсь.

— Смотри, проторгуешься,— язвительно просипел Сотников.

— Так что же, пропадать? — вдруг озлясь, едва не вскрикнул Рыбак и замолчал, выругавшись про себя. Впрочем, черт с ним! Не хочет — его дело; Рыбак же будет бороться за себя до конца.

Сотников задышал труднее — от волнения или от хвори, попытался откашляться — в груди зашипело, как на жаровне, и Рыбак испугался: помирает, что ли? Но он не умирал и вскоре, совладав с дыханием, сказал:

— Напрасно лезешь... в дерьмо! Позоришь армейскую честь. Живыми они нас не выпустят.

— Как сказать. Если постараться... .

— Для кого стараться? --- срываясь, зло бросил Сотников и задохнулся. Минуту он мучительно кашлял, потом шумно дышал, затем сказал вдруг упавшим голосом:— Не в карты же играть они тебя в полицию зовут.

Наверно, не в карты, про себя согласился Рыбак. Но он шел на эту игру, чтобы выиграть себе жизнь — разве этого недостаточно для самой,

пусть даже отчаянной, игры? А там оно будет видно, только бы не убили, не замучили на допросах. Только бы вырваться из этой клетки, и ничего плохого он себе не позволит. Разве он враг своим?

— Не бойсь,— сказал он.— Я тоже не лыком шитый.

Сотников засмеялся неестественно коротеньким смехом:

— Чудак! С кем ты вздумал тягаться?

— А вот увидишь.

— Это же машина! Или ты будешь служить ей, или она сотрет тебя в порошок! — задыхаясь, приспел он.

— Я им послужу!

— Только начни!

Нет, видно, с ним не сговоришься, с этим чудачком человеком, подумал Рыбак. Как в жизни, так и перед смертью у него на первом месте твердолобое упрямство, какие-то принципы, а вообще все дело в характере, так понимал Рыбак. Но ведь кому не известно, что в игре, которая называется жизнью, куда с большим выигрышем оказывается тот, кто больше хитрит. Да и как иначе? Действительно, фашизм — машина, подмявшая под свои колеса полмира, разве можно бежать ей навстречу и размахивать голыми руками? Может, куда разумнее будет попытаться со стороны сунуть ей меж колес какую-нибудь рогатину. Пусть напорется да забуксует, дав тем возможность потихоньку смыться к своим.

Сотников замолчал или, может, впал в полузабытье, и Рыбак перестал набиваться к нему с разговором. Пусть поступает, как хочет,— он же, Рыбак, будет руководствоваться собственным разумом.

Он лег на бок, подобрал ноги, повыше натянул воротник полушубка. Пока суд да дело, было бы неплохо вздремнуть какой час, чтобы прояснилось в голове, потому как скоро, наверно, все-таки начнется испытание. Однако он верил в свою счастливую звезду и постепенно убеждался, что его отношения с полицией обрели правильное направление, которого и нужно держаться. Если только Сотников своим нелепым упрямством не испортит все его планы. Но, видно, Сотников долго не протянет. Станным это было и противным — думать о скорой смерти товарища, но иначе не получается. В той его смерти он видел единственный для себя выход из этой западни.

Задумавшись, Рыбак не сразу услышал, как что-то живое тихонько корябнуло по его сапогу, потом снова. Он двинул ногой и вдруг ясно увидел крысу — серый ее комок метнулся к стене и затих там; длинный и тонкий хвост настороженно пролегал по соломе. Содрогнувшись, Рыбак пнул туда каблуком — крыса, тоненько пискнув, проворно скрылась в темном углу. По донесшейся из соломы тихой возне Рыбак, однако, понял, что там она не одна. Наверно, надо бы чем-то бросить в них, но под руками не было ничего подходящего, и Рыбак, сорвав с головы шапку, швырнул ее в угол.

Когда там притихло, он на четвереньках сполз за шапкой и опять привалился спиной к стене. Однако спать он уже не мог. В ожидании новой атаки крыс прикрыл полой шинели босую ногу Сотникова и с неясным брезгливым страхом стал вглядываться в угол.

Глава четырнадцатая

Петра привели не скоро, наверно уже на закате солнца, когда сумерки в камере совсем сгустились и окошко вверху едва светилось скудным отсветом морозного дня. Да и в двери, когда та отворилась, уже не было прежней яркости — нагнув белую голову, староста молча переступил порог и сунулся в свой темный крысиный угол.

Рыбак у стены, не шевельнувшись, весь болезненно сжался, стараясь как бы исчезнуть во мраке этой вонючей камеры. Было страшно, что следующим опять вызовут его, хотя он понимал, что от полиция это ничуть не зависело. Но не вызвали никого, дверь затворилась, надежно звякнул засов. Полиция, однако, — на этот раз кто-то другой, не Стась — направился не к ступенькам: его шаги в коридоре повернули в другую сторону. Вскоре где-то в глубине подвала застучали засовы, раздался глуховатый окрик и женский короткий всхлип.

В этот раз брали женщин.

Как только в подвале опять все затихло, к Рыбаку начало помалу возвращаться его самообладание. Что ж, беда пока миновала его, наступив другого, и это, как всегда на войне, вопреки всему, успокаивало. Будто тем самым давало ему какие-то шансы выжить. Хотя, конечно, шансы эти были более чем сомнительны.

Рыбак не имел ни малейшего желания вступать в разговор со старостой, которого, похоже, пытали не очень, во всяком случае не так, как Сотникова. Но то обстоятельство, что он, не проронив ни слова, отчужденно затих в своем мрачном углу, обеспокоило Рыбака.

— Ну как? Обошлось? — нарочито бодро спросил Рыбак.

Петр после непродолжительной паузы отозвался невеселым голосом:

— Нет, не обойдется. Плохи наши дела.

— Хуже некуда, — согласился Рыбак.

Староста высморкался, видно было, привычно разгладил усы и сообщил как бы между прочим, ни к кому не обращаясь:

— Подговаривали, чтоб я выведал от вас. Про отряд ну и еще кое-что.

— Вот как! — Рыбак удивился и поморщился, вспомнив свой недавний разговор с Сотниковым. — Шпионить, значит?

— Вроде того. Шестьдесят семь лет прожил, а под старость на такое дело... Не-ет, не по мне это.

Рядом на соломе завозился Сотников — как-то испуганно вздрогнув, привстал на локтях.

— Кто это?

— Да тот, лесиновский староста, — подавленно сказал Рыбак.

Сотников, замолчав, снова лег на солому, стараясь разобраться в путанице яви и полусонных видений. Чувствовал он себя куда как плохо, нога по-прежнему болела от стопы до бедра, жгло пальцы на руках, в груди все горело. Сознание его то и дело проваливалось в черную бездну, ненадолго возвращаясь из которой он не сразу воспринимал окружающее. Но в этот раз, однако, он вспомнил почтой их заход в Лесины, старосту Петра и сейчас, почувствовав его рядом, все понял сразу. Правда, особенной жалости к нему Сотников не испытывал: староста не Демчиха. И все же было неприятно сознавать, что и этот старик оказался вовлеченным ими туда, откуда, наверно, уже не находилось выхода.

Разговор на этом прервался. Рыбак и Петр притихли каждый в своем углу. Окошко, погаснув, едва серело под потолком, четко разделенное решеткой на четыре квадрата. В камере воцарилась сплошная темень. Разговаривать никому не хотелось, каждый углубился в себя и свои далеко не веселые мысли.

И тогда опять на ступеньках затопали шаги, слышно было, раскрылась наружная дверь и неожиданно громко звякнул засов их камеры. Они все насторожились, одинаково обеспокоенные единственным в таких случаях вопросом: за кем? Тем не менее и теперь, видно, не забирали никого — напрогив, кого-то привели в эту камеру.

— Ну! Марш!

Кто-то невидимый в темноте почти неслышно проскользнул в дверь и затаился у порога возле самых ног Рыбака. Когда дверь со стуком закрылась и полицай, посвистывая, задвинул засов, Рыбак бросил в темноту:

— Кто тут?

— Я.

Голос был детский, это стало понятно сразу — маленькая фигурка нового арестанта приткнулась у самой двери и молчала.

— Кто я? Как зовут?

— Бася.

«Бася? Что за Бася? Будто еврейское имя, но откуда она тут взялась? — удивился Рыбак. — Всех евреев из местечка ликвидировали еще осенью, вроде нигде никого не осталось — как эта оказалась тут?! И почему ее привели в камеру к ним, а не к Демчихе?»

— Откуда ты? — спросил Рыбак.

Девочка молчала. Тогда он спросил о другом:

— Сколько тебе лет?

— Тринадцать.

В углу зашевелился Петр.

— Это самое, не Меера-сапожника дочка?

— Ага, — тихо подтвердила девочка.

— А-яй! Меера же тогда изничтожили вместе со всеми. Как же ты уцелела? Наверно, спряталась где.

Ответа опять не последовало. Впрочем, Рыбак уже не ожидал ее ответа, он вдруг потерял всякий интерес к этой девочке, немало встревоженный другим: почему ее привели сюда? В подвале были, наверно, и еще места, где-то поблизости сидели женщины, почему же девочку посадили к мужчинам? Какой в этом смысл?

— И чего им нужно от тебя? — тем временем как ни в чем не бывало расспрашивал Басю Петр.

— Чтоб сказала, у кого пряталась.

— А-а, вон как! Ну что ж... Это так. А ты же не сказала?

Бася затаилась, будто и не дыша вовсе, обмерла и молчала.

— И не говори, — одобрил погодя староста. — Нельзя о том говорить. Люди тебе добро сделали, так и молчи. Если и бить будут. Или тебя уже били?

Вместо ответа в углу вдруг послышался всхлип, за которым последовал сдавленный, болезненный плач. Он был коротеньким, но столько неподдельного детского отчаяния выплеснулось с ним, что всем в этой камере сделалось не по себе. Сотников на соломе, слышно было, осторожно задержал дыхание.

— Рыбак!

— Я тут.

— Там вода была.

— Что, пить хочешь?

— Дай ей воды! Ну что же ты сидишь?

Нашупав под стеной котелок, Рыбак потянулся к девочке.

— Не плачь! На вот, попей.

Бася немного отпила и, присмирив, затихла у порога.

— Иди сюда, — позвал Петр. — Тут вот место есть. Будем сидеть. Вот подле стенки держись.

Послушно поднявшись и неслышно ступая в темноте босыми ногами, Бася направилась к старику. Тот подвинулся, освобождая ей место рядом.

— Да-а! Попались! Что они еще сделают с нами?

Рыбак молчал, не имея желания поддерживать разговор, рядом ти-

хонько постанывал Сотников. Они ждали. Все их внимание было приковано к ступенькам — оттуда являлась беда.

И действительно, долго ждать ее не пришлось.

Спустя четверть часа со двора донеслось злое: «Иди, иди, падла!» — и не менее обозленное в ответ: «Чтоб тебя так и в пекло гнали, негодник!» — «А ну шевелись, не то как двину!» — прорычал мужской голос. На ступеньках затопали, заматерились — сомнений не было: это вели Демчиху.

Но почему-то ее также не поволокли в прежнюю камеру — полицаи остановились возле их двери, загремели засовом, и тот самый, хорошо знакомый им Стась сильно толкнул Демчиху через порог. Женщина споткнулась, упала на Рыбаковы ноги и громко запричитала в темноте:

— Куда ты толкаешь, негодяй! Тут же мужчины, а, божечка мой!..

— Давай, давай! Черт тебя не возьмет! — прикрикнул Стась. — До утра перебудешь.

— А утром что? — вдруг спросил Рыбак, которому послышался какой-то намек в голосе полицая. Стась уже прикрыл было дверь, но опять растворил ее и гаркнул в камеру:

— А утром gros аллес капут! Фарштей?

«Капут? Как капут?» — тревожно пронеслось в смятенном сознании Рыбака. Но страшный смысл этого короткого слова был слишком отчетлив, чтобы долго сомневаться в нем. И эта его отчетливость ударила как оглоблей по голове.

Значит, утром конец!

Почти не ощущая себя, Рыбак механически подобрал ноги, дал пристроиться у порога женщине, которая все всхлипывала, сморкалась, потом начала вздыхать — успокаиваться. Минуту они все молчали, затем Петр в своем углу сказал рассудительно:

— Что же делать, если попались. Надо терпеть. Откуда же ты будешь, женщина?

— Я? Да из Поддубья, если знаете.

— Знаю, а как же. И чья же ты там?

— Демки Окуня женка.

Стараясь как-либо отделаться от недобрых предчувствий, Рыбак под стеной начал прислушиваться к Демчихе. Ему не хотелось обнаруживать себя разговором, тем более что Демчиха, возможно, не узнала его в темноте. Они уже познакомились с ее сварливым характером, и теперь, оказавшись в таком положении, Рыбак думал, что эта женщина очень просто может закатить им скандал — было за что. Но она постепенно успокоилась, еще раз высморкалась. Голос ее понемногу ровнел, становился обычным, таким, каким она разговаривала с ними в деревне.

— Да-а, — озабоченно сказал Петр. — А Демьян в войске...

— Ну. Демка там где-то горюшко мыкает. А надо мной тут измываются. Забрали вот! Деток на кого покинули? И как они там без меня? Ой, деточки мои родненькие...

Только что смолкнув, она расплакалась снова, и в этот раз никто ее не утешал, не успокаивал — было не до того. В камере продолжали звучать зловещие слова Стася, они подавляли, тревожили, заставляли мучительно переживать всех, за исключением разве что старосты, оставшегося по-прежнему спокойным и рассудительным. Между тем Демчиха как-то неожиданно, будто все выплавав, вздохнула и спокойнее уже заметила:

— Вот люди! Как звери! Гляди, каким чертом стал Павка этот!

— Портнов, что ли? — поддержал разговор Петр.

— Ну. Я же его кавалером помню — тогда Павкой звали. А потом на учителя выучился. Евонная матка на хуторе жила, так каждое лето

на молочко да на яблочки приезжал. Нагляделась. Такой ласковый был, «добрый день» все раздавал, с мужчинами за ручку здоровкался.

— Знаю Портнова, а как же, — сказал Петр. — Против бога, бывало, по деревням агитировал. Да так складно...

— Гадина он был. И есть гадина. Не все знают только. Культурный!

— А полицайчик этот тоже с вашего боку будто?

— Стась-та? Наш! Филипенек младший. Сидел за поножовщину, да пришел в первые дни, как началось. И что выделявать стал — страх! В местечке все над евреями измывался. Убивал, говорили. Добра натаскал — божечка мой! Всю хату завалил. А теперь вот и до нас, христианых, добрался.

— Это уж так, — согласился Петр. — С евреев начали, а гляди, нами кончат.

— Чтоб им на осине висеть, выродкам этим.

— Я вот думаю все, — беспокойно заворошился староста, — ну пусть немцы. Известно фашисты, чужие люди, чего уж от них ждать. Ну, а наши, которые с ними? Как их вот понимать? Жил, ел который, людям в глаза глядел, а теперь заимел винтовку и уже застрелить норовит. И стреляют! Сколько перебили уже...

— Как этот, как его... Будила ваш! — не сдержавшись, напомнил Рыбак.

— Хватает. И Будила и мало ли еще каких. Здешних и черт знает откуда. Любителей поразбойничать. Что ж, теперь им раздолье, — глухим басом степенно рассуждал лесиновский староста. Что-то вспомнив, его нетерпеливо перебила Демчиха:

— Это самое, говорят, Ходоронок их, которого ночью ранили, сдох. Чтоб им всем передохнуть, гадовью этому!

— Все не передохнут, — вздохнул Петр. — Разве что наши перебьют.

На соломе задвигался, задышал, попытался подняться Сотников.

— Давно вы так стали думать? — просипел он.

— А что ж думать, сынок? Всем ясно.

— Ясно, говорите? Как же вы тогда в старосты пошли?

Наступила неловкая тишина, все примолкли, настороженные этим далеко идущим вопросом. Наконец Петр, что-то преодолев в себе, заговорил вдруг дрогнувшим голосом:

— Я пошел! Если бы знали... Негоже говорить здесь. Хотя что уж теперь — поздно таиться. Отбрыкивался, как мог. В район не являлся. Разве я дурак, не понимаю, что ли. Да вот этак ночью однажды — стук-стук в окно. Открыл, гляжу, наш бывший секретарь из района, начальник милиции и еще двое, при оружии. А секретарь меня знал — как-то в коллективизацию отвозил его после собрания. Ну, слово за слово, говорит: «Слышали, в старосты тебя метят, так соглашайся. Не то Будилу назначат — всем худо будет». Вот и согласился. На свою голову.

— Да-а, — неопределенно сказал Рыбак.

— Полгода выкручивался меж двух огней. Пока не сорвался. А теперь что делать? Придется погибнуть.

— Погибнуть — дело нехитрое, — буркнул Рыбак, закругляя неприятный для него разговор. То, что о себе сообщил староста, не было для него неожиданностью, — после допроса у Портнова Рыбак уже стал кое о чем догадываться. Но теперь он был целиком поглощен своими заботами и больше всего опасался, чтобы некоторые из его высказанных здесь намерений не дошли до ушей полиции и не оборвали последнюю ниточку его надежды.

Сотников между тем, раскрыв глаза, молча лежал на соломе. Похоже, староста говорил правду. Но что же тогда получалось? Ощущение какой-то нелепой сплошности по отношению к этому Петру вдруг нава-

лилось на Сотникова. Но кто в этом повинен? Никто не в состоянии был предвидеть такой исход — цепь нелепых случайностей привела к такому концу. Хотя тут еще следовало разобратся поглубже, тогда как в случае с Демчихой все было ясно — Демчиха явилась перед ними живым укором их непростительной беспечности. С опаской прислушиваясь теперь к словам женщины, Сотников ожидал, что та начнет ругать их последними словами. Он не знал, чем бы тогда возразил ей. Но шло время, а она весь свой гнев вымещала на полицию и немцах — их же с Рыбаком даже и не вспомнила, будто они не имели ни малейшего касательства к ее беде. На злое сообщение Стася она также не реагировала — может, не поняла его смысла, а может, просто не обратила внимания.

Впрочем, поверить в это сообщение было страшно даже для готового ко всему Сотникова. Он также не мог взять в толк: то ли полицией просто пугал, то ли действительно они надумали покончить в один раз со всеми. Но неужели им не хватило бы двух смертей — его с Рыбаком, какой был смысл казнить еще и эту несчастную Демчиху, и незадачливого старосту, и девочку? Невероятно, но, видимо, так, думал Сотников. Скорпион должен жалить, иначе какой же он скорпион? Очевидно, для того и позаталкивали их в одну камеру. Камеру смертников.

Глава пятнадцатая

Как-то незаметно Рыбак, сдается, заснул, как сидел — сгорбившись под стеной. Впрочем, вряд ли это был сон — скорее усталое забытие на какой-нибудь час. Вскоре, однако, тревога разбудила его, и Рыбак открыл глаза, не сразу поняв, где он. Рядом в темноте тихонько звучал разговор, слышался детский знакомый голос, сразу же напомнивший ему про Басю. Изредка его перебивал хриловатый старческий шепот — это вставлял свое веское слово Петр. Рыбак прислушался к их тихой ночной беседе, напоминавшей шуршание соломенной крыши на ветре.

— Сперва хотела бежать за ними, как повели. Выскочила из палисадника, а тетка Прасковья машет рукой: «Ни за что не ходи, говорит, прячься». Ну, побежала назад, за огороды, влезла в лозовый куст. Может, знаете, большой такой куст лозняка в конце огородов у речки? Густой-густой. За два шага стезечка на кладку, как сидишь тихо, не шевелишься, нисколечко тебя не видно. Ну, я и залезла туда, выгребла местечко в сухих листьях и начала ждать. Думала, как мамка вернется — позовет, я услышу и выбегу. Ждала-ждала — не зовет никто. Уже и стемнело, стало мне страшно. Все казалось, кто-то шевелится, крадется, а то станет, слушает. Думала: волк! Так волков боялась! И не заснула нисколечко. Как стало светлеть, тогда немного заснула. А как проснулась, очень есть захотелось. А вылезть из куста боюсь. Слышно, на улице гомон, какие-то подводы, из хат местечковых все выгружают, куда-то везут. Так я сидела и сидела. Еще день, еще ночь. И еще не помню уже сколько. На стезечке, когда бабы ходят белье полоскать, так мне их ноги сквозь листву видать. Все мимо проходят. А мне так есть хочется, что уже и вылезть не могу. Сижу да плачу тихонько. А однажды кто-то возле куста остановился. Я затаилась вся, лежу и не дышу. И тогда слышу тихонько так: «Бася, а Бася!» Гляжу, тетка Прасковья нагнулась...

— А ты не говори кто. Зачем нам про все знать, — спокойно перебил ее Петр.

— Ну, тетка одна дает мне узелок, а там хлеб и немножко сала. Я как взяла его, так и съела все сразу. Только хлеба корочка осталась. А потом как схватил живот... Так больно было, что помереть хотела. Просила и маму и бога — смерти просила.

Рыбак под стенкой зябко поежился — так это прозвучало по-житейски знакомо, будто перед ним исповедовалась какая-нибудь старушка, а не тринадцатилетняя девочка. И сразу же этот ее рассказ вызвал в нем воспоминание об одной девяностолетней бабке из какой-то лесной деревушки по ту сторону железной дороги. Они тогда вышли из лесу спросить про немцев, часок отдохнуть в тепле, ну и перекусить, конечно. В избе, что стояла на огшибе, никого не оказалось, лишь одна забытая богом глухая бабка сидела на печи, свесив на полку босые ноги. Пока они курили, бабка устало сетовала на господу-бога, который не дает ей смерти и так мучительно растянул ее никчемную старушечью жизнь. Оказавшись одна и без родственников, она еще после той войны прижилась возле малознакомых, чужих людей, которым надо было растить детей, досмотреть возле хаты. Видно, хозяева рассчитывали, что лет пять старушка еще продержится, тем временем подрастут дети, а там, гляди, придет срок и — на кладбище. Но срок этот не пришел ни через пять, ни даже через пятнадцать лет, задержалась старушка на свете у чужих людей. За это время повырастали малые, погиб на финской войне хозяин, хозяйка сама едва сводила концы с концами — что ей было до немощной чужой старухи? А смерть все не шла. Прощаясь тогда, каждый из них от души пожелал ей как можно скорее окончить свое пребывание на этом свете, и она искренне благодарила их, молясь все об одном. А теперь вот опять то же самое. Но ведь это ребенок. Что делается на свете!

— А после мне лучше стало. Однажды очень напугалась утром. Только задремала, сдалось, какой-то зверь крадется по берегу под кустом. А это кот. Огромный такой серый котище, из местечка, наверно, остался один, ну и ищет себе прокорму. Рыбу ловит. Знаете, на берегу так замрет, уставится в воду, а потом как прыгнет! Вылезет весь мокрый, а в зубах рыбка. Вот, думаю, если бы мне так наловчиться! Хотела я отнять рыбину, да не успела: удрал кот и под другим кустом съел всю, и хвостика не осталось. Но потом мы с ним подружились. Придет когда днем, заберется в куст, ляжет рядышком и мурлычет. Я глажу его и немножечко сплю. А он чуткий такой. Как только кто-либо поблизости объявится, он сразу натопырится, и я уже знаю: надо бояться. А когда очень голод донял, выбралась ночью в огород поблизости. У Кривого Залмана огурцы еще остались, семенные которые, морковка. Но кот же не ест морковки. Так мне его жаль станет...

— Пусть бы мышей ловил, — отозвалась из темноты Демчиха. — У нас, в Поддубье, у одних была кошка, так зайчат таскала домой. Ей-богу, не лгу. А как-то приволокла зайца огромного, да на чердак не встачила — видно, не осилила. Утречком вышел Змитер, глядь: заяц под углом лежит.

— А, так то, наверно. у нее котята были, — догадался Петр.

— Ну, котятки.

— Так это понятно. Тут уж для котят старалась. Как мать все равно... Ну, а потом как же ты?

— Ну так и сидела, — тихонько и доверчиво шептала Бася. — Тетка... Ну та, которая... еще несколько раз хлеба давала. А потом очень холодно стало. дождь пошел, начала листва осыпаться. Однажды меня кто-то утречком увидел, дядька какой-то. Ничего не сказал, прошел мимо. А я так напугалась, чуть до ночи додрожала. Вечером, как дождь посыпал, вылезла, бродила, бродила по зауголью, а под утро забралась в чей-то овин. Там пересидела три дня. Там хорошо было, сухо, да обыск начался. Искали какую-то рожь, и меня едва не нашли. Так я перешла в сарай — свиный там были. Ну и я возле них. Затиснусь ночью между свиной и подсвинком и сплю. Свиная спокойная была, а кабан, холера на него, кусался...

— А, господи! Вот намучилась, бедная! — вздохнула Демчиха.

— Нет. Там тепло было.

— А как же с едой? Или носил кто?

— Так я же не показывалась никому. А ела... Ну там в корыте выбирали что-то...

— Ой, до чего людей довели, боже, боже! И кто же словил тебя?

— Да полицаи. Заспала однажды — уже снег был. Выскочила, чтоб перебежать через улицу — там дом был пустой, ну я и пряталась. Только улицу перебежала, а тут они. Как крикнут, я за клен, притаилась. Толстый такой клен там...

— Ой, наверно, что против аптеки? — догадалась Демчиха. — Так там же Игналя Супрон жил...

— А тебе что? — неласково перебил ее Петр. — Кто ни жил, не все ли равно! Зачем спрашивать.

Демчиха, похоже, обиделась.

— Да я так. Если и сказала, так что?

— А ничего! Ну, а как же потом? Рассказывай, все ночь скорее пройдет.

«Ишь, старый индюк! — неприязненно подумал Рыбак. — Что-то он слишком подозрительно ждет того завтра. Или, может, надеется, что завтра его отпустят?»

Он хотел перебить Басю: зачем было тут рассказывать обо всем этом? Кому не известно, что иногда и стены имеют уши. Но погода раздумал: черт с ними! Что они все ему? К тому же, наверно, уже поздно что-то скрывать, чего-то остерегаться. Если Стась сказал правду, так завтра их всех ожидает смерть.

— Ну, закричали, а я убежать. Бежала, бежала по снегу, пока не упала за огородами. До леса еще было далеко. Ну, они и догнали, схватили за руки, привели сюда. Тут били очень. А потом... Ой-ой!

Испуганный крик Баси заставил подхватиться с места Петра, и Рыбак понял: крысы. Обнаглели или изголодались так, что перестали бояться и людей. Старик сапогом несколько раз топнул в углу. Бася, вскочив, стояла на середине камеры, закрывая собой светлый квадрат окна. Она вся тряслась от испуга.

— Они же кусаются. Они же ножки мои обгрызли. Я же их страх как боюсь. Дяденька!..

— Ничего, не бойся. Крысы что? Крысы не страшны. Укусят, ну и что? Такой беды! Иди вон в мой угол садись. А я тут... Я их, чертей!..

Он потопал еще, поворошил в углу и сел. Бася приткнулась на его насиженном на соломе месте. Сотников вроде спал. Напротив то вздыхала, то сморкалась в платок Демчиха.

— Так что ж... Что теперь сделаешь? — спрашивал в темноте Петр и сам себе отвечал: — Ничего уже не сделаешь. Терпи. Недолго осталось.

Стало тихо. Рыбак свободнее вытянул ноги, хотел было вздремнуть, но сон больше не шел.

Перед ним был обрыв.

Он отчетливо понял это, особенно сейчас, ночью, в минуту тишины, и думал, что ничего уже исправить нельзя. Всюду и всегда он ухитрялся найти какой-нибудь выход, но не теперь. Теперь выхода не было. Исподволь его начал одолевать страх, как в том памятном с детства случае, когда испуг превозмог и его слабый детский рассудок. Впрочем, это случилось давно, еще до колхозов, в пору его деревенского детства — что было вспоминать о нем? Но почему-то вот вспомнилось, вопреки желанию, — видимо, тот лавный случай имел какую-то еще непроясненную связь с его нынешним положением.

Жили они в деревне, не хуже и не лучше других, считались середняками. У отца был ладный буланый коник, молодой и старательный, правда немного горячий, но Коля Рыбак с ним ладил неплохо. В деревне ребята рано принимаются за крестьянский труд, в свои неполные двенадцать лет Коля уже пробовал понемногу и косить, и пахать, и бороновать.

В тот день возили с поля снопы.

Это было уже совсем мальчишечье дело. Дорога была знакомой, изученной им до мельчайших подробностей. Почти с закрытыми глазами он помнил, где надо взять чуть-чуть стороной, где держать по колеям, как лучше объехать глубокою с водой рытвину в логу. Самый опасным местом на этой дороге была Купцова гора — косогор, поворот и узкий овражек под высоким обрывом. Там надо было смотреть в оба. Но все обходилось благополучно. Отец подобрал последние крестцы в конце нивы и, видно, нагрузил телегу с избытком — едва хватило веревки, чтобы увязать воз. К нему наверх взобралась еще семилетняя сестренка Маня и соседская девочка Люба.

Всю дорогу, переваливаясь из стороны в сторону, он тихо ехал на высоком возу, как всегда уверенно управляя конем. Миновали Купцову гору, дорога пошла в лог. И тогда что-то случилось с упряжью, конь не сдержал, телега высоко задралась левой стороной и стала клониться направо. Коля бросил взгляд вниз и на мгновение похолодел от страха.

Наверно, надо было резко вывернуть передок вправо, тогда бы они, может, еще и задержались на краю оврага, но испуг его был сильнее того, чтобы понять эту простую вещь. Охваченный им, Коля бросился с воза, который вместе с конем и девочками уже валился в овраг.

Подхватившись с земли, он даже не взглянул вниз, а по клеверу побежал в ольшаник и, боясь отцовского гнева, до конца дня проблуждал в лесу. Вопреки ожиданию, отец его не побил, даже не отругал как следует — было не до того. Соседская девочка лежала со сломанной рукой, была поломана ось в телеге, хмуро стоял конь во дворе, подобрав перевязанную тряпицей ногу.

Потом его осуждали в деревне, да он и сам сознавал, что поступил плохо, спрыгнув с телеги, но не известно еще, что бы случилось, если бы остался. Наверно, попал бы под воз и, может, еще не остался бы и жив. С того времени прошло вон сколько лет, а он и до сих пор толком не знал, как было поступить правильно.

Теперь опять тот самый обрыв.

Только теперь с воза не спрыгнешь, теперь Рыбак крепко привязан к нему веревкой, и чтобы не развязался, еще и взят под стражу.

Но неужели тот следовательно врал, когда что-то обещал ему, даже как будто уговаривал? Наверно, напрасно Рыбак тогда не согласился сразу — завтра как бы не было поздно. Впрочем, оно и понятно. Следовательно тут, наверно, не самый большой начальник, есть начальство повыше, оно приказало, и все. А теперь поправить что-либо, переиначить, наверно, уже поздно.

Нет, на гибель он не мог согласиться, ни за что он не примет в покорности смерть — он разнесет в щепки всю их полицию, голыми руками задушит Портнова и того Стася. Пусть только подступят к нему...

Глава шестнадцатая

После короткого разговора со старостой, который тем не менее совершенно обессилил его, Сотников ненадолго заснул. Проснувшись, он неожиданно почувствовал себя мокрым от пота; столько времени палив-

ший его жар сменился потливой прохладой, и Сотников зябко поежился под своей волглрой шинелью. Но голове стало вроде бы легче, горячая одурь, терзавшая его, исчезла, общее самочувствие улучшилось. Если бы не искалеченные, распухшие кисти рук и набравшая застаревшей болью нога, то он, возможно, посчитал бы себя здоровым.

В подвале было темно и тихо, но никто, наверно, не спал, это ощущалось по частым, напряженным вздохам, движениям, притихше-настороженному дыханию людей. И тогда Сотников вдруг понял, что истекает их последняя ночь на свете. Утро уже будет принадлежать не им.

Что ж, надо было собрать в себе последние силы, чтобы с достоинством принять смерть. Разумеется, иного он и не ждал от этих вырожденцев: оставить его живым они не могли — могли разве что замучить в том дьявольском закутке Будилы. А так, возможно, и неплохо. Пуля мгновенно и без мук оборвет жизнь — не самый худший из возможных, во всяком случае обычный солдатский конец на войне.

А он, дурак, все боялся погибнуть в бою. Теперь такая гибель с оружием в руках казалась ему недостижимой роскошью, и он почти завидовал многим тысячам тех счастливых, которые нашли свой честный конец на огромном фронте. Всякий раз, оставаясь тогда невредимым, он испытывал тихонько удовлетворение оттого, что пуля миновала его и он жив. Но что ему дали эти несколько месяцев жизни, полные ежедневных тревог, стужи, беспокойства и голода, которые теперь завершались все тем же привычным на войне концом — смертью.

Правда, в эти несколько партизанских месяцев он все-таки что-то сделал, исполняя свой долг гражданина и бойца. Пусть не так, как хотел — как позволили обстоятельства: несколько врагов все же нашло смерть и от его руки. Только это и утешало, это вообще оправдывало его двадцатипятилетнее существование на свете — другого оправдания он не находил. В самом деле, что еще хорошего он принес людям? Даже не посадил дерева, не выкопал колодца, не убил ни одной змеи — без чего, согласно восточному поверью, невозможно считать удачной ничью прожитую на земле жизнь.

И вот наступил конец.

Гибель его влекла за собой крушение всего, что имело хоть какое-нибудь отношение к его существу — безвозвратно уходил в небытие весь крупнейший мир с его прошлым, настоящим и будущим. И он думал, что если этот мир не слишком потеряет с исчезновением еще одной не очень значительной жизни, которая только могла, но решительно ничем не обогатила его, то он, Сотников, лишается всего, чтобы никогда не приобрести ничего.

Но сейчас, за несколько часов до конца, он, к удивлению своему, стал обнаруживать в себе какие-то новые, раньше неизвестные ему ощущения. Прежде всего исчезла неопределенность, долгие месяцы угнетавшая его на войне, когда даже самое близкое будущее скрывалось в мрачном тумане неизвестности. Теперь же все было четко и категорично. Чтобы не терять себя пустыми надеждами, он одну за другой отменил все присущие жизни иллюзии, знал — впереди ничто. Некоторым образом это казалось даже облегчением, потому как дало возможность строго определить его выбор. И если что-либо еще заботило его в жизни, так это последние его обязанности по отношению к людям, волею судьбы или случая оказавшимся теперь рядом. Он понял, что не вправе погибнуть прежде, чем определит свои с ними отношения, ибо эти отношения, видно, станут последним проявлением его Я перед тем, как оно навсегда исчезнет.

Примирившись с собственной смертью, он на несколько коротких часов приобрел какую-то странную, почти абсолютную независимость от

силы своих врагов. Теперь он мог полной мерой позволить себе такое, что в другое время затруднялось обстоятельствами, заботой о сохранении собственной жизни,— теперь он чувствовал в себе новую возможность, не подвластную уже ни врагам, ни обстоятельствам и никому в мире. Он ничего не боялся, и это давало ему определенное преимущество перед другими, равно как и перед собой прежним тоже. Конечно, это было преимуществом смертника, но в то же время оно являлось главной и, уж наверно, последней реальной ценностью в его малоудавшейся жизни. Правда, он понимал, что пользы оттого ему, видно, будет немного, себе он уже ничем не мог пособить, но, может быть, он еще мог что-либо сделать для ближних. И Сотников легко и просто, как что-то элементарное и совершенно логическое в его положении, принял последнее теперь решение: все взять на себя. Завтра он скажет следователю, что ходил в разведку, имел какое-нибудь задание, в перестрелке ранил полиция, что он — командир Красной Армии и противник фашизма, пусть расстреляют его. Остальные здесь ни при чем.

По существу он жертвовал собой ради спасения других, но не менее чем другим это пожертвование было необходимо и ему самому. И дело тут не в наивных иллюзиях — Сотников не мог согласиться с мыслью, что его смерть явится нелепой случайностью по воле этих пьяных прислужников. Как и каждая смерть в борьбе, она должна что-то утверждать, что-то отрицать и по возможности завершить то, что не успела осуществить жизнь. Иначе зачем тогда жизнь? Слишком нелегко дается она человеку, чтобы беззаботно относиться к ее концу.

Было холодновато, время от времени он вздрагивал и глубже залезал под шинель. Как всегда, принятое решение принесло облегчение, самое изнурительное на войне,— неопределенность больше не досаждала ему. Он уже знал, когда произойдет его последняя битва с врагами, и знал, на какие станет позиции. С них он не отступит. И хотя этот поединок не сулил ему легкой победы, он был спокоен. У бойцов оружие, сила, но и у него тоже есть на чем постоять в конце. Он их не боялся.

Немного пригревшись под шинелью, он снова незаметно уснул.

Приснился ему странный, путанный сон.

Было даже удивительно, что именно такой сон мог присниться в его последнюю ночь. Он увидел что-то из детства и среди прочего незначительного и малопонятного — какую-то нелепую сцену с отцовским маузером. Будто Сотников начал вынимать его из кобуры, неосторожно повернул в сторону и сломал ствол, который, как оказалось, был не стальной, а оловянный, как в пугаче. Сотникова охватил испуг, хотя в то время он был уже совсем не мальчишкой, а почти что нынешним или, возможно, курсантом,— действие происходило в ружейном парке в училище. Он стоял возле пирамиды с оружием и не знал, как быть: с минуты на минуту здесь должен был появиться отец. Сотников бросился к пирамиде, но там не оказалось ни одного незанятого места, во всех гнездах стояли винтовки. Тогда он дрожащими руками рванул жестяную дверцу печки и сунул пистолет в черную, с окурками дыру топки.

В следующее мгновение там засветился огонь — раскаленный пылающий уголь, в котором как будто плавилось что-то яркое, и он в совершенной растерянности стоял напротив, не зная, что делать. А рядом стоял отец. Но Сотников-старший даже не вспомнил про маузер, хотя у сына было такое ощущение, что он знал обо всем происшедшем за минуту до этого. Потом отец опустил перед топкой на корточки и вроде сожалеюще сказал шепелявым старческим голосом: «Был огонь, и была высшая справедливость на свете...»

Сотникову показалось, что это из Библии — толстая ее книга в черном тисненном переплете когда-то лежала на материнском комоду, маль-

чишкой он иногда листал ее желтые, источавшие особенный, обветшалокнижный запах страницы. Теперь ему было удивительно слышать, как Библию цитировал отец, который не верил в бога и открыто не любил попов.

Неизвестно, как долго горел тот огонь в печке, чувства Сотникова опять погрузились во мрак. Наверно, не скоро еще он стал приходить в себя, начав различать поблизости какие-то невнятные звуки: стук, шорох соломы и тихий старческий голос. Когда же вернулось ощущение реальности, Сотников понял, что это гоняли крыс. Окончательно очнувшись, он долго мучительно откашливался, все размышляя, что бы мог значить этот его сон? И как-то постепенно и естественно его мыслями завладело щемящее воспоминание о его давнем, далеком детстве...

Маузер — не странная причуда этого сна, он действительно хранился у старого Сотникова, бывшего красного командира, а до того — кавалерийского поручика с двумя «георгиями» на груди — офицерское фото отца он как-то видел в красивой, расписанной павлинами маминной шкатулке. Иногда по праздникам отец доставал маузер из комода, и тогда сын держал желтую деревянную кобуру — вынуть самому оружие было неловко, искалеченная на войне рука постепенно отнималась. Это были самые счастливые в жизни мальчишки минуты, но он мог лишь наблюдать, как отец протирает свой маузер, — ни разу ему не было позволено даже поиграть с ним. «С оружием и наградами играть возбраняется», — говорил Сотников-старший, и мальчик не упрямился, не просил. Слово отца в семье было законом, в большом и в малом дома царил его культ. Впрочем, это никому не казалось странным: отец его пользовался в городке известностью и даже славой героя гражданской войны, который лишь по причине своего увечья и чрезмерной гордости, как однажды объяснила мать, зарабатывал на хлеб починкой часов.

Вороненый, в деревянной кобуре маузер был затаенной мечтой Сотникова-младшего, но напрасно было просить его также и у матери. Тогда мальчишка решил взять его сам.

Как-то проснувшись утром, он услышал глухую тишину в доме. Отец, наверно, куда-то ушел из каморки, откуда по дому разносилась привычная разноголосица часовых механизмов, мать, он уже знал, отправилась рано в церковь — над городом плыл колокольный перезвон утренней службы.

Торопливо натянув коротенькие, до колен, штанишки, оставив на потом умывание и чистку зубов, он скоренько прошмыгнул в мамину спальню. Заветный ящик комода был плотно задвинут, но в замочной скважине беспечно торчал маленький медный ключик, который мальчишка тут же повернул на один оборот и вынул скользкую, лакированную, неожиданно тяжелую кобуру. На ее деревянном боку блестела знакомая пластинка с надписью, которую он знал наизусть: «Красному комэску А. Сотникову от Реввоенсовета Кавармии». Первое же прикосновение к оправленной деревом резной рукоятке взбудоражило мальчика. Руки его уверенно управились с защелкой, и вот уже весь маузер туго, но податливо вышел из кобуры, сдержанно и таинственно засияв своими воронеными частями. Никогда прежде не испытанное тревожно-волнующее чувство охватило мальчишку, минуту он изучал маузер — подвинул прицел, попытался отвести затвор, заглянул в ствол. Но самым большим наслаждением, конечно, было прицелиться. Только не успел он как следует обхватить рукоятку и пальцем нащупать спуск, как совершенно неожиданно и непонятно из-под его рук куда-то под стол оглушительно грохнуло выстрелом.

Минуту он стоял помертвевший, слушая болезненно-острый звон в ухе. Отскочив от стены, по полу покатила гильза, под столом, появившись неизвестно откуда, валялась толстая, источенная жучком щепка с темным и косым следом пули.

Поняв наконец, что случилось, он сунул маузер в кобуру, запер все в комод и не мог себе найти места, пока не вернулась мать. Та сразу почувствовала недоброе, кинулась к сыну с расспросами, и он рассказал все как было. Разумеется, справиться с такой бедой не могла и мать, которая очень испугалась за него, даже заплакала, чего никогда прежде с ней не случалось, и сказала, что он должен во всем признаться отцу.

Решиться на это признание было непросто. Пока набирался решимости, минул час или больше, и наконец сам не свой он открыл дверь отцовской каморки.

Отец работал. Как всегда, низко склонившись над подоконником, сосредоточенно ковырялся в часовом механизме. Правая его рука в черной перчатке бессильно покоилась на коленях, а левая ловко колупала, винтила, разбирала и складывала разные маленькие блестящие штучки, из которых состояли часы. На стенах не в лад друг другу размахивали маятниками, звякали и тикали два десятка дешевых, размалеванных по циферблату ходиков, несколько будильников, угол занимал громоздкий, принесенный накануне из райкома деревянный футляр с тяжелыми гирями. Отец не обернулся на появление сына, но, как всегда безошибочно узнав его, совершенно некстати теперь спросил бодрым голосом:

— Ну как дела, молодой человек? Одолеет мариниста?

Мальчик проглотил вдруг подскочивший к горлу комок — накануне он принялся читать Станюковича. Из других книжек, лежавших в огромном деловском сундуке, уже мало что осталось им непрочитанного, разве что собрание сочинений Писемского и несколько разрозненных томов Станюковича, один из которых третьего дня и выбрал ему отец. Но теперь было не до книг, и он сказал:

— Папа, я брал твой маузер.

Отец как-то странно мотнул головой, отложил пинцет, привычным движением руки снял очки и строго посмотрел на сына.

— Кто разрешил?

— Никто. И это... Он выстрелил, — запавшим голосом выдавил из себя сын.

Ничего не говоря больше, отец встал и вышел из комнаты. Он же остался стоять у двери с таким чувством, будто его сейчас должны положить под нож гильотины. Но он знал, что виноват, и готов был принять самую беспощадную кару.

Вскоре отец вернулся.

— Ты, щенок! — сказал он с порога. — Какое ты имел право без разрешения притрагиваться к боевому оружию? Как ты посмел по-воровски лезть в комод?

Отец долго и нещадно отчитывал его — и за неосторожность, и за выстрел, который мог причинить несчастье, и больше всего за тайное его своеволие.

— Единственное, что смягчает твою вину, так это твое признание. Только это тебя спасает. Понял?

— Да.

— Если сам, конечно, надумал. Сам?

Чувствуя, что окончательно гибнет, мальчик кивнул, и отец успокоенно, протяжно вздохнул.

— Ну и за то спасибо.

Это было уже слишком — невольной ложью покупать отцовское спасибо,— в глазах у него потемнело, кровь прилила к лицу, и он стоял, не в силах сдвинуться с места.

— Иди играй,— сказал тогда отец.

Так, в общем, легко обошлось ему то послушание — наказание ремнем его миновало, но его малодушный кивок болезненной царапиной остался саднить в его душе. Это был урок на всю жизнь. И он ни разу больше не солгал ни отцу, ни кому другому, за все держал ответ, глядя людям в глаза. Видно, и мать не сказала отцу, по чьей инициативе произошло то объяснение. Так со счастливой уверенностью в добропорядочности сына и окончил свой путь на земле этот кавалерийский командир, инвалид гражданской войны и часовой мастер, твердо надеясь, что сыну достанется лучшая доля.

И вот досталась...

Глава семнадцатая

В утренней дремотной тишине наверху застучали шаги, глуховато донесли голоса, загрохали двери. Здесь, в подвале, особенно слышны были эти двери, временами от их громкого стука даже сыпалось с потолка. Рыбак не спал — подогнув ноги, молча лежал на боку под стеной и слушал. Теперь все его внимание сосредоточилось в слухе. Окошко вверх понемногу светлело, на дворе, наверно, уже рассвело, и в камере также становилось виднее. Из ночных сумерек медленно выступали тусклые, измятые, как бы изжеванные, фигуры арестантов — присмирившей Демчихи напротив; в углу неподвижного, с угрюмым видом Петра; Баси, правда, еще не было видно в темноте под окном. Сотников, как и прежде, лежал на спине рядом и шумно дышал. Если бы не это его дыхание, можно было бы подумать, что он неживой. Наступал трудный, наверно последний, их день, они все предчувствовали это и молчали, каждый в отдельности переживая свою беду.

Сапоги наверху затопали чаще, непрерывно грохала дверь. И вдруг в подвал ворвался разговор со двора. Рыбак поднял голову, слегка прислонился затылком к стене. Слов невозможно было разобрать, но было очевидно, что там собирались, видимо строились. Но почему никто еще не спустился в подвал? Будто забыли о них.

Кто-то прошел возле самой стены, послышался близкий скрип подошв на снегу. Невдалеке от окна что-то звякнуло, затем громко раздался грубый, с хрипотой голос:

— Да тут три всего.

— А шуфля еще была. Шуфлю посмотри.

— Что шуфля! Лопаты нужны.

Снова что-то металлически зазвякало, потом проскрипели шаги, и опять поблизости все стихло. Но этот короткий разговор всколыхнул Рыбака: зачем лопаты? Лопаты только затем, чтоб копать, а что теперь можно было копать по зиме? Окоп? Канаву? Могилу? Наверно, могилу, но для кого?

И тут он вспомнил: видно, действительно умер тот полицай.

Он повернул голову, вопросительно взглянул по сторонам. Демчиха из-под смятого платка также тревожно-непонимающе смотрела на него, в углу в напряженном ожидании застыл Петр. Никто не проронил ни слова, все вслушивались, сдерживая в душах страх и неуверенность.

Эта их неуверенность продолжалась, однако, недолго. Спустя минуту за той же стеной снова затопали, да так решительно и определенно

но, что ни у кого уже не возникло сомнения — шли к ним, в подвал. Когда загремела первая дверь, Рыбак скоренько сел, почувствовав, как вдруг и недобро заколотилось в груди сердце. Рядом завозился; принялся кашлять Сотников. «Откроют — рвануть, сбить с ног и — в дверь», — с запоздалой решимостью подумал Рыбак, но тут же понял: нет, так не выйдет — за дверью ступеньки, не успеть.

А дверь в самом деле уже отворялась, в камеру шибануло стужей, ветреной свежестью, и неяркий свет со двора сразу высветил пять серых встревоженных лиц. В дверном проеме появился расторопный Стась, за ним маячил еще кто-то с винтовкой в руках.

— Генуг спать! — во все горло заревел полицай. — Отоспались. Выходи: ликвидация!

«Значит, не ошиблись, действительно конец, — пронеслось в сознании Рыбака. — Если бы кого одного, а то всех, значит...» На минуту он как-то обмяк, вдруг лишившись всех своих сил, вяло подобрал ноги, поправил шапку на голове и только затем оперся о солому, собираясь встать.

— А ну выскакивай! Добровольно, но обязательно! — крикливо понукал Стась.

Петр в углу первым встал на ноги, заохав, начала подниматься Демчиха. С трудом вставая, залапал руками по стене Сотников. Рыбак невидящим взглядом скользнул по его бледному, еще больше осунувшемуся за ночь лицу, на котором темнели глубоко провалившиеся глаза и, не додумав чего-то, чего-то не прочувствовав, направился к выходу.

— Давай, давай! Двадцать минут осталось! — подгонял полицай, входя в их вонючее, устланное соломой лежбище. — Ну, ты, одноногий, живо!

— Прочь руки! Я сам! — прохрипел Сотников.

— А ты, жидовка, что ждешь? А ну выметайся! Не хотела признаваться — будешь на веревке болтаться, — сострил Стась и тут же выверился: — Гэть, юда паршивая!

По заснеженным бетонным ступеням они выбрались во двор. Рыбак вяло переступал ногами, не застегивая полушубка и не замечая бодрящей морозной свежести. После ночи, проведенной в смрадном подвале, в голове закружилось, будто от хмельного. Во дворе напротив стояло человек шесть полицейских с оружием наизготовку — они ждали. Утро выдалось пасмурное, был небольшой морозец, над крышами из труб стремительно рвались в пространство сизые клочья дымов.

Рыбак нерешительно стал перед крыльцом, рядом остановились Демчиха и с ней вместе Бася, которая, будто к матери, потянулась теперь к этой женщине. Зябко прижимая одну к другой босые закоревшие ступни, она со страхом оглядывала полицейских. Петр с мрачной отрешенностью во всем своем седовласом старческом облике стал чуть поодаль. Тем временем Стась, грязно ругаясь, втащил по ступенькам Сотникова, которого тут же устало бросил на снег. Не дав себе передышки, Сотников с усилием поднялся на ноги и выпрямился в своей измятой окровавленной шинели.

— Где следователь? Позовите следователя! — пытался он крикнуть глуховатым, срывающимся голосом и закашлялся. Рыбак спохватился, что и ему тоже необходим следователь, но в отличие от Сотникова он произнес спокойнее:

— Да, отведите нас к следователю. Он вчера говорил.

— Отведем, а как же! — с издевкой намекнул на что-то коренастый мордатый полицай. С веревкой наготове он решительно шагнул навстречу: — А ну, руки! Руки!

Делать было нечего, Рыбак протянул руки, тот ловко по одной заломил их назад и с помощью другого начал вязать за спиной. Все это было бесцеремонно, грубо и больно, Рыбак поморщился — не так от боли в запястье, как от охватившего его отчаяния: ведь это был в самом деле конец.

— Доложите следователю. Нам надо к следователю,— проговорил он не очень, однако, решительно, явственно ощущая, как земля, заколебавшись, быстро уходит из-под его ног. Но полицай сзади только зло выругался.

— Поздно. Отследовались уже.

— Как это отследовались! — закричал Рыбак и оглянулся через плечо: небритая, в белой щетине морда, узкие, бегающие, совсем свиноватые глазки, в которых было абсолютное безразличие к нему,— такого, наверно, не испугаешь. Тогда он ухватился за единственную оставшуюся возможность и стал просить:

— Ну позовите Портнова. Что вам стоит? Люди вы или нет?

Но до Портнова, наверно, было дальше, чем до его, Рыбака, смерти. Никто ему даже не ответил.

Между тем руки его были умело и туго связаны тонкой веревкой, которая больно врезалась в кожу, и его оттолкнули в сторону. Взялись за Демчиху.

— Ты, давай сюда следователя! — кашляя, настырно требовал Сотников от Стася, который с винтовкой за спиной хлопотал возле Демчихи. Но тот даже не взглянул в его сторону, он, как и все они тут, будто оглох к их просьбам, будто это уже были не люди. И это еще больше убедило Рыбака в том, что дело их кончено. Будет смерть. Но как же так? И почему же он не решился, когда у него были свободными руки?

Что-то в нем отчаянно затрепыхалось внутри от сознания совершенной оплошности, и он растерянным взглядом заметался вокруг. Но спасения нигде не было. Напротив, судя по всему, быстро приближался конец. На крыльцо из помещения один за другим начало выходить начальство — какие-то чины в еще новенькой, видно только что напяленной, полицейской форме — черных коротковатых шинелях с серыми воротниками и такими же обшлагами на рукавах, при пистолетах; двое, наверно немцы, были в длинных жандармских шинелях и фуражках с высоко поднятым верхом. Несколько человек, одетых в штатское, с шарфами на шеях, держались заметно отчужденно — будто гости, приглашенные на чужой праздник. Полицаи на дворе уважительно притихли, подобрались. Кто-то торопливо посчитал сзади:

— Раз, два, три, четыре, пять...

— Ну, все готово? — спросил с крыльца плечистый полицай с маленькой кобурой на животе. Именно эта кобура, а также фигура сильного, видного среди других человека подсказали Рыбаку, что это начальник. Только он подумал об этом, как сзади сипло выкрикнул Сотников:

— Начальник, я хочу сделать одно сообщение.

Остановясь на ступеньках, начальник впери в арестанта тяжелый взгляд.

— Что такое?

— Я партизан. Это я ранил вашего полицая,— не очень громко сказал Сотников и кивнул в сторону Рыбака.— Тот здесь оказался случайно — если понадобится, могу объяснить. Остальные вовсе ни при чем. Берите меня одного.

Начальство на крыльце примолкло, двое, шедшие впереди, недоумевающе переглянулись между собой, и Рыбак ощутил, как в душе его

вспыхнула маленькая спасительная искорка, зажегшая слабенькую еще надежду: а вдруг поверят? Это его обнадежившее чувство тут же породило тихую благодарность Сотникову.

Однако минутное внимание на лице начальника сменилось нетерпеливой строгостью.

— Это все? — холодно спросил он и шагнул со ступеньки на снег.

Сотников заикнулся от неожиданности.

— Могу объяснить подробнее.

Кто-то недовольно буркнул, кто-то заговорил по-немецки, и начальник махнул рукой.

— Ведите!

«Вот так, не хочет даже и слушать», — опять впадая в отчаяние, подумал Рыбак. Наверное, все уже решено загодя. Но как же тогда он? Неужто так ничем и не поможет ему это героическое заступничество Сотникова?

Осторожно ступая по пригибающимся деревянным ступенькам, поллица сходили с крыльца. И вдруг в одном из них, что на этот раз также был в полицейской форме, Рыбак узнал Портнова. Ну, разумеется, это был тот самый вчерашний следователь, который так обнадежил его своим предложением и теперь как бы отступился. Увидев его, Рыбак встрепенулся, весь подался вперед. Была не была — теперь ему уже ничто не казалось ни страшным, ни даже неловким.

— Господин следователь! Господин следователь, одну минутку! Вы это вчера говорили, так я согласен. Я тут, ей-богу, ни при чем. Вот он подтвердил...

Начальство, которое уже направлялось со двора к улице, опять недовольно, по одному стало останавливаться. Остановился и Портнов. Новая полицейская шинель на нем казалась явно не по размеру и небмято топорщилась на его маленькой, тощей фигуре, черная пилотка по-петушиному торчала в сторону. Но в облике следователя заметно прибыло начальственной важности, какой-то показной строгости. Высокий, туго перетянутый ремнем немец в шинели вопросительно взглянул на него, и следователь что-то бойко объяснил по-немецки.

— Подойдите сюда!

При пристальном внимании с обеих сторон Рыбак подошел к крыльцу. Каждый его шаг мучительным ударом отзывался в его душе. Ниточка его еще не окрепшей надежды туго натянулась.

— Вы согласны вступить в полицию? — спросил следователь.

— Согласен, — со всей искренностью, на которую был способен, ответил Рыбак. Он не сводил своего почти преданного взгляда с несвежего, немолодого, хотя и тщательно выбритого лица Портнова. Следователь и немец обменялись еще несколькими фразами по-немецки.

— Так. Развязать!

— Сволочь! — как удар, стукнул его по затылку негромкий злой окрик. Это, конечно, Сотников, который тут же и выдал себя знакомым болезненным кашлем.

Но пусть! Что-то грозное, неотвратимо подступавшее к нему вдруг стало быстро отдаляться, Рыбак глубже вздохнул и почувствовал, как сзади дернули его за руки. Но он не оглянулся даже. Он мощно почувствовал только одно: будет жить! Развязанные руки его вольно опали вдоль тела, и он еще неосознанно сделал шаг в сторону, всем существом стараясь скорее отделиться от прочих, — теперь ему хотелось быть как можно от них дальше. Он отошел еще на три шага, и никто не остановил его. Кто-то из начальства повернулся, направляясь к воротам, как сзади раздался крик Демчихи:

— Ага, пускаете! Тогда пустите и меня! Пустите! Я скажу, у кого она пряталась! Вот эта! Я скажу! У меня малые, а, божечка, как же они!..

Ее исполненный дикого отчаяния крик снова заставил всех остановиться, и ближе других к ней оказался Портнов. Высокий немец недовольно прокартавил что-то, и следователь подошел к женщине:

— А ну, а ну, скажи у кого?

— А развяжите!

— Тарасюк! — позвал Портнов.

Полицай, вязавший Рыбака, подскочил к Демчихе и быстро освободил ее руки от веревки. Та в нерешительности принялась тереть их о полу тулупчика. Но полицейай и немцы ждали.

— Так у кого скрывалась? — напомнил Портнов.

— У этого, как его...

— Дурное болтаешь, — тихо, но твердо перебил ее Петр. — Вспомни о боге.

— Так это... У Федора Бурака, кажись.

— Какого Бурака? — нахмурился Портнов. — Бурака тут давно уже нет. А ну подумай лучше.

Демчиха, потупясь, молчала.

— Ну?

— Так я же сказала.

— Врешь! Тарасюк!

Тарасюк, наготове стоявший за спиной женщины, все понял и цепко схватил ее за руки.

— Я же сказала! Я сказала вам! — истошно закричала Демчиха. — Ах, чтоб вас громом убило! Что вы делаете? У меня же малые! У меня трое деток..

— Цыц, сука! — гаркнул полицейай, безжалостно подламывая ее руки. Демчиха кричала и дергалась, но скоро все было окончено, и он толкнул ее от себя. — Готово!

— Ведите! — сказал Портнов и повернулся в сторону Рыбака. — Вы подсобите тому, — вдруг указал он на Сотникова.

Рыбаку это мало понравилось, от Сотникова теперь он хотел бы держаться подальше. Но приказ есть приказ, и он с готовностью подскочил к недавнему своему товарищу, взял его под руку.

Сквозь настежь раскрытые ворота их повели на улицу. Полицайи с винтовками наготове шли по обе стороны. Начальство, растянувшись, приотстало, пропуская их впереди себя. Первым шел Петр — высокий и старый, с белою, без шапки головой и заломленными назад руками. За ним, давясь плачем в своем безысходном отчаянии, тащилась Демчиха. Рядом в какой-то темной, с чужого плеча одежде с длинными рукавами быстренько семенила босыми ногами Бася.

Рыбак поддерживал под руку Сотникова, который как-то на глазах сник, еще больше осунулся и, кашляя, медленно тащился за всеми, сильно припадая на раненую ногу. Почерневшая его стопа, будто неживая, костяно ковыряла пальцами снег, оставляя на нем неестественные зимой отпечатки. Он молчал, и Рыбак не отваживался заговорить с ним. Идя вместе, они уже оказались по разные стороны черты, разделявшей людей на друзей и врагов. Рыбак хотя и чувствовал, будто виноват в чем-то, но старался себя убедить, что большой вины за ним нет. Виноват тот, кто делает что-то по своей злой воле или ради выгоды, а у него какая же выгода? Просто он имел больше возможностей и схитрил, чтобы выжить. Но он не изменник. Во всяком случае становиться немецким прислужником не собирался. Он все ждал, чтобы улучшить удобный момент — может, сейчас, а может, чуть позже, и только они его увидят...

Глава восемнадцатая

Сотников все больше начинал понимать, что ровным счетом ничего не добился. Его намерение, так естественно пришедшее к нему ночью и почти принесшее ему успокоение, лопнуло, как мыльный пузырь. Видно, он все же переоценил свои силы в этом поединке и недооценил коварство своих врагов. Разумеется, полиция была марионеткой в руках у немцев и потому так безразлично отнеслась к его сообщению — наплевать ей на то, кто из них виноват, если прибыл соответствующий приказ или появилась потребность в убийстве.

Жестко страдая от боли в ноге, Сотников едва тащился за всеми, стараясь не слишком опираться на чужую теперь и противную ему Рыбакову руку. То, что произошло во дворе полиции, сокрушило его — такого он не предвидел. Безусловно, от страха или из ненависти люди способны на любое предательство, но Рыбак, кажется, не был предателем, как не был и трусом. Сколько ему предоставлялось возможностей перебежать в полицию, да и струсить было предостаточно случаев, однако всегда он держался достойно, по крайней мере не хуже других. Здесь же, наверно, чего-то не хватило ему — выдержки или принципиальности. А может, все дело в корыстном расчете ради спасения своей шкуры, от которого всегда отдает предательством. Но в конце концов есть же на свете нечто неизмеримо важнее собственной шкуры.

Теперь Сотникову было мучительно обидно за свое наивное фантазерство — сам потеряв надежду избавиться от смерти, надумал спасти других. Но те, кто только и жаждет любой ценой выжить, заслуживают ли они хотя бы одной отданной за них жизни? Сколько уже их, человеческих жизней, со времен Иисуса Христа было положено на жертвенный алтарь человечества и многому ли они научили это человечество? Как и тысячи лет назад, человека сдает в первую очередь забота о самом себе, и самый благородный порыв к справедливости порой кажется со стороны по меньшей мере чудачеством, если не совершенно дремучей глупостью.

Постепенно Сотников начал приходить в себя, его начала донимать стужа. От слабости на лбу выступил пот, который медленно высыхал на морозном ветру, и голова оттого стыла до ломоты в мозгу. И вообще студеный ветер, кажется, начисто выдувал из него остатки накопленного за ночь тепла, телью опять начал сотрясать озноб. Но Сотников старался дотерпеть до конца.

На пустой местечковой улице они перешли мосток, дальше с одной стороны начинался узенький огороженный скверик с несколькими рядами тонких, стывших на морозе деревьев. Впереди на пригорке высился белый двухэтажный дом; широкое полотнище фашистского флага развевалось на его углу. Наверное, там размещалась управа или комендатура, возле которой тмнело какое-то сборище. Сотников удивился: какая нужда собрала этих людей в одно место? Потом он подумал, что, возможно, сегодня базар? А может, что-либо случилось? Или скорее всего согнали население, чтобы устроить его расстрелом. Если так, пусть расстреливают, им еще легче будет принять смерть на виду. Что же касается страха, то его на войне и так хватает с избытком, и тем не менее борьба разгорается. На смену казненным придут другие. Смелые всегда найдутся.

Они медленно приближались к этому дому. Нога Сотникова, будто негнущийся протез, выковыривала какие-то странные ямки в рыхлом, растертом полозьями и лошадиными копытами снегу, нога вся горела непрерывной глубинной болью и с усилием подчинялась ему. Видно, он все же преувеличивал свои силы, когда в начале пути вознамерился идти сам — теперь он почти виснул на твердой руке Рыбака. От мосгика на-

чался пологий подъем, и ему стало еще труднее, не хватало дыхания, в глазах темнело, дорога то и дело ускользала из-под его ног. Он испугался, что не дойдет, свалится, и тогда мимоходом пристрелят, как паршивого пса, в канаве. Нет, этого он не мог позволить себе — даже в его положении это казалось слишком. Свою смерть, какой бы она ни была, он должен встретить с солдатским достоинством — это стало главной целью его последних минут.

Они взошли на пригорок и остановились. С трудом вздохнув, Сотников вперил взгляд в спину передних, ожидая, что они опять двинут дальше. Но конвойные полицаи также остановились, впереди послышался разговор по-немецки — несколько человек из начальства ждали под стеной этого добротного дома. Напротив, через улицу у штакетника, огороженного сквер, и возле двух облезлых будок-ларьков застыли пять-шесть десятков людей, также явно чего-то ожидавших. Стало похоже, что их небольшая процессия прибыла к месту назначения — дальше дороги уже не было.

И тогда Сотников увидел веревки.

Пять гибких пеньковых петель тихо покачивались над улицей, будто демонстрируя перед всеми отменную надежность своих толстых, со знанием дела затянутых узлов. Висели они на перекладине старой, еще довоенной уличной арки. «Пригодилась», — мелькнуло в голове у Сотникова, сразу узнавшего это традиционное для райцентра сооружение — точно такая же арка была когда-то и в его городке. Перед праздниками ее убирали березой и хвоей, прилаживали наверху лозунг, написанный чернилами на куске обоев. Рядом перед исполкомом собирали праздничные митинги, и под невысоким пролетом арки проходили колонны учеников из двух школ, рабочих льнозавода, мастерских и тарного комбината. На крестовине вверху обычно горела звезда из фанеры или развевался на ветру флажок, придававшие особо торжественную завершенность всему сооружению. Теперь же там ничего не было, только на столбах из-под почерневших реек-лучин выглядывали бумажные обрывки да трепыхался на ветру какой-то вылинявший лоскут размером с уголок пионерского галстука. Оккупанты принесли на арку свое украшение в виде этих новеньких, наверно специально ради такого случая выписанных со склада, веревок.

А он думал, будет расстрел...

Двое — полицаи и еще кто-то в серой суконной поддевке — несли через улицу старую колченогую скамью, и Сотников понял, что это для них. Чтобы достать до петли, прежде чем заболтаться, свернув на плечо голову — беспомощно, отвратительно и безголосо. Ему вдруг стало противно от одного лишь представления о себе повешенном, да и от всей этой унижительной бесчеловечной расправы. За время войны он и не подумал даже о возможности другой гибели, чем от осколка или пули, и теперь все в нем взвилось в инстинктивном протесте против этого адского удушения петель.

Но он ничем уже не мог помочь ни себе, ни другим. Он только мысленно уговаривал себя: ничего, ничего!.. В конце концов это их право, их звериный обычай, их власть. Теперь последняя его обязанность — терпеть, без тени страха или сожаления. Пусть вешают.

Скамейку там, наверное, уже установили. Проворный, вездесущий Стась, а также здоровенный, ниже хлястика подпоясанный по шинели Будила и другие полицаи повели их под арку. Наступая на заостренную, болезненную ступню, Сотников прикинул: оставалось шагов пятнадцать — двадцать, и он отнял у Рыбака руку — хотел идти сам. Они прошли между полицаев, возле группы немецкого и штатского началь-

ства, которое терпеливо топталось под стеной здания. Начинался спектакль, местная полицейская самодеятельность на немецкий манер. Полицаи поторапливались, суетились, что-то у них не получалось как следует. Некоторые из начальства хмурились, а другие незло и беззаботно переговаривались, будто сошлись по будничной, не очень интересной надобности и скоро возвратятся к своим привычным делам. С их стороны доносился запах сигарет и одеколona, слышались обрывки случайных, ничего не значащих фраз. Сотников, однако, не смотрел туда — притащившись к арке, чтобы не упасть, прислонился плечом к столбу и в изнеможении прикрыл глаза.

Нет, наверно, смерть ничего не решает и ничего не оправдывает. Только жизнь дает людям определенные возможности, которые ими осуществляются или пропадают напрасно, только жизнь может противостоять злу и насилию. Смерть же лишена всего. И если тому лейтенанту в сосняке своей гибелью еще удалось чего-то добиться, то вряд ли он на это рассчитывал. Просто такая смерть была необходима ему самому, потому что он не хотел погибать овцой. Но что делать, если, при всей твоей самоотверженности, ты лишен малейшей возможности? Что можно сделать за пять минут до конца, когда ты уже едва жив и не в состоянии даже громко выругаться, чтобы досадить этим бобикам?

Да, награды не будет, как не будет признательности, ибо нельзя надеяться на то, что не заслужено. И все же согласиться с Рыбаком он не мог, это противоречило всей его человеческой сущности, его вере и его морали. И хотя и без того неширокий круг его возможностей становился все уже и даже смерть ничем уже не могла расширить его, все же одна возможность у него еще оставалась. От нее уж он не отступится. Она, единственная, в самом деле зависела только от него и никого больше, только он полновластно распоряжался ею, ибо только в его власти было уйти из этого мира по совести, со свойственным человеку достоинством. Это была его последняя милость, святая роскошь, которую как награду даровала ему жизнь.

По одному их начали разводить вдоль виселицы. Под крайнюю от начальства петлю поставили притихшего в своей покорной сосредоточенности Петра. Сотников взглянул на него и виновато поморщился. Еще вчера он досадовал, что они не застрелили этого старосту, а теперь вот вместе придется повиснуть на одной перекладине.

Петра первым заставили влезть на скамью, которая угрожающе покосилась под его коленями и едва не опрокинулась. Будила, наверно и здесь заправляющий обязанностями главного палача, выругался, сам вскочил наверх и втащил туда старика. Староста с осторожностью выпрямился на скамье, не поднимая головы, сдержанно и значительно, как в церкви, поклонился людям. Потом к скамье подтолкнули Басю. Та проворно взобралась на свое место и, зябко переступая замерзшими потрескавшимися ногами, с детской непосредственностью принялась разглядывать толпу у штакетника — будто высматривала там знакомых.

Скамьи на всех, однако же, не хватило. Под следующей петлей стоял желтый фанерный ящик, а на остальных двух местах торчали в снегу полуметровые, свежеспиленные от бревна чурбаны. Сотников подумал, что его определяют на ящик, но к ящику подвели Демчиху, а его Рыбак с полицаем потащили на край к чурбанам.

Он еще не дошел до своего места, как сзади опять раздался крик Демчихи. От неожиданности Сотников оглянулся — женщина, упираясь ногами, всячески отбивалась от полицаев, не желая лезть под петлю.

— Ай, паночки, простите! Простите дурной бабе, я ж не хотела, не думала!

Ее плач заглушили злые крики начальства, что-то скомандовал Бу-

дила, и полицай, ведший Сотникова, оставил его на Рыбака, а сам бросился к Демчихе. Несколькое полицаев потащили ее на ящик.

Рыбак, оставшись с Сотниковым, не очень уверенно подвел его к последнему под аркой чурбану и остановился. Как раз над ними свешивалась новенькая, как и остальные, пеньковая удавка с узковато затянутой петлей, тихонько раскручивающейся вверху. «Одна на двоих», — почему-то подумалось Сотникову, хотя было очевидно, что эта петля — для него. Надо было влезать на чурбан. Он недолго помедлил в нерешительности, пока в сознании не блеснуло отчаянное, как ругательство: «Эх, была не была!» Бросив уныло застывшему Рыбаку: «Держи!», он здоровым коленом стал на торец, свежезаслеженный грязным отпечатком чьей-то подошвы. Рыбак тем временем обеими руками обхватил подставку. Для равновесия Сотников слегка оперся локтем о его спину, напрягся и, сжав зубы, кое-как взобрался наверх.

Минуту он тихо стоял, узко составив ступни на круглом нешироком срезе. Затылок его уже ощутил шершавое, ледящее душу прикосновение петли. Внизу застыла широкая в полушубке спина Рыбака, заскорузлые его руки плотно облапили сосновую кору чурбана. «Выкрутился, сволочь!» — недобро, вроде бы с завистью подумал про него Сотников и тут же усомнился: надо ли так? Теперь, в последние мгновения жизни, он неожиданно утратил прежнюю свою уверенность в праве требовать от других наравне с собой. Рыбак был неплохим партизаном, наверно считался опытным старшиной в армии, но как человек и гражданин безусловно недобрал чего-то. Впрочем, откуда было и добрать этому Рыбаку, который после своих пяти классов вряд ли прочитал хотя бы десяток хороших книг. Разве в своем духовном развитии он достигал того уровня нравственности, который бы давал право расценивать его поступки по высшему кодексу человечности?

Рядом все плакала, рвалась из рук полицаев Демчиха, что-то принялся читать по бумажке немец в желтых перчатках — приговор или, может, приказ для согнанных жителей перед этой казнью. Шли последние минуты жизни, и Сотников, приткнувшись на чурбане, жадным прощальным взглядом вбирал в себя весь неказистый, но такой привычный с самого детства вид местечковой улицы с пригорюнившимися фигурами людей, молодыми деревцами, поломанным штaketником, бугром намерзшего у железной колонки льда. Сквозь тонкие ветви сквера виднелись обшарпанные стены недалеко церквушки, ее проржавевшая железная крыша без крестов на двух облезлых зеленых куполах. Несколько узких окошек там были наспех заколочены неокоренным суковатым горбылем...

Но вот рядом затопал кто-то из полицаев, потянулся к его веревке; бесцеремонные руки в сизых обшлагах поймали над ним петлю и, обдирая его болезненные, помороженные уши, надвинули ее на голову до подбородка. Ну вот и все, отметил Сотников и опустил взгляд вниз, на людей. Природа сама по себе, она всегда без усилia добром и миром ложилась ему на душу, но теперь захотелось видеть людей. Печальным взглядом он тихонько повел по их неровному настороженному ряду, в котором преобладали женщины и только изредка попадались немолодые мужчины, подростки, девчата — обычный местечковый люд в тулупчиках, ватниках, армейских обносках, платках, самотканых свитках. Среди их безликого множества его внимание остановилось на тонковатой фигурке мальчика лет двенадцати в низко надвинутой на лоб старой армейской буденовке. Тесно запахнувшись в какую-то одежду, мальчонка глубоко в рукава вбирал свои озябшие руки и, видно было отсюда, дрожал от стужи или, может, от страха, с детской замороженностью на бледном болезненном личике следя за происходящим под виселицей. Отсюда трудно было судить, как он относится к ним, но Сот-

никову вдруг захотелось, чтобы он плохо о них не думал. И действительно, вскоре перехватив его взгляд, Сотников уловил в нем столько безутешного горя и столько к ним сочувствия, что не удержался и одним глазом улыбнулся мальцу — ничего, браток.

Больше он не стал всматриваться и опустил взгляд, чтобы избежать ненавистного ему вида начальства, немцев, следователя Портнова, Стася, Будилы. Их дьявольское присутствие он ощущал и так. Объявление приговора, кажется, уже закончилось, раздалась команда по-немецки и по-русски, и вдруг он почувствовал, как, будто ожив, напряженно дернулась на его шее веревка. Кто-то в том конце виселицы всхрапнул раз и другой, и тотчас, совершенно обезумев, завопила Демчиха:

— А-а-а-ай! Не хочу! Не хочу!

Но ее крик тут же и оборвался, морозно хрястнула вверху поперечина арки, сдавленно зарыдала женщина в толпе. На душе стало нестерпимо тоскливо. Какая-то еще не до конца израсходованная сила внутри подмывала его рвануться, завопить, как эта Демчиха — дико и страшно. Но он заставил себя сдержаться, лишь сердце его болезненно жалось в предсмертной судороге: перед концом так захотелось отпустить все тормоза и заплакать. Вместо того он вдруг улыбнулся в последний раз своей, наверное, жалкой, вымученной улыбкой.

Со стороны начальства раздалась команда, видно это уже относилось к нему, чурбан под ногами на миг ослабел, пошатнулся. Едва не свалившись с него, Сотников глянул вниз — с искривленного, обросшего щетиной лица смотрели вверх растерянные глаза его партизанского друга, и Сотников едва расслышал:

— Прости, брат!

— Пошел к черту! — коротко бросил Сотников.

Надо было кончать. Напоследок он отыскал взглядом застывший стебелек мальчишки в буденовке. Тот стоял, как и прежде, на полшага впереди других, с широко раскрытыми на бледном лице глазами. Полный боли и страха его взгляд следовал за кем-то под виселицей и вел так, все ближе и ближе к нему. Сотников не знал, кто там шел, но по лицу мальчишки понял все до конца.

Подставка его опять пошатнулась в неожиданно ослабевших руках Рыбака, который неловко скорчился внизу, боясь и, наверное, не решаясь на последнее и самое страшное теперь для него дело. Где-то сзади матерно выругался Будила, и Сотников, чтобы упредить неизбежное, здоровой ногой изо всей силы толкнул от себя чурбан.

Глава девятнадцатая

Рыбак выпустил подставку и отшатнулся — ноги Сотникова закачались рядом, сбитая ими шапка упала на снег. Рыбак отпрянул, но тут же нагнулся и выхватил ее из-под повешенного, который уже успокоенно раскручивался на веревке, описывая круг в одну, а затем и в другую сторону. Рыбак не решился глянуть ему в лицо: он видел перед собой только зависшие в воздухе ноги — одну в растоптанном бурке и рядом вывернутую наружу пятой, грязную, посиневшую ступню с подсохшей полоской крови на щиколотке.

Оторопь от происшедшего, однако, недолго держала его в своей власти — усилием воли Рыбак превозмог растерянность и оглянулся. Рядом между Сотниковым и Демчихой болталась налегке пятая веревка — не дождется ли она его шеи?

Однако ничто, кажется, не подтверждало его опасения. Будила вы-

таскивал из-под Демчихи желтый фанерный ящик, убирали из-под арки скамью. Ему издали что-то крикнул Стась, но, все еще находясь под впечатлением казни, Рыбак не понял или не расслышал его и стоял, не зная, куда податься. Группа немцев и штатского начальства возле дома стала редеть — там расходились, разговаривая, закуривая сигареты, все в бодром, приподнятом настроении, как после удачно оконченного, в общем не скучного и даже интересного занятия. И тогда он несмело еще поверил: видать, пронесло!

Да, вроде бы пронесло, его не повесят, он будет жить. Ликвидация закончилась, снимали полицейское оцепление, людям скомандовали разойтись, и женщины, подростки, старухи, ошеломленные и молчаливые, потащились по обеим сторонам улицы. Некоторые ненадолго останавливались, оглядывались на четырех повешенных, женщины утирали глаза и торопились уйти подальше. Полицаи наводили последний порядок у виселицы. Стась со своей неизменной винтовкой на плече отбросил ногой чурбак из-под лишней пятой петли и опять что-то прокричал Рыбаку. Тот не так понял, как догадался, что от него требовалось, и, достав из-под Сотникова подставку, бросил ее под штакетник. Когда он повернулся, Стась стоял напротив со своей обычной белозубой улыбкой на лице-маске. Глаза его при этом оставались настроенно-холодными.

— Гы-гы! Однако молодец! Способный, падла! — с издевкой похвалил полицаи и с такой силой ударил его по плечу, что Рыбак едва устоял на ногах, подумав про себя: «Чтоб ты окошел, сволочь!» Но, взглянув в его сытое, вытянутое деревянной усмешкой лицо, сам тоже усмехнулся — криво, одними губами.

— А ты думал!

— Правильно! А что там! Подумаешь: бандита жалеть!

«Постой, что это? — не понял Рыбак. — О ком он? О Сотникове, что ли?» Не сразу, но все отчетливее он стал понимать, что тот имеет в виду, и опять неприятный холодок какой-то виновности коснулся его сознания. Но он еще не хотел верить в свою причастность к этой расправе — при чем тут он? Разве это он? Сотников сам влез, сам соскочил с обрубка. Он только придерживал этот обрубок. И то по приказу полиции.

Четверо повешенных грузно раскачивались на длинных веревках — свернув набок головы, с неестественно глубоко перехваченными в петлях шеями. Кто-то из полицаев навесил каждому на грудь по фанерке с надписями на русском и немецком языках. Рыбак не стал читать тех надписей, он вообще старался не глядеть туда — пятая пустая петля пугала его. Он думал, что, может, ее отвяжут да уберут с этой виселицы, но никто из полицаев даже не подошел к ней.

Кажется, все было окончено, возле повешенных стоял часовой — молодой длиншошей полицаичик в серой суконной поддевке, с винтовкой на плече. Остальных начали строить. Чтобы не мешать, Рыбак взошел с мостовой на узенький под снегом тротуарчик и стал так, весь в ожидании того, что последует дальше. В мыслях его была путаница, так же как и в чувствах, радость спасения чем-то омрачалась, но он еще не мог толком понять чем. Опять заявило о себе примолкшее было, но упрямое желание дать деру, прорваться в лес. Но для этого надо было выбрать момент. Теперь его уже ничто тут не удерживало.

Полицаи привычно строились в колонну по три, их набралось тут человек пятнадцать — разного сброда в новеньких форменных шинелях и пилотках, а также в полубубках, фуфайках, красноармейских обносках. Один даже был в кожанке с до пояса обрезанной полой. Людей на улице почти уже не осталось — лишь в скверике поодаль стояло несколько подростков и с ними тоненький, болезненного вида мальчишка

в буденовке. Полуоткрыв рот, он все шмыгал носом и вглядывался в виселицу, похоже, что-то на ней его озадачивало. Минуту спустя он пальцем из длинного рукава указал через улицу, и Рыбак, от неловкости передернув плечом, шагнул в сторону, чтобы скрыться за полицаями. Вся группа уже застыла в строю, с радостной исполнительностью подчиняясь зычной команде старшего, который, скомандовав, и сам обмер в сладостном командирском обладании властью, на немецкий манер выставив в стороны локти.

— Смирно!

Полиции в колонне встрепенулись и снова замерли. Старший повел по рядам свирепым строевым взглядом, пока не наткнулся им на одинокую фигуру на тротуаре.

— А ты что? Стать в строй!

Рыбак на минуту смешался. Эта команда обнадеживала и озадачивала одновременно. Однако размышлять было некогда, он быстренько соскочил с тротуара и стал в хвост колонны, рядом с каким-то высоким, в черной ушанке полицаем, неприятно покосившимся на него.

— Шагом марш!

И это было обыкновенно и привычно. Рыбак бездумно шагнул в такт с другими, и, если бы не пустые руки, которые неизвестно куда было девать, можно было бы подумать, что он снова в отряде, среди своих. И если бы перед глазами не мелькали светлые обшлага и замусоленные бело-голубые повязки на руках.

Они пошли вниз по той самой улице, по которой пришли сюда, однако это уже был совершенно иной путь. Сейчас не было уныния и подавленности — рядом струилась живость, самодовольство, что, впрочем, и не удивляло: он был среди победителей. На полгода, день или час, но чувствовали они себя очень бодро, подогретые сознанием совершенного возмездия или, может, до конца исполненного долга; некоторые вполголоса переговаривались, слышались смешки, остроты, и никто ни разу не оглянулся назад, на арку. Зато на них теперь оглядывались все. Те, что брели с этой акции вдоль обшарпанных стен и заборов, с упреком, страхом, а то и нескрываемой ненавистью в покрасневших от слез женских глазах проводили местечковую шайку предателей. Полицаем, однако, все это нимало не трогало, наверное, сказывалась привычка, на бесправных запуганных людей они просто не обращали внимания. Рыбак же со все возрастающей тревогой думал, что надо смываться. Может, вон там, на повороте, прыгнуть за изгородь и прорваться из местечка. Хорошо, если близко окажется какой-либо овраг или хотя бы кустарник, а еще лучше лес. Или если бы во дворе попала под руки лошадь.

Поскрипывал снег на дороге, полиция справно шагали по-армейски в ногу, рядом по узкому тротуару шел старший — крутоплечий, мордатый мужчина в туго подпоясанной полицейской шинели. На боку его болтался низко вато подвешенный милицейский наган в потертой кожаной кобуре с медной протиркой в прорезях. За мостом передние в колонне, придерживав шаг, приняли в сторону — кто-то там ехал навстречу, и старший угрожающе прикрикнул на него. Затем и остальные потеснились в рядах, разминаясь, — какой-то дядька в пустых розвальнях нерасторопно сдавал под самые окна вросшей в землю избушки. И Рыбак вдруг со всею реальностью представил: броситься в сани, выхватить вожжи и врезаться по лошади — может бы, и вырвался. Но дядька! Придерживая молодого нетерпеливого коника, тот бросил взгляд на их строевого начальника и на всю их колонну, и в этом взгляде его отразилась такая к ним ненависть, что Рыбак понял: нет, с этим не выйдет! Но с кем тогда выйдет? И тут его, словно обухом по голове, оглушила

неожиданная в такую минуту мысль: удирать некуда. После этой ликвидации — некуда. Из этого строя дороги к побегу уже не было.

От ошеломляющей ясности этого открытия он сбился с ноги, испуганно подскокил, пропуская шаг, но снова попал не в ногу.

— Ты что? — пренебрежительным басом бросил сосед.

— Ничего!

— Мабуть, без привычки? Научишься!

Рыбак промолчал, отчетливо понимая, что с побегом покончено, что этой ликвидацией его скрутили надежнее, чем ременной супонью. И хотя оставили в живых, но в некотором отношении также ликвидировали.

Да, возврата к прежнему теперь уже не было — он погибал всерьез, насовсем и самым неожиданным образом. Теперь он всем и повсюду враг. И, видно, самому себе тоже.

Растерянный и озадаченный, он не мог толком понять, как это произошло и кто в том повинен. Немцы? Война? Полиция? Очень не хотелось оказаться виноватым самому, подмывало переложить вину на других — на время или обстоятельство. Да и в самом деле, в чем он был виноват сам? Разве он избрал себе такую судьбу? Или он не боролся до самого конца? Даже больше и упорнее, чем тот честлюбивый Сотников. Впрочем, в его несчастье больше других был виноват именно Сотников. Если бы тот не заболел, не подлез под пулю, не вынудил столько возиться с собой, Рыбак, наверное, давно был бы в лесу. А теперь вот тому уже все безразлично в петле на арке, а каково ему-то, живому!..

В полном смятении, с туманной пеленой в сознании Рыбак пришагал с колонной к знакомым воротам полиции. На просторном дворе их остановили, по команде всех враз повернули к крыльцу. Там уже стояли начальник, следователь Портнов и те двое в немецкой жандармской форме. Старший полицейский громогласно доложил о прибытии, и начальник придиричивым взглядом окинул колонну.

— Вольно! Двадцать минут перекур, — сказал он, нащупывая глазами Рыбака. — Ты, зайдешь ко мне.

— Есть! — сжимаясь от чего-то неизбежного, что вплотную подступило к нему, промолвил Рыбак.

Сосед толкнул его локтем в бок:

— Яволь, а не есть! Привыкать надо.

«Пошел ты к черту!» — выругался про себя Рыбак. И вообще пусть все летит к дьяволу! В гартарары! Навеки!

Команду распустили. Рыбак метал вокруг смятенные взгляды и не знал, на что можно решиться. Полицейские во дворе загалдели, затолклись, беззлобно поругиваясь, принялись закуривать, в воздухе потянуло сладким дымком сигарет. Некоторые направились в помещение, а один пошел в угол двора к узкой дощатой будке с двумя дверками на деревянных закрутках. Рыбак боком также подался туда.

— Эй, ты куда?

Сзади с чуткой встревоженностью в глазах стоял Стась.

— Сейчас. На минутку.

Кажется, он произнес это довольно спокойно, затаив в себе теперь единственно возможный выход, и Стась беспечно отвернулся. Да — к чертям! Всех и все! Рыбак рванул скрипучую дверь, заперся на проволочный крючок, взглянул вверх. Потолок был невысоко, но для его нужды высоты, видимо, хватит. Между неплотно настланных досокверху чернели полосы толя, за поперечину легко можно было просунуть ремень. Со злобной решимостью он растегнул полшубок и вдруг застыл, пораженный — на брюках ремня не оказалось. И как он забыл, что вчера перед тем, как их посадить в подвал, этот ремень сняли у не-

го полицаи. Руки его заметались по одежде в поисках чего-нибудь подходящего, но нигде ничего подходящего не было.

За перегородкой топнули гулко подошвы, тягуче проскрипела дверь — уходила последняя возможность свести счеты с судьбой. Хоть бросайся вниз головой! Непреодолимое отчаяние охватило его, он застонал, едва подавляя в себе внезапное желание завывать, как собака.

Но знакомый голос снаружи вернул ему самообладание.

— Ну, ты долго там? — прокричал издали Стась.

— Счас, счас...

— Начальство зовет!

Конечно, начальство не терпит медлительности, к начальству надлежит являться бегом. Тем более если решено сделать тебя полицаем. Еще вчера он мечтал об этом как о спасении. Сегодня же осуществление этой мечты оборачивалось для него катастрофой.

Рыбак высморкался, рассеянно нащупав пугвицу, застегнул на нее полушубок. Наверно, ничего уже не поделаешь — такова судьба. Коварная судьба заплутавшего на войне человека. Не в состоянии что-либо придумать сейчас, он отбросил крючок и, стараясь совладать с растерянностью, вышел из уборной.

На пороге, нетерпеливо выглядывая его, стоял начальник полиции.



ИВАН ТАРБА

★

ГЛЯНУЛ В ГОРЫ

С абхазского

Глянул в горы — подтянулись горы.
Глянул в горы — встали, как в строю.
Солнцем опаленные просторы,
Знаю их и все ж не узнаю.

Лезвия вершин блеснули слепо —
Крутизна среди голубизны.
Что б я значил без такого неба?
Что б я значил без моей Апсны?

Если б не карабкался по горным
Тропам и не падал, не вставал,
Разве знал бы я, каким просторным
Мне предстанет новый перевал?

Если не бродил бы я по склонам
И не припадал бы к родникам,
Я бы не открыл земное лоно,
Я бы злаки не прибрал к рукам.

И в наследство нам дана дорога
Предками — с нее мне не свернуть,
Но они мне наказали строго
Проторить здесь собственный свой путь.

В горы путь, где ледников громада,
Где леса, что бурки на ветру.
Прячься от охотничьего взгляда,
Звери здесь ведут свою игру.

Горными питаюсь родниками,
То легко, то — в брызгах — тяжело,
В несколько прыжков сдвигая камни,
Водопады бьют свое стекло.

Пыль взбивая, полем мчатся кони,
Нет конца дороги — благодать!
Все лары земли — как на ладони.
Можно ль взглядом это все обнять?

Можно ли измерить мерой взора
Полосу, что пролегла от гор
К морю,— сколько воли и простора!
Всю ее не умещает взор!

Все ее долготы и широты
Я измерил — велика она.
Все мои тревоги и заботы,
Все мои труды — моя страна.

Разве же не смог найти я меры
Для обмера всей моей страны?
Мера есть! Моей любви и веры,
Мера сердца — в нем моя Апсны.

ЧТО, ДРУЗЬЯ, СЛУЧИЛОСЬ?..

Что, друзья, случилось? Что случилось?
Моего отца забыли дом?
В доме том отцово сердце билось,—
Гость найдет то сердце в доме том.

В доме том пора собраться снова.
Пусть семья, как в прежние года,
Ощутит присутствие отцово,—
Вместе с ним мы выпьем, как тогда.

Сбережем, друзья, его порядок,
Все его привычки сохраним.
Будет новый замысел нам сладок,
Если посоветуемся с ним,

С ним, стоящим мудро рядом с нами.
Крепко он стоит в своем дому!
Он продолжен нашими делами,
В наших буднях вековать ему.

Как кремень, крепка его натура.
От дубовой двери до крыльца —
Дом и двор, его архитектура
Повторяют линии отца.

Со стены он смотрит добрым взглядом,
А вокруг него — его земля.
Не над нами тенью — плотью, рядом
Он стоит. А мы — его семья.

Что, друзья, случилось? Вам знакома
Та тропинка, что бежит в саду?
Двери распахнув отцова дома,
Именем отца зову вас, жду.

Перевел Лев Озеров.



ХУАН РУЛЬФО

★

ДВА РАССКАЗА

Хуан Рульфо (род. в 1918 году) — один из видных прозаиков современной Мексики. Сборник новелл «Равнина в огне», откуда взяты публикуемые рассказы, а также повесть «Педро Парамо» создали писателю широкую известность.

СЕВЕРНАЯ ГРАНИЦА

— (О)тец, я вам пришел сказать: я в дальнюю дорогу собрался.

— Куда же это, если не секрет?

— На Север.

— А чего ты там не видал, на Севере? Тут у тебя вроде собственная торговля имеется. Или уже бросил свиньями торговать?

— Поневоле бросишь, раз барыша нет. Не торговля — чистое разочение. На той неделе зеленью одной были сыты, а в эту и вовсе зубы на полку. Голодаем мы, отец. Вам что — вон как живете, вам с голодухи живот не подводило.

— Что-что ты там мелешь?

— Да вот голодаем, говорю. Вам какая забота? Торгуете своими шутихами, цветными огнями да порохом — и горя мало. Что ни праздник, деньги лопатой гребете. Только не каждому в жизни такая удача, отец. Худые нынче времена, народ свиней разводить бросил. Если и есть у кого кабанчик, так для себя его держат либо уже закололи. А продают — втридорога запрашивают. Поди купи его за такие-то деньги, когда у тебя ни гроша в кармане. Кончилась моя торговля, отец.

— За каким же чертом-дьяволом тебя на Север несет?

— Подзаработать там думаю. Вы на Кармело поглядите — нажился, богачом вернулся, даже патефон привез. Теперь к нему денежки сами плывут. Желаеть музыку послушать — пожалуйста, гони пять сентаво, поставит тебе по вкусу танец или Андерсон эту, которая песни поет жалостные. Ему все равно: по пять сентаво за номер — и точка. Народ у него перед домом в очереди стоит. Вот и посудите, трудно ли: поехал и вернулся — всего и дела. Посмотрел я, посмотрел и тоже надумал на Север податься.

— А куда ты жену с детьми денешь?

— Для того я к вам и пришел. Попросить хочу, чтобы вы об них тут позаботились.

— Я что, в няньки к тебе нанялся? Уезжаешь — дело твое, стало быть, на божье попечение их осавляешь. Где уж мне теперь детей подымать! Хватит того, что тебя с сестрой вырастил, царство ей небесное. С меня хватит. Охота была этакий хомут на шею себе надевать. Был конь да изъездился.

— Уж не знаю, отец, не придумаю, что и сказать вам. Одно только

скажу: вам недорого обошлось вырастить меня. Что я в жизни видел, кроме трудов да горя? Народили на свет, а дальше как сам знаешь, хоть пуп надорви. Даже не обучили своему ремеслу: огни потешные изготовлять. Хлеб, что ли, боялись, отбивать у вас стану? Дали портки да рубашку и выставили на улицу, сам выкручивайся, учись, как на свете жить. Да чего уж, выгнали вы меня, взащей вытолкали. Вот оно и вышло, что мы теперь с голоду подышаем: сын с невесткой и внуки — все, как говорится, потомствие ваше. Того и гляди ноги протянем, околеем всем семейством. А если я что обидное вам сказал, погорячился — так с голода это. Только хорошо ли, по совести ли вы поступаете, а? Сами скажите.

— Мне-то какое дело до твоих неполадок. Не было печали, черти накачали. А ты бы не женился. Ты моего родительского разрешения на женитьбу не спрашивал. Ушел из дому — и конец.

— Чего ж было спрашивать, когда вам моя Трансита не по нраву пришлась. Вы вспомните, как оно было. Привел я ее в гости, говорю: «Вот, отец, девушка та, про которую я рассказывал, что жениться хочу». А вы и в ту сторону не смотрите, только чего-то плести стали, со стишками да прибаутками, намеки давать: дескать, девица эта вам хорошо известная и будто было у вас с ней что вроде как с гулящей. Наговорили с три короба; я и не разобрал, что вы там накручивали, одно только понял: насмешки над ней строите, да все непо-хорошему. Вот и не стал ее больше к вам приводить. Так что зря вы на меня обиду держите. А теперь я прошу об одном: позаботьтесь о ней. Я ведь и в самом деле уезжаю. Тут никакой работы нет — днем с огнем не сыщешь.

— Враки! Работай, сын, будешь сыт, а кто сыт, не тужит. Вот тебе и весь сказ, а ты его обмозгуй. Посмотри, я старик, а жаловаться не при- вык. А был молодой, так и вовсе герой, даже на баб денег хватало. Ра- бота, она тебя всем обеспечит, а уж насчет пропитания и прочих телес- ных надобностей и говорить нечего. Все дело в дурости твоей. А дурости я тебя не учил, это уж ты не ври.

— Но вы меня на свет народили. Значит, должны бы помочь и на ноги встать, а не выгонять, как коня на чужое маисовое поле.

— Ты, когда из дому ушел, не маленький был. Или ты думал весь век у меня на шее сидеть? Так это одни только ящерицы до самой смер- ти под тем камнем живут, где вывелись. По-честному, не так-то уж тебе плохо было: бабой обзавелся, детей наплодил. А иным и твоего отведать не доводится. Проходят они по земле, как воды речные. И не пили и не ели.

— Вы бы меня хоть присловья да стишки научили сочинять. Сами-то умеете. Какой-никакой, а был бы приработок. Вы вот народ веселите — зарабатываете. И я бы так мог. А стал вас просить — научите, вы посо- ветовали: «Какой со стихов доход, уж лучше яйцами торговать». Я и за- вел торговлю. Сперва, верно, яйцами, потом курами, потом за свиней взялся. И до сих пор, ничего не скажу, сводил концы с концами. А теперь прожился: дети пошли, на них не напасешься, деньги плывут как вода, на торговлю ни шиша не остается. Взял бы в долг — да уж не верит никто. Правду вам говорю: ту неделю на зелени перебивались, а эту — и зелени купить не на что. Вот я и решил на Север двинуть. Хоть вы и не верите, а у меня сердце на части разрывается, потому что я своих детей люблю. Не то что вы: еще и подрасти мы не успели, а вы нас — за порог.

— Запомни, сын, что я тебе сейчас скажу. Раз птичка гнезду вьет, значит, и яичко кладет. Доживешь до седых волос, научишься уму-ра- зуму. Узнаешь, какова сыновья благодарность. Бросят тебя дети и спа- сибо не скажут, а после самую память о тебе развеют по ветру вместе с твоим добром.

— У вас, отец, только стишки да речи замысловатые на уме.

— Невелик стишок, да в нем правды мешок.

— Я же вас не забыл, сами видите.

— Не забыл! Пришел, потому что нужда привела. Жил бы в достатке, про отца не вспомнил. А я, как мать умерла твоя, сразу понял: один остался. Сестра твоя умерла, ну теперь и вовсе один, думаю. А ты ушел, тут я и впрямь увидел: один я, один, как перст, до конца жизни. Сейчас вот понадобился я, ты и стараешься меня разжалобить. И невдомек тебе, что человека можно родить, а воскресить нельзя. Ничего, жизнь тебя научит. Свои ноги да чужие пороги — первые учителя. И заруби себе на носу: как постелешь, так и поспишь.

— Стало быть, отказываетесь взять заботу о моих детях?

— А что им сделается, люди еще покамест на улицах с голоду не помирают.

— Вы мне прямо скажите, будете о моей жене и детях заботиться или нет? Я уверенность должен иметь.

— Сколько их у тебя?

— Да всего-то трое мальчиков, две девочки и невестка ваша. Совсем еще она у меня молоденькая.

— Молоденькая милка каждому подстилка, так, что ли?

— До меня у нее никого не было. Я ее честную взял. Она хорошая. Не обижайте ее.

— А когда вернуться думаешь?

— Прохлаждаться там не буду. Сколочу деньжат и домой. Я с вами за доброту вашу вдвойне рассчитаюсь. Об одном только и прошу — чтобы они были сыты.

Из горных ранчо народ перебирался в селения. Жители селений уходили в города. В городах люди исчезали бесследно, растворяясь в массе других людей.

— Вы не знаете, где нужны рабочие?

— Знаю. Поезжай в Сьюдад-Хуáрес. Я тебя к одному человеку направлю. Всего двести песо возьму. Разыщешь его и скажешь, что от меня. Только, чур, никому ни гу-гу.

— Спасибо, сеньор, деньги я вам завтра доставлю...

— Слушай, говорят, в Ноноáлько требуются люди на разгрузку вагонов.

— Деньгами платят?

— А то как же? По два песо за арробу.

— Не врешь? Вчера я тоже разгружал, за церковь Милосердия, не меньше тонны бананов перетаскал, а получил шиш, только что бананов поел. Не имел, видишь, права есть, своровал вроде. Не заплатили ни черта да еще полицией пригрозили.

— Нет, на железных дорогах дело верное, там без обмана. Поезжай, не пожалеешь.

— Чего жалеть, поеду, конечно.

— Завтра утром я тебя жду.

И верно, взяли нас на разгрузку вагонов, и мы их разгружали с утра до ночи, да еще и на другой день осталось. Заплатили деньгами. Посчитал: шестьдесят четыре песо. Каждый бы день так.

— Сеньор, вот я принес двести песо.

— Хорошо, вот тебе сейчас открыточку напишу, покажешь моему приятелю в Сьюдад-Хуаресе. Гляди не потеряй. Он тебя переправит через границу, а кроме того, ты уже туда прибудешь на готовое место, по контракту. Вот тебе адрес и на всякий случай телефон, так скорей встретишься с тем человеком. Нет, нет, в Техас не просись. Про Орегон слы-

шал? Так вот, скажешь ему, что хочешь в Орегон. Правильно, на сбор яблок. С хлопковыми плантациями не связывайся. Я вижу, ты парень толковый. Разыщешь там Фернандеса. Не знаешь, кто такой? Неважно, у людей спросишь. Не захочешь на яблоки, найдешь шпалы укладывать. И платят больше, и работа не сезонная. Назад приедешь — мешок долларов привезешь. Смотри же, не потеряй открытку.

— Всех нас перебили, отец.

— Кого это — всех?

— Тех, что реку перейти хотели. Ох и шпарили, пули так и свистят. Всех положили.

— Где ж это было?

— Там, на северной границе. Мы уже в воду вошли, а они фонари на брод наставили — и давай.

— Зачем же так?

— А кто ж их знает! Помните, отец, Эстанисладо? Это он меня подбил на Север ехать. Все мне растолковал, что да как. Мы с ним сначала до Мехико добрались, а оттуда к границе. Стали реку переходить, а они в нас из карабинов. Я бы еще, может, проскочил, слышу, он мне кричит: «Не бросай меня, землячок, вытащи отсюда». Я — назад. Смотрю: лежит он, опрокинулся навзничь — и ни рукой, ни ногой: всего изрешетили. Стал я его вытаскивать, а по воде фонари шарят, нас ищут. Кидаюсь с ним из стороны в сторону, чтоб не увидели. «Ну как, спрашиваю, живой?» А он опять: «Вытащи меня отсюда, землячок». И еще сказал: «Здорово они меня»... А мне самому пуля руку насквозь прострелила, и локоть вывихнулся. Одной рукой тащить приходилось. «Обхвати меня покрепче», — говорю. Выволок его на сухое место, тут он у меня и кончился. А рядом — дома, свет в окнах горит, — городок там на берегу, Охинга называется. И так кругом тихо, только камыши шуршат — будто ничего и не было. Вытащил его на берег. Спрашиваю: «Жив еще?» А он ни мур-мур. Я его стал в себя приводить, оживет, думаю. До самой зари провозился: растирал и так и этак, бока разминал, чтобы он дышать начал, ничего не помогло, ни слова от него больше не добился.

Днем, смотрю, стражник идет из пограничной охраны. «Эй, ты! Что ты тут делаешь?» — «Да вот покойника этого, беднягу, отхаживаю, может, очнется». — «Это ты его убил?» — «Нет, господин сержант». — «Я не сержант. Не ты, так кто же?» А сам в мундире и нашивки с орлами, я и подумал: стражник. Тут бы каждый подумал: пистолетище на поясе этакий вот, с пушку. А вышло, не стражник он, а начальник по эмигрантам. Пристал, как репей: «Кто да кто?» Отвечай ему. Разорвался, разорвался, а потом как ухватит меня за волосы и давай таскать, а я сдачи дать не могу — локоть покалеченный, одной-то рукой не развоешься. Я ему говорю: «Не бейте меня, раненный я в руку». Тут только перестал меня колошматить. «Раненный? — спрашивает. — Выкладывай, как дело было».

Я и рассказал, что ночью нас фонарями высветили. Мы веселые шли, думали, сейчас на той стороне будем, идем себе, пошучиваем. И только что на середину брода вышли, как сыпанут по нас из карабинов. Место открытое, куда денешься. Всех постреляли. Только мы двое уцелели, да и то, видите, наполовину — он-то уж не дышит. «А кто в вас стрелял?» — «Где же нам было их углядеть! Ослепили фонарями и давай, и давай. Палят, только гром в ушах. Тут вот и рвануло мне локоть. Вдруг слышу, товарищ зовет, просит: «Не бросай меня, землячок, вытащи из воды». Да хоть бы мы их и видели, какая разница?» — «Судя по всему, говорит, апачи вас постреляли». — «А это кто, апачи?» — «Люди с той стороны. Бандиты». — «Мне говорили, на той стороне техасцы?» —

«Техасцы техасцами. Бандиты бандитами. Это даже представить себе невозможно, до чего на той стороне бандитов много. Ладно, я поговорю в Охинаге, чтобы жители товарища твоего похоронили, а ты давай-ка отправляйся восвояси. Ты из каких мест? Ну и сидел бы дома. Деньги-то у тебя есть?» — «У него вот в кармане малость нашел. Может, хватит на дорогу?» — «Ладно, на билет я тебе дам. Тех, кто домой возвращается, ссужают деньгами на проезд. Только смотри, второй раз мне не попадаться, так тебя взгрею, больше не встанешь. Не люблю на одну и ту же рожу дважды глядеть. Ну, давай мотай отсюда». Вот я и явился, отец, чтобы вы про все узнали.

— Так тебе и надо, не будь простофилей, не верь первому встречному. Пошел бы ты лучше к себе да посмотрел, какая прибыль от того, что ты дом бросил.

— Случилось что? Из малых кто помер?

— Трансито твоя сбежала. С погонщиком. Не ты ли мне тут разливался: «Хорошая она, хорошая». Ребята твои у меня в той комнате спят. А ты поди поищи, у кого ночь переночевать. Дом-то я твой продал — в счет расходов на детей. Да еще причитается с тебя тридцать песо за составление купчей и за гербовую бумагу.

— Ладно, отец, продали так продали, в суд вас не потяну. Может, посчастливится, найду завтра работенку — верну вам, что задолжал. А в какую сторону ехал этот погонщик, с которым Трансито ушла?

— Вроде бы туда. Я не смотрел.

— Ну прощайте пока. Я мигом обернусь.

— Куда ты?

— Ее догонять. Вы ж говорите, они в эту сторону поехали.

В ТУ НОЧЬ, КОГДА ОН ОСТАЛСЯ ОДИН

— Что вы плететесь, как неживые? — крикнул Фелисиано Руэлас тем, что шли впереди.— Того и гляди уснем на ходу. Вам что, не к спеху?

— Завтра перед рассветом будем на месте,— ответили ему.

Это были последние слова, которые он услышал от них. Их последние слова. Но об этом он вспомнил только потом, на другой день.

Их было трое. Они шли, внимательно глядя себе под ноги, потому что ночью не очень-то светло, а им не хотелось останавливаться.

«Оно и лучше, что темно. Нас не заметят» — врезались ему в память их слова, произнесенные еще раньше, может быть прошлой ночью. Он уже не помнил когда. Дорога убивала все мысли.

Теперь, на подъеме, она вновь ринулась в атаку: она встала и пошла на него, обхватила со всех сторон, ища, где у него самое слабое, усталое место, и, отыскав, навалилась всем своим каменным гнетом на плечи, и без того измученные тяжестью винтовок.

Пока они шли по ровному месту, он шагал быстро. Но на взгорье отстал. Голова уже не держалась прямо, а потихоньку качалась вверх-вниз — в такт его замедляющимся шагам. Двое других прошли мимо; они обогнали его и сейчас были далеко впереди, а он плелся сзади и клевал носом.

Он отставал от них все больше. Дорога высилась перед ним почти на уровне глаз. Ружья оттягивали плечи. Сон насел на закорки, гнул к земле.

Он отметил про себя, что уже не слышит звука шагов, раздававшегося непрерывно все эти ночи,— он и сам не помнит, сколько их было, этих ночей, сколько времени подряд звучал то рядом, то впереди гулкий стук сапог по каменистой дороге. «От Магдалены дотуда — одна ночь. Потом оттуда досюда — другая. А эта, выходит, третья. Не так уж мно-

го,— думал он,— если бы днем отсыпаться. А они ни в какую. Заснем, говорят, тут нас и возьмут. Тогда конец».

— Конец? Для кого? — спросил он вслух: наседающий сон заставлял его разговаривать с самим собой.— А я им: погодите, хоть сегодня передохнем. Выспимся, завтра пойдем веселей, наверстаем упущенное. А удирать случится, сил больше будет.

Глаза слипались. Он остановился.

— Все, дальше не могу,— проговорил он тихо.— Куда торопиться? Один переход выиграем. А что это даст, раз мы столько времени зря потеряли? Эй, где вы там?!— закричал он в темноту. И уже самому себе вполголоса сказал: — Ну и пусть! Ушли так ушли!

Он прислонился к дереву. От земли тянуло холодом, и пот на спине у него сразу простыл — его словно окатили ведром студеной воды. Наверное, это те самые горы, про которые им говорили. Внизу, у подножия,— теплынь, а тут холодина, сквозь пальто пробирает. Вроде задрали рубашку и ледяными руками — по голому телу.

Он опустился на землю, поросшую мхом, и раскинул руки, будто хотел измерить, далеко ли простирается ночь. Пальцы его уткнулись в стволы деревьев — вдоль дороги шла зеленая посадка. Он вдохнул душистый смоляной запах и, засыпая, откинулся на спину, чувствуя, как сон сковывает все его тело.

Проснулся он от рассветной прохлады, от росяной сырости.

Открыв глаза, он увидел сквозь темные ветви синеватое небо с прозрачными звездами.

«Смеркается»,— подумал он. И снова уснул.

Он вскочил на ноги, разбуженный криками людей и частым цоканьем многих копыт по сухой каменной дороге. По краю небосклона тянулась полоса желтого света.

Поравнявшись, погонщики оглядели его.

— Доброе утро,— поздоровались они с ним.

Но он не ответил на их приветствие.

Он вспомнил, как и почему очутился на этой дороге. Уже рассвело. А чтобы ускользнуть от патрулей, горы нужно было перейти ночью. Этот перевал охраняется особенно тщательно, их предупреждали.

Он поднял с земли карабины, взвалил их на плечи и, свернув с дороги, взял в сторону, лесом, держа путь на восход. Он то подымался в гору, то спускался вниз, одолевая бугристые, все в выбоинах и камнях холмы.

Ему уже чудилось, как погонщики объясняют: «Мы повстречали его там, наверху. С лица такой-то, росту такого-то. И ружья при нем, несколько штук».

Он бросил карабины. Потом снял и кинул патронташи. Теперь ноги сами несли его вперед, он почти бежал, словно надеялся, что на спуске успеет обогнать погонщиков.

«Сперва все вверх, до нагорья, обойдете его по краю — и вниз». Так он и идет. На все божья воля. Он идет, как ему было сказано. Но только днем, а не ночью.

Глубокая падь преградила ему дорогу. По ту сторону уходила в серую даль широкая равнина.

«Они уже, наверно, там. Отдыхают, греются себе на солнышке. Для них все позади»,— подумалось ему.

И он ринулся вниз по крутому склону, бежал, срывался, катился кувирком, поднимался на ноги и снова кубарем летел вниз.

— На все божья воля,— шептал он, и бег его все чаще переходил в беспомощное падение.

А в ушах гремели голоса погонщиков: «Доброе утро!» Он сразу заметил, что они смотрят на него подозрительно. Они сообщат о нем первому же патрулю: «Мы видели его там-то и там-то. Он скоро будет здесь».

Внезапно он остановился как вкопанный.

— С нами бог! — вырвалось у него. «Христос, царь земной и небесный!»¹ — чуть было не закричал он громко, но крик замер у него в горле. Он выхватил из кобуры револьвер и сунул его за пояс под рубашку — так будет надежней. Теперь он чувствовал на животе сталь оружия, и это придало ему уверенности. Он начал пробираться вперед крадучись, неслышно, как кошка. Он шел к раскинувшемуся внизу ранчо Агуа-Сарка, не спуская глаз с его просторных дворов — там пылали большие костры и вокруг них грелись солдаты. Солдат было много.

Вот и глинобитная ограда скотного двора. Можно разглядеть все как следует. Он увидел их лица. Нет, он не обознался, это они: его дядя Танис и дядя Либрадо. Около костров мельтешила солдатня, а они покачивались вдвоем посреди двора на суку мескита. От огня поднимался дым, застилал их остекленные глаза, покрывал копотью лица, но им это было уже все равно.

Он не захотел больше смотреть на них. Он пополз вдоль ограды и, забившись в угол за выступом, пролежал несколько минут, расслабив мускулы, чтобы дать отдохнуть телу. Где-то внутри, под ложечкой, у него посасывал противный холодок.

— Пора их снимать, чего ждем, а? — услышал он над собой сверху чей-то голос.

— Третьего ждем. Их, говорят, трое было, значит, и висеть должно трое. Третий-то, сказывали, еще мальчишка совсем. Мальчишка-мальчишка, а хватило ума устроить засаду лейтенанту Парре, всех его людей уложил. Ничего, придет к своему логову! Эти-то пришли, а ведь и постарше и похитрей были. Майор сказал: еще два дня подождем, сегодня и завтра, не придет — вздернем первого, кто сюда сунется. Приказ был — повесить троих.

— А почему на розыски не посылают? Пошли бы искать — все веселей, чем сидеть сложа руки.

— Зачем искать? Сам придет, никуда не денется. Они сейчас все в горы уходят, к хребту Команха, в «Отряд четырнадцати». Эти трое уже, считай, из последних. А по мне, так лучше было бы их пропустить, пускай бы себе в отряд шли, всыпали перцу на той стороне кому надо.

— Да, это бы, конечно, неплохо. Только вот после как бы нас же самих не послали туда расхлебывать кашу.

Фелисиано Руэлас пролежал в своем укрытии еще минуту-другую, а когда растаяла тошнотная щекотка под ложечкой, набрал в легкие побольше воздуха, как перед прыжком в воду, и, припадая к земле, подтягиваясь на руках, пополз прочь от ограды.

Добравшись до ручья, он осторожно приподнял голову, огляделся и бросился бежать, прокладывая себе путь в высокой прибрежной траве. Он бежал, не оборачиваясь, не замедляя шага, пока не увидел, что ручей вывел его на равнину. Тогда он остановился и, еще весь дрожа, перевел дыхание.

Перевела с испанского П. Глазова.

¹ Боевой клич кристеросов, участников крестьянского восстания 1927 года.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Д. ДРАГУНСКИЙ,
*генерал-лейтенант танковых войск,
дважды Герой Советского Союза*

★

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ, ПОБЕДНЫЙ

1944-й год — год наших больших военных успехов — был на исходе. Он привел к полному изгнанию фашистов с территории нашей Родины, принес свободу народам Румынии и Югославии, Болгарии и Албании. Успешно завершилось большое наступление войск 1-го Украинского фронта, начатое под Тернополем в июле. Завоеванный и удерживаемый им Сандомирский плацдарм был в надежных руках. Все мы, начиная от командующего фронтом Маршала Советского Союза И. С. Конева и кончая солдатом, понимали его назначение: это был мощный трамплин для прыжка на запад, в самое сердце Германии.

На одном из участков Сандомирского плацдарма мужественно сражалась и наша 55-я гвардейская танковая бригада 3-й гвардейской танковой армии генерала Рыбалко. Изнурительные бои, бессонные ночи, трудные походы давали себя знать. В сентябре нашу бригаду сменила стрелковая дивизия. Незаметно для врага выйдя из боя, мы несколько ночей совершали марш в обратную сторону — на восток — и перебрались через Вислу. Здесь, среди сосновых лесов, наступил долгожданный отдых. Люди с ходу падали на землю, заползали в осеннюю, уже начинавшую желтеть траву, под деревья, под машины — отсыпались за все шестьдесят дней и шестьдесят бессонных и тревожных ночей. Потом зазвенели пилы, заработали лопаты, засверкали топоры, и в несколько дней были готовы землянки, полевая столовая, долгожданная русская солдатская баня.

Дни отдыха были и днями подготовки к предстоящим походам и новым боям. Вскоре на ближнюю маленькую станцию Жолкев через каждые два-три часа стали подходить длинные эшелоны. Снаряды, патроны, продовольствие, теплая одежда, запасные части спешно разгружались и вывозились в леса. Приходили сюда и эшелоны с танками. Уральцы, сибиряки, волжане не задерживали свою продукцию на заводских дворах и складах. Новенькие танки прямо из цехов грузились на платформы.

Прибыло и то, что полагалось нам. На всем пятидесятикилометровом маршруте, который предстояло пройти полученным нашей бригадой танкам, целую неделю трудились тайно от танкистов саперы и разведчики. По моему приказу они устроили ловушки, завалы, воронки и другие противотанковые препятствия. Для совершенствования боевой выучки мы заставили экипажи с ходу преодолевать препятствия на больших скоростях, проделывать многие маневры, необходимые для успешного наступательного боя.

Изо дня в день танкисты, артиллеристы, автоматчики готовились к боям. Упорные слухи о скором начале большого наступления распространялись из землянки в землянку. Всем уже прискучило сидеть в этом темном лесу, хотя недавно он был таким желанным. Хотелось скорее разделаться с врагом. «Сколько ни сиди в лесу, а драться надо, — говорили люди. — На кого же надеяться? На союзников? Они особо не торо-

пятся». А тут вдруг под Арденнами немцы зажали их так, что они закричали «караул». Чутье бывалых солдат трудно обмануть. Все ждали, что вот-вот прозвучит сигнал к выступлению. И все же, как ни готовились мы, как ни ждали его, тревога прозвучала для всех как-то неожиданно.

* * *

Наступил канун нового, 1945 года. В бригадной столовой, расположенной на поляне среди густого леса, особенно оживленно. Шум, смех доносились со стороны нашей лесной кухни. Даже по-особому сияли лучи зимнего солнца. Удивительно красиво играли искорки снега. С утра все мысли в бане. «Старички» первыми оккупировали парную, звонко хлестали друг друга березовыми вениками. Сибиряки, уральцы, волжане, распаренные, раскрасневшиеся, выбегали на улицу отдышаться. Некоторые с разбегу шлепались в сугроб, с гоготом катались по снегу и снова проворно ныряли в землянку-парную.

Мылись и парились долго, с каким-то особым вкусом и азартом. Обед начался с опозданием. Старшины рот, как положено, выдавали бойцам их «законные» сто граммов. Винный запах щекотал нос, но, как ни странно, к кружкам с вином никто не притрагивался.

Шум в столовой стоял необычный, даже грозный усатый старшина никак не мог утихомирить танкистов. «Не будем пить!», «Убрать водку!» — неслось со всех сторон. Я не верил своим ушам. Недоумевающе смотрели на меня начальник политотдела Александр Павлович Дмитриев и начальник тыла Иван Михайлович Леонов. Что случилось? Все объяснил лейтенант Андрей Серажимов:

— Мы тут меж собой договорились, товарищ полковник, попросить у вас разрешения встретить сорок пятый год по-настоящему. Елки нарядим, музыку обеспечим. А какая же встреча без вина? Вот мы и просим дневную порцию выдать нам в канун Нового года.

Все притихли, глядели на меня, ожидая ответа. Сержант Новиков принялся объяснять:

— В сорок первом году тридцать первого декабря под Калинином вел ночной поиск: некогда было встречать Новый год. В сорок втором под Сталинградом дрался. Не удалось и сорок четвертый встретить: до утра волочил огромного фрица под Житомиром. А сейчас как будто спокойно, можно отметить праздник.

Я слушал своих товарищей и думал: разве можно отказать в такой простой человеческой просьбе? Четвертый год идет изнурительная и тяжкая война. Что плохого вдали от родины поднять в новогоднюю ночь всей фронтовой семьей свои солдатские кружки?

После «сухого» обеда подготовка к встрече Нового года развернулась в ротах с особым усердием.

Короток день в декабре. Еще более куцым показался он в предпраздничной сутолоке.

Настроение у всех было приподнятое, даже «старички» саперы, сперва стоявшие в стороне, включились в дело. В каждом батальоне была «украшена» на корню огромная зеленая елка. Чего только не было навешано на их мощных ветвях — котелки, кружки, лопаты, алюминиевые бачки — в общем, все, что попало под руку. Старательно готовили в каждом подразделении деда-мороза.

Наши девушки — радистки, телефонистки, медицинские сестры, врачи — извлекли из вещмешков платья и тщательно утюжили их. Кое-кто в честь Нового года сооружал замысловатые прически. Как ни сказались на наших женщинах годы войны, изнурительные походы, лишения и невзгоды — им ведь приходилось куда труднее, чем нам, мужчинам, — но они остались женщинами и на войне. Принарядились, похорошели. Глядя на них, солдаты и офицеры вспоминали своих жен, сестер, любимых. А некоторые воины уже имели подруг и здесь, среди этих левчат. Молодость брала свое.

Возле походных кухонь священнодействовали повара, готовя из тех же концентратов и тайных запасов необычный новогодний ужин.

Но встретить 1945 год, как было задумано, на большой поляне, у огромных елок, с настоящими дедами-морозами, нам так и не пришлось. Поздно вечером была объяв-

лена боевая тревога. А вскоре стало известно, что в ночь с 31 декабря на 1 января бригада оставляет свой обжитый район, переправляется по наведенному мосту через Вислу и к утру 1 января сосредоточивается в лесу восточнее Сташува...

Вот тебе и встреча Нового года! А как наши ребята готовились к нему...

СНОВА САНДОМИР

Колонну танков, орудий, машин — все, что входило в состав бригады и составляло ее боевую мощь, — прикрыла лесная чащоба. Ночь выдалась темная, безоблачная, совсем непохожая на предыдущие. Замерли танки, замолкли люди. У моего, головного танка собрались командиры батальонов, офицеры штаба бригады. Мы ждали офицера связи, но он не появлялся. Напряжение нарастало.

Светящиеся стрелки перепрыгнули через цифру «12». Наступил новый, 1945 год. Напряженную тишину разорвал бас комбага Старченко:

— С Новым годом, товарищи!

И почти одновременно с другого конца колонны донесся голос начальника политотдела Дмитриева:

— С Новым победным годом, товарищи-друзья!

Кто-то, стоявший рядом со мной, крикнул: «Ура!» Подхваченное танкистами первого танкового батальона, оно покатилося по всей колонне. Люди в комбинезонах и ватниках обнимались, поздравляли друг друга с Новым годом и первое, чего желали — скорой победы. Рядом со мной появился неуклюжий в своем полушубке Дмитриев. Через образовавшуюся толпу протискивались ко мне начальник штаба Свербихин, комбаты, ротные командиры и многие воины, с которыми мы прошли длинный путь войны. Какие родные и близкие люди! И счастье было в том, что мы встречали этот Новый год уже на Висле, на ближайших подступах к фашистской Германии, в преддверии нашей окончательной победы.

Послышался шум мотора, и вскоре, словно утка переваливаясь с боку на бок, подъехал камуфлированный неуклюжий броневик. Появился тот, кого мы ждали — офицер связи. Он передал устный приказ, уточнявший время перехода через Вислу по низководному мосту: от двух до четырех утра бригада должна перейти на западный берег реки.

Три зеленые ракеты осветили ночное небо. Сотни моторов, заведенные в одну и ту же минуту, оглушили окрестности. В этот несмолкающий гул влился лягз гусениц, треск ломающегося кустарника, и колонна двинулась в путь навстречу новым боям.

Танки и машины медленно ползли по неровной, извилистой лесной дороге к переправе. Шли без света, на манящий огонек регулировщиц. Дорога до самой реки была обозначена зелеными, незаметными с воздуха огоньками.

Приближалась бурная, быстрая, еще не скованная льдом Висла. На мутной поверхности реки почти километровой лентой вытянулся низкий мост. Бригада остановилась, готовясь перепрыгнуть через водный барьер.

Пропускной режим, установленный командующим фронтом, был строгим. С наступлением темноты мосты, состоящие из отдельных паромов, собирали, а к утру их растаскивали катерами в разные стороны и тщательно маскировали. Днем жизнь на реке приостанавливалась. Зато ночью к ней непрерывно следовали колонны машин, обозы.

С противоположного берега замигали огоньки: сигнал подан. Юркий комбат Федоров первым повел к переправе свой головной танк. Начальник штаба Свербихин через каждые две минуты выпускал очередной танк. Кряхтел и стонал под их тяжестью паромный мост.

Часа через два вся наша бригада была уже на западном берегу. Осталось совершить двадцатикилометровый марш. Квартирьеры корпуса горючили нас: до наступления рассвета мы должны быть в назначенном районе, замаскироваться, замести следы гусениц и притаиться до поры до времени.

Дул холодный, пронизывающий ветер. Я натянул поглубже шапку-ушанку, поднял воротник полушубка — согрелся, но стало клонить ко сну. С большим трудом боролся с охватывающей меня дремотой. И вдруг... **две** сильные струи света ослепили меня. Шофер резко затормозил, и мой ретивый адъютант Петр Кожемяков выскочил на дорогу. Не успели мы опомниться, как одна из фар идущей навстречу нам машины разлетелась вдребезги. Вторая фара успела погаснуть.

— Петр, тащи сюда разгильдяя! — крикнул я Кожемякову, но тот как вкопанный стоял перед остановившимся «виллисом».

Потом от машины отделились две фигуры и направились к нам. В одной я узнал командарма Рыбалко...

— Ну, комбриг, досталось мне от вашего офицера. Проучил меня основательно. Хорошо, что еще автоматом по башке не двинул. Но, слава аллаху, обошлось благополучно.

Опешив от неожиданности, я невнятно пытался оправдать адъютанта, ссылаясь на категорический приказ самого же Рыбалко о строжайшем соблюдении светомаскировки.

— Так-то так, но начальство надо уважать, — улыбнувшись, ответил Рыбалко. — Понимаете, шоферу показалось, что на него из-за поворота ползет танк. Я и крикнул ему: «Свети!» Не успели включить свет, как фара — вдребезги! Молодец ваш лейтенант, научил уважать приказы. — Он снова засмеялся.

Постояв еще несколько минут, чтобы пропустить колонну, Рыбалко поинтересовался, как прошла переправа, как обстоит с теплым обмундированием.

— Прибудете в новый район — заройтесь в землю, не выявляйте себя. Обрушимся на врага внезапно... — сказал генерал на прощанье.

Машина командарма, ковыляя по мерзлой обочине дороги, удалялась в сторону переправы.

Танкисты обступили лейтенанта Кожемякова:

— Везет же тебе, Петро! Отделался легким испугом. Думали, попадет ему по первое новогоднее число. А он даже благодарность от командарма отхватил, — посмеивались танкисты.

— Это же Павел Семенович Рыбалко... Наш командарм правильный человек... — с особой теплотой заметил Федоров.

К утру бригада была уже на сандомирской земле и заняла среди переправившихся войск 1-го Украинского фронта свой лесной квадрат. Теперь наш плацдарм был совсем не таким, каким мы его знали несколько месяцев назад. Правда, этот с виду «забытый» и мирный уголок уплотнил свое население так, что трудно было на нем повернуться. Сосредоточить здесь незаметно для врага целые общевойсковые армии, крупные танковые соединения, десятки корпусов и дивизий, сотни полков могли только талантливые полководцы, опытные, смелые, инициативные офицеры, дисциплинированные и натренированные солдаты нашей армии.

* * *

По обеим сторонам дороги стеной стояли леса. Тишина. Январский утренний ветерок едва колыхал верхушки сосен. Ничто не нарушало покой этого ясного, морозного утра. Лишь изредка прогудит где-то в стороне самолет.

С начальником штаба бригады Григорием Андреевичем Свербихиным и начальником политотдела Александром Павловичем Дмитриевым мы ехали в открытой легкой машине по срочному вызову в штаб армии. Машина мчала нас знакомыми дорогами. В августовские дни мы вели здесь бои за расширение Сандомирского плацдарма. Вижу, что и друзья мои вспомнили о том же — на их лицах появилась тихая печаль..

Воспоминания увели и меня к событиям тех незабываемых дней.

...Освободив Сташув, мы должны были совершить марш в направлении Ракува, Иваниска.

Ночь застала бригаду в одном из больших лесных массивов, в районе Иваниски. Связались с командиром корпуса. Я попросил уточнить задачу, даже пытался склонить его к тому, чтобы остановить наше движение на северо-запад. Неясность обстановки,

отсутствие соседей справа и слева, мысль о том, что сзади никто нас не подpiraет, меня насторожила.

Генерал Митрофанов был неумолим:

— Нигде не останавливаться, идти только вперед, утром к вам подойдут бригады Слюсаренко, Головачева, Чугункова.

Война требует беспрекословного повиновения. В конце концов генералу видней: он мыслит масштабами армии, фронта. Я принадлежал к той категории людей, которые, уяснив и поняв смысл полученной задачи, всегда стараются точно выполнить ее. Эти качества я прививал и своим подчиненным. Своих комбатов я изучил хорошо. Мне давно уже была известна осторожность, расчетливость и хитрость комбата Петра Еремеевича Федорова. Этот человек напролом не пойдет: двадцать раз взвесит и потом уже будет бить наверняка. Экспансивного, решительного в действиях, порою опрометчивого комбата Николая Акимовича Осадчего надо было сдерживать. Пользуясь любовью подчиненных, он мог их увлечь за собой в самое рискованное предприятие. Во многом он походил на меня. Не в пример этим офицерам были майоры Григорий Савченков и Федор Старченко. Спокойствие и уравновешенность сочетались у этих комбатов с решительностью. Я пользовался особенностями характеров моих подчиненных в зависимости от обстановки. Тогда, в ту ночь, выбор мой пал на Федорова. Его батальон я пустил первым.

— Петр Еремеевич, еще раз прошу тебя, будь осмотрителен: ты для меня сегодня ночью глаза и уши бригады. В пекло не лезь.

— Меня не надо предупреждать, все будет в порядке.

Батальон двинулся вперед. Несколько часов я был в курсе его действий. Обойдя Опатув, он овладел селением Лагув и перерезал магистраль Сандомир—Кельце. С ходу танкисты Федорова разгромили вражескую роту, разогнали обозы, раздавили танками склады и, не встречая сопротивления, успешно продвигались на север, и все же кто-то в эту ночь ловко подменил моего Федорова. Забыв обычную свою осмотрительность, он рванул далеко вперед. Его радиостанция удалялась все дальше и дальше на север и вскоре совсем замолкла. Ночью прекратилась связь и со штабом корпуса. Полная неясность обстановки все более тревожила меня. Держал совет с Дмитриевым и Свербиным. «Почему за нами не следуют остальные бригады? Что задумал Митрофанов?»— не выходило у меня из головы.

Забрезжил рассвет. Кругом мертвая тишина. Почему не слышно выстрелов?..

Делаем последнюю попытку связаться с Федоровым и Митрофановым. Тот и другой молчат. Я принимаю решение не останавливаться. Подаю команду: «Вперед!» И вся 55-я гвардейская берет курс на север. За нами потянулся 238-й артиллерийско-истребительный полк, которым командовал майор Русаков.

На дорогах к Ракуву, Иваниске, Лагуву видны следы «работы» федоровских танкистов: десятки раздавленных машин, цистерн, фургонов... Регулировщики тут не требовались. Указателями служили сплошные разрушения.

Мы продолжали продвигаться.

И вдруг... как по единой команде, на нас налетели с воздуха, ударили из леса, накинулись из оврага. Бомбежки чередовались с артиллерийскими ударами. Фашисты устроили нам ловушку. Пропустив авангардный батальон Федорова, они обрушились на главные силы бригады. С большим трудом нам удалось зацепиться за какой-то пустующий фольварк и оседлать примыкавшую к нему безымянную высоту. Под градом пуль и снарядов часть наших сил развернулась на большом ржаном поле. Командир артполка с ходу развернул три артиллерийские батареи и открыл огонь. Командир роты крупнокалиберных пулеметов ДКШ стал обстреливать низко летящие самолеты, заставляя их подниматься все выше и выше. Подошел батальон Савченкова и тоже с ходу включился в огневой шквал. Из чердака дома я видел, как наш автоматный батальон окапывается вдоль большого оврага.

Шоковое состояние, охватившее нас после внезапного удара из засады, стало ослабевать. Нам удалось организовать ответный огонь, выиграть несколько часов времени и, собравшись с силами, принять необходимые меры. По гетпу стрельбы и летящим в нашу сторону снарядам и минам, по непрекращающейся авиационной бомбежке

мы без большого труда определили численность группировки противника. Соотношение сил было не в нашу пользу. Особенно скверно было то, что федоровский батальон ушел далеко на северо-запад, а Осадчий застрял где-то сзади. Со мною осталась только половина людей, бригада была разорвана на несколько частей.

В середине дня усилились авиационные налеты. Несколько фугасок крупного калибра попало в центр хутора. Вышла из строя радиомашинка, вверх тормашками полетели кухни, ярким пламенем полыхал штабной автобус. Связь со штабом корпуса по-прежнему отсутствовала. Сильный артиллерийский и минометный огонь по второму танковому батальону, по артиллерийским позициям и мотобатальону автоматчиков длился более пятнадцати минут. Снова появились бомбардировщики. «Обработка» нашего пятачка шла с особым остервенением.

Вслед за действиями вражеской авиации и артиллерии началась атака. Показались немецкие танки, из леса вынырнули десятки бронетранспортеров с пехотой. Начался штурм наших наспеш оборудованных позиций. Я чувствовал на себе вопросительные взгляды подчиненных. Это был тот случай, когда от командира требовались особое самообладание, воля, выдержка. Выиграть время, хотя бы несколько часов, дождаться темноты, собрать в единый кулак разбросанные батальоны. Но что я мог противопоставить? Огонь моих немногочисленных танков и трех батарей противотанковой артиллерии? Огонь батальона автоматчиков? Только неукротимая воля обороняющихся могла спасти положение. Все, кто был на поле боя, понимали, что надо во что бы то ни стало устоять. Отходить — некуда! Идти на запад, в гущу вражеской группировки, бессмысленно; прорываться на юг, восток, к своим войскам — невозможно. Драться, бить врага по частям, остановить его наступление — вот единственная задача, от выполнения которой зависела судьба сотен людей.

То, что не может сделать оружие, техника, делают люди. На время нам удалось остановить вражеские атаки. Это дало возможность произвести небольшую перегруппировку — расставить лучшим образом артиллерийские батареи, выдвинуть вперед две танковые роты, создать резерв, оттянуть из фольварка штаб бригады: здания его были слишком хорошим ориентиром для авиации и артиллерии противника. Я со своим штабом обосновался в глубоком узком овраге.

Наконец каким-то чудом добрался до нас гонец от Федорова: его батальон увлекся успехами, рванул на северо-запад и с ходу разгромил в Бедзехуве большую группу противника. Но этим он не ограничился: танкисты продолжали стремительно наступать и утром оказались на станции Островце. Немцы не ожидали появления в своем глубоком тылу советских войск и не обратили внимания на подходящую танковую колонну — видимо, были убеждены, что это свои. В это время на станции стоял под разгрузкой эшелон с танками, и гитлеровцы спохватились только тогда, когда в его сторону полетели фугасные и зажигательные снаряды. Паника была невероятная. Горели танки, вагоны, машины, металась беспомощная солдатня. На площади одна из танковых рот Федорова наткнулась на батальон пехоты, выстроившийся с ложками и котелками у походных кухонь в ожидании завтрака. Всего полчаса потребовалось нашему Федорову, чтобы завершить разгром гарнизона. Комбат понимал, что дальше оставаться ему в Островце нельзя, и повернул свой батальон назад — навстречу главным силам бригады. Но нас он в этот день не нашел: мы вели тяжелые бои восточнее Островца.

На нашем участке к вечеру положение осложнилось. От артиллерийского полка осталось несколько орудий и десяток снарядов к ним. Второй батальон понес большие потери. Поредели роты автоматчиков. Вышел из строя мой танк, и я лишился связи с Федоровым и Осадчим. Как хотелось, чтобы их батальоны ударили с тыла — это могло бы спасти нас. В разгар ожесточенных боев немцы захватили легковые машины — мою и Дмитриева. Ранеными попали в плен наши шоферы Кузнецов и Бауков.

Бои приняли невероятно тяжелый характер. Все мы, уцелевшие, оглушенные и раненные, кто только мог еще стоять на ногах, вооружившись пистолетами, автоматами, гранатами, пулеметами и просто ракетницами, вели оборонительный бой. Все было пушено в ход. Мы готовы были идти врукопашную.

Охрипшими голосами передавалась команда: «Бить по пехоте, отсеять ее от танков!» В этом и видел единственное спасение: ведь танки без пехоты не могли в предве-

черные сумерки весте наступление на глубокий овраг, в котором мы залегли. Сумерки сгустились все больше и больше. Прекратились бомбардировки с воздуха, замерли на земле танки, залегла вражеская пехота. (Только на следующий день я узнал причину, заставившую фашистов остановить свое наступление: к ним в тыл вышел батальон Федорова, а на правом фланге появились танки Осадчего.) Мы воспрянули духом.

Спасительная ночь окутала тьмой наш овраг. Я остался с экипажами без танков, с расчетами без орудий, со связистами без радиостанций, с шоферами без машин. Потери наши были велики, и, несмотря на это, бригада продолжала жить и бороться. Старченко привел в порядок свой батальон, мы пополнились подошедшими разведчиками, саперами. Моя пешая группа достигла тысячи человек.

Как вывести эту массу людей, как соединиться со своими танковыми батальонами? Решено было прорвать вражеское кольцо.

Мы начали готовиться к ночному броску. Но и враг перегруппировал свои силы, намереваясь с наступлением рассвета окончательно расправиться с нами. Свою пехоту немцы расположили по восточным склонам нашего оврага, расставили десятки пулеметов, несколько минометных батарей, танками опоясали все выходы из нашего района. Главный расчет строился на том, что мы наверняка испугаемся танкового заслона, бросимся в сторону засевавшей пехоты и попадем под ее мощный пулеметный и автоматный огонь, от которого нам не спастись. Но немцы забыли, что имеют дело с опытными танкистами, знавшими не только сильные, но и слабые стороны танков. Мы ведь знали, что ночью они слепы, прицельный огонь их неточен, управление неустойчиво.

Без малейшего колебания я принял решение нанести главный удар по танковой группировке врага. Успех ночной атаки зависел от нашей дисциплины, организованности и решительности. Небольшая группа автоматчиков огнем и демонстративными действиями привлекла к себе внимание немецких пехотинцев, тем показалось, что мы попадаем в искусно расставленные ими сети. На самом же деле мы приступили к реализации задуманного нами плана. Условный сигнал — и тысячная масса людей поползла по мокрой траве в направлении немецких танков. Одежда сразу же насквозь пропиталась росой. Люди, целые сутки не бравшие в рот ни крошки хлеба, продвигались с трудом, теряя последние силы. На преодоление трехсот—четырехсот метров ушло более часа. И все-таки цель была достигнута. Оказавшись рядом с танками, в «мертвой зоне», где огонь их не так уж опасен, все мы, вскочив на ноги и с криком «ура!», неукротимой лавиной обрушились на танки. Мы забрасывали их гранатами, швыряли в моторные люки траву, землю, все, что попадалось под руку. Ярость людей была так велика, что они крушили все, что встречалось на их пути. Немецкие танкисты в ужасе задраились в своих бронированных коробках.

В поединке с фашистскими танками победа осталась за нами. Выход в сторону нашего фронта был пробит, мы ринулись на соединение с нашими батальонами. Позади остался еще один трудный фронтовой день с его горестным и счастливым исходом. На рассвете вышли на большое поле, на нем еще торчали головки лука, репы, моркови. Все накинулись на них, выдергивали из грязи и ели немтыми — до того изголодались. Подкрепившись таким образом, мы вновь обрели силы для двадцатипятикилометрового броска к фронту.

Перед Опатувом столкнулись еще с одной немецкой частью, занявшей оборону на нашем пути. Но теперь, соединившись с батальонами Осадчего и Федорова, мы без особого труда разгромили эту группировку, а утром уже были в расположении войск нашей 3-й гвардейской танковой армии.

В середине дня в большом штабном автобусе, загнанном по самую крышу в глубокий яму, состоялась встреча с командиром корпуса генералом Митрофановым. Мне хотелось высказать Василию Андреевичу всю горечь и обиду за вчерашний день. Генерал молча слушал мой доклад, не прерывал даже тогда, когда посыпались мои упреки по адресу штаба корпуса. Он хорошо понимал мое состояние.

— Как же, товарищ генерал, действовать без связи, без разведки, в одиночку? Почему вы мне не разрешили остановиться у Лагува и, наоборот, требовали выполнения нереальной задачи? Что я мог сделать один, без поддержки главных сил вашего соединения?

Командир корпуса продолжал молчать, не сводя с меня глаз, потом поднял телефонную трубку и соединился с Рыбалко.

— Драгунский находится у меня. Задачу выполнил, дошел до Островца и Бедзехува, обнаружил подход новых эшелонов, полагаю, там выгружается свежая танковая дивизия. Контрудар в сторону Опатув, Сандомир неминуем в ближайшие дни,— доложил он.

Митрофанов внимательно слушал командарма, то и дело поддакивал:

— Я вас понял, сделаю, сделаю, слушаюсь. Как настроение его? Обижается на нас за отсутствие связи, разведки, не дали в помощь ему Головачева и Слюсаренко, не выделили авиацию, сидит у меня в автобусе и допекает.

Командарм подозвал меня к телефону.

— Я ваше состояние понимаю,— сказал он мне.— Но поймите же и вы нас: мы ведь не на прогулку вас посылали. Нужно было выяснить, что делается в тылу у немцев. Командующий фронтом приказал послать туда сильную группу. Выбор пал на вашу бригаду. Нам же было приятно слышать, на что способны наши танкисты.

Я не сдержал себя:

— Товарищ командующий, спасибо вам за доверие, за трогательные слова по адресу танкистов, но разрешите и мне высказать все, что накипело на душе.

— Я вас охотно слушаю.

Ободренный этими словами, я более твердым голосом продолжал:

— Зачем было скрывать от меня правду? Я должен был знать, что вы хотите от меня и моих танкистов. Зная свою задачу, мы могли бы действовать иначе.

В телефонной трубке раздался звонкий голос командарма:

— Дорогой друг, я согласен, что подчиненным надо говорить правду, и только правду. Но иногда в интересах дела приходится не все карты раскрывать... Если бы вам сказали, что бригада направляется в разведку, уверяю вас, она дальше Сташува не пошла бы. Тот же Федоров добросовестно сообщал бы: «Наблюдаю, высматриваю, заметил» и так далее, а так за одни сутки вы пробрались на шестьдесят километров в глубь вражеской обороны и раскрыли нам глаза...

Павел Семенович, в прошлом опытный разведчик, в гражданской войне служил комиссаром кавалерийского полка, долгие годы был на военно-дипломатической работе, так что душу человеческую знал хорошо и спорить с ним было трудно.

Отдохнув немного и получив в тот же день от командарма несколько десятков танков, мы сразу же вступили в бой. Враг рвался к Опатуву, к Сандомиру. Бои на плацдарме вспыхнули с новой силой...

И вот мы снова в Сташувских лесах, на этом дорогом доставшемся нам плацдарме, и как раз в тех самых местах, где дралась наша бригада. Проехали через большую поляну. Где-то здесь, на лесной опушке, помнится, был подбит командиром батальона Осадчим «королевский тигр». Бой длился несколько часов. Пробриться вперед было нелегко. Мощные скорострельные танковые пушки немцев плотным огненным барьером заградили нам дорогу. Зажатый спереди немецкими «тиграми», подгоняемый сзади генералом Митрофановым, я метался в поисках выхода. Под рукой оказался батальон Осадчего — последний мой резерв. Его-то я и бросил в одну из лесных просек. Осадчему удалось выйти в тыл немецкой засады. Огонь федоровского батальона с фронта, удар во фланг и тыл, предпринятый Осадчим, принудили фашистов к бегству. Отход врага был таким быстрым, что мы, немного замешкавшись, не смогли уже его догнать. Отстал от нас, к моему счастью, и командир корпуса. Путь был открыт. В эту минуту по радио мы услышали голос Осадчего: «Глядите, глядите! Тигры удирают в джунгли!» Его раскатистый смех еще долго звучал в эфире.

И вот теперь в машине разгорелся спор между Дмитриевым и Свербихиным. Александр Павлович утверждал, что первый «королевский тигр» был подбит Осадчим именно на этой поляне, хотя в действительности танковая дуэль происходила не здесь. В спор вмешался шофер Георгий Гасишвили.

— Нет, нет, не здесь, — с заметным грузинским акцентом сказал Георгий. — Да вы сейчас сами увидите. Я очень хорошо помню это место. Я даже слил бензин из того «тигра». Было это за лесной опушкой.

Но Дмитриев стоял на своем, а переспорить его было трудно.

Гасишвили был прав. Проехав несколько километров, мы увидели на опушке леса обгоревший танк. На борту его резко вырисовывался фашистский крест. Да, это был он, подбитый Осадчим «королевский тигр», а чуть дальше, где начиналось поле, на котором высились несколько одиноких сосенок, виделось небольшое кладбище. Здесь были похоронены бойцы нашей бригады, погибшие в боях за Сандомирский плацдарм.

Георгий Гасишвили притормозил машину. Мы выпрыгнули и подошли к могильным холмкам. Читали имена боевых товарищей: капитанов Андровского и Кузьмина, сержанта Володи Самойловича и многих, многих других дорогих нам людей, с которыми породнила нас и которых забрала у нас война. Сняв шапки, склонили головы. Молчал Гасишвили, тяжело дышал Дмитриев, помрачнел Свербихин.

У могилки нашего любимца Володи Самойловича стоит, как часовой, молодой тополек. На латунной пластинке с его именем выгравировано: «1927—1944». В четырнадцать лет познал он ужасы блокады Ленинграда, пережил потерю близких людей, своими глазами видел беспримерный героизм защитников крепости на Неве, был вместе с ними. Взобравшись на башню тяжелого танка, вышедшего из цеха Кировского завода, он катил к Нарвской заставе, помогал, чем мог, на позициях артиллеристам, в траншеях и окопах пехотинцам. Как и все мальчишки, он хотел быть одновременно и танкистом, и летчиком, и артиллеристом. Он был настоящим ленинградским Гаврошем. Потом его — ослабевшего, истощенного — вывезли на Большую землю. Он оказался в Грузии. Там его поставили на ноги. Через год на Днестре пристал он к нашей части и вскоре стал заправским танкистом. Часто ходил в разведку, участвовал в атаках, делил радости и горе солдатской жизни. Он был для нас олицетворением юности, светлого будущего, и мы берегли его, хотя знали, что на войне смерть ежеминутно подстерегает каждого. Он был башнером на моем командирском танке. Мне казалось, что это самое безопасное место: танк находился на моем командном пункте в одном-двух километрах от врага и был лучше защищен.

День 21 августа был жарким и спокойным. Казалось, гитлеровцы предоставили нам выходной. К полудню, разморенные зноем, измученные бесперывными походами и боями, бойцы прикорнули в траншеях. Но во второй половине дня сотни самолетов несколькими волнами нахлынули на нашу оборону и начали кромсать ее. Все содрогалось от взрывов сверхтяжелых бомб и сильного артиллерийского огня. Истошно визжали над нами мины немецких шестиствольных минометов. «Мессершмитты» на бреющем полете обстреливали из пулеметов все живое. А по земле в нашу сторону ползли, еще еле видимые в бинокль, мощные танки, их догоняли быстрые бронетранспортеры с автоматчиками.

Немцы наступали методично, с нарастающей силой. Наш изрядно ослабевший фронт был прорван. На правом фланге образовалась зияющая брешь, в которую устремились немецкие танки. В рядах наших войск обозначались зловещие признаки паники. В этот критический момент командир соседней 23-й мотобригады Александр Головачев, встав во весь рост, повел за собой офицеров своего штаба и бойцов комендантского взвода в контратаку. Отходящие подразделения остановились. Я видел со своего КП, как к Головачеву со всех сторон устремились люди. Контратакующая группа увеличилась, росла, и вскоре все перемешалось в ожесточенной рукопашной схватке.

На помощь Головачеву я направил танковый батальон Осадчего и сам пошел с этим батальоном в атаку. На левом фланге усилила огонь соседняя с нами танковая бригада полковника Слюсаренко. Гитлеровская пехота не выдержала контратаки и, отрезанная от своих танков, стала откатываться. Немецкие танки продолжали наступать, не замечая отхода своей пехоты. Отдельные танки вышли к нам в тыл. Нужно было расправиться и с ними. Часть батальона Осадчего развернулась против фашистских танков. В тыл им двинулась группа Головачева, около меня находился последний резерв — два ганка, мой и начальника штаба, я их бросил на поддержку пехоты Голо-

вачева. Бой уже шел позади нас. Трудно было разобраться, чьи снаряды летят, кто стреляет. Боевые порядки смешались. Разобщенные подразделения, неуправляемые отдельные танковые группы дрались изолированно. Горели наши и вражеские танки, взрывались автомашины. Появились над полем боя наши самолеты. С воздуха они не могли разобраться в обстановке. Покружились над нами и отвалили в сторону. Два часа еще шел кровопролитный бой на нашем пятакке. Героически дралась пехота Головачева, храбро сражались танкисты Слюсаренко, истекали кровью танкисты моей бригады. Но в самый критический момент подошла помощь, и враг откатился.

К утру мы разыскали наш командирский танк. С распоротым боком, с разорванной на части гусеницей, он неуклюже уткнулся в воронку. Недалеко, в каких-нибудь двух-трех десятках метров от него, стояли два сгоревших фашистских танка с изуродованными башнями, с опущенными в землю хоботами-пушками и тут же перевернутый на бок фашистский тупорылый бронетранспортер. В заросшем бурьяном овражке, прикрытый куском рваного брезента, лежал Володя Самойлович. Рядом лежали его верные друзья — командир танка Евгений Белов, механик-водитель Борис Савиных. Оба были тяжело ранены и лишь каким-то чудом остались в живых.

От Белова нам стали известны подробности этого боя. Им удалось подбить четыре вражеских танка — Володя стрелял метко, — но они оказались в тылу у немецких танкистов. И тут один за другим два вражеских снаряда пронзили борт и основание башни танка, третий снаряд угодил в гусеницу, и она отлетела в сторону. Потерявшая подвижность машина зарылась в песок. Сраженные осколками, Борис Савиных и Евгений Белов распластались на снарядном ящике. Но Володя Самойлович не сдавался: пушка цела и был еще десяток снарядов. Оглушенный, обожженный, истекающий кровью, он продолжал неравную борьбу. Ни одного снаряда, ни единого патрона, ни одной ракеты не осталось в танке. Так закончил свою короткую жизнь наш юный ленинградец...

* * *

Возле Сташува мы догнали Головачева, Слюсаренко, Чугункова, тоже направляющихся в штаб армии. На опушке леса, недалеко от окраины города, сделали остановку. Познакомились с офицерами, вновь прибывшими на смену раненым и погибшим. Поблагурили — не часто представляется такая возможность. Кто-то предложит перекусить. Дмитриев, не страдавший отсутствием аппетита, ухватился за это предложение:

— Действительно, давайте подкрепимся: ведь в военторге штаба армии зимой и снега не выпросишь.

Вмиг раскинули плащ-палатку, и каждый выложил все, чем был богат, — консервы, хлеб, колбасу и, конечно, «зажигательное». Все оживились. Разговор перескакивал с одного на другое. Потом вспоминали прошлое: ведь как-никак встретились фронтовые друзья! Как всегда, за столом верховодил Саша Головачев. Его голубые глаза искрились. Подмигнув мне и Слюсаренко, он рассказал историю, которую мы старались особенно не разглашать, хотя никакой особой тайны она не представляла. Но когда оставались одни, мы не могли удержаться, чтоб не вспомнить о ней и еще раз не посмеяться.

В жизни часто смешное уживается с грустным. Так случилось и с нами на Вислинском плацдарме в последние августовские дни. Фашистам не удалось отбросить нас на восточный берег Вислы. Они окопались и перешли к обороне. Мы выполнили свою боевую задачу: плацдарм был нами завоеван, закреплен и подготовлен к дальнейшему прыжку на запад. Правда, силенок к этому времени для дальнейшего наступления у нас уже не хватало.

Трудно сказать, чем руководствовался командир нашего корпуса, требуя от нас активных наступательных действий, но атака была назначена на 9 часов утра. Разведка накануне сработала плохо, к тому же артиллерийская подготовка была жиденькая, а штурмовики генерала Рязанова активности не проявляли. Нам бы в пору обороняться, но приказ начальника не подлежал пересмотру. Для руководства боем свой КП я совместил с КП Головачева, продумали детали совместных действий и начали внезапную атаку.

Мы рассчитывали, что Слюсаренко одновременно с нами тоже пойдет в атаку, но наши расчеты не оправдались. Первые попытки моих танков и пехоты Головачева атаковать с ходу не увенчались успехом. «Мертвая» вражеская оборона вдруг оказалась живой. Бой принял невыгодный для нас оборот. Окопанные вражеские танки в упор расстреливали наступающие подразделения. На наши головы сыпались сотни снарядов и мин. Откуда-то завизжали тягучие и нудные шестиствольные минометы, заковыляла в воздухе «рама» — предвестница авиационных атак. Наше наступление захлебнулось, мы отошли на исходное положение. После неудачных сражений и принятых мер по восстановлению положения сидели мы с Головачевым, переполненные злостью, негодовали на неуместный приказ о ничем не оправданном наступлении, негодовали на нашего друга Захара Слюсаренко за опоздание, в общем, злились на все и всех на свете. А тут еще позвонил генерал Рыбалко.

— Безобразие, идете в бой без разведки, без продуманной организации! Вы, Драгунский, просто поджигатель своих танков! Сегодня по вашей милости уничтожена дневная выработка целого танкового завода, — бушевал он и грозил трибуналом.

Телефонная трубка прыгала в моей дрожащей от волнения руке. Меня не столько испугала угроза отдачи под суд — я верил в свою правоту, — сколько огорчал несправедливый гнев командарма, которого я искренне уважал. Слова его звучали страшнее любого приговора. С трогательным сочувствием смотрели на меня Головачев, офицеры его штаба и мои заместители — свидетели этого телефонного разговора.

— Ладно, хватит, земляк, киснуть, — успокаивал меня Головачев, — сами отдали приказ, требовали, а теперь — пожалуйста бриться!

В эту минуту в нашу тесную щель по-кошачьи спрыгнул командир 56-й танковой бригады Захар Слюсаренко. Головачев с ходу накинулся на него и выдал ему сполна все, что у нас накопилось.

— Да вы сами видели — против меня окопалось несколько десятков танков, куда я мог пойти? Это вы горячие головы! Разве можно так воевать?

Слюсаренко по-своему был прав. Осторожность и правильный расчет — дело важное. За нами же числился грешок: мы с Головачевым иногда бывали не в меру горячи.

Постепенно страсти улеглись, мы немного успокоились. Да и немцы после еще нескольких ожесточенных огневых залетов внезапно умолкли. Мы вспомнили, что со вчерашнего дня во рту у нас не было и крошки хлеба. Кто-то подsunул нам затвердевшую пшеничную кашу, показавшуюся сейчас деликатесом. Но тут прошипел зуммер, телефонист протянул мне трубку. С опаской взял я ее и услышал голос комкора:

— Доложите, как развивается наступление?

Я пытался объяснить ему невозможность наступать наличными средствами и силами. Генерал Митрофанов резко оборвал меня:

— Как же вам не стыдно? Слюсаренко уже продвинулся на четыре километра. Головачев без танков и тот одной пехотой ушел вперед, а вы топчетесь на месте, я вас совершенно не узнаю. До сих пор о вашей бригаде, да и о вас был совсем другого мнения.

Еще долго корил меня комкор, не желая слушать моих доводов. Не мог же я ему доложить, что и 56-я бригада Слюсаренко, и 23-я мотобригада Головачева, как и моя 55-я танковая, находятся по-прежнему на своих исходных позициях.

— К вечеру приеду и на месте разберусь, — заявил генерал Митрофанов.

Слюсаренко хитровато молчал, а Головачев, широко улыбаясь, воскликнул:

— Ну, Захар, поздравляю тебя с успешным наступлением. Ишь, отмахал на четыре уже километра.

Но не прошло и десяти минут, как тот же телефонист безмолвно протянул телефонную трубку Слюсаренко. Захар Карпович, осторожно взяв ее, услышал голос комкора:

— Доложите обстановку.

— Сижу на месте, не могу прорвать оборону.

— А пытались это делать? — допытывался генерал Митрофанов.

— Передо мной окопанные танки, самоходки, и идти на рожон, нести неоправданные потери нет смысла...

Не дав Слюсаренко договорить, генерал принялся отчитывать его:

— Драгунский прорвался вперед на пять километров, а вы на солнышке греетесь. Как же это получается?

Захар Слюсаренко, присев на корточки, продолжал оправдываться перед генералом.

— Не трать, куме, силы, спускайся на дно,— пошутил Головачев, обращаясь к Слюсаренко.

А мне polegало: я понял, что нас с Захаром «берут на пушку» и что я не одинок.

Когда же через несколько минут связист передал Головачеву зловещую телефонную трубку, в землянке раздался громовой хохот. Мы никак не могли сдержать охватившего нас смеха, давились, прикрывали рукой рот. Головачев, зажав ладонью трубку, долго молчал, пытаясь успокоить самого себя и друзей.

— Александр Алексеевич, никак не ожидал от вас такой пассивности. Почему вы сплеховали? Могли же вы пойти вслед за 55-й и 56-й бригадами. Они уже давно ушли. Прошу вас, примите необходимые меры.

Головачев был любимцем в нашей армии. Его смелость, находчивость и честность в равной степени подкупали и командиров и солдат его бригады. С его мнением считалось все начальство. Лицо Головачева задергалось— это был признак нервозности,— левой рукой он поправил свою кубанку, с которой не расставался ни днем, ни ночью, ни зимой, ни летом.

— Наступать бесполезно, товарищ генерал. Мы угрожим понапрасну людей. Помогите людьми, артиллерией — тогда мы сможем наступать.

— А как же те бригады наступают? Драгунский и Слюсаренко помощи не просят,— продолжал комкор.

— Никто из них не наступает. Их бригады окопались и стоят на месте. А сами-то командиры бригад сидят у меня в блиндаже, вот здесь, рядом, и уминают кашу,— продолжал правдолюбец Головачев.

Воцарилось гробовое молчание.

— К вечеру буду у вас. Виповных накажу самым строжайшим образом... Я вам покажу, как обманывать!..— взорвался комкор.

Но Василий Андреевич ни в этот день, ни в последующие у нас не появлялся...

Головачев закончил рассказ под дружный смех товарищей. А я, вспоминая перипетии этого дня и наши переживания, в который уже раз удивился способности человека находить смешное даже в таких драматических обстоятельствах...

Мы продолжали наш путь в штаб армии, а я думал о финале этого эпизода. Как ни избегал я встречи с моим командиром корпуса, она все-таки состоялась. Генерал вызвал меня к себе. Встревоженный и смущенный вошел я в низкую землянку, упрянтанную в небольшом овраге на берегу Вислы. Зная характер Митрофанова, я ожидал, что на мою голову сейчас обрушатся громы и молнии. И вдруг — крепкое, дружеское рукопожатие, добрая улыбка на широком лице генерала. Потом объятия начальника политотдела корпуса Андрея Владимировича Новикова, затем последовало угощение — свежие щи с куском мяса! — разговоры, расспросы, отеческие укоры, назидания, и на десерт мне был объявлен приказ: в мое подчинение переходят все танки, вся артиллерия, вся пехота 7-го гвардейского танкового корпуса. Штабы бригад, штаб корпуса ночью покидают Сандомирский плацдарм и уходят на восточный берег Вислы на отдых и переформирование. Моя же задача — стоять насмерть и удержать занимаемый участок Сандомирского плацдарма.

В Сташуве шофер резко притормозил машину прямо перед девушкой-регулирующей — моей давнишней знакомой.

— Не опоздали, Машенька? — спросил я ее.

— Нет. Разве наши опаздывают? — улыбаясь, говорила она, и ее большие синие глаза радостно сияли.

Девушка молодцевато взмахнула флажком, указывая нам путь к штабу армии Рыбалко.

— Привет однополчанам,— слышим мы ее звонкий голосок.

— Машенька, где в следующий раз будешь нас встречать? — выкрикивает начальник политотдела.

— На Одере буду встречать...

И слова ее сбылись.

Эта белокурая Машенька идет с нашей армией по дорогам войны от самого Киева. Она помогла моей бригаде выйти за линию фронта в памятные дни 1943 года в Паволочи. Она направляла своими флажками колонны моих танков и автомашин по дорогам Польши. Ночью с зеленым фонариком, в плащ-накидке она провожала наши танки к переправам на Висле, а потом и на Одере...

Штаб армии расположился в лесу за Сташувом. По лесным дорогам и просекам двигались вереницы машин — к назначенному времени подъезжали командиры полков и бригад, командиры корпусов, начальники штабов, начальники политотделов, весь руководящий состав 3-й гвардейской танковой армии.

Несколько больших госпитальных палаток, соединенных между собой, едва вместили всех. На столах разложены карты, на стенах развешены большие схемы с жирными красными и синими линиями и стрелами. На середине этого импровизированного зала стоял огромный ящик с песком, изображавший рельеф местности. Собравшиеся оживленно разговаривали, дожидаясь приезда командующего фронтом маршала Конева. Многих из тех, кого я знал и видел в июне сорок четвертого, не было среди командиров бригад и полков. Одни из них погибли в последних битвах на Висле, другие были ранены и находились в госпиталях. Появились новые командиры частей и соединений.

Вдруг раздалась команда «смирно!», поданная зычным голосом начальника оперативного отдела, полковником Еременко. Замолкли разговоры, прекратились воспоминания. Сопровождаемый группой генералов, вошел маршал Конев.

Все мы знали, что в скором времени предстоит большое наступление. Недаром же на этом плацдарме сосредоточились танковые армии Рыбалко и Лелюшенко, общевойсковые армии Жадова, Коротеева, Гордова, Курочкина, Коровникова и многие другие объединения и соединения. Наш Украинский фронт стоял на одном из главных направлений — отсюда шел кратчайший путь к жизненным центрам Германии.

Начальник штаба армии генерал Дмитрий Дмитриевич Бахметьев доложил план операции. Говорил он хорошо, гладко, без конспектов. Большая указка легко скользила по рубежам обороны противника, по жирным красным стрелам нашего предполагаемого наступления. Взгляд больших умных глаз Дмитрия Дмитриевича был устремлен на командующего фронтом. Казалось, он не нам, а только одному маршалу Коневу рассказывает о предстоящем прорыве глубоко эшелонированной обороны противника вдоль рек Нида, Пилица, Варта, Одер. Эти рубежи, связанные между собой опорными пунктами, пока еще не были заняты войсками. Познакомив нас с силами противника и с местностью, на которой нам предстоит воевать, Дмитрий Дмитриевич стал излагать план предстоящих действий армии.

Главный удар войск 1-го Украинского фронта направлялся на Ченстохов, Радомско. Обходящие стрелы шли на Краков и в обход Силезского промышленного района. Жирные стрелы по схеме выводили войска в центральную и южную части Германии. Этот удар отрезал Венгрию, Чехословакию с их высоким промышленно-экономическим потенциалом от Германии и раскалывал ее самое на две части.

Доклад генерала Бахметьева подходил к концу: он перешел уже к распределению сил и средств по корпусам. Маршал Конев вдруг встал, подошел к одной из схем, внимательно посмотрел на нее и спросил Бахметьева:

— А куда вы загнали истребительно-артиллерийскую бригаду? Почему она оказалась в хвосте?

Генерал Бахметьев снял очки, медленно протер их, посмотрел на схему, перевел взгляд на Конева и спокойно ответил:

— Товарищ маршал, мы исходили из того, что танки более подвижны, они могут быстро завязать бой. Артиллерия на тягачах менее поворотлива и скует действия вторых эшелонов и резервов.

— Танки-то завяжут бой, а кто развяжет? Ну что ж, если вы не находите дела для приданной вам артиллерии, оставляете ее в обозах, я буду вынужден передать ее генералу Лелюшенко...

Бахметьев растерялся.

— Товарищ маршал, эту ошибку я исправлю,— быстро нашелся Павел Семенович Рыбалко.— Мы раздадим артиллерию по колоннам и поставим ее ближе к голове. Должен вам доложить, что это мой просчет. Вчера начальник штаба предложил вариант, близкий к вашему. Я его не утвердил. А вот сейчас Дмитрий Дмитриевич решил меня выгородить и, как видите, попал впросак.

Все рассмеялись. Улыбнулся и Конев.

— Запомните, товарищи,— продолжал он.— Мы обязаны упредить врага. Нам нужно прийти раньше немцев к Ниде, Пилице, Варте, Одеру. Не дать им укрепиться на этих рубежах — это основное. Сумеем это сделать — враг будет разгромлен с ходу и задача будет нами решена. А решать ее должны наши танковые соединения, мобильные и быстрые передовые отряды.

Слушая затем генерала Рыбалко, излагавшего подробный план действий, я думал и о роли моей бригады в будущих боях. Свое решение командарм доводил до нас четко, доходчиво.

В заключение выступил Иван Степанович Конев. Он медленно встал, взял указку и подошел к схеме.

— Командующий армией генерал Рыбалко и его начальник штаба генерал Бахметьев,— заговорил он,— уже изложили вам план операций и предполагаемых действий. С ним я согласен, их решение будет рассмотрено и утверждено. Артиллерию, Павел Семенович, поставьте в голову колонны. Это вопрос принципиальный. Надо, чтобы танки были свободны в своих действиях, а не скованы, не втянуты в бой с головными силами противника. Если артиллерия будет в голове, она скует действия противника. даст возможность своевременно развернуться нашим танкам, и под прикрытием артиллерии танки смогут выбрать уязвимый фланг и бить противника по частям. Кроме того, артиллерия, будучи ближе к голове, сможет лучше поддержать своим огнем атаку танков.

Иван Степанович оторвался от карты, подошел к нам, окинул острым взглядом сидящих впереди и продолжал:

— Мы с вами стоим уже у порога фашистской Германии, необходим еще один прыжок на пути к нашей полной победе. Нам выпала честь одними из первых ворваться в пределы этой страны. Чем ближе к заветной цели, тем ожесточеннее будет борьба. Задача эта нам по плечу. Наш Первый Украинский фронт располагает огромной ударной и огневой силой. Танковые армии Рыбалко и Лелюшенко, механизированные и танковые корпуса фронта нацелены на запад. Им предстоит вырваться вперед, с ходу захватить водные преграды Ниду, Пилицу, Вислу, Одер. Овладеть оборонительными рубежами, крупными железнодорожными узлами Кельце, Радомско, Ченстохов, Краков, парализовать тылы, расстроить управление войсками.

Я сидел впереди и видел, как у этого сурового, спокойного человека загорелись глаза.

— Не вязывайтесь в мелкие стычки, обходите узлы сопротивления, не задерживайтесь в городах, выходите на оперативные просторы, не оглядывайтесь по сторонам и не ищите флангов. В руках фронта наши танковые войска — это стальная стрела, которая должна проникнуть далеко в глубь Германии. В центре, на фланге и вместе с вами идут общевойсковые армии Жадова, Курочкина, Гордова, Коротеева, Коровникова. Они на своем пути все подберут, все подчистят. Я знаю вас по предыдущим боям, хорошо знаком с вашим командующим Павлом Семеновичем Рыбалко. Это дает мне основание надеяться на то, что действия наших мужественных танкистов будут успешны.

Я жадно всматривался в маршала, о котором так много слышал еще с тех пор, как в ранней молодости лейтенантом служил на Дальнем Востоке. Впервые я встретился с И. С. Коневым в тяжелое время — под Ржевом глубокой осенью 1941 года. Через год наш 3-й механизированный корпус входил в состав Калининского

фронта, которым командовал Иван Степанович. В дальнейшем фронтовые дороги скрещивались у Белгорода, Харькова, на Левобережье Украины. Но особенно запомнилась встреча в первых числах июня сорок четвертого. Недалеко от Тернополя в живописном лесу на большой поляне собрались командиры корпусов и бригад. Шла подготовка к Львовско-Перемышльской операции. В присутствии вновь назначенного командующего фронтом маршала Конева командиры корпусов докладывали свои решения.

Я думал — на этом кончится розыгрыш боевых действий. Но не тут-то было! Командующий добрался и до командиров бригад, предназначенных для действий в качестве передовых отрядов. На нашу голову обрушились десятки вопросов. Он вникал в детали наших решений, мимо него не прошли вопросы взаимодействия, материального и технического обеспечения. Бросались в глаза расчетливость, глубокое понимание вопроса, умение использовать танковые массы в боях и операциях. Высокая требовательность сочеталась со справедливостью. В дальнейшем в ходе боев не раз я видел его в боевых порядках войск, сражающихся на главном направлении, на самых опасных участках фронта...

И вот теперь, организуя одну из крупнейших операций войны — Висло-Одерскую, — контролируя готовность войск и штабов, он выглядел особенно торжественно-строгим.

Закончив свое выступление, командующий фронтом попрощался с нами и уехал в другую армию.

Позднее, когда все стали разъезжаться по своим местам, командир корпуса оставил нас в палатке, объявил свое решение. А перед самым отъездом напомнил:

— Смотрите, товарищ Драгунский, командарм приказал после реки Нида вашу бригаду пустить в передовой отряд. Это вас устраивает?

— Вполне, — ответил я. — Все будет в порядке, товарищ генерал!

Мы тепло попрощались. Каждый спешил добраться до своей части. На открытом «виллисе» мы мчались в свое расположение. Все мысли были заняты предстоящими боевыми действиями. Итак, снова в передовом отряде...

Я обернулся к своим друзьям, которые тоже, видимо, думали о поставленной нам новой задаче.

— Александр Павлович, что ты думаешь насчет передового отряда? Нас же снова будут ругать? Никак не угодишь! Ругают за то, что вырвался далеко, ругают за то, что не оторвался от своих войск, — улыбаясь, заметил я.

— Ничего, за битого двух небитых дают, — успокоил меня Дмитриев. — Прогуляемся по вражеским тылам — нам это не впервой. Надо серьезно все продумать: тыл-то теперь будет чужой, враждебный.

— Сегодня отдохнем, а завтра начнем готовиться, — повеселевшим голосом предложил начальник штаба.

Когда мы подъехали к месту расположения бригады, часовой быстро открыл впаугбаум, и через несколько минут мы очутились в натопленной землянке. Какой она показалась нам уютной! Мой адъютант Петр Кожемяков накрыл на стол. Из котелков с наваристым украинским борщом валил пар.

После ужина начальник штаба Свербихин ушел к себе, а мы с Дмитриевым пошли по землянкам. Надо было повидаться с командирами батальонов, рот, поговорить с танкистами о предстоящих делах. После ярко освещенной землянки лес показался нам сплошной черной стеной. Постепенно глаза свыклись с темнотой, и мы стали различать лесные тропинки и просеки. То тут, то там вверх взлетали золотистые фонтаны — искры из труб печурок, обогревающих людей в землянках. Жизнь в землянках была ключом: в одних офицеры склеивали карты, изучали по справочнику местность; во втором батальоне шло партийное собрание, обсуждали задачи коммунистов в предстоящем бою. Мы присели на корточки и слушали дельные выступления коммунистов. Обойдя подразделения, немного уставшие, но радостные, мы возвратились к себе.

С этого дня подготовка к предстоящему наступлению пошла полным ходом: танкисты, переодетые для маскировки в форму других родов войск с утра до позднего вечера ездили к переднему краю, механики-водители буквально ощупывали руками

мосты; саперы ремонтировали дороги, артиллеристы оборудовали огневые позиции; танки загружались снарядами, патронами и продовольствием.

Боевая задача доводилась до каждого солдата. На партийных собраниях, созванных накоротке, принимали в партию идущих в бой. Солдаты писали на родину бодрые, теплые письма...

Час наступления приближался.

НА ОПЕРАТИВНЫХ ПРОСТОРАХ

Последние хлопоты, связанные с подготовкой к предстоящему наступлению, закончились. Угомонился взбудораженный лагерь. Темнота окутала все вокруг. Бесконечной, казалось, была эта тревожная ночь. Мысли о предстоящих боях, о судьбах однополчан-танкистов не покидали меня. Только перед самым рассветом я забылся во сне.

— Началось,— раздался над самым ухом голос адъютанта.

В распахнутые двери землянки ворвались медные звуки горна, и через несколько минут ожил дремавший лес. Из землянок, застегивая на ходу телогрейки, полушубки, комбинезоны, подгоняемые сигналом и легким морозцем, бежали танкисты, артиллеристы, десантники-автоматчики к своим танкам, орудиям, автомашинам. Слетали на землю брезенты и маскировочные сетки. Скрежетали люки башен. Густой дым от заведенных моторов накрыл весь участок леса.

Откуда-то издалека, с переднего края, доносились глухие разрывы снарядов. Мы знали, что в эти часы штурмовые отряды 1-го Украинского фронта, поднятые маршалом Коневым 12 января, пошли в атаку. В последнее время нервы у немцев стали сдавать. Особенно это было заметно по мере приближения наших войск к границам рейха. Сегодня они также не выдержали. Атаку передовых батальонов фашисты приняли как наступление главных сил нашего фронта.

На атакующие батальоны обрушился огонь артиллерии, минометов. Пошли в ход резервы противника. Этого и добивался командующий войсками фронта. Теперь ему уже докладывали о местонахождении вражеских артиллерийских позиций, об опорных пунктах, узлах связи, командных пунктах.

Атака наших передовых батальонов была только началом — развязка наступила тогда, когда с рассветом началась двухчасовая артиллерийская подготовка. В мощи огня чувствовался артиллерийский почерк Ивана Степановича Конева — он, как никто другой, мастерски умел концентрировать артиллерию в нужный момент на главном и решающем направлении. Создавая плотность артиллерии до трехсот орудий на километр фронта, командующий обеспечивал надежный прорыв обороны, прорубал артогнем ворота во вражеской обороне, направляя и пропуская через них свои главные силы. Десятки тысяч снарядов и мин, фугасных бомб кромсали оборону немцев. Управление было парализовано, окопы и траншеи заполнились трупами немецких солдат и офицеров.

В этот день с Сандомирского плацдарма ринулись в наступление войска генералов Гордова, Пухова, Коротеева, Жадова, Курочкина, Коровникова. Во втором эшелоне стояли танкисты армий Рыбалко и Лелюшенко. Мы были готовы ринуться вперед, с ходу форсировать реки Ниду, Пилицу, Варту и дальше идти на Одер.

Началась одна из самых больших наступательных операций по вторжению советских войск в Германию.

Морозное утро. Лесная тишина далеко разносила торжественно произнесенные слова команды: «Под знамя, смирно!» Перед строем проплывало алое полотнище гвардейского знамени, с которого на танкистов смотрит лицо Ильича. Знамя держал Герой Советского Союза старший сержант Николай Никитович Новиков, ассистентом у знамени — прославленный пулеметчик, сын азербайджанского народа Герой Советского Союза Аваз Касимович Вердиев.

Короткий митинг был открыт. На нем выступали ветераны бригады Клим Мокров, Николай Новиков. Выступали те, кто в суровые дни сорок первого года вел неравные смертельные бои с фашистами под Белостоком и Ковелем, в Прибалтике и под Ленин-

градом, под Москвой и Одессой. Мы долго ждали этого дня. Сегодня открывалась еще одна страница войны — начинался поход к немецкой границе, в Германию.

По установившейся у гвардейцев традиции я опустился на колени, рядом со мной мои боевые друзья Дмитриев, Свербихин, Каленников, Леонов, Лакуниц, комбаты и ротные, командиры взводов, старшины, сержанты и тысяча солдат.

Впереди я увидел усатого сапера уральца Мельникова, а рядом с ним на коленях стояли мальчишки Рябовы: детскими звонкими голосами они торжественно повторяли слова клятвы верности Родине и нашему боевому знамени. Я не мог оторвать взгляд от этих юных бойцов-комсомольцев. Невольно перед глазами проходила их короткая, ясная жизнь, которая была мне известна с их же слов. Я знал этих ребят с Днепра. Их присутствие всегда вселяло в сердца старших какое-то особенно радостное чувство.

Они очень похожи друг на друга, их даже можно принять за близнецов. Но познакомившись поближе, видишь различие в характере: Валентин — бойчее, разговорчивее, Михаил — более сдержан, чувствуется, что он полагается на брата, как на старшего.

Были они с Кубани. В тяжкие дни 1942 года Валентин, учившийся в ремесленном училище, вернулся из города в станицу. Отец — Василий Дмитриевич Рябов — к тому времени ушел на фронт. Мать умерла. Дома застал Валентин только одного братишку — пятнадцатилетнего Мишу. Что делать? Долго думали, ярили ребята и решили отправиться в военкомат. Но в армию их не взяли. Взвалив на плечи мешки с харчами, ушли ребята из родной станицы, к которой приближалась война, эвакуировались в тыл и там снова пошли в военкомат. На этот раз Валентина взяли в армию, а Михаилу отказали. Когда призывников стали строить в колонну, Валентин сказал брату:

— Становись, Мишка, в ряд. Если будут проверять по списку, назови мое имя. В колонне никто тебя не обнаружит...

Так и сделали. В колонне пошли братья к вокзалу, сели в вагон. Когда пополнение прибыло в маршевую роту и прибывших стали рассчитывать по порядку, вместо ста получилось сто один. Рассчитали еще раз, и опять получилось сто один.

— Кто-то лишний, — сказал командир, — ну да ладно, пусть будет сто один.

Братья повеселели — значит, номер удался. На фронт ребята попали под Днепром в конце 1943 года. Стояли сырые, холодные дни, дули пронизывающие ветры. Братьев послали в разведку — Валентина в группе, отправляющейся за «языком», Михаила — на поиски места для переправы. С заданием оба справились успешно, и их так и оставили в разведке. Они стали отличными разведчиками. На груди каждого было уже по два ордена и по медали.

Новиков, Вердиев и весь знаменый взвод направились в голову колонны и установили знамя на моем командирском танке.

Громкое «ура!» перекачивалось по колонне, смешиваясь с эхом артиллерийской канонады. Зычная команда «по машинам!» — и люди стремглав бросились к танкам, на бронетранспортеры, к орудиям. Над колонной взвились разноцветные командирские флажки. Команда «заводи!» — и лес застонал от взревевших моторов, лязга гусениц, скрипа колес. Еще один энергичный взмах флажком — и люди, танки, повинаясь команде, устремились на запад.

Только к ночи бригада вышла в назначенный район. Двумя колоннами уткнулась в берег реки Нида. Сегодня я еще раз убедился, как нелегко совершать марш в тылах своих войск. Казалось, все было предусмотрено, все рассчитано, расписано, даже на картах и ящиках с песком проиграно и отрепетировано. И все же целый день пришлось наталкиваться на медико-санитарные батальоны общевойсковых армий, на кухни и обозы дивизий первых эшелонов. Кого только мы не встретили в этот день на своем пути! Даже военторговские обозы и те путались у нас под ногами.

Комбату Федорову, идущему со своим батальоном впереди бригады, пришлось основательно поработать. Просьбы сменялись угрозами. Когда и это не давало результатов, приходилось выдвигать вперед танки, которые «культурненько» прижимали к обочине дороги все и вся, расчищая таким образом путь нашей колонне.

Задача, поставленная перед бригадой, идущей в передовом отряде, была предельно ясной: обогнать части 9-го механизированного корпуса генерала Сухова, пройти через

боевые порядки 52-й армии генерала Коротеева, войти в прорыв через ворота, прорубленные этими войсками, и устремиться вперед, в оперативную глубину. Наш командарм и его штаб, разрабатывая эту операцию, особое внимание уделили передовым отрядам, которые должны были не вязываться в мелкие бои и стычки, не оглядываться по сторонам, обходить населенные пункты и оказаться далеко во вражеском тылу, захватывая в глубине противника аэродромы, железнодорожные станции, рубежи обороны, важные жизненные центры, деморализуя управление и снабжение вражеских войск.

Павел Семенович Рыбалко пристально наблюдал, как выходят в свои исходные районы бригады, предназначенные для действий в передовых отрядах. Командарм верил людям, доверял им, знал их. Сам подсказывал, кого можно послать для выполнения дерзких и смелых действий, кого следует назначить на прорыв обороны, кто может быть использован для закрепления плацдармов...

Рассекая кромешную темь и мокрый снег, подкатил к нам в реденький лесок «виллис» генерала Рыбалко. По широкой улыбке, по радостно сияющим глазам генерала чувствовалось, что дела на фронте идут успешно.

— У вас все готово?

— Абсолютно все,— отвечал я командарму, хотя тылы бригады пока еще застряли в хвосте войск 52-й армии, но я рассчитывал, что к утру они приползут. Я же хорошо знаю своего начальника тыла Леонова — он со своим обозом через ушко иголки проберется, но будет обязательно.

— Задачу все уяснили?

— Все, товарищ генерал.

— Как будете брать Енджеюв?

— По обстановке. Во всяком случае, товарищ генерал, решил действовать без оглядки.

— Это правильно.

Сурово взглянув на меня, Рыбалко, подняв сжатый кулак, указал им в сторону фронта.

— Темпы, темпы нужны! Вам надо оторваться завтра на шестьдесят—восемьдесят километров от линии фронта, захватить Енджеюв, перерезать дорогу Кельце—Краков, захватить аэродром. Вы должны завтра же пройти с огоньком и к вечеру быть в Енджеюве. Поняли меня?

Я внимательно слушал командарма. Этот обычно уравновешенный человек сейчас предстал передо мной в совсем другом облике — по-юношески задорным, темпераментным.

— Товарищ командующий, я так и понял свою задачу. Больше того, если не подойдет вовремя Головачев, буду одной своей бригадой брать город, а частью сил захвачу аэродром и перережу дорогу на Краков.

— Это было бы очень хорошо,— вставил Рыбалко.— Во всяком случае завтра к исходу дня буду у вас в Енджеюве.

— Милости прошу, обязательно приезжайте,— пригласил я его как будто к себе в дом на ужин.

По глазам командарма я понял: мои планы он одобряет.

Через несколько минут мы уже были с ним недалеко от полуразрушенного моста через Ниду, где застыл батальон Федорова. На мосту копошились саперы, а правее его бригадный инженер Быстров взрывал ледяную корку на реке, подготавливая проходы для танков. Здесь же, на берегу, направляя на измятую, замызганную карту луч маленького фонарика, Федоров доложил командарму полученную задачу.

Рыбалко иронически посмотрел на комбата:

— Не заплутаетесь с такой картой?

— Никак нет, товарищ генерал, выйду и без карты, куда приказано.

— Вы правы, воюют на местности, на земле. Но все же комбату надо видеть дальше, а без карты дальше своего носа не увидишь.— И тут же по свойственной ему манере быстро меняя тему спросил: — Как будете брать Велюнь?

Вопрос этот для комбата был неожиданным. вель такой задачи ему не ставили. Город Велюнь находился в полтораста километрах от линии фронта.

— Для командира батальона это уж далековато,— пытался я заступиться за Федорова.

— Неправильно,— резко оборвал меня Рыбалко,— он должен знать главное направление удара, он должен иметь в руках план Берлина.

Спорить с командармом я не собирался, хотя Павел Семенович был не совсем прав. Откуда командирам батальонов знать замысел фронтовой или армейской операции? Даже мы, командиры бригад, не были посвящены в планы фронтового командования. Среднее руководящее звено — командиры полков, бригад, дивизий — не знало деталей даже армейских операций. Да это было нам и ни к чему. Для нас всегда наши действия, наши удары были решающими, и всегда мы считали себя на главном направлении. На пути нашего наступления каждый город, каждая деревня, любой опорный пункт или оборонительный рубеж были главными. Этого по крайней мере всегда требовал от нас сам Рыбалко.

Теперь, стоя на берегу Ниды, командарм продолжал отчитывать меня:

— Воюют роты, батальоны. От их действий зависит успех корпусов, армий и, если хотите знать, успех фронта. А вы обрекаете ваших комбатов на полное незнание обстановки и перспектив дальнейших действий.

Я попытался было сослаться на наши наставления, которые не рекомендуют говорить лишнего подчиненным в целях соблюдения секретности. Сказал — и сам был не рад этому. Командующий сурово сказал:

— Я наставления знаю не хуже вас, сам участвовал в их разработке. Но поймите, наш офицер заслуживает большего доверия. Пусть знает комбат наши планы, наши перспективы. Пусть зримо ощущает Одер, Дрезден, Берлин и всю нашу конечную победу... Не беда, если мы нарушим уставы и наставления,— продолжал Павел Семенович.— Мы — не немцы, слепо придерживаться уставов не будем. Знаете, что говорил по этому поводу еще Петр Первый? «Не держись устава, яко слепой стены...»

Усилившаяся артиллерийская стрельба, зарево пожаров напоминали нам, что сейчас не время и не место для дебатов. Командарм заторопился на свой командный пункт — назавтра ему предстояло вводить в сражение главные силы танковой армии.

— Ну что же, друзья, мне пора ехать. Не забывайте, бои будут ожесточенные. Мы сейчас воюем за себя, за нашу родину и за наших союзников. Вы, наверное, слышали, что союзники зажаты под Арденнами. Надо им помочь. Иначе им придется туго.— Он лукаво улыбнулся.

Генерал Рыбалко любил и умел поговорить с людьми. Сказывался его комиссарский опыт времен гражданской войны, когда он поднимал свой кавалерийский полк на разгром деникинцев и белополяков.

— Вот мы и ударим с огнем,— продолжал он.— Скоро, совсем скоро встанем обеими ногами на немецкой земле. А вам, вашей бригаде, быть первыми. Понятно?

Командарм дружески простился с нами, по-юношески легко вскочил в машину, будто в седло прыгнул, и скрылся в непроглядной тьме.

На второй день гигантского зимнего наступления войска фронта вышли на западный берег Ниды. Артиллерия и минометы взорвали плотину, вскрыли ледяную корку, спустили воду, и «тридцатьчетверки» перешли реку вброд.

Мы двигались мимо развороченных дзотов, мимо изуродованных оборонительных сооружений немцев, проходили по очищенным от мин дорогам. Путь на Енджеув был открыт.

В эфир передали мою команду оставить шоссе, уйти с центральной магистрали — мы действовали по выработанной в предыдущих боях тактике обходов. Вся бригада поползла оврагами, балками, по бездорожью. Первый батальон выскочил южнее и юго-западнее города. Удар Федорова был настолько быстрым и внезапным, что немцы не успели опомниться. Одна из рот батальона захватила железнодорожную станцию, другая вышла к аэродрому. Немцы даже не пытались обороняться — они приняли вначале наши танки за свои. А когда разобрались, было уже поздно. С востока и юга подошли главные силы бригады. Сложились благоприятные условия для выполнения давно вы-

нашиваемого мною плана — развернуть бригаду и атаковать город с ходу, не терять ни одной минуты, не ждать подхода мотострелковой бригады Головачева.

Шестьдесят пять танков и двадцать самоходок развернулись в боевую линию. В воздух взвилась ракета, и сотни снарядов полетели на головы фашистов. Вслед за десятиминутным огневым налетом танки ринулись вперед, преодолевая противотанковые и противопехотные сооружения, через полчаса они уже добрались до окраины Енджеюва. Боевой азарт увлек меня в цепь автоматчиков, которые с криками «ура!» неслись вслед за танками. Слева и справа от меня бежали начальник политотдела, офицеры штаба. Неприцельный, неорганизованный и неуправляемый огонь противника постепенно стихал.

Немцы отходили к городу, надеясь, что стены домов спасут их. Наши танки, набирая скорость, мчались уже по улицам Енджеюва. Я вскочил на какой-то отставший танк, и он вынес меня на центральную площадь.

Город был в наших руках. Мы захватили тысячи пленных, аэродром с уцелевшими самолетами, огромные склады. Освободили два эшелона советских ребят, которых гнали на запад, в фашистскую неволю.

Очищение города от засевших гитлеровцев длилось недолго. Поляки помогали вылавливать фашистов, они же помогли организовать сборный пункт военнопленных.

Командир мотобригады — мой друг Александр Головачев был ошарашен, узнав, что наша 55-я танковая бригада находится уже в самом городе. Сначала он не поверил, и для уточнения обстановки одна его батарея успела сделать залп, но, к счастью, обошлось без потерь. Сразу же полетели радиogramмы командиру корпуса, командарму и Головачеву — прекратить огонь по городу.

Той же ночью я встретился с Головачевым.

— Почему ты меня не дождался? — корил он меня. — А еще земляк! Договорились о взаимодействии, составили таблицы, установили сигналы, а ты действуешь как партизан.

— Саша, ради бога, не сердись! Не мог я тебя ждать. И не волнуйся, впереди еще много городов, много деревень, не один еще раз повоюем вместе. До победы не так близко, как нам хотелось бы...

Головачев сердился, упрекал меня, а взгляд его был добрый, и я понял: в душе он был рад успеху моей бригады.

В Енджеюв прибыл начальник штаба армии генерал Бахметьев. Он осмотрел аэродром, железнодорожную станцию, распорядился эвакуировать пленных. Разобрался в обстановке, уточнил дальнейшую задачу бригады и на прощание неловко сжал меня в объятьях.

— Молодцы! Так и скажу Павлу Семеновичу. Ведь ваша бригада перерезала важную магистраль Кельце — Краков и вы открыли дорогу на Ченстохов. Туда мы с утра запустим бригаду Чугункова.

Из темноты вынырнул мой адъютант. Пригласил нас ужинать. Я уговорил Дмитрия Дмитриевича задержаться.

На маленьком столике в тесном штабном автобусе Петр Кожемяков разложил голландские шпроты, бельгийские кильки, венский шоколад, поставил бутылки французского коньяка «мартель» и «наполеон».

— Откуда у вас это? — удивился Дмитрий Дмитриевич.

— Двадцать вагонов вот такой снеди захватил командир первого батальона Федоров, — отчеканил начальник политотдела Дмитриев.

В ту же ночь танковые бригады, корпуса, вся наша танковая армия устремились в образовавшуюся брешь в обороне противника, ломая на пути его сопротивление. Войска ринулись вперед, обгоняя отступающих и бегущих на запад немцев. Вот он — оперативный простор, о котором все время твердил Иван Степанович Конев, о котором мечтали Павел Семенович Рыбалко и мы — командиры частей и соединений!

Не оглядываться назад, не бояться открытых флангов — только вперед и вперед, деморализуя тылы врага, нарушая его управление, уничтожая глубинные резервы — вот чего мы добивались в январские дни 1945 года.

Весь 1-й Украинский фронт развернулся широким веером. На правом фланге в

направлении Кельце глубоким клином врезалась армия Лелюшенко. Наша армия развивала стремительное наступление на Ченстохов. Южнее, на Краков, шли отдельные танковые корпуса фронта. Быстрыми темпами наступали войска Коротеева, Жадова, Курочкина, Гордова. Остановить эту танковую армаду и следовавший за нею человеческий поток, тысячи машин, десятки тысяч орудий и минометов было почти невозможно. Фашистские войска откатывались на запад, растворялись в лесах. Отступающие деморализованные войска спешно занимали заранее подготовленные, глубоко эшелонированные оборонительные рубежи. Подходившие из тыла резервы командование немецкой армии бросало в бой с ходу, разрозненно и неорганизованно.

Нида и Пилица с их оборонительными рубежами остались далеко позади нас. Это был уже глубокий тыл. С большим волнением мы подходили к реке Варта — прежней немецкой границе. Ночь на 18 января выдалась слякотной. Липкий, мокрый снег забивал смотровые щели в танках, на ветровых стеклах автомашин застревали очистители. Колонна преодолевала непролазную грязь со скоростью два-три километра в час. Пристроившись в хвосте какой-то колонны, мы почти что вслепую ползли следом за ней.

У самого моста я остановил бригаду. Шедшая впереди колонна с выключенными фарами миновала мост и скрылась в темноте. Бригадный инженер Быстров со своими саперами осматривал опоры, перила и все детали моста.

— Танки по этому мосту не пройдут, — таков был приговор инженера. — Усилить мост можно только утром — под руками нет никаких материалов.

— Завтра будет поздно, Николай Николаевич. Сегодня ночью мы должны быть на немецкой земле.

Танки, тяжело кряхтя, отошли в сторону, уступив место колонне автомашин, броневиков, радиостанций, идущих по мосту. Вместе с ними переправился и штаб бригады.

Вот мы и на немецкой земле. Темно. На дороге пустынно. Первый населенный пункт на германской территории встречает нас темными окнами брошенных каменных домов. На полной скорости проскакиваем в центр населенного пункта. Острое чувство сжимает сердце: ведь мы пришли сюда за справедливым возмездием, как судьи...

Инженер Быстров выполнил мой приказ. Танки бригады в эту же ночь переправились через Варту. Нелегко досталось это саперам и танкистам: уровень воды доходил до полутора метров, заливало люки механиков-водителей. Но мокрые, продрогшие танкисты за эту трудную ночь получили самую большую награду — они одними из первых достигли старой германской границы и обеими ногами встали на вражескую землю.

А меня все время донимало: кто проскочил впереди меня, какая часть, не сбилась ли с маршрута бригада Слюсаренко, не пристроилась ли она к хвосту Чугункова, не выкинет ли чего Головачев в отместку за Енджеюв?

И только когда стало уже совсем светло и рассеялся туман, удалось в конце концов разобраться. Выяснилось, что впереди нас всю ночь в непосредственной близости шел немецкий пехотный батальон. Он уходил на запад, а мы мирно следовали за ним. Этот батальон и привел нас к мосту, к переправе. Захваченный нами немецкий офицер признался, что они тоже не разобрались в обстановке, приняли нашу колонну за свою.

Смеясь в душе, смотрел я на Осадчего, шедшего в эту ночь впереди с головным отрядом. Комбат смутился и очень выразительно показал кулак разведчику Борису Савельеву. Оба прохлопали противника. Этот случай надолго остался предметом едких шуток в адрес Осадчего.

В тот же день я узнал, что бригады Слюсаренко и Головачева тоже форсировали Варту, но на других участках. Неудержимо неслась к границе 52-я армия генерала Коротеева. Наступление продолжалось по всему фронту. Теперь наши дороги проходили через горящие немецкие города и хутора. Недалеко от деревни, где на коротке остановился штаб бригады, плюхнулся подбитый нашей зениткой «мессершмитт». Произошло это настолько близко от нас, что мы различали лицо летчика. Раскачиваясь то вперед, то назад, чтобы укрыться от языков пламени, летчик тщетно силился отстегнуть ремни. Но подойти к самолету было совершенно невозможно: рвались снаряды, пылал бензин, трещал раскаленный дюралюминий. Я смотрел на эту картину, бессильный

помочь разлоту, и думал: вот так же горит Германия, подожженная руками фашистских разбойников, убийц и палачей.

Мы продолжали неотступно преследовать врага, с боями уходящего на запад. Последняя ночь застала нас в небольшом населенном пункте.

Лейтенант Бессонов, молодой, голубоглазый, совсем еще юноша, полушепотом командовал:

— За мной!

Автоматчики мгновенно соскочили с машин и устремились в первые дома. В них пусто. Их обитатели бежали. За поворотом кривой улочки из неплотно затемненных окон двухэтажного дома узкой полоской просачивался тусклый свет. Мы с автоматчиками вошли в дом, и нас уже на пороге встретили радостные крики: наши девушки, угнанные немцами из Херсона, Запорожья, Киева, укрылись в этом доме. Второй день они ждут здесь нас.

На столе неярко светила самодельная керосиновая лампа. Бледные, изможденные лица сияли:

— Мы так ждали вас, так ждали...

Девушки наперебой рассказывали о долгих месяцах фашистской неволи, о каторжном труде. Но нас торопил наш воинский долг — надо наступать на запад.

— Что нам делать? — в один голос спрашивали девчата.

— Собирайтесь в дорогу. Через день-другой вас увезут на родину.

Вышли из дома. Рядом со мной шагал лейтенант Бессонов. Он был мрачен, силится скрыть свое волнение, но ему это не удавалось. Я знал его уже второй год. На войну он пошел добровольцем после того, как был убит немцами его отец. Судьбе было угодно, чтобы молодой офицер прямо из военной школы попал в нашу часть, где воевал автоматчиком его отец.

Сейчас, разговаривая на немецкой земле с украинскими девушками, он, видно, вспомнил сожженные города и села Украины и Смоленщины, Белоруссии и Псковщины, смерть отца. Оттого и задумчив он и взволнован...

Мы забрались в свои машины и догнали колонну.

На дорогах и магистралях то и дело попадались толпы изможденных, оборванных людей — французов, бельгийцев, голландцев, чехов, датчан, югославов. Встречая наших солдат, они страдальчески улыбались, выразительно жестикулировали, плакали. «Рус, рус», «саветик», «братья», «виктория», «товарищ» — обращались они к нам. А мы шли все дальше и дальше. Наступаем днем и ночью. Куда девалась усталость! По радио только и слышно: «Вперед, вперед!»

Не встречая организованного сопротивления противника, мы действительно ушли далеко вперед и оторвались от общевойсковых армий чуть ли не на восемьдесят километров.

Как затравленный зверь, метался из стороны в сторону враг, искал лазейки, чтобы выскочить из наших «котлов», но везде наткнулся на танкистов Рыбалко и Лелюшенко, на дивизии Жадова и Коротеева, Курочкина и Гордова.

На марше, буквально с неба, к нам свалился желанный гость: офицер связи доставил на самолете ПО-2 карту. На ней красным карандашом был обведен город Велюнь. Это означало: повернуть бригаду на юго-запад, совершить марш-бросок на сто двадцать километров и к утру овладеть городом Велюнь.

Сборы были недолги. Пока Свербихин доводил новую задачу до комбатов, начальник тыла бригады Леонов организовал питание людей. Одновременно заправлялись горючим машины, пополнялись боеприпасами танки. С наступлением темноты бригада снова тронулась в путь.

Я прекрасно понимал трудность выполнения этой задачи. Вблизи нас советских войск не было нигде. Помощи ждать не от кого: Велюнь находился на большом удалении от наших передовых частей. Решение могло быть одно — ночью с ходу ворваться в город и, разделившись с гарнизоном, выполнить боевую задачу. В голову колонны был поставлен второй батальон, которым командовал Григорий Савченков. Я со штабом следовал за ним, ведя за собой два танковых батальона, батальон автоматчиков, артиллерийский дивизион. Решено было не соблюдать никаких уставных дистанций,

всю колонну сжать до предела, сделать ее компактной. Тыл бригады с надежной охраной мы оставили на месте, чтобы кухни, цистерны, ремонтные летучки не затрудняли маневра главных сил, не путались под ногами.

Выключив фары, растянувшись на несколько километров, наша танковая колонна неслась на всех парах по дорогам Германии. Мы обгоняли обозы и отдельные машины гитлеровцев. С немецкой педантичностью они аккуратно сходили на обочину, предоставляя нам асфальтированную дорогу. В темноте не разглядев нас, они, конечно, были уверены, что по их тыловым дорогам двигаются немецкие танковые части. На это мы и рассчитывали, решившись на столь необычный ночной рейд.

Я стоял в своем танке, упираясь ногами в снарядный ящик и держа в руках выносное радиоустройство, готовый в любую минуту развернуть бригаду и вступить в бой. Мимо нас мелькали немецкие городки, деревни, хутора, погруженные во мрак и безмолвие.

Перевалило далеко за полночь, когда, выскочив на опушку леса, мы очутились вблизи какого-то города. Ночью он казался диковинной громадой, распластанной в огромном котловане. В разных концах его светлячками мигали покачивающиеся на ветру затемненные электрические фонари. Мы вглядывались в карту, вглядывались в темноту, чтобы отыскать на местности какие-нибудь ориентиры, вглядывались в черное небо, отыскивая звезды. Все незнакомо и неопределенно. Стрелки часов показывали три часа ночи.

— Это все-таки должен быть Велюнь,— говорил мне Свербихин.

По километражу, по времени, затраченному на марш, как будто все сходится. Но карта показывала равнину и леса, которые охватывают город с трех сторон, а перед нами котловина. Дмитриев хмурился, разводил руками.

К моему танку подошли командиры батальонов, командиры рот. А голову мне сверлила одна мысль: «Только не медлить — иначе все сорвется!»

Из темноты выпрыгнули разведчики.

— Все в порядке, товарищ комбриг, это и есть наш город! — запыхавшись, радостно доложил Борис Савельев.

-- Чей, чей? — переспросил его Дмитриев.

— Ничего, он будет нашим,— послышался голос Осадчего.

Начальник разведки бригады подал мне табличку. Направил луч фонаря на темную эмаль — сомнения нет: крупными белыми буквами выведено по-немецки «Велюнь».

Вздых облегчения вырвался из груди. Вокруг меня плотной стеной стояли мои соратники, мои подчиненные, они ждали решения, приказа, они готовы действовать немедленно и решительно. Выслушав мой приказ, офицеры бегом бросились в свои подразделения, чтобы выполнить его.

Батальоны ошупью выходили в свои районы для броска на город: Савченков на противоположную опушку леса для атаки на западную окраину Велюня, Федоров и Осадчий должны были вторгнуться с юга. Особую задачу получили автоматчики — они должны были прокладывать путь танкам, очищать тесные, извилистые улочки города.

Даже в такой напряженный момент языкастый Старченко не мог не уязвить своего друга Осадчего:

— Ну, Николай Акимович, хватит на танках возить мою пехоту. Теперь ты не отставай от нее, не то жарко будет тебе.

А Осадчий на ходу парировал:

— Ладно, ладно, увидим, кто сильнее, без моих танков пропадешь ни за что.

Я со штабом и резервной танковой ротой пристроился позади федоровского батальона.

— Готово? — запрашивал по радио Свербихин.

— Готов! — отвечал Федоров.

— Третий готов! — отвечал Осадчий.

О готовности доложили автоматчики, артиллеристы, саперы, разведчики.

— Начнем, Григорий Андреевич? — обратился я к Свербихину.

— Риском,— ответил он, и в эфире раздалось: «Буря», «Буря!»

Завыли моторы, затарахтели гусеницы. Танки, артиллерия, минометы, пулеметы

открыли залповый огонь. Снапы трассирующих пуль и снарядов полетели на город, догоняя друг друга. Тысячи разноцветных ракет взвились вверх. Танкисты и шоферы включили фары. Ночь отступила. Все ринулось на Велюнь. В городе вспыхнули пожары, началась паника.

Обезумевшие от неожиданного нападения немецкие солдаты в одиночку и группами выскакивали из казармы. Никем не управляемые, они металась из стороны в сторону, натыкались на наших автоматчиков и танкистов. В незавидном положении оказались офицеры гарнизона, расквартированные по всему городу. Их попытки организовать сопротивление успеха не имели. Разведчики бригады и на сей раз оказались на высоте. Андрей Серажимов каким-то чудом добрался до электростанции и выключил свет. Его заместитель Николай Новиков хозяйничал на телефонной станции.

Нелегкой была эта ночь. Сложность заключалась не только в том, чтобы преодолеть сопротивление гарнизона, застигнутого нами врасплох. Пришедший накануне в город пехотный полк в этой ночной заварухе не представлял для нас большой преграды. Трудность заключалась в том, что мы не имели достаточно времени на организацию. Возникла опасность быть обстрелянными своими же — настолько перемешались наши боевые порядки. Плана города мы не имели — это затрудняло продвижение рот и батальонов. И все-таки, отдавая приказ о ночных действиях, мы рассчитывали не только на риск, без которого, кстати, ни один бой немислим, но полагались на боевой опыт бригады, за плечами которой были десятки ночных боевых действий. Мы рассчитывали на сработанность и взаимодействие внутри бригады между танковыми и мотобатальонами, между ротами автоматчиков и артиллерийской и минометной батареями, которые создавались годами в ходе боев. Я рассчитывал на понимание подчиненными сложившейся обстановки, на умных, толковых парней, какими были сибиряк Федоров, крымчанин Савченков, бывший винницкий председатель колхоза Осадчий, кадровый офицер Свербихин, бывший секретарь райкома партии Дмитриев, — в сложной обстановке за годы совместных боев они научились действовать смело и находить правильные решения в самых трудных условиях. Мои надежды оправдались.

К рассвету Старченко со своими автоматчиками очистил город, выловил большую группировку фашистских солдат и офицеров. Танковые батальоны вышли из города, продвинулись на север и на запад, овладели всеми дорогами, илущими к фронту, и приготовились к отпору немецким резервам, приближающимся к городу.

Рыбалко торопил свои корпуса, подстегивал танковые и механизированные бригады, требуя от всех незамедлительно использовать успех передовых отрядов. Сам он на открытой машине, охраняемой группой автоматчиков, мчался к нам в бригады и батальоны, которые вырвались далеко вперед.

На небольшом косогоре неподалеку от города раскинулось поместье, окруженное решетчатой оградой и двумя рядами высоких тополей. Свербихин облюбовал его для штаба. Место оказалось удачным. Из окна двухэтажного дома виден был поверженный Велюнь. В эти утренние часы город был затянут пеленой серого дыма.

Проведенные в боях бессонные ночи, нервное напряжение, физическая усталость валили с ног. Голова гудела. В ушах стоял звон. Наброшенный на голову полушубок отключил меня от всего происходившего в штабе, где жизнь и работа вошли в привычное фронтовое русло: обрабатывались данные разведки, отдавались распоряжения, посылались очередные донесения, направлялись в батальоны машины с боеприпасами, цистерны с горючим, политотдельцы торопились в роты. Меня сковал тяжелый сон.

И вдруг голос Кожемякова:

— Немцы...

Он теребил меня за руку.

— Какие немцы? — не понял я спросонья.

— Колонна гитлеровцев движется в направлении штаба...

Сон как рукой сняло. Прильнув к окну, я разглядел в бинокль силуэты танков, четыре длинных орудия, много пехоты.

— Почему вы решили, что это немцы?

— Не может быть, чтобы там оказались наши,— сказал Свербихин.

Мы выбежали из дома. Григорий Андреевич Свербихин поднял уже весь штаб по тревоге. Взвод связи, саперная рота, его и мой танки занимали западные склоны высоты. Рота крупнокалиберных пулеметов ДШК и разведчики Серажимова расположились в овраге. Резервную танковую роту подтянули ближе к поместью. Тем временем вражеская колонна медленно продолжала ползти в направлении поместья. Противник, казалось, ничего не видел, никого не замечал. Как это позже было установлено, фашисты не знали, что Велюнь находится в наших руках.

— Как будем встречать незваных гостей? — обратился ко мне Свербихин.

— С почестями. Главное — терпение, выдержка. Пусть колонна выйдет из леса, подойдет поближе. Тогда и навалимся на нее...

Расстояние между нами и противником сокращалось с каждой минутой.

Дмитриев дернул меня за рукав полушубка:

— Не пора ли?

— Не торопись, пусть подойдут ближе...

Пора! Даю знак — и снап зеленых ракет вырвался в небо, а вслед за ним застроили автоматы, басом заговорили крупнокалиберные пулеметы, посылая трассирующие пули в гущу вражеской колонны.

Танковая рота, возглавляемая молодым офицером Маниным, рванулась к лесу, отрезала противнику пути отхода. Петр Кожемяков стоял на башне моего танка и корректировал огонь танковой пушки. Подана команда действовать резервной танковой роте; ворвавшись с тыла, с фронта, огнем и гусеницами она стала уничтожать вражескую группу. Ее попытка вырваться из наших танковых «клещей» потерпела полный крах. Бой, внезапно вспыхнувший, был жарким, скоротечным. За какие-нибудь полчаса фашистская группа была ликвидирована.

Дорого заплатили немцы за свою беспечность. Они оставили на поле боя четыре танка, несколько подбитых орудий, свыше трехсот убитыми и сотню человек пленными. Немногим удалось вырваться из засады. Старшина Николай Новиков в виде трофея доставил мне командира разгромленного сводного отряда.

Передо мной стоял коренастый немец, полураздетый, с горящими от злости белесыми глазами и отвисшей губой.

— Вот его мундир, документы, рыцарский крест и все регалии, — доложил разведчик.

— Эсэс? — спросил я немца.

— Найн, найн, ниht вар. Их бин фельд-оберст, — отрещивался он.

Но пленные из его отряда разоблачили его. Он оказался крупным фашистским деятелем этой области. В последние дни он сколотил тысячный отряд «фолькштурма» и повел его в Велюнь. Только вчера он с пеной у рта, на площади соседнего городка, призывал воевать до победного конца, а сейчас, одной рукой поддерживая опустившиеся брюки, жестикулировал второй, пытаясь доказать свою невинность.

Бой уже подходил к концу, когда ко мне подполз офицер связи и доложил, что возле дома, где расположился штаб, стоят машины командарма. Я подбежал к Рыбалко. Докладывать Павлу Семеновичу подробности боя было излишним — он наблюдал всю картину боя сам.

— Где ваша бригада? — спросил командарм.

— В городе и к северу от него.

Рыбалко неодобрительно покачал головой.

— Интересно у вас получается: бригада в городе, а командир бригады со своим штабом оторвался и ююет в одиночку. Вы как считаете — это нормальное явление?

— В данном случае считаю это нормальным, товарищ генерал, — вспыхнул я; мне казалось обидным, что генерал не оценил наши действия. Закусив губу, я постарался взять себя в руки и продолжал: — КП мы выбрали правильно. Выход большой группы противника в направлении Велюнь именно на этом участке оправдал мой выбор и пребывание здесь штаба.

Павел Семенович понял, что я взвинчен, утомлен. Он подошел ко мне ближе и уже по-отечески сказал:

— Горячиться не нужно. Я ведь переживал за вас. Вспомнился случай под Львовом...

Да, такой же почти случай произошел на Львовщине в июне 1944 года. Захватив город Городок, я остался со штабом в одном из подвалов. К вечеру немцы неожиданно вышли в наш район, окружили подвал. Мы тогда едва спаслись. Ух, и досталось в тот раз нам с генералом Митрофановым от командарма...

— Как же вы сумели ночью захватить Велюнь? — стал расспрашивать Рыбалко. Мы вошли в дом, сели за стол, и я подробно изложил ход ночных действий.

Слушая мой пространный, не совсем последовательный доклад, Павел Семенович молчал и только покачивал головой, изредка отрывисто произносил тихим, хриплым голосом: «Хорошо», «Очень хорошо», «Молодцы»...

Приглядевшись, я заметил, что командарм дремлет. Лицо его осунулось, щеки заметно ввалились, под глазами нависли мешки. Слабый здоровьем, Рыбалко не щадил себя: носился по всему фронту, днем руководил боями, по ночам осуществлял большие перегруппировки соединений и частей, успевал побывать в передовых отрядах, находил время подогнать и подстегнуть отстающие части. И только для отдыха суток не хватало...

Я рукой дал знак, чтобы не шумели, и в комнате воцарилась тишина. Но Павел Семенович вдруг вскочил как ужаленный:

— Вы думаете, я уснул? Нет, братцы, не до сна теперь. Устал — верно. Но отдыхать будем после победы.

Закусив и выпив с нами чаю, Рыбалко отдал необходимые распоряжения.

— Через пару часов, — сказал он, — подойдут Головачев и Архипов. Оставьте часть сил для прикрытия города до их прибытия, а сами немедленно собирайте бригаду и, так же как раньше, не ввязываясь в затяжные бои, вот по этому маршруту жмите к Одеру.

Рыбалко подробно проинформировал нас, какую задачу имеет командир корпуса, командиры бригад Слюсаренко и Чугунков.

— Мы должны выйти к Одеру раньше немцев — вот главное.

Взяв карту, Свербихин красным карандашом начертил жирные линии, которые потянулись на запад.

Я вышел проводить генерала до его машины.

— Ну, а то, что вы разгромили этих вояк — хорошо! Мертвые не воюют. Фашисты нашего брата не жалуют. Пусть расплачиваются по большому счету.

И уже садясь в машину, Рыбалко, устало улыбувшись, спросил:

— Так где же мне теперь вас догонять?

— На Одерс, товарищ генерал, — ответил я.

К началу февраля войска 1-го Украинского фронта вышли на Одер, овладели огромным плацдармом на его западном берегу.

Глейвиц, Катовице, Рыбник, Оппелы, Бриг — весь Силезский промышленный район был освобожден от фашистских войск. Преследование врага продолжалось днем и ночью. Неудержимой лавиной неслись танки на запад. Зимнее наступление советских войск спасло союзников, оказавшихся в тяжелом положении под Арденнами. Под ударами наших фронтов немцы откатывались на запад, к Берлину. Их охватило оперативное удущье. Мы отняли у них свободу маневра. В Прибалтике и Восточной Пруссии перемальвались тридцать окруженных вражеских дивизий. Войска маршала Рокоссовского вклинились далеко на северо-запад и вышли к Балтийскому морю.

Фронты маршалов Малиновского и Толбухина, освободив Болгарию, Югославию, Румынию, завершили уничтожение больших группировок врага в районе Будапешта.

4-й Украинский фронт своими дивизиями спукался с Карпат. 1-й Белорусский и 1-й Украинский фронты железной стеной стали на Берлинском стратегическом направлении.

«Невозможно описать всего, что произошло между Вислой и Одером в первые месяцы 1945 года. Европа не знала ничего подобного со времен гибели Римской империи», — заявил начальник штаба 4-й танковой армии фашистский генерал фон Меллентин, о том же говорили впоследствии фельдмаршал фон Манштейн, генерал Мантейфель...

Хорошо зная, какую роль сыграет в дальнейшем западное побережье Одера, командующий фронтом направил в этот район танковые армии Рыбалко и Лелюшенко, танковые корпуса Кузнецова, Полубоярова и Фоминых, стрелковые дивизии Жадова, Коротеева. Одер был форсирован на стокилометровом фронте и на большую глубину. Польша, Силезский промышленный район остались позади.

Войска 1-го Украинского фронта не довольствовались тем, что стали на одерских землях, они изготовились для броска на реки Бобер и Нейсе. Туда устремились войска Рыбалко, Жадова, Лелюшенко. С боем были взяты города Штейнау, Лигниц, Гайнау, Штерлиц. Теперь уже и Одер оказался позади, стал для нас глубоким тылом. Здесь приоткрылись госпитали, расположились ремонтные базы, мастерские, фронтовые и армейские склады.

Девушки-регулировщицы армейских дорожных батальонов стали хозяйками немецких шоссеиных дорог. Снова наша регулировщица Машенька направляла своими флажками танки, пехоту, артиллерию все дальше на запад — на Лигниц, Гайнау, Бунцлау, по дорогам, ведущим в глубь Германии.

СЕРДЦЕ КУТУЗОВА

Второй день нет никаких вестей о Федоровском батальоне. Посланный на розыски его офицер связи где-то застрял и не вернулся. Заместитель командира бригады Иван Емельянович Каленников, проблуждав целую ночь в поисках батальона, вернулся ни с чем.

Командир корпуса дал нам на подготовку к наступлению на Бунцлау менее суток. Бригаду надо было собрать, привести в порядок, а она еще до сих пор вела затяжные бои в районе Яуэр. Ночные действия нарушили управление бригадой. Только к утру удалось вытащить из боя батальон Осадчего и Старченко. Молодой комбат капитан Коротков, заменивший погибшего накануне командира второго батальона Савченкова, был на подходе. Не хватало лишь батальона Федорова. Начальник политотдела Дмитриев старался меня успокоить:

— Да никуда он не денется. Вы же знаете этого хитреца. Не верю я, чтобы немцы его в горах «застукали».

Долго расспрашивал я Осадчего, который выделся с Федоровым вчера днем. Тот сообщил ему, что от начальника штаба бригады получил задачу — выйти южнее Зорау, перехватить дороги, идущие с гор, и обеспечить действия бригады и корпуса.

— Ну, а что было дальше? — допытывался я.

— Больше я его не видел, но слышал где-то в стороне танковую стрельбу, — отвечал Осадчий.

Настроение у меня было подавленное. Позавчера в одном из небольших населенных пунктов был убит командир батальона Савченков. На моих глазах погиб. Произошло это так.

Батальоны Федорова и Осадчего под покровом ночи, обходя мелкие населенные пункты, вырвались далеко вперед. Из полученной радиограммы мы узнали, что их подразделения подходили к Гайнау. Это была такая удача, которой мы и представить себе не могли. Район Гайнау находился в сорока километрах от нас. Мы рассчитывали выйти туда только во второй половине завтрашнего дня, а тут такой успех. Посыпался распоряжения Федорову и Осадчему — овладеть городом Гайнау. И главное, надо было теперь поставить задачу Савченкову и Старченко, которые были на марше, и вернуть их на северо-запад. Но я, как на беду, замешкался, непростительно отстал со штабом бригады.

Остановились у каменного дома. На карте Савченкова я прочертил маршрут движения и пунктирной линией отметил, куда ему выходить к утру. Комбат, взглянув на карту, сразу понял боевую задачу. На ходу свернул самокрутку, лихо вскочил на танк, и батальонная колонна скрылась в темноте.

Штабные машины еще не успели тронуться с места, как нас окружила толпа освобожденных только что советских девушек и парней.

В большинстве это были еще совсем дети, но выглядели они стариками. Полу-

раздетые, обутые в какие-то соломенные чупяки, с изможденными, сморщенными лицами и огромными глазами, глядевшими на нас с выражением мольбы, благодарности и пережитого ужаса, они вызывали у нас не только глубокое сочувствие, но и невыразимую боль. Каждый из нас вспоминал своих братьев и сестер: ведь многих постигла такая же участь, если не хуже, как было с моей семьей.

Ребята засыпали нас вопросами, мы едва успевали отвечать им. И вдруг на окраине селения раздался сильный взрыв, вспыхнуло зарево, осветившее пасмурное небо, а вслед за тем в той же стороне вспыхнула автоматная перестрелка.

Вместе с комбатом автоматчиков, с офицерами штаба мы помчались туда и увидели горящий танк, а рядом на окровавленном брезенте изуродованное до неузнаваемости тело комбата Савченкова. Засевшие в одном из домов «фаустники» сделали свое черное дело.

В прошлом крымский шофер, Григорий Иванович Савченков стал одним из опытных и боевых танкистов. В эту ночь осиротел второй батальон, которым Григорий Иванович командовал долгие месяцы, командовал умело, умно, вкладывая не только свои знания, но и душу. Люди шли за ним в огонь и в воду.

Рассчитались мы с врагом за него в ту ночь полной мерой.

А вот теперь я места не нахожу: неужели Федоров тоже попал в беду? Хотелось верить, что он найдет выход из положения. За плечами этого с первого взгляда невидного офицера — худенького, невысокого — большая жизнь.

Танкист по призванию, Петр Еремеевич участвовал в боях еще у озера Хасан. А в октябре 1941 года Федоров уже лейтенантом сражается в танковой части, отражающей наступление немцев на Москву в районе Серпухова. Получив приказ атаковать немцев, Федоров вывел танк из лесу и пошел напрямик. Кругом рвались снаряды. Раздался сильный взрыв — и в башне вспыхнуло пламя. Экипаж выскочил из танка, залег. Разорвавшаяся мина убила башенного стрелка и разбила пулемет. Водитель и радист были ранены, но они еще были в состоянии двигаться, и Федоров настоял, чтобы они ушли на перевязочный пункт. Сам же остался рядом с убитым башенным стрелком, держа автомат и гранаты.

Немцы вдруг ослабили огонь. Не успел Федоров обдумать, что ему предпринять, как совсем близко послышалась немецкая речь. Решение возникло молниеносно. Еще теплой кровью убитого товарища он измазал себе лицо и шею. Затаил дыхание. К нему подошли несколько фашистов. Чуть приоткрыв глаза, Федоров увидел гитлеровского офицера и финна, которые что-то быстро говорили по-немецки. Подойдя к нему, финн ткнул его сапогом, что-то сказал офицеру. И в это время в танке начали рваться снаряды. Гитлеровцы испугались и убежали.

Прошло еще часа два. До Федорова донесся нарастающий гул мощного русского «ура!». Он вскочил и в своем окровавленном комбинезоне, в танковом шлеме присоединился к цепи бойцов, из автомата расстреливая бегущего врага... Я рассказал об этом эпизоде — одном из многих — потому, что в нем весь Федоров с его сметкой, ловкостью, храбростью. Он воевал на многих фронтах, участвовал в самых серьезных операциях, вызывая всеобщее восхищение своими беспримерными ратными подвигами. Многочисленные ранения не задерживали его долго в госпиталях. Грудь этого человека уже украшали несколько орденов Красного Знамени, два ордена Отечественной войны, орден Александра Невского, медали. А совсем недавно командарм вручил ему орден Ленина и Золотую Звезду Героя Советского Союза.

Наша тревога оказалась напрасной. К ночи Федоров прибыл к нам целым и невредимым. Да к тому же пригнал большую группу пленных, десятков исправных машин, нагруженных оружием и другими трофеями.

Ох, и попало ему, отругал я его по всем статьям. Грозил снять с батальона, прогнать в тыл и прочие страхи магонял — просто надо было дать разрядку нервному напряжению. А он стоял передо мной, не шевелясь, молчал, а глаза смеялись...

— Чего же ты застрял? Завтра идем всей бригадой в бой, а ты пропал,— не унижался я, хотя уже начал понемногу остывать.

— Я не виноват, товарищ полковник, еще ночью и утром рвался к вам, но меня не пустили.

— Кто не пустил?

— Немцы не пустили. Сначала я их держал у выхода с гор, выполняя ваш приказ, а потом они меня обошли с трех сторон и давай колошматить. Целый день вырывался из их «объятий». Лишь к ночи обманул и выскочил.

Оставались считанные часы, подготовка к наступлению подходила к концу.

Задача, поставленная командиром корпуса, сводилась к тому, чтобы с рассветом выйти на восточный берег реки Бобер, прикрыться с запада этой рекой, а главными силами наступать в направлении города Бунцлау и овладеть им.

Со стороны Гайнау на восточную окраину города должна была наступать бригада Слюсаренко, а еще южнее — полковника Чугункова. Мы успели договориться с соседними бригадами. Установили условные сигналы взаимодействия: первый, кто выходит к Бунцлау, должен дать радиосигнал и серию ракет.

В первом эшелоне у меня наступали батальоны Осадчего и Короткова, заменившего покойного Савченкова, во втором эшелоне Федоров. Старченко усиливал автоматчиками батальоны первого эшелона.

10 февраля на рассвете бригада приступила к выполнению боевой задачи. Совершив почти сорокакилометровый марш, Осадчий достиг реки Бобер, имея левее себя батальон Короткова, и повел наступление на Бунцлау.

У самого города немцы встретили нас сильным огнем из зенитной артиллерии и танков. Наступление затормозилось. Ясно было, что с ходу Бунцлау нам не взять. К тому же приданный нам артиллерийский полк отстал. Пока подошли артиллеристы, прошло немало времени. Командир корпуса нервничал, командарм потребовал энергичных действий и намекнул, что задержка по овладению городом происходит по моей вине. На участок Чугункова была подтянута бригада Головачева. Уже перевалило за полдень, и надо было торопиться, чтобы не допустить изнурительных ночных уличных боев.

Город Бунцлау и река Бобер имели большое значение. Это были ворота к водному рубежу Нейсе. Отсюда шли дороги на Лаубан, Котбус, Дрезден.

Во второй половине дня мы усилили свои атаки. Огонь обрушился на город с трех сторон. На помощь танкам пришла вся наша артиллерия и гвардейские минометы «катюши». Вступила в бой наша пехота. В городе возникли пожары, участились взрывы, началась паника. Немцы взорвали мост через реку. К вечеру сопротивление врага было окончательно сломлено. На северной окраине Бунцлау вспыхнули зеленые ракеты, обозначающие, что мы уже в городе и входить в него можно свободно.

В ответ на наш сигнал Слюсаренко с востока, Чугунков и Головачев с юго-востока также вошли в Бунцлау. Бросив танки, артиллерию, раненых, склады, базы, враг бежал в направлении Лаубан, Герлиц. Фашисты рассчитывали, что они за рекой Нейсе спасутся от наших сокрушающих ударов.

Город продолжал пылать. Невиданной силы снегопад, начавшийся еще днем, усиливался. Огромные снежные хлопья залепляли стекла машин, забивали смотровые щели в танках, проникали внутрь через малейшие отверстия. Двигаться приходилось буквально вслепую. Танки и артиллерия медленно ползли по улицам горящего Бунцлау. Танкисты открыли все люки танков, водители распахнули дверцы машин и наполовину высунулись, чтобы хоть сколько-нибудь разглядеть, что делается в одном-двух метрах.

Густо падающие крупные хлопья снега, пронизанные багровым заревом пожаров, яркий свет почему-то не выключенных электрических фонарей, окруженных красно-зеленым нимбом, схожим с радугой, придавали поверженному городу фантастический вид.

Я ехал в открытой легковой машине, зажатой со всех сторон танками. Что-то промелькнуло впереди, завертелось в снежном вихре. И вдруг я четко увидел перед машиной женщину в темном платье с белым воротничком. Почему она пляшет перед машиной? Не галлюцинация ли это? Видно, со мной что-то неладно. Сдавать стал, старик, подумал невольно я. И не мудрено: с 12 января идут непрерывные бои — тут не до сна, не до отдыха, нервы напряжены до предела, да и старые ранения сказываются.

Командиры взводов, командиры танков и отделений, механики и солдаты могли хоть немного поспать, да и приноровились они к тяготам войны — по ночам ухитрялись

спать на башне танка и у миномета, спать стоя и на ходу. Старшим же начальникам такая возможность не всегда предоставлялась. Днем бои, а ночью подготовка к выполнению новых задач. Их надо осознать, изучить, прикинув на карте, принять решение, отдать необходимые распоряжения, произвести перегруппировку, организовать проверку, обеспечить за ночь подвоз продовольствия, боеприпасов, горючего... На войне утро наступает всегда слишком быстро. А с ним приходят новые бои, новые марши. Последние дни я уже валялся с ног от усталости и недосыпания.

— Заболел я, кажется, Григорий,— пожаловался я шоферу.

— Что с вами?

— Галлюцинации. Сквозь снежные хлопья я вижу танцующих женщин. Вот одна, вторая, третья...

— И я тоже их вижу,— крикнул Гасишвили и резко затормозил машину.

Мы выскочили из «виллиса». Остановилась вся колонна. Нас окружила толпа женщин. Одинаково одетые в темные платья с белыми воротничками, они визжали, хохотали, приплясывали. Это производило жуткое впечатление.

Мы принялись расспрашивать женщин по-русски, по-немецки, кто они, что случилось? Но они только махали руками, указывая на охваченное пламенем стоящее неподалеку здание.

Андрей Серажимов со своими разведчиками кинулся к горящему дому. Изнутри раздавались вопли, душераздирающий плач. Наконец-то мы разобрались в происходящем. В этом доме, оказывается, находилась женская лечебница для душевнобольных. Персонал, в панике удирая из города, запер больницу. Когда загорелся соседний дом и огонь уже добрался до лечебницы, больные в страхе принялись выпрыгивать из окон второго и третьего этажей. От окончательной гибели несчастных женщин спасли наши разведчики. Мигом они взломали двери и вывели на улицу всех, кто еще оставался в доме.

В самом центре города пожаров было меньше. Комендант штаба нашел не тронутую войной тихую улочку. В одном из небольших домов разместился штаб. Полетели донесения, сводки, заявки. От командира корпуса была получена радиограмма: «До утра ни с места! Организовать оборону в западной части города вдоль берега реки Бобер. Личный состав держать в готовности — завтра, 11 февраля, наступать на Лаубан».

Неужели удастся все-таки часок-другой соснуть?

Бушевавший все время снежный буран, словно по команде, вдруг прекратился. Артиллерийская стрельба все больше отдалялась на запад. Автоматная стрельба умолкла. По улицам носились как угорелые мотоциклы, броневики. Они рыскали по городу в поисках штабов, отставших и заблудившихся рот и батальонов, разных команд, которых обычно к концу боя в крупных населенных пунктах полным-полно.

На сей раз у нас в бригаде обстояло более или менее благополучно, батальоны и роты были все на месте.

Помещение штаба постепенно наполнялось людьми. Прибыли по вызову комбаты, командиры приданных подразделений, офицеры технической службы во главе с замполтехом Иваном Сергеевичем Жакуниным. Появился начальник тыла Иван Михайлович Леонов. Нелегко быть начальником тыла в мобильной, всегда «на колесах» танковой бригаде. Но солдаты наши ценили и уважали своего начтыла. Всегда спокойный, предсудострательный и осторожный, Леонов в любой, даже самой трудной, обстановке не терял самообладания и присущее ему чувство юмора. Но недавно он кое-чего, как говорится, недоучел и попал в такую переделку, что чуть было голову не потерял и в переносном и в прямом смысле слова.

Придерживаясь своего правила «будет жив тыл, будет и победа», он старался свое большое тыловое хозяйство держать подальше от места боев, чтоб не подвергать излишней опасности. Это было оправдано, когда боевые действия велись на нашей территории. Но теперь обстановка резко изменилась. Бои шли на вражеской земле. Преследуя отходящего противника, мы ушли далеко вперед и оторвались от тылов более чем на сто километров, а в тылу оставались большие вражеские группы. В поисках выхода из окружения они натыкались на наши тыловые подразделения и часто изрядно

трепали их. Вот в такую переделку и попало леоновское «хозяйство». Танкам, бронетранспортерам и автомашинам вражеской группировки противостояли наши слабо вооруженные кладовщики и ремонтники, медики и повара. Положение создалось катастрофическое. К счастью, в разгар этого неравного боя подошел стрелковый полк 52-й армии, направлявшийся к фронту, и буквально спас наших тыловиков. Присоединившись к пехотинцам, они участвовали затем в уничтожении фашистской группировки.

С того дня Леонов стал держаться ближе к боевым подразделениям бригады, да и мы учли этот урок и заботились об охране тыла.

Однако же случай этот долго служил поводом для добродушных шуток над Леоновым, когда он оказывался в компании наших острословов-комбатов.

Вот и сейчас в штабе долго шла озорная дружеская пикировка, на которую способны люди, получившие короткую передышку в трудных боях с врагом. Потом Леонов оставил в покое, началась «промывка косточек» нашего сибиряка Федорова. Но тут вбежал запыхавшийся Дмитриев, и его радостное восклицание заставило умолкнуть всех.

— Слушайте Москву, товарищи! Передается приказ Верховного Главнокомандующего.

Через распахнутую дверь, ведущую в комнату, где стоял радиоприемник, мы слышали голос Левитана, сообщавшего, что при взятии Бунцлау отличились танкисты генералов Рыбалко, Иванова, Митрофанова, полковников Драгунского, Головачева и других.

Заключительные слова приказа потонули в радостном шуме. Солдаты и офицеры обнимались, хлопали друг друга по плечу.

Но хлопот и забот по подготовке к завтрашним боям было много, и мы тут же занялись своим будничным воинским делом. А на душе у нас было легко и радостно. В эту ночь мы, как никогда, хорошо отдохнули. Утро оказалось чудесным. Мягкий морозец и яркие солнечные лучи радовали и бодрили людей.

С самого утра через город проходили войска. Танки шли вперемежку с артиллерией. Мимо нас проследовала большая колонна пехоты. Я глядел из окна и думал: все идут, все спешат, у каждого свои направления, свои пути-дороги. Те же регулировщицы, те же Галочка и Машенька, которые указывали фонариками дороги на западных одерских равнинах, теперь уже направляют одних на запад к Нейсе, других на юг к Лаубану, третьих — на север к Наумбургу.

Подошел с шифровкой Свербихин и доложил, что бригада наша выведена во второй эшелон и нам приказано оставаться на месте.

— Сколько же нам торчать здесь? — спросил я у Григория Андреевича.

— Думаю, часа три-четыре...

Дмитриев предложил съездить во второй батальон: ведь там новый комбат — Коротков.

Не успели мы тронуться, как подъехало несколько машин с генералами и офицерами. В передней машине сидел наш командарм. Как положено, я отдал ему рапорт о состоянии бригады.

— Мы переезжаем на новый командный пункт, целую ночь в пути, столовая отстала. Хорошо было бы у вас подкрепиться. Как вы на это смотрите? — лукаво подмигнув, спросил Рыбалко.

— Как же, рады стараться! Разрешите, товарищ командующий, угостить вас завтраком, — заявил вовремя подвернувшийся Леонов.

Все вошли в дом. Пока начпрод Мишенков накрывал на стол, гости в другой комнате сгрудились у развернутой карты. Начальник разведки армии полковник Шулькин что-то настойчиво доказывал генералу Бахметьеву. Тот, протирая очки, недоверчиво качал головой.

— Не верю, чтобы их восьмая танковая дивизия пришла из Венгрии. Ведь положение у немцев там крайне тяжелое. Наверное, она переброшена с запада.

Шулькин настаивал на своем. Пожалуй, он прав, подумал я: ведь пленные показывали, что эта дивизия пришла с юга — наша бригада столкнулась с ней еще в районе

Рыбника и вела тяжелые пятидневные бои. Постепенно в спор втянулись и остальные офицеры. Но Рыбалко быстро погасил пыл спорщиков.

— Дмитрий Дмитриевич,— обратился он к Бахметьеву,— я полагаю, что Шулькин прав — эта дивизия пришла, чтобы прикрыть пути на Дрезден. Немцы боятся, чтобы не оторвали Германию от Чехословакии и Австрии, во всяком случае мы эту дивизию здорово потрепали и вряд ли она будет для нас серьезной преградой на рубеже Нейсе.

Мои тыловики постарались на славу — завтрак получился отменный.

— Ого! Смотрите, даже в штабе армии так не кормят,— съязвил Бахметьев.

— Они же воюют, у них трофеи. А мы с вами на планированных харчах сидим,— парировал Рыбалко.

Подкрепившись, все вышли из дома. День выдался по-зимнему ясный, погожий. Покоренный Бунцлау притих, пожары прекратились.

— Имейте в виду, Лаубан — крепкий орешек. Вам придется иметь дело не только с немецкими фашистами, но и с отщепенцами-власовцами. Туда подтягивается их дивизия,— сказал командарм.

Я поинтересовался, долго ли мы будем стоять в Бунцлау.

— Вот подойдет шестой танковый корпус, и я направлю его на Наумбург и Герлиц, а ваш седьмой танковый — на юго-запад. Ударим одновременно — надо, чтобы свежая вражеская группировка расплыла свои силы. Мы ее заставим драться там, где выгодно нам.

Ближние улицы и переулки были заполнены нашими танками. В сторонке дымили походные кухни. Вкусно пахло кашей и мясом. Гремели котелки. Повар упрямился топтавшихся вокруг солдат немного подождать.

Солдаты увидели командарма и стали подходить к нему — сперва те, что посмелее, потом и остальные.

— Хочу вас поблагодарить за вчерашние действия,— обратился к ним командарм.— Москва уже салютовала вам от имени нашей родины. Мы вчера ночью на Военном совете решили представить вашу бригаду к награждению орденом Кутузова. И вот почему, дорогие товарищи: в городе Бунцлау, в котором мы сейчас находимся, умер великий полководец Михаил Илларионович Кутузов. Неподалеку от вас стоит дом, в котором он жил и умер. Там же ему поставили памятник, а за рекой, километрах в двух отсюда, как гласит предание, похоронено его сердце...

Павел Семенович помолчал немного, обвел глазами танкистов и, повысив голос, продолжал:

— Мы с вами наступаем и идем по местам ратной славы наших предков, по кутузовским дорогам. Теперь, как сто тридцать лет назад, мы пронесем знамена нашей родины на Герлиц, Дрезден и Лейпциг, мы понесем свободу народам всей Европы. Мне хочется пожелать вам, потомкам Кутузова, успехов и нашей окончательной победы!

Рыбалко умолк. Генерал Бахметьев что-то шепнул ему на ухо. Генералы и офицеры быстро уселись в машины и тронулись к западной окраине города. Воины тепло провожали своего командарма. В эту минуту мне показалось, что Рыбалко сам чем-то схож с Кутузовым и статью, и лицом, и натурой — то же русское добродушие, незаурядный ум полководца и сердце простого солдата.

Александр Павлович Дмитриев предложил проехаться по городу.

Через несколько минут мы уже были на центральной площади Бунцлау, у высокого темно-серого трехгранного гранитного обелиска. На нем высечено: «До сих мест полководец Кутузов довел победоносные войска российские, но здесь смерть положила предел славным его делам. Он спас Отечество и открыл путь освобождения Европы. Да будет благословенна память героя».

В нескольких минутах ходьбы от обелиска стоит небольшой двухэтажный дом. На нем — мемориальная доска. Немецкий народ чтит память русского полководца, принесшего в тяжкую пору наполеоновского владычества ему освобождение. Мы поздравляли старика немца, который боязливо разглядывал нас. Разговорились.

Старик — он оказался учителем — предложил подняться на второй этаж. Мы вошли в просторную угловую комнату с большими окнами, выходящими на улицу.

— Вот кровать Кутузова, здесь была ширма, за которой сидел военный чиновник Крупенников. Через эту дверь сюда вошли император Александр и кайзер Фридрих-Вильгельм, чтобы проститься с великим полководцем.

Слушая немца-учителя, я невольно вспомнил лекции по военной истории, которые читал нам профессор Разин в Академии имени Фрунзе. И перед моим мысленным взором ожили страницы истории Отечественной войны 1812 года.

...Шел 1813 год. Русская армия, возглавляемая Кутузовым, разгромила чужеземных захватчиков и изгнала их из пределов нашей родины. Но кутузовская армия не остановилась на границе России, она продолжала добивать врага в Польше, Германии, Франции. Русские знамена развевались на всем фронте от Гамбурга, Берлина и Дрездена. Ежедневно офицеры кутузовской армии мчались на перекладных в Петербург, увозя с собой ключи от захваченных, павших, покоренных, освобожденных городов и крепостей Европы.

Но в первые весенние дни в силезском городе Бунцлау Кутузова свалил недуг. Десять дней лежал старый фельдмаршал на этой кровати, придвинутой к стене. Рядом два больших, потемневших от времени кресла, ширма и окно, выходящее на улицу.

Кутузовские полки шли мимо этого дома все дальше и дальше на запад. Шли с болью в сердце, оглядываясь на восток, на Бунцлау, где доживал последние часы их главнокомандующий, где все медленнее билось сердце великого патриота России.

Вечером 27 апреля не любивший Кутузова Александр I, понимая, что не проститься с умирающим фельдмаршалом — значит нанести оскорбление всей России, приехал в этот дом, вошел в эту комнату вместе с прусским королем Фридрихом-Вильгельмом. Кутузов с трудом поднял отяжелевшие веки, взгляделся в царя. Александр боялся его. Большая, изувеченная ранениями голова старого полководца пугала императора.

— Простишь ли ты меня, Михайло Илларионович?

— Я прощаю вас, государь... Но простит ли вас Россия?

Александр вздрогнул, опустил голову. Потом встал, осмотрелся вокруг: никто не слышал этого разговора? Фридриха можно не брать в расчет — тот не знал русского языка. Но царю было невдомек, что за плотной ширмой в левом углу сидел свидетель этой сцены прощания — чиновник Крупенников: последние слова Кутузова стали достоянием всей России.

28 апреля Кутузов умер. Весть о смерти полководца облетела всю армию, всю Россию. Днем и ночью в городах и селах, на труднопроходимые дороги, размытые дождями, выходил народ, чтобы проститься с Кутузовым: тело его везли на вечный покой в Петербург. А в Бунцлау на западном берегу реки Бобер, на высоком холме, поросшем молодыми соснами, похоронили сердце Кутузова — это была предсмертная просьба Михаила Илларионовича. Сердце его осталось с солдатами, с полками, которые он привел сюда...

Молча покидали мы кутузовский домик. У многих из нас, стоявших в этой комнате, возник один и тот же вопрос: почему гитлеровцы оставили в самом центре этого города памятник-обелиск Кутузову? Чем объяснить, что уцелел домик-музей?

Старик учитель будто прочитал наши мысли.

— Вас удивило, что наши не тронули домик Кутузова? — сказал он тихо. — Я понимаю... Но история не только пишется, она хранится в сердце народа. Народ Германии благодарен русской армии, спасшей его от Наполеона... Кутузов пришел в Германию как освободитель. Бунцлау гордится, что стал последним приютом русского фельдмаршала. А немцы умеют хранить свои реликвии...

— Ну, а как вы относитесь к нам? — спросил старика Дмитриев. — К Советской Армии?

Немец посмотрел на нас усталыми, поблекшими глазами:

— То, что я скажу, господин офицер, примите за правду. Я скажу это не из страха. Мне уже скоро восемьдесят. Я много видел и перестал удивляться и страшиться... Нельзя ставить знак равенства между немецким народом и наци... Ведь вы же сами считаете, что гитлеры приходят и уходят, а народ немецкий остается... Мно-

гие ждали вас.— Старик тяжело вздохнул.— Народ германский останется и будет благодарен русским. Второй раз в истории освобождение пришло к нам из России...

Что-то шевельнулось во мне. Я люто ненавидел всех немцев. Ненавидел за все их злодеяния и дал слово жестоко мстить им. И вот впервые за все годы войны я по-настоящему добро прощался с живым немцем, видел в нем не врага, а просто человека, мечтающего о мире, о покое. В сознании моем произошло как бы расслоение. Удивительно, но я впервые как-то осязаемо почувствовал нашу особую миссию, нашу ответственность за сохранение старой гуманной славы кутузовских знамен, за утверждение новой на столь же долгие годы.

Мы вернулись в штаб, но мысли об этом немце-учителе, о немцах-фашистах, с которыми сегодня, завтра придется сражаться, сражаться не только во имя нашей родины, но и во имя самих немцев, вот таких, как этот старик, не покидали меня.

Во второй половине дня мы тронулись в путь. Молоденькая регулировщица вытянула руку с флажком, указывая на юг, на Лаубан. Дорога эта приводит нас к памятнику, где похоронено сердце Кутузова. Он стоит в лесочке, этот небольшой темно-серый гранитный памятник. У его подножия много цветов. Это наши девушки успели украсить его.

Я остановил бригаду. На площадке перед могилой выстроились танкисты, автоматчики, артиллеристы, саперы, связисты. У самого памятника остановился танк «Кутузов». Его построили на собственные средства и подарили нам уральцы. Боевая, выдавшая виды машина служила трибуной. Начальник политотдела Дмитриев открыл митинг. Просто и сердечно говорят люди — сибиряк Федоров, татарин Валеев, украинец Старченко...

С давно не испытанным волнением взял слово. Я говорил о днях нынешних и славной ратной истории России.

Затем зазвучала команда:

— Слушай приказ фельдмаршала Кутузова: «Заслужим благодарность иноземных народов и заставим Европу с удивлением восклицать — непобедимо воинство русское в боях и неподражаемо в великодушии и добродетелях мирных! Вот благодарная цель, достойная воинов. Будем стремиться к ней, храбрые русские солдаты».

Как уместно, как сильно прозвучали эти слова.

Митинг окончен. Гремит троекратный салют. Раздается команда: «По машинам».

Федоров, Осадчий, Коротков, Усков и Серажимов подняли сигнальные флажки. Колонна двинулась. Она шла на запад, в глубь Европы, по старым кутузовским дорогам, к победному завершению войны.

Мы шли по немецкой земле. Наступали настороженно, ощупью. Преодолевали распутицу.

— Ну и грязь — похлестче нашей,— вывел меня из раздумья Кожемяков.— А я думал, мы до Берлина по асфальту будем катить.

И в самом деле. Чуть свернешь с дороги — и сразу попадаешь в липкое месиво. И как тут не вспомнить первые годы войны. У русских надежные союзники: «генерал Зима», «генерал Грязь», «бездорожье». «болота», «леса» — трубили в ту пору фашистские газеты, сваливая на это вину за постигшие их неудачи под Москвой, Сталинградом, на Кавказе, Украине. В Германии верили этому, нашлись наивные люди на Западе и за океаном, которые также поддерживали эти басни. Какой вздор! Разве мороз и снег нас обогревали? А нашим машинам не нужны были дороги?!

Слов нет, дороги у немцев хорошие, лучше наших, но война шла не по дорогам. Фашисты, всеми силами пытаясь задержать наше наступление, взрывали и разрушали дороги и мосты.

С трудом преодолевали каждый километр. Двигались, словно по пустыне — ни души, лишь догорающие фольварки. Немецкое население, напуганное пропагандой Геббельса, драконовскими приказами фашистского командования, страшась возмездия за преступления гитлеровцев на советской земле, убегаело из запад, скрывалось в лесах, притаилось в подвалах и подземельях. Чудовище войны, смердящее гарью и

кровью, вползало теперь в города и деревни Германии, ломилось в каждый немецкий дом. Не мы были в этом повинны. Сами немцы вынесли себе приговор в памятное июньское воскресенье 1941 года. Миф о молниеносной победной прогулке по России давно развеялся. Теперь гитлеровцы убедились, что война — это не только сожженный Смоленск и истерзанный Киев. Не только голод блокированного Ленинграда, не только трагедия Варшавы, Лидице и Орадура, но и пожары, разрушения, смерть на их земле, в их доме.

Гитлеровцы чувствовали, как все туже затягивается на их шее петля. Фашистское командование предпринимало отчаянные меры, стараясь ослабить эту петлю. Оно спешно снимало дивизии с запада и перебрасывало на Восточный фронт. Потеряв укрепленные рубежи на Ниде, Пилице, Варте, оно пыталось во что бы то ни стало отстоять Нейсе, Шпрее, Лигниц, Котбус, Лукенвальде, Цосслен. Фаустники, как затравленные волки, метались по опустевшим улицам, забирались в подвалы, на чердаки и бешено грызались оттуда.

Первые дни боев на немецкой территории заставили нас изменить тактику. Теперь, подходя к населенному пункту, наши автоматчики соскакивали с танков, рассыпались во все стороны и огнем автоматов прочесывали улицы, сжигали и расстреливали вражеские осиные гнезда...

Начинались изнурительные мартовские бои. Мы подходили к Нейсе. Наступать по бездорожью становилось все трудней.

Висло-одерский бросок с Сандомирского плацдарма, начатый 12 января, привел нас на одерскую равнину. Тысяча километров пройдена с боями. Бои перенеслись на рубеж Нейсе.

С фанатизмом обреченных оборонялись немцы на рубеже этой реки. Продолжались многодневные кровопролитные бои за города Лаубан, Наумбург, Герлиц. Бои шли с переменным успехом. Усталость давала себя знать. Всему имеется предел. Этому закону подчинены и техника и люди. Пополнения личным составом и танками поступали все реже. Наше наступление затухало.

Моя бригада два дня не могла сдвинуться с места. Немецкий батальон, окопавшийся в деревне, держал под сильным огнем все дороги. Мы вынуждены были вести огневой бой. Наша дуэль постепенно стихала. Обе стороны наблюдали друг за другом и были довольны. Неудовольствие проявлял командир нашего 7-го гвардейского корпуса генерал Сергей Алексеевич Иванов, прибывший после тяжелого ранения из госпиталя и заменивший на этом посту генерала Митрофанова. Беспокойный по натуре и нервный, новый комкор требовал идти только вперед, не считаясь ни с чем. Я «вольничил» — усилил разведку, обещал во второй половине дня атаковать деревню, но все это было только для успокоения комкора. Второй день, наблюдая за ходом боя, я понял, что наличными силами мы ничего не сделаем, а обещанное пополнение не поступало.

День был на исходе. Стрельба постепенно умолкла. Штаб бригады занимался подготовкой ночных поисковых разведывательных групп. Офицеры корпуса изредка запрашивали обстановку, хотя положение на нашем участке было без изменений. Все это делалось для поддержания фронтового порядка и установленных штабных традиций. В свою очередь офицеры штаба бригады тревожили командиров батальонов.

В двенадцатом часу ночи, раньше обычного, шифровальщик протянул мне боевое распоряжение комкора. Генерал Иванов приказал снять бригаду с занимаемых позиций, совершить ночной марш и к рассвету вступить в расположение моего бывшего командира, ныне командовавшего 6-м танковым корпусом, генерала Василия Андреевича Митрофанова.

Я вызвал начальника штаба, который должен был заняться организацией выполнения полученного распоряжения.

Тяжело ступая, Свербихин вышел из комнаты. Задача была не такой уж сложной, и я, зная исключительную исполнительность своего начальника штаба, решил часок-другой поспать. Когда я проснулся, был уже четвертый час. Поднял переполох. Досталось адъютанту, не разбудившему меня вовремя.

— Где бригада?

Кожемяков выскочил на улицу и через несколько минут доложил:

— Товарищ полковник, бригада находится на месте!

— Как — на месте?

Вызвал начальника штаба:

— Почему батальоны не выведены из боя?

— Не знаю.

— Распоряжение о переходе на север отдано?

— Не знаю, — как во сне говорил Свербихин.

— А вы знаете, чем это пахнет? — вышел я из терпения.

— Я никаких распоряжений от вас не получал и никому ничего не приказывал... — вдруг заявил он мне.

Я растерянно смотрел на Свербихина: что случилось? Образец исполнительности, дисциплинированности, смелости и честности. Он сумел так поставить работу в штабе, что другие комбриги завидовали мне. И вдруг такое! Уж не свихнулся ли он?!

— Григорий Андреевич, что с вами? Почему вы не отдали приказ комбатам? Где шифровка, которую я ночью вручил вам? — попытывался я, чувствуя, что нервы мои на пределе.

— Я не получал никаких шифровок, — мрачно ответил он.

Тут меня прорвало. Я стал осыпать Свербихина упреками, злыми, грубыми словами. Я готов был наброситься на него с кулаками, отдать немедленно под суд, даже расстрелять. Ведь дело касалось не просто секретного документа, а значительно большего — срыва боевой операции. Бригада должна была с утра вступить совместно с частями 6-го танкового корпуса в бой, дорога была каждая машина, каждый человек, а мы все еще находились на прежних позициях.

Свербихин молчал, бессильно свесив руки и опустив голову. На лице его выступили красные пятна. Но вид его не вызывал во мне сочувствия, наоборот, меня охватил новый прилив злости.

Не знаю, чем бы кончилось дело, если б в комнату не вбежал Дмитриев. Он стал между нами и спокойным голосом, негромко произнес:

— Товарищ Свербихин, объясните, что произошло.

— Я ничего не знаю о приказе... Я не помню, чтобы мне его давали... — твердил свое начальник штаба.

— Вы отдаете себе отчет в том, что говорите? — снова спросил Александр Павлович. — Дело касается выполнения боевого приказа.

Свербихин еще ниже опустил голову, стиснул правой рукой пальцы левой и молчал. Я закурил толстенную самокрутку и, стараясь взять себя в руки, стал ходить по комнате, натываясь то на стол, то на табуретки. Пнув ногой табуретку, я подошел к Свербихину вплотную и каким-то чужим голосом прохрипел:

— Оставьте немедленно бригаду и идите куда хотите.

Свербихин вздрогнул, как от удара, втянул голову в плечи, обмяк и, неловко повернувшись, пошатываясь, вышел из комнаты. Наступила тяжелая тишина.

— Ну, командир, решай, — услышал я будто сквозь подушку глухой голос Дмитриева, — приказ должен быть выполнен...

Отдавая приказ, командарм рассчитывал, что бригада ночным маршем преодолеет пятидесятикилометровый путь и выйдет в район западнее Наумбурга, чтобы внезапно совместно с 6-м корпусом ударить противнику в тыл. Ночь должна была скрыть наше передвижение. Теперь задача усложнялась, так как до рассвета было совсем недалеко.

Дорога, извиваясь, змейкой ползла на север. Дмитриев перебрался в мой «виллис» — он не хотел оставлять меня наедине с моими невеселыми мыслями. Колонна неслась следом за нами. Механики-водители и шоферы выжимали из моторов все возможное. Рассветало. До штаба 6-го корпуса было рукой подать. Зная Василия Андреевича Митрофанова, я полагал, что он выдаст мне будь здоров, и внутренне приготовился к этому. Но, к счастью, все обошлось. Митрофанов был рад прибытию моей бригады.

Дал нам целый день для организации разведки, рекогносцировки и приведения в порядок людей и техники.

Я же весь день думал о Свербихине. Злость прошла. Из рассказа ординарца Свербихина мне стало известно, что произошло в ту ночь, он же принес мне и злополучную шифровку, которую обнаружил где-то на полу. Непрекращающиеся бои, сильное напряжение, бессонные ночи измотали Григория Андреевича. К этому, видно, добавилось острое желудочное заболевание. Он едва двигался, преодолевая боль. Получив от меня шифровку с приказом, Свербихин с трудом добрался до своей комнаты и потерял сознание. Когда же он пришел в себя, у него образовался провал в памяти, и поэтому приказ оказался невыполненным.

Правильно ли я поступил, отстранив его? Эта мысль все время мучила меня. Формально я не имел на это никакого права. Вопрос о назначении и снятии начальника штаба входил в компетенцию командующего армией. Но я не имел также и права оставить безнаказанным ни единого случая невыполнения приказа. Правда, если бы Григорий Андреевич на другой день пришел ко мне, все объяснил, я, может, и отменил бы свое решение. Но он этого не сделал. С болью в сердце мне пришлось расстаться с ним.

В тот же день я отправил телеграмму об отстранении Свербихина от должности. И вслед за нею — представление к награждению его орденом Красного Знамени. Дмитриев, просмотрев наградной материал, спросил меня, логично ли это. Я настоял на своем. Рыбалко, с которым я встретился через несколько дней, укорял меня, обвинял в самоуправстве, в превышении власти.

— Все это верно, товарищ командующий. Я действительно погорячился. Но в тех обстоятельствах иначе нельзя было поступить.

— Зачем же вы одновременно с этим послали на Свербихина наградной материал?

— Одно другому не противоречит. Он заслужил эту награду в боях. И я прошу реализовать мое представление. А за промах, даже оправдываемый болезнью, он должен понести наказание. Он должен был поставить в известность меня о том, что не в состоянии выполнять служебные обязанности.

— Свербихину место найду. Его любой комбриг возьмет. Орден мы ему тоже дадим — он его заслужил... Но по-товарищески советую вам: прежде чем принять решение, подумайте об этом серьезно.

Рыбалко для меня был не только начальник, в нем я видел товарища, друга, благородного человека. К его словам и советам я всегда прислушивался, у него учился трудному искусству командовать людьми, руководить боевыми действиями. Мы часто беседовали на самые разные темы. Я решился задать ему вопрос:

— А вы, товарищ командующий, будучи на моем месте, как поступили бы?

Командующий помолчал, задумчиво склонил голову набок, потер пальцами мочку уха. Потом вскинул на меня лукаво блеснувшие глаза, попрощался и уехал...

Все как будто обошлось и тут. Но у меня остался горький осадок. Судьба потом не раз сводила нас с Григорием Андреевичем. Закончилась война. В мае 1945 года в одном из городков Чехословакии в честь Победы был устроен прием. Среди фронтовых друзей я увидел Свербихина и подошел к нему. Мы долго стояли друг перед другом, молчали и вдруг улыбнулись и обнялись... А лет пять спустя наши судьбы столкнулись снова. Я командовал танковой дивизией на востоке. Случилось так, что начальник штаба дивизии заболел и уволился, и я, будучи в Москве по делам службы, зашел к кадровикам, чтобы решить вопрос о вакантной должности. Полковник, ведавший кадрами по нашему округу, внимательно выслушал мою просьбу и предложил две кандидатуры. Каково же было мое удивление, когда одним из кандидатов на должность начальника штаба оказался Григорий Андреевич Свербихин.

— Я бы остановился только на этой кандидатуре, — сказал я, протягивая полковнику личное дело Свербихина, — но...

Полковник улыбнулся и проворным движением раскрыл папку и показал характеристику, написанную мною в ту злосчастную ночь. Кто-то уже красным карандашом подчеркнул в ней отдельные строчки.

— Это писали вы?

— Да. Но тем не менее я хотел бы иметь такого начальника штаба дивизии. Правда, я не уверен, пожелает ли он работать со мной...— смущенно ответил я, в душе жалея, что связался с этим полковником, который ковырнул старую мою рану.

— Я полагаю, что не пожелает. Ведь вы его однажды обидели. И, говорят, незаслуженно. По крайней мере я бы на его месте не пошел..

— А вот я бы пошел,— с досадой возразил я.— И он пойдет. Прошу вас, позвоните при мне и предложите Свербихину эту должность..

Прошло минут тридцать, пока разыскивали Свербихина. Григорий Андреевич не сразу ответил на предложение. Прошло еще несколько минут. Это были минуты, как перед атакой... И вдруг в телефонной трубке послышался приглушенный расстоянием и волнением знакомый голос Григория Андреевича:

— А возьмет ли Драгунский меня к себе начальником штаба дивизии? Во время войны у нас с ним была одна неприятная история..

— В том-то и дело, товарищ подполковник, что командир дивизии Драгунский просит именно вас на эту должность,— обрадованно сообщил полковник.

— В таком случае я готов ехать.

Вместе с Григорием Андреевичем мы работали еще долгие годы. И теперь, встречаясь с генералом Свербихиным, мы улыбаемся, вспоминаем нашу боевую молодость. В жизни всякое бывает...

* * *

Бои в междуречье Бобера и Нейсе приняли затяжной характер. Нам так и не удалось захватить с ходу Лаубан и Герлин. Силы наши истощались, и пора бы нам остановиться. Да инициативу терять было нельзя. По-прежнему поступали приказы за приказами: «Вперед, вперед!» И мы продвигались по несколько километров на запад.

На подступах к Лаубану нам удалось выйти в тыл противника и овладеть большим поселком Вольдау. Почти целую роту гитлеровцев мы выловили, остальные, побросав оружие, разбежались кто куда.

На окраине Вольдау, у самого леса, наши разведчики обнаружили огромный длинный сарай, заваленный сотнями станков и разным промышленным оборудованием. Из сарая следы вели в какое-то подземелье. Бригадные разведчики проникли в эти катакомбы, услышали плач, стоны. При свете фонариков и факелов солдаты увидели жуткую картину: оборванных, заросших, изможденных, одичавших людей и десятки разлагающихся трупов. Это были бежавшие с помощью полейков из варшавского гетто евреи. Их было около сотни, теперь же осталось всего двадцать три человека. Почти два года скитались они по лесам и оврагам, прятались в подвалах, в подземельях, в катакомбах.

Наш бригадный врач Леонид Константинович Богусловский приложил много усилий, чтобы поставить на ноги этих несчастных.

Нелегко доставался нам тогда каждый километр на нашем пути. Враг яростно сопротивлялся. Наши потери возрастали с каждым днем. Выходили из строя солдаты и офицеры, сержанты и генералы. Бригада не досчитывала в своих рядах многих командиров взводов, рот и батальонов. Погибали самые смелые, отчаянные ребята, прошедшие длинный путь войны от Волги до Днепра, от Вислы до Одера.

В соседней 54-й танковой бригаде погиб командир первого батальона майор Хохряков, дважды Герой Советского Союза. Его мы в нашем корпусе называли «танкистом № 1». Не раз встречался я с ним в бою, его батальон действовал с нами во многих сражениях рядом, совместно форсировали водные преграды, наши танки освобождали польские земли, захватывали немецкие города.

В городе Василькове, на Киевщине, в том самом городе, который был освобожден его и моими танкистами и пехотой Головачева 6 ноября 1943 года, на высоком холме в живописном парке у двух могильных холмиков стоят два монумента. В одной из могил покоится дважды Герой Советского Союза майор Семен Васильевич Хохряков,

уральский горняк. Рядом с ним лежит мой боевой друг и товарищ, потомственный рабочий, мой земляк полковник Александр Алексеевич Головачев.

Впервые мы встретились с ним 30 октября 1943 года под Киевом. С того дня бригады, которыми мы с ним командовали, прошли в боях плечом к плечу длинный путь. Наши бригады были в одном и том же корпусе, воевали рядом, всегда помогали друг другу и даже звание Героя Советского Союза нам с Головачевым было присвоено одним и тем же Указом.

Когда бои развернулись далеко за Одером, в районе Лаубана, фашисты бросили против 23-й бригады Головачева свежие части. Бои приняли ожесточенный характер, нередко доходили до рукопашных схваток. Во время такой жестокой схватки в самом Лаубане один из батальонов бригады Головачева оказался в очень трудном положении. С этим батальоном был и комбриг. Немцы ворвались в четырехэтажный дом и выбили охрану штаба. На третьем этаже находился Головачев со своей радиостанцией. Бои шли на лестничной клетке, дом начал гореть. И вот среди бела дня, на глазах огоревших гитлеровцев Александру Головачеву удалось по веревке спуститься вниз. Собрав группу людей, он разделался с противником.

А 6 марта, за два месяца до нашей победы, Александр Головачев погиб смертью героя. 23-я мотобригада шла в направлении Наумбурга. Возле небольшой немецкой деревушки Логау наперерез колонне выскочили фашистские танки.

Головачев быстро взобрался на башню самоходки и крикнул:

— По танкам огни!

Артиллеристы-самоходчики успели сделать два выстрела и подбить один танк. И в это время с другого берега небольшой речки второй фашистский танк ударил из срудия. Головачев упал на дно самоходки, обливаясь кровью.

На другой день мы провожали в последний путь нашего боевого товарища.

Не так давно мне довелось читать письмо Головачева к родным: «...Я могу честно смотреть в глаза народу и сказать, что начал воевать в 6 часов утра 22 июня 1941 года. Я видел горечь первых поражений, а теперь испытываю радость наших побед... Я не допустил ни одного бесчестного поступка на войне. Был всегда там, где жарко. Семь раз тяжело ранен, а ран на моем теле всего одиннадцать. Если у меня не будет рук — буду идти вперед и грызть врага зубами. Не будет ног — стану ползти и душить его. Не будет глаз — заставлю вести себя. Пока враг в России — с фронта не уйду...».

Весь он в этих строках — коммунист Александр Головачев, сын старого большевика, отважный солдат, талантливый офицер.

Посмертно Александру Алексеевичу Головачеву было присвоено второй раз звание Героя Советского Союза. Я верю, придет время — и о нем будет написана книга, достойная его большой прекрасной жизни...

Мы, его фронтовые друзья, пошли дальше на запад, в глубь Германии, чтобы завершить разгром фашизма, неся на своих знаменах свободу народам Европы.



В МИРЕ ИСКУССТВА

М. БАРХИН,
доктор архитектуры

★

ДОМ, УЛИЦА, ГОРОД

Размышления об архитектурном ансамбле и его теме

Как само собой разумеющееся принято считать, что живопись должны понимать не одни только художники, музыку любить не одни лишь композиторы, а стихи ценить не только поэты. Причем не примитивно-потребительски, а глубоко чувствуя существо и прелесть этих произведений искусства. И это действительно так. В музеи и картинные галереи устремляются толпы людей. На концерты билеты расхватываются задолго до объявленного дня. Книги стихов раскупаются, как только они появляются на прилавках.

А как обстоит дело с архитектурой? С той самой архитектурой, которая, казалось бы, касается всех в несравненно большей степени, чем поэзия, музыка, живопись, театр, кино? Ведь она ближе всех искусств стоит ко всем без исключения людям, окружает их со всех сторон. С архитектурой, которую принято сейчас называть «искусственной средой» и чем она на самом деле есть? Ею не только пользуются, но она очень определенно воздействует на физиологию, на психику, на художественное восприятие. Она присутствует всюду и постоянно, где живет человек. Любопытствуя, удивляясь, восхищаясь, критикуя, во всяком случае активно воспринимая, относились с самого начала, относятся и сейчас люди к подземным вестибюлям станций метрополитена, к внешнему виду и интерьерам Дворца съездов, к ансамблю зданий на проспекте Калинина: новые формы зданий, четкие контрасты стекла, металла и бетона, ширина улицы, непривычный масштаб сооружений, блеск, свет, размах — все это не может оставить равнодушным никого.

Это верно. Но не приучаем мы ни детей, ни взрослых, ни в школе, ни в вузах, ни в семье, ни при каком другом общении к оценке архитектурных произведений, к попыткам разобраться в причинах того или иного впечатления от какого-либо сооружения или комплекса зданий, в причинах того или иного явления в архитектуре, в том, что такое красота в архитектуре, в чем достоинства и недостатки ее и т. д. и т. д. Не потому ли люди нередко, проходя десятки, сотни раз мимо великолепного сооружения, не видят его. Рассказывают, что на вступительном экзамене в Московский архитектурный институт спрашивали будущих студентов-архитекторов москвичей: сколько колонн в портике Большого театра? Кто называл шесть, кто семь, восемь, десять. А ведь это одно из самых крупных, величественных, заметных зданий Москвы, известное всем от мала до велика. А вот не запечатлелся почему-то его образ...

В газетах много пишут о крупнейших наших стройках и помещают их фотоснимки. И пишут обо всем — о бригадах бетонщиков, штукатуров, о действительно выдающихся строителях, называют фотографов, которые снимали это сооружение, но, как правило, не сообщают имени их авторов-архитекторов. И все же в наше время архитектура все больше и больше привлекает интерес и внимание людей, и если ее еще мало знают — в этом виноваты и сами архитекторы. Это позволяет мне высказать здесь

некоторые свои, возможно, в чем-то спорные мысли. Не пытаясь, разумеется, даже в малой степени заполнить пробел в наших знаниях архитектуры, я буду излагать эти мысли так, как сделал бы это для своих сотоварищей-архитекторов.

* * *

Из множества трудных и сложных проблем, которые сегодня волнуют архитекторов и на каждой из которых нужно было бы остановить внимание, мне кажется наиболее злободневной проблема ансамбля. Уровень нашей практики уже давно подошел к этой высшей отметке архитектуры — к работе над большими, целостно решенными комплексами. Широчайшие материальные возможности нашей страны, индустриализация строительства и рост художественных погрешностей открыли перед зодчими великолепные перспективы. Одиночное здание перестало быть целью градостроителя — его сейчас и теоретически и практически интересует не один дом как таковой, как бы ни был он хорош, а целая группа зданий, крупный микрорайон со всей системой его социально-бытового обслуживания. Собственно, даже не микрорайон, а большая часть города — с массой жилья, общественными зданиями, улицами разного назначения, площадями, сложной системой транспорта, со всей громадностью социальных проблем. Ну, скажем, в Москве это Юго-Западный район, Измайлово, Химки-Ховрино, Медведково, Черемушки.

Узко и часто решенная строительная задача уже не удовлетворяет запросов общества. Количественное накопление новых явлений привело и к новому качеству — к необходимости создания архитектурных ансамблей, художественно осмысленных, организованных по определенному художественному плану, имеющих заданную цель архитектурной выразительности. Оказывается, просто расставить дома — по периметру квартала, вдоль по улице или параллельными рядами перпендикулярно к этой улице или даже под углом к ней — уже недостаточно. Да и повальное увеличение этажности — от пяти этажей до девяти, а затем с девяти до шестнадцати — в принципе ничего не меняет, только общий уровень карнизов зданий при этом равномерно повышается и, как вода в половодье, «затопляет» старые, ранее еще возвышавшиеся, очень умело расставленные городские ориентиры — церковь ли с колокольней, крепостные ли стены монастырей с великолепными башнями, просто хорошие, но невысокие дома...

В нашей стране сложились такие условия, в которых смогло широко развернуться современное градостроительство. И развернуться так широко и по-новому оно смогло потому, что для решения главной задачи страны — массового строительства жилища и общественных зданий — была создана за последние десятилетия мощная индустриальная база.

Вот тут и возникает то качественно более сложное, более выразительное, что для советской архитектуры делается особо важным, — переход к искусству архитектурного ансамбля. Ведь мы, как никто и нигде в мире, строим массово, строим целые улицы и районы, целые новые города. В послевоенное время у нас каждый год возникает два-два с половиной новых городов. За последние годы составлено 620 новых генеральных планов наших городов.

Не следует думать, что проблемы ансамбля нам уже хорошо известны или, наоборот, совсем для нас новы. Это не так. Мы вправе рассматривать градостроительство как высшую ступень архитектуры, предполагающую, что архитектура отдельного здания у нас уже безукоризненна.

Мы располагаем блестящими примерами ансамблей прошлых эпох, таких, как, например, Московский Кремль, как старый Петербург и множество интереснейшим образом решенных центров старых русских городов и городков — Ярославля и Костромы, Калининна и Ростова, Дмитрова и Коломны, Соловков и Тобольска и проч. и проч. Таких, как ансамбли старых городов Украины — Киева, Чернигова, Львова; городов Грузии и Армении — Тбилиси, Мхета, Эчмиадзина, Санаина; городов Средней Азии — Самарканда, Бухары, и многих, многих других — Вильнюса, Риги, Таллина, Баку...

У нас есть уже и новые крупнейшие ансамбли — центр Ташкента, центр Ульяновска, отдельные элементы нового центра Москвы, новые районы Вильнюса, вновь возникшие интереснейшие города — Навои, Шевченко, Тольятти...

Да и за рубежом проблема ансамбля стоит сейчас так же остро и насущно. И разрешается она в ряде случаев достаточно выразительно. Но каждый раз нам приходится убеждаться, что ансамбли там делаются в чрезвычайно жестких для архитекторов условиях тесноты старых городов, с одной стороны, и частной собственности на землю — с другой. Противопоказан капитализм современному градостроительству, и очень редко удается в условиях буржуазного государства выделить площадь для новых ансамблей. И все же мы знаем, например, крупный комплекс в Стокгольме. Там создан новый торговый и конторский центр. В нем тесно — вынужденно тесно — стоит пять высоких плоских прямоугольных стеклянных башен — офисов. Прием этот потом стал встречаться в центрах других городов.

Интересен новый ансамбль в Лондоне. Тут цельной группой поставлено шесть огромных высотных домов нового «сити» — «Барбикэн». Но этот «Барбикэн», сам по себе интересный, давяще близко расположен от знаменитого произведения Кристофера Рена — собора св. Павла. И там же, на берегу Темзы, вознесся на высоту тридцати четырех этажей небоскреб фирмы «Виккерс». Из-за близкого соседства со зданием Парламента он смял изысканность старого силуэта города — Тауэр-Вестминстер, чем вызвал глубокое, но бесполезное возмущение в среде ревнителей старого Лондона.

Я видел вновь сооружаемый ансамбль в Париже, где плотная гроздь, толпа, целый лес высоких башен создали новый центр на площади Обороны (плас де ля Дефанс). Но французы тщательнее оберегают историческое лицо своей столицы. Они вынесли новый центр подальше от старого (Лувр — Елисейские поля — площадь Звезды), отдалив его на целых шесть километров, чтобы огромные небоскребы не раздавили прелести архитектуры прошлых веков.

Крупные ансамбли создаются и в других районах мира. Наиболее целостный из них — это известный ансамбль правительственного центра в новой столице Бразилии — городе Бразилиа (архитекторы Оскар Нимейер и Лусио Коста). На мощной высокой общей платформе размещены два парламентских зала. Геометрически чистые формы плоского купола одного зала и вогнутой плоской чаши другого легко и изящно стоят на этой платформе. Между ними стремительно возносятся в глубокое небо две тесно составленные башни-пластины. Удивительно сочетание цветовой гаммы этих скупых, но разнообразных по форме белоснежных геометрических объемов с синим небом и красной землей. Но ведь так можно было построить лишь в пустыне. Там свободное место нашлось...

Особенно серьезна для советской архитектуры проблема выразительности ансамбля, его идейной направленности, его ведущей мысли, главной темы. Можно не преувеличивая сказать, что мы переживаем этап архитектуры ансамбля. Если, фигурально выражаясь, раньше здание было законченной фразой с самостоятельным смыслом, которую можно читать, расшифровывая каждую деталь, любоваться филигранной ее отточенностью, то теперь оно всего лишь отдельное слово. «Фразой» же стал ансамбль. Это ничуть не снизило значения здания как такового, а поставило его на место в условиях нового, выросшего масштаба. Оно не самоцель, оно часть целого.

Возросли интерес и требования к архитектурному ансамблю, к его художественным качествам. Остро ощущается стремление к целостности комплекса. Соседство сооружений усиливает впечатление от каждого составляющего. Это уже не просто сумма слагаемых, а нечто качественно новое, впечатление от которого возрастает в геометрической прогрессии — настолько ансамбль в целом выше по своим эстетическим достоинствам каждого отдельного сооружения.

* * *

Сейчас закончена напряженная работа большого коллектива архитекторов и инженеров над новым генеральным планом Москвы на срок до 2000 года и, отдельно, над проектом детальной планировки ее центра. Масштаб и объем работ огромны. Какова же в самых общих чертах структура будущей Москвы в целом?

Я не собираюсь рассматривать весьма кардинальные, а поэтому, возможно, и спорные проблемы генерального плана, а хочу представить себе новый план Москвы с позиций его архитектурно-пространственного решения, его композиционного построения, кото-

рые ложатся в основу всех московских ансамблей. Причем каждый найдет свое место во всей огромной системе соподчиненных ансамблей, связанных единой целью, единым замыслом. И что очень важно — каждый из них можно будет оценить с точки зрения развития заданной градостроительной темы, с позиций того, способен ли он войти в могучую общую симфонию форм и пространства, объемов и красок, природы и инженерии будущей Москвы.

В решении генерального плана авторы (авторский коллектив возглавляют архитекторы М. Посохин, Н. Уллас, С. Матвеев и другие) перешли от существующей одноцентральной схемы города к многоцентровому ее построению. Предполагается создать в Москве вокруг главного, общегородского, исторически сложившегося центра своеобразное ожерелье семи крупных, достаточно самостоятельных «зон». В этих зонах — каждая из них по своему объему равна крупному городу с населением от шестисот тысяч до миллиона человек — образуются свои автономные центры. Такая полицентрическая организация города представляется новаторской и прогрессивной. Она вытекает из правильной мысли о невозможности примитивного наращивания кольцеобразных наслоений на единый центр. Влияние одного центра не может хватить на полный радиус Москвы в ее новых границах — пятнадцать—двадцать километров. Такова главная и самая значительная идея плана.

В городе решительно развиваются исторические радиальные магистрали, связывающие новые зональные центры со старым центром Москвы. Радиусы эти мощными транспортными артериями врываются в город с периферии и даже из-за города. Это Ленинградское шоссе — улица Горького, ведущая на Красную площадь; это улица Димитрова (бывшая Б. Якиманка) — продолжение Ленинского проспекта, — подводящая к Кремлю; проспект Кутузова, а затем Калинин, проложенный до башни Кутафьей и сворачивающий на улицу Димитрова, и ряд других магистралей. На этих проспектах и размещаются самые крупные и важные наши ансамбли. Это вторая композиционная идея плана.

Однако при этом обостряется одна важная для Москвы проблема. По проекту, мощные магистрали доводятся до самого Кремля. Опыт строительства проспектов показывает, что ширина полосы, которую нужно «прорубить» в ткани города, чтобы проложить новую, широкую, застроенную с обеих сторон магистраль, должна быть не меньше двухсот метров. Это значит, что восемь—десять проспектов, сходящихся в один узел, вряд ли позволят оставить нетронутыми хоть сколько-нибудь крупные куски старой, исторической ткани города. Вот и возникают различные предложения, как лучше разрешить этот сложный комплекс вопросов. Нужно ли, например, доводить транспортные магистрали до самого центра? Может быть, их остановить, скажем, на кольце «Б», на Садовых улицах? В пределах же Садового кольца, может быть, удастся при этом перейти на подземные транспортные тоннели и на значительно более густую сеть линий и станций метро? Тогда вся наземная территория внутри кольца «Б» была бы отведена лишь для пешеходов. И много больше частей исторического центра города можно было бы уберечь... И так далее.

А для Москвы вопрос сохранения целостных участков ткани города XVIII—XIX веков стоит достаточно остро. Думается, что попытка сохранить искусственно выделенные из окружения отдельные точечные памятники старой архитектуры не может быть выходом из положения. Памятник, лишенный среды, в которой он жил, в масштабе и сочетании с которой он создавался, оставшись одиноким в среде новых жилых и административных гигантов, окажется случайной маленькой безделушкой.

Такое превращение отдельных, прекрасных по качеству сооружений прошлого в модное старинное «украшение», в «сувенир для иностранцев» мы можем видеть на проспекте Калинин и в большем масштабе — у гостиницы «Россия», на месте бывшего Зарядья. Думаю, что такой метод сохранения архитектуры старой Москвы не сможет решить задачу. Вероятно, лишь сохранение достаточно крупных кусков территории со зданиями вовсе не уникальными, если их рассматривать по отдельности, но колоритными, если видеть их взятыми вместе, смогло бы донести до потомков образ, лицо Москвы прежних веков. Таких удивительных заповедных мест в Москве все еще много — и в районе Кропоткинской и Метростроевской улиц, и улицы Воровского, и у Таган-

ки, и в Замоскворечье и т. д. Надо, конечно, не забыть и такие целостные куски Москвы уже советской, первого десятилетия, как улица Усачева, Трехгорные улицы (в районе Красной Пресни) и др.

И в то же время это не должно означать, что в центральных частях города нельзя якобы ничего трогать. Напротив, музея из Москвы делать нельзя. Москва обязательно должна стать новой, вовсе, кардинально новой. Такова ее судьба — судьба столицы мирового социализма. И строить нужно очень много нового.

Но пока разрабатывается глубоко продуманный генеральный план, пока идут принципиальные споры, где быть правительственному центру Союза, какая должна быть высота новых периферийных центров, как прокладывать магистрали и о многом другом, в Москве, естественно, строительство идет.

В специальной архитектурной прессе за последнее время много внимания было уделено содержанию и качеству самых крупных отдельных зданий и ансамблей новой Москвы. Разбирались такие уникальные комплексы, возникшие за последнее время, как, например, проспект Калинина, гостиница «Россия», гостиница «Националь», развилка Ленинградского и Волоколамского шоссе, Смоленская площадь и некоторые другие. Разбор этот носил характер градостроительный. Оценка проводилась с позиций выяснения правильности решения не только общегородских функциональных, транспортных, инженерных требований, но главным образом — что делать пока мы еще не очень умеем — с точки зрения художественных качеств. Эти выступления показали, в общем, что художественную проблему градостроительного ансамбля, его объемно-пространственную композицию решить не так просто.

Советское общество, социалистическая система открывают широчайшие перспективы для наиболее полного раскрытия социальной сути градостроительства, причем градостроительства комплексного, реализующего всю сумму потребностей человека.

Но достаточно ли полно используем мы, архитекторы, те исключительные возможности, которые предоставляет нам наш государственный и общественный строй и которым так завидуют все без исключения градостроители Запада? Всегда ли все, что мы строим, художественно цельно и выразительно? К сожалению, недостаточно полно используем и недостаточно выразительно строим.

Мы закладываем огромные новые районы. Масштаб наших работ несоизмеримо больше, чем где бы то ни было за рубежом. Но не всегда мы можем похвастаться полноценными решениями.

Сейчас, не дожидаясь утверждения проекта генерального плана Москвы и фиксации организованных мест для тех или иных зданий, уже возводится ряд крупнейших, может быть, самых крупных сооружений города в пунктах, не очень точно обоснованных и верно выбранных, а подчас и вовсе случайных. И потому трудно, крайне трудно быть уверенным, что они способны обеспечить требуемое качество будущих ансамблей. Так неминуемо произойдет на набережной Москвы-реки у нового здания СЭВ, напротив гостиницы «Украина», где без особых попыток создать цельное градостроительное явление воздвигается огромное административное здание, никак не связанное с обоими названными крупными сооружениями и вовсе отвернувшееся от проспекта Калинина. Так, очевидно, может случиться и на Садовом кольце у еще строящегося здания новой Третьяковской галереи — там вырастет тридцативосьмизатная башня административного назначения. А ведь все это «уникумы», выдающиеся сооружения и самые крупные и важные комплексы. К таким зданиям предъявлялись и будут предъявляться очень высокие требования. Это правильно и понятно — уж очень всем хочется, чтобы эти сооружения были «лучше всех». Но важно еще и другое: чтобы они могли «держаться» на себе будущие ансамбли. К сожалению, это не всегда так получается.

Строительство Москвы необъятно широко. Ансамблей строится у нас много и в самых разных концах города. И оказывается, что там, где работа идет спокойнее, где составляющими ансамбля служат здания в основном жилье, относительно обычные, там рождается более целостное, более «ансамблевое» решение. «Рядовые» комплексы, в общем, получаются лучше, убедительнее, они менее претенциозны, чем «уникумы». Чем это объяснить? Тут, мне кажется, две причины: первая причина субъективная — избыточно высокие требования к уникальным сооружениям (на фоне общего роста культу-

ры); вторая причина объективная — большая цельность «периферийных» комплексов, вызванная свободным их расположением и тем, что нет поводов «выскочить» выше и дальше всех...

* * *

Ансамбль может возникнуть в результате последовательного, исторического «складывания» и в результате одновременного его создания. Первая ситуация была, что вполне объяснимо, более распространена на ранних этапах нашего строительства. Опыт последнего времени показывает, что перспективы советской архитектуры — во втором направлении — в задумывании, проектировании и осуществлении ансамбля если не сразу по времени, то во всяком случае по единому детально разработанному плану. Ясно вместе с тем, что и в наши дни в крупных старых городах по-прежнему большую роль будет играть реконструкция, то есть создание комплексов, учитывающих уже ранее сложившиеся элементы намечасмого целого. Конечно, в новых районах старых городов и особенно во вновь возникающих городах для формирования ансамблей будут более свободные условия.

Не надо, конечно, представлять себе «готовый» ансамбль как нечто на века неподвижное. Я не говорю об исторически сложившихся ансамблях — они, естественно, подтверждают это положение. Но и сразу задуманный комплекс, уже при нас построенный, все время видоизменяется, корректируется, выправляется, дополняется — ведь жизнь идет, и требования к этому комплексу следуют за жизнью.

Действительно, что означает для наших городов понятие «исторически сложившаяся» их часть? В большинстве случаев это будет история нашей же советской архитектуры.

Из всего обилия возможных аспектов рассмотрения обоих типов архитектурных ансамблей меня более всего привлекает такая, казалось бы, отвлеченная категория, как архитектурная тема. В данном случае — тема ансамбля. Я выбрал эту несколько «формальную» задачу потому, что проблема формы мне кажется не столько слабым, сколько наименее разработанным участком сложного труда зодчего. Я уверен, что разбор любого архитектурного произведения должен быть очень тесно связан с основными теоретическими положениями архитектуры, и потому позволю себе несколько теоретических отвлечений.

Что такое «тема»?

К сожалению, в архитектурном «языке» очень много терминов не имеет точных определений. В том числе и «тема». Под этим термином понимаются по меньшей мере две совершенно разные категории. Одна, более распространенная, содержательная, где тема выступает как назначение архитектурного объекта, — по программе проектирования, например, может быть задана тема: «жилой дом», «Дворец Советов» и пр. И другая — формальная, в которой тема рассматривается как художественный прием решения — именно так употреблял это слово крупнейший наш зодчий И. В. Жолтовский. Не претендуя на полноту определения, попытаюсь сформулировать это понятие не афористически, а распространено, что будет легче, и в приложении к интересующему нас вопросу.

Под темой в архитектуре я бы хотел понимать именно те художественные средства, которые применяет архитектор, ту формальную сторону задачи, которую ставит он перед собой, когда ищет образ, ищет выражение идейного или практического, а чаще того и другого вместе, назначения проектируемого объекта. Такое определение может быть спорно, но пока нет точно и «законодательно» установленного, я позволю себе пользоваться такой его трактовкой.

Должно быть при этом совершенно отчетливо уяснено, что хотя «тема» относится к «форме» как к диалектической категории, она, бесспорно, содержательна. Выразительность темы (а следовательно, и успех образа) в решающей степени зависит от слитности ее с содержанием того или иного здания. Именно в архитектуре тема способна донести до зрителя идейную сторону его содержания чисто архитектурным методом. Такое же понимание «темы» приложимо и к градостроительству, но коснется оно, естественно, уже ансамбля зданий, целой улицы, площади, района. Именно архитектурная тема в состоянии объединить этот комплекс в нечто целостное. Причем един-

ство вовсе не предполагает быть однозначным. Оно может строиться на контрасте и на нюансе, на подобии и на противопоставлении.

Хотелось бы на знакомом многим читателям примере рассмотреть названные, достаточно отвлеченные понятия. Мне кажется, для этого возможно было бы в несколько схематизированной форме провести анализ градостроительного и архитектурного решения улицы Горького собственно, только ее начала и даже одной, правой, стороны, выполненной в довоенные годы архитектором А. Мордвиновым.

Анализ можно было бы вести в таких четырех плоскостях. назначение улицы, содержание ее, архитектурная тема и фактические средства застройки улицы.

Под назначением следует понимать чисто функциональную, утилитарную сторону задачи: улица Горького — это транспортная, торговая и одновременно жилая и даже административная улица.

Содержанием я бы здесь назвал ее общественную роль. В этом понимании улица Горького — улица парадов, шествий, манифестаций, народных гуляний — «главная улица».

Говоря о «теме», я имею в виду формальные архитектурно-художественные средства выражения содержания. Сюда я отнес бы: цельность фронта застройки, принятие за основу «темы» плоскости стены, ритм крупных горизонтальных и вертикальных элементов, расчленяющих эту плоскость, единство мотива на всем протяжении застройки.

Наконец, характер строившихся зданий определил фактические способы застройки. Это в подавляющем большинстве многоэтажные дома с магазинами в первых этажах и частично общественные здания.

Сопоставляя все перечисленное выше, легко обнаружить ряд противоречий, допущенных при решении задачи. Прежде всего они выявляются в самом характере магистрали. на одной трассе совмещены все возможные функции улиц — жилой, торговой, транспортной, парадной. Это приводит к противоречию между практическим назначением и общественным содержанием улицы: в дни торжеств, в часы массовых гуляний функции транспорта, торговли, администрации выключаются, жизненные, бытовые процессы затрудняются. Относительно интимное содержание жилых домов противоречит содержанию улицы в целом — улица слишком шумна, полна движения, света. И наконец главное: противоречивы это же содержание жилых домов и тема архитектуры, взятая по замыслу улицы в мощном масштабе цельных, крупных, якобы общественных зданий.

И все-таки в этих противоречиях нет вины архитектора. А. Мординов правильно принял общественную тему улицы, ее высокий пафос как главной тогда магистрали всего города. Все дело в том, что объект строительства — обычные жилые дома — попали на такую парадную улицу вынужденно. Архитектору предстояло разрешить две задачи: во-первых, дать необходимое жилье и, во-вторых, создать самую важную — «главную» — улицу — новое лицо реконструированной, социалистической Москвы.

На этом примере очень ясно прослеживается ответственная роль генерального плана всего города, который, помимо многого другого, должен еще распределять и определять характер, назначение и по существу тему каждой улицы, каждой площади, каждого ансамбля.

Обе части задания А. Мординов на уровне своего времени решил: жилье дал, улицу сделал. Можно сейчас резко корить архитектуру — ее стилистику, степень правдивости образа, ее художественный уровень. Можно сейчас справедливо считать, что прием улицы-коридора плох, устарел, изжил себя. Но цельность ансамблевого решения, сделанного, как говорится, на одном дыхании, сразу и на большом протяжении улицы заслуживает быть отмеченной. А ошибка здесь градостроительная, и произошла она от неясности в назначении улицы.

При создании ансамбля правой стороны улицы Горького была принята одна тема — и в выборе компонентов улицы (жилых домов), и в их архитектурно-художественной разработке. У этого ансамбля есть, вполне естественно, и известные достоинства, и серьезные недостатки. Означают ли достоинства, что ансамбли всегда нужно делать из одного типа зданий — жилых, например, как на улице Горького? Или, наоборот, значат ли недостатки его, что полноценный ансамбль можно получить лишь так, как делали

раньше, — из крупных общественных зданий, — а жилье должно служить «фоном» для неких «ударных» (общественных) зданий? А может быть, нужен комплексный ансамбль, сочетающий различные по назначению здания и различные темы их художественной трактовки? Но не это оказывается принципиальным. Важно иное.

Разбор ансамбля улицы Горького помог определить: во-первых, важность и необходимость логической связи назначения отдельных слагаемых с социальной функцией (содержанием) целого; во-вторых, большое значение общего замысла, идеи всего ансамбля (их правдивости); в-третьих, организующую роль темы, единой темы ансамбля. В художественном отношении последнее — самое существенное. Причем художественная значимость относится к единству (или по крайней мере согласованию) именно темы, а совсем не к стилевому или даже временному единству.

Я исхожу из того, что «единство» темы — понятие условное. Главная тема — не статичная категория. Она может иметь ряд разветвлений, «подтем». Главная тема может развертываться в виде сложной фуги. На фоне главного звучания «работают» меньшие темы — нюансные, контрастные, но всегда соподчиненные, поддерживающие главную.

Интересно проследить, как менялось наше отношение к теме в архитектуре в послевоенные годы. В первый период идейным содержанием всех архитектурных замыслов была победа, утверждение пафоса победы. Это естественно возникшее стремление, рожденное патриотическим подъемом всего народа, горячо волновало всех градостроителей и архитекторов. Надо было увековечить триумф нашей страны. И наряду с решением важнейшей социальной задачи массового строительства жилых домов возникла идея создания в Москве системы высотных зданий. Вместе с гигантским Дворцом Советов они должны были стать памятником эпохи. Образность и выбор художественной темы — вне зависимости даже от практического содержания зданий — были тут продиктованы самим идейным замыслом. Высотные здания были и административными, и учебными, и гостиницами, и обычными жилыми домами — в этом как раз и заключалось серьезное противоречие задания. Но поскольку в первую очередь выдвигалась необходимость формирования нового силуэта Москвы, то это и определило тему архитектуры зданий — их высотность, ярусность построения и вертикализм членений. И тут поставленная перед нашими архитекторами задача была решена.

С середины пятидесятых годов о художественном ансамбле уже не было речи. Об архитектурной теме никто не задумывался. Внимание было сконцентрировано на типовой массовой застройке, на количественной стороне задачи.

И лишь с конца пятидесятых — начала шестидесятых годов снова с большой энергией, с огромным вниманием советское градостроительство обратилось к ансамблевым решениям как основному средству организации пространства. И снова архитектурная тема как художественная категория, придающая ансамблю цельность, архитектурный смысл, силу звучания и выразительность, выходит на передний план.

С размахом строительства цельность застройки все больше внедряется в нашу градостроительную практику. Начинают застраиваться центральные части многих городов. В Киеве уже сразу после войны возник мощный ансамбль — проспект Крещатик. В Ленинграде за последнее время построены большой протяженности магистрали — Ново-Московский, многобашенный Ново-Измайловский проспекты и другие. Сейчас разрабатывается крупнейший и обещающий быть очень интересным ансамбль Васильевского острова, собственно, его западное побережье, с поднятым на три метра уровнем поверхности (за счет рефулирования дна Финского залива). Создается, таким образом, морской фасад города, которого он дожидался более двухсот пятидесяти лет и который будет встречать всех подходящих к Ленинграду с моря.

В Ташкенте сооружается новый, очень крупный и разнообразный правительственный центр города, образованный рядом больших общественных зданий. Ульяновск получает новый центральный район с ансамблем Ленинского мемориала. В Москве возникают крупные целостные участки застройки, созданные по единому замыслу. Таков высотный отрезок проспекта Калинина, вылетные части Ленинского проспекта, Вернад-

ского и многих других. В Москве же завершается ряд комплексов, исторически складывавшихся десятки лет, и очень большое количество новых улиц, площадей, районов.

Но, мне кажется, удача этих комплексов в большой степени будет зависеть от того, примут ли архитекторы тут какую-либо ведущую тему для своих ансамблей. Вне зависимости даже от существа темы сам факт ее присутствия определит градостроительно-художественное качество — все равно — улицы, площади или целого района.

Каждый из названных ансамблей заслуживает особого разбора. Но посмотрим сначала на такие, в которых целостная тема задумана не была. Например, площадь имени пятидесятилетия Октября (бывшая Манежная).

Теперешняя площадь — образование историческое. В нее входят, ее создают такие шедевры русской архитектуры, слившиеся друг с другом (несмотря на резкие стилистические несоответствия), как Кремлевская стена с башнями Кутафьей, Троицкой, Средней и Угловой Арсенальной, сам Арсенал (Х. Конрад), Манеж (О. Бове), старый Университет (М. Казаков—Д. Жиллярди). В нее входят более поздние сооружения Исторического музея (В. Шервуд) и Музея В. И. Ленина (Д. Чичагов), старое здание гостиницы «Националь». Образовалась площадь в своих нынешних границах после слома в середине тридцатых годов старой застройки Моховой улицы, Обжорного и Лоскутного переулков, церкви Параскевы-Пятницы, лавок Охотного ряда и некоторых других зданий.

Здесь на расчищенных местах построены были в это время новые здания, образовавшие нынешний проспект Карла Маркса. Это гостиница «Москва» (А. Щусев, О. Стабран, Л. Савельев), Дом Совета Министров СССР (А. Лангман), жилой дом, теперь занятый администрацией «Интуриста» (И. Жолтовский). В образ этой площади естественно вошла и часть новой застройки улицы Горького (А. Мордвинов). Совсем недавно в комплексе площади возникли два крупных сооружения — Дом Госплана (Л. Павлов) и новый высотный корпус гостиницы «Националь» (В. Воскресенский и Ю. Швердяев), которые хотя и не стоят на самой площади, но очень активно входят в ее образ вторыми планами, выглядывая из-за «спины» более низких ранних построек. Как видим, участие в строительстве этого района центра Москвы принимали в разное время самые крупные и талантливые наши архитекторы.

Очевидно, в этих условиях нельзя требовать стилового, временного единства. Но, к сожалению, здесь нельзя найти и композиционного единства. И это досадно. Если бы хоть кем-нибудь такая задача ставилась, если бы хоть кто-нибудь имел целостный замысел этого крупнейшего комплекса, то того нагромождения случайностей, которое сейчас открывается на площади, можно было избежать. Вот где вопрос ведущей темы не возникал ни разу на всем протяжении времени, пока складывался этот комплекс. Вот где видно, как односторонне, только чертежно, на плане площади и прилегающих отрезков улиц или в лучшем случае на макете решался вопрос застройки этого важного места Москвы. Вот где видно, как случайно выделялись участки для отдельных зданий и как эти здания делались — сами по себе, самостоятельно, практически не считаясь с соседями.

Рассмотрим сторону, противоположную Кремлю, так как кремлевская сторона — это всем очевидно — вышла хорошо. Спокойный, пространственно разработанный низкий силуэт старого Университета сменяется более высоким, шестиэтажным зданием архитектора И. Жолтовского и старым «Националем». Претензий к «Националю», естественно, предъявлять сейчас нечего. Строился он в начале века, и считаться ему со старой застройкой Тверской улицы, с застройкой охотнорядских лавок, даже с Университетом, тогда тесно зажатым мелкими домишками Моховой улицы, было трудно, да в то время и не нужно. Виден он был один, крупным, цельным кубом. Такова и была задача архитектора.

Но Жолтовский строил, зная всю перспективу расширяемой площади. Открылись Университет, Манеж и очень ценный самим зодчим Арсенал. И все-таки этот крупнейший мастер своего времени сочинил вещь, резко диссонирующую со своим окружением. Почему же он так сделал? Потому что для Жолтовского важнейшей задачей было создать новый крупный модуль города и новую тему площади. Он очень ответственно думал о роли здания в пространстве. И если по высоте дом подтянулся к «Националю»,

то по теме архитектуры новый дом и не думал признавать старого соседа. Мощные, отлично нарисованные колонны колоссального ордера придали дому масштабность, отвечающую новому значению огромного города. И сейчас, через тридцать лет, дом не потерял своего величия, а расчлененный на этажи, измельченный старый «Националь» художественно перестал существовать.

В эти же тридцатые годы чуть подальше, на месте бывшего Охотного ряда, строились два очень крупных сооружения — Дом Совета Министров СССР и гостиница «Москва». Поставлены они были один против другого. Оба они создали сразу новую площадь — часть теперешнего проспекта Карла Маркса. Но каждый автор делал дом сам по себе. Никаких целей ансамбля, никакой общей архитектурной темы у авторов — очень крупных зодчих своего времени — для таких больших зданий в таком ответственном месте не возникало. Попыток сговориться друг с другом у них тоже не было, как не было и внешней сильной дирижерской руки, которая смогла бы все три здания при любой степени индивидуальности каждого согласовать между собой (хотя главным архитектором этого участка города тогда был один из авторов комплекса, А. Щусев).

Одно здание крупное, административное. У него сильные вертикальные членения, выделяющие на главном фасаде центр и два крыла. Центральный вход сделан с проспекта, на который ориентирована вся композиция. По фасаду на всю его высоту идут тянутые пилястры. Это и есть основная и достаточно выразительная тема, принятая из соображений масштаба крупного города. В этом отношении, несмотря на резкое стилевое различие, это сооружение по идее, по теме близко к дому, построенному Жолтовским.

Другое здание — гостиница — обращено на новую Манежную площадь, что, между прочим, градостроительно вполне логично. Оно по своей трактовке, возможно, более «человечно», но гораздо меньше учитывает масштаб города, так как слишком мелко расчленено. Тема его не вертикаль, а горизонтали поэтажных балконов. Стоит оно по отношению к Дому Совета Министров боковым фасадом. Каждый автор по-своему был прав, ориентируясь один на магистраль, другой — на площадь. Но цельной композиции тут не получилось. Руководящего замысла не существовало. Частные темы возобладали. Общая тема рассыпалась.

Судьба рассматриваемой стороны площади претерпела дальнейшие изменения в наши дни. Из-за старого «Националя», сделанного в стиле французского ренессанса, теперь возвышается двадцатидвухэтажная призма нового «Националя». Она расчленена в мелкую равномерную клетку, очень самостоятельна и не отмечена даже попыткой соотноситься с масштабом площади.

История повторяется: снова одновременно с новым «Националем» возводится почти симметрично ему, по другую сторону улицы Горького, второе здание, поставленное так же сзади по отношению к Дому Совета Министров, как новый «Националь» — к старому «Националю». Это здание Госплана, решенное совсем уже в новой для площади теме. Каркас этого здания одет ленточными перемичками и лентами окон. «Полосатость» этого здания резко противостоит как вертикалям Дома Совета Министров и плоскости стены домов улицы Горького, так и клетке нового стеклянного «Националя».

После всего сказанного можно подумать, что ансамбли надо бы делать, во-первых, сразу, во-вторых, по предварительно составленной схеме и лучше всего в одной манере, в одной узко понимаемой «теме». Но так ли это? Совсем не так. История всеобщей архитектуры, вся история нашего русского зодчества показывает, что такие требования совсем не обязательны. Стоит лишь посмотреть на комплекс Московского Кремля, на старые ансамбли центров любого русского города, хотя бы на Советскую площадь с церковью Ильи Пророка в Ярославле, на знаменитые ленинградские площади и т. д. Мы увидим здесь, что все дело в широком проникновении последователей в замысел предшественников — мысль, кстати говоря, не новая. Для исторически складывающихся ансамблей только при этом одном и самом главном условии и сохраняется общность темы, вернее, ее развитие, углубление, обогащение, сохраняется градостроительная ценность, а художественное качество ансамбля, как правило, возрастает.

В случае же с бывшей Манежной площадью этого не произошло. Даже наоборот. Так же как И. Жолтовский не посчитался со старым «Националем», так же два его

ближайших ученика не посчитались с его собственным произведением. Конечно, речь идет не о «стиле», а об идее улицы и площади, об их масштабности, целостности. И так же автор дома Госплана не посчитался ни с Домом Совета Министров, ни с новым «Националом». Но если Жолтовский был, в общем, прав, так как у него был верный, крупный замысел сделать вещь в новом масштабе столицы, и если тему он выбрал общую с Казаковым, Жнлярди, Бове — ордерную систему, — то остальные авторы принимали темы своих сооружений, игнорируя сложившуюся обстановку. Каждому хотелось сделать вещь «самую лучшую», и заботы о целом не было. Поэтому вся панорама представляет собой набор множества тем разнокалиберной, разномасштабной архитектуры. Через каких-нибудь тридцать—пятьдесят лет никто из изучающих историю архитектуры не поверит, не сможет поверить даже документальным данным, что эта сторона площади в основной своей части построена в течение жизни одного поколения, — так велик разрыв в стилистике и «философии» архитектуры. И я снова прихожу к выводу, что в таком масштабе, как площадь, главную роль должен был играть замысел градостроителя. В сложившейся обстановке — на последнем этапе формирования всей площади. Тему для ансамбля всей такой площади должен бы задумать в общем плане именно градостроитель. Ее не было. Ансамбль одной из интереснейших площадей Москвы, полный великолепных памятников архитектуры, так и оставшихся единичными произведениями, сложился стихийно.

* * *

Чем дальше, тем все шире и грандиознее сказываются органически присущие советской архитектуре возможности создания ансамблей, задуманных целиком, сразу, по одному плану, в общей теме. И все же представляет самостоятельный интерес один пример последнего времени, когда ансамбль был задуман в одной форме, когда тема была принята одна, в ней он был закончен и относительно долго так существовал, а затем неожиданно и круто изменилась и форма и тема его. Речь идет об участке Кутузовского проспекта у Поклонной горы, обстроенного двумя огромными жилыми домами по проекту архитектора В. Гельфрейха и большого коллектива его мастерской.

Два очень крупных здания поставлены строго симметрично по обе стороны въезда в Москву, несколько раскрываясь навстречу движению. Тема монументальности, силы (если не сказать тяжести), парадности отвечала общему стилевому направлению архитектуры конца пятидесятих годов. Трапезиевидная въездная площадь была преувеличена по размерам, излишне представительна, официальна по тону архитектуры.

Очень широкий проезд разрезал площадь по ее оси на две половины. Цельного пространства в таком его понимании, как мы видим на площади перед Зимним дворцом в Ленинграде или на Красной площади в Москве, здесь не создавалось. По существу это была не площадь, а расширение улицы, к тому же не очень обоснованное ее назначением.

И вот сейчас на этой площади по самой ее оси умело поставлена реконструированная Триумфальная арка в память Отечественной войны 1812 года. Трудно даже объяснить то преобразование, ту градостроительную трансформацию, которая произошла с площадью. Сейчас это один из интереснейших ансамблей Москвы. Не важно при этом, что характер, тон архитектуры домов не отвечает сегодняшним взглядам. Не важно, что архитектура арки, сейчас сооруженной, относится к началу прошлого века. Не важно даже, что прямой содержательной связи арка с жилыми домами не имеет (хотя каждое из этих положений принципиально и могло бы служить поводом для размышлений). Я вижу здесь совсем иную сторону явления: на площади появился новый элемент ансамбля крупного масштаба. Он оказался способным держать и организовать весь размах площади, ранее совсем пустынной. Масштаб арки воздействовал на дома, сделав их не такими самодовлеющими (я чуть было не написал самодовольными), зрительно уменьшив их, придав им более человеческие черты. Арка воспринимается как центр композиции, рисующийся на спокойном фоне зданий. Арка видна на просвет, и очень четко стал работать ее изысканный силуэт. Очень звонко зазвучала ее черно-белая гамма. Великолепная зелень большого партера и откоса Поклонной горы помогли завязать все компоненты площади воедино. Здесь с очевидностью выясняется, что суть не во временном единстве. Единство темы, триумфальной парадной темы обеспечило явную

удачу. Замысел восстановления арки именно здесь оказался совершенно верным. Противопоставление масштабов (в пределах одной темы) оказалось архитектурно оправданным. Элементарно воспринимаемое различие стили не только не помешало, а, наоборот, усилило звучание каждого компонента. Этот прием складывания ансамбля (по существу исторически последовательный), проверенный веками, оказался жизненным и для нас. Значит, дело в данном случае в присутствии градостроительного замысла, в совпадении тем, в контрасте масштабов, в учете уже существующих элементов комплекса, в тактичном внедрении новации в их среду. И этого оказалось достаточно для успеха архитектуры и архитекторов.

Как же создаются ансамбли, полностью новые? Каково практическое назначение элементов, их составляющих? Каково градостроительное содержание всего ансамбля? Какими архитектурными средствами решаются поставленные задачи? Понимая всю сложность и комплексность проблемы в целом, я ограничусь лишь рассмотрением всего нескольких ансамблей на крупнейших магистралях столицы.

Мы видим на практике, как самые различные темы могут послужить основой для формирования ансамбля. Некоторые из них, такие, как нюанс, контраст, использованы на проспекте Калинина, на площади пятидесятилетия Октября, на Кутузовском проспекте. Но мы знаем и много других композиционных приемов работы над формой, организуемых не только отдельное сооружение, но в еще большей степени их комплекс. Это, к примеру, единство и развитие темы, метр и ритм, динамика и статика, симметрия и асимметрия, высотность и протяженность, одно- и многообразие, сочетание главного и второстепенного, соподчинение отдельных частей целому и т. д. Но — и это главное — тема в градостроительстве возникает всегда как выражение идейного замысла, как выражение идейного и практического, то есть социального содержания, как выражение характера комплекса.

Легче всего это можно проследить на теме улицы разного назначения — транспортной магистрали, прогулочного проспекта, жилой улицы, внутриквартального проезда и т. д.

Поскольку улица в XIX веке да и в начале XX была рассчитана на пешехода и тихий, медлительный и немногочисленный конный транспорт, то и застройка ее по фронту с обеих сторон жилыми домами не только не вызывала трудностей для жителей города, но, наоборот, была вполне логичной. Естественно было расположить на такой улице магазины и другие общественные здания. Это украшало улицу, делало ее веселой и оживленной, создавало ее обитателям жизненные удобства. Улица могла быть и была одновременно и жилой, и пешеходной, и транспортной. Шум, пыль, вибрация в этих условиях не достигали нынешнего критического уровня. Тема такой улицы была ясна. Лучшим примером могут служить улицы Петербурга — одновысотные, скромные по архитектуре жилые дома с первым этажом общественного назначения. Протяженное однообразие улицы неожиданно разрывается в ряде мест, и там возникают богато разработанные крупные общественные здания — «ударные акценты». Создается архитектурная fuga, и на первую тему спокойного фона накладывалась вторая — в виде метрического ряда сложных архитектурных элементов. Третьей темой была разработка этих «акцентов». «Паузы» и «удары» чередуются в крупном ритме, согласованном с характером восприятия неспешно идущего пешехода и человека, проезжающего в карете.

В наши дни, с их бурным темпом жизни, все изменилось самым решительным образом. Улицы вынуждены приобретать специализированный характер. Это неизбежно и неотвратимо. И чем раньше это мы поймем, тем будет лучше для наших улиц. А значит, и образ улицы как цель и архитектурная тема, как средство должны быть различны.

Мне представляется очевидным, что в городе обязательно должны быть улицы — скоростные магистрали. Они необходимы для ввода в город транспортных потоков, идущих из главных районов расселения. Их образ, их архитектурная тема у нас еще как-то мало продумывается. Мне, например, кажется, что эти трассы вовсе не должны быть обстроены зданиями. Никаких домов на них нельзя ставить по той причине, что жить и работать в них было бы предельно тяжело. Вероятно, там должны быть лишь

достаточно широкие зеленые полосы-обрамления, надежно отделяющие и прикрывающие здания от магистрали, со светильниками, рекламой, надписями, знаками. Они будут рассчитаны на повышенную скорость движения и, следовательно, на краткосрочность восприятия. Переходные мосты по второму уровню, развязки с разворотами в двух или даже в трех уровнях придадут таким пересекающим город мощным трассам особый, динамический характер, необычную красоту. На втором плане, из-за зеленой полосы, могут рисоваться отдельные высокие башни домов, намного удаленных от магистрали. Ритм этих башен, нарастание или падение их высотности и плотности будут ориентировать движение к центру или от него.

Будут улицы парадные, прогулочные с весьма ограниченным движением транспорта низких скоростей, с большими и свободными пешеходными потоками. Здесь на улицы должны бы выйти магазины, рестораны, кафе, здания бытового обслуживания, театры, кино, политические и административные здания. Образ таких магистралей будет жизнерадостным, богатым, разнообразным. И темы архитектуры здесь могут быть самыми различными, так же как и средства выразительности. Если бы не случайность в размещении жилья и чрезмерная концентрация транспортных потоков, то образ проспекта Калинина мог бы быть близок к моим представлениям. Сила ритма, единство архитектурной темы, выразительность контрастов размеров, форм, материалов, цвета, фактуры — все может иллюстрировать высказанную мысль.

Будут улицы жилые. Вот здесь должны бы сосредоточиваться жилые дома, здания социально-бытового и культурного обслуживания, некоторые общественные сооружения. Образ этих улиц должен был бы нести в себе черты уюта, приветливости, спокойствия. Улица будет озеленена, обводнена. Но застройка ее по фронту вряд ли сохранится. Современные градостроительные предложения — отдельно стоящие в зеленых крупных группах высотных жилых зданий — не оставляют места улицам-коридорам, «облицованным» фасадами домов. И это, конечно, правильно и обязательно. Разумеется, все хорошие слова об образе жилых улиц должны бы получить архитектурное содержание. А оно в свою очередь получит тему, раскрывающую это содержание. Над архитектурной темой таких именно жилых улиц (хотя я вовсе не уверен, что их будут называть «улицами») социалистического города надо бы сейчас особо много работать, как как эту проблему поставить и решить можно только в наших социальных условиях, при нашей подлинной заботе о человеке.

Мне кажется, что в районе Химок, где сейчас строится большой жилой комплекс — микрорайон «Лебедь» (авторы — Н. Селиванов, А. Меерсон, Е. Подольская), складывается новое отношение как к домам, так и к «улице», ко всему окружающему дома пространству, к подъездам и подходам к ним. Улицы-подъезды существуют — они строгие, прямолинейные, рассчитаны на машину. Пешеходные подходы тоже существуют, но они разнообразны по начертанию и рассчитаны на человека. Улицы эти вовсе не обстроены привычно-плоскими фасадами домов. Три группы живописно скомпонованных башенных зданий, объединенных по первым этажам помещениями социально-бытового обслуживания, свободно и вместе с тем четко стоят в пространстве, в мощной зелени лесопарка, отражаясь в зеркале водоохранилища. Здесь в натуре можно будет увидеть попытку, помимо решения других задач, найти также и новую социальную, а следовательно, и архитектурную тему «жилой улицы».

* * *

Какие же крупные, целиком задуманные и в той или иной степени уже реализованные комплексы способны передать нам вновь создающееся лицо Москвы? Из всего обилия возможных примеров я выбрал всего три.

Довольно трудно установить принцип, по которому можно было бы ограничить себя минимальным числом примеров. Но мне казалось, для возможности сопоставления необходимо иметь, во-первых, обязательно общее назначение комплексов, очевидно, жилых; во-вторых, их одинаковое градостроительное положение; в-третьих, расположение их в одном районе города. Поэтому я позволил себе остановиться на застройке трех загородных магистралей западного направления.

Я отнес бы сюда левую (при подъезде к Москве) сторону Ленинского проспекта

в его головной части. Затем участок высоких домов на проспекте Вернадского у гостиницы «Дружба». И, наконец, головную же застройку Минского шоссе у мотеля на кольцевой дороге. Кроме жилого в основном назначения, их объединяет общность темы, выбранной для решения длинных участков улицы. Главным средством для этого во всех случаях принят метр, повтор четко поставленных башенных домов. И хотя конкретное решение, пропорции этих зданий различны, но объединяющее все эти ансамбли метрическое решение дает легко воспринимаемый шаг движению, ясно членит протяженное пространство и последовательным накоплением ощущений создает в итоге сильное архитектурное впечатление. Нельзя думать, что такая архитектурная тема единственно хороша. Но в данном случае, пока она не стала штампом, бездумным повторением чужого опыта, ее хочется отметить как безусловную удачу.

И все же следовало бы подумать о более сложных построениях. Не только о простом метре, но и о его динамике. И действительно, главные улицы всегда имеют, во всяком случае должны иметь, ясно выраженное направление и ведут к центру или к периферии. Они просто не могут быть статичными в своем назначении, так как по мере перемещения вдоль них мы видим, как они становятся более или менее «важными», если хотите — центральными в смысле их значения для города. Это не касается кольцевых магистралей. Для сквозных же диаметров характерно будет вообще изменение знака важности при миновании центра. Не касается это и жилых улиц, интимное значение которых, внутренний характер их функций не требует каких-либо выраженных динамических устремлений.

Но улицы парадные, улицы центров, улицы, рисующие и образующие костяк, структуру всего города, — они не безразличны, они обязательно должны иметь доминирующую направленность. Здесь асимметрия, динамизм, нарастающая степень разработанности архитектуры очень существенны для образа улицы. Прimitивный метр должен бы усложниться, выявляя соответствующее характеру движения устремление магистралей к цели этого движения.

Вернемся к новому участку Ленинского проспекта. В настоящее время он еще не закончен, застроена всего лишь одна левая сторона, и, возможно, не полностью. Однако уже завершенная часть улицы представляет самостоятельный интерес (авторы — Е. Стамо, Г. Чалтыкьян, Д. Розов, Л. Каган). Интересным этот пример представляется мне по ряду причин. Во-первых, очень хорошо, что, закрывая в первую очередь внутреннее пространство этого района, авторы оставили незанятыми внешние его границы, зарезервировали их. Теперь, когда строительство ведется по архитектурным проектам более высокого качества, когда здания возводятся более свободно расставленными и большей высотности, самое время занять внешнюю грань района. Сравнительно небольшая этажность и протяженность домов, применявшихся для внутренней застройки, способны были бы на фронте улицы лишь повторить невыразительную схему улицы-коридора, осуществленную на Ленинском проспекте в первые годы его строительства. Переход на повышенную этажность новых домов-башен, к усложненной форме дома — в виде двух смещенных друг относительно друга объемов — и правильная по странам света ориентировка этих зданий, поставленных под углом к направлению трассы, придали этой части магистрали индивидуальные черты, запоминающийся, нестандартный образ. Здесь тема нарастания впечатлений как результат перехода количества в новое качество нашла ясное и достаточно яркое выражение. Смещенные, спаренные призмы домов видны при движении вдоль улицы каждый раз чуть по-разному для каждого здания. Это очень обогащает метрический ряд и при единстве архитектуры, при типовом решении зданий, при индустриальном их возведении создает достаточно разнообразный комплекс. Ньюанс восприятия каждого последующего здания, различие в точке зрения на них, верно установленное количество зданий — всего пять — и, что очень важно, достаточно большие расстояния между домами учитывают современный мобильный характер восприятия сооружений в быстро сменяющихся ракурсах. На этом примере, кстати говоря, раскрываются все архитектурно-художественные возможности индустриального строительства. Однообразие, монотонность застройки кварталов одинаковыми зданиями дискредитировали не принцип индустриализации и типового сооружения, а лишь степень умения архитектора и

градостроителя пользоваться ими. Важно, конечно, чтобы ряд повторов не превысил бы зрительно воспринимаемый и легко математически сосчитываемый количественный предел. В данном случае мы видим реабилитацию расстановки однотипных зданий.

Но как определить этот предел, этот художественный «лимит» количества? Этим у нас сейчас почти никто не занимается, хотя теорию ритма и метра в свое время очень хорошо разработал М. Я. Гинзбург, а величайший опыт греков, тонко регулировавших число метрически поставленных колонн в своих храмах, изучается две с половиной тысячи лет... На проспекте Калинина административных домов поставлено четыре, а жилых пять. На Ленинском проспекте воздвигнуто пять домов. На Минском шоссе тоже пять. Большого количества башенных зданий в один ряд как будто пока не ставили. Однако все это чистая эмпирика. Почему четыре, а не пять, почему пять, а не восемь, объяснить трудно. Не ограниченной же длиной участка можно оправдывать то или иное число, хотя это и очень существенно. Вероятно, нужно изучать психологию и физиологию восприятия метра зданий (число зданий и величину интервалов между ними) для человека, идущего пешком, и для наблюдающего из быстро движущегося транспорта. Тогда границы воспринимаемого будут установлены доказательно. Но пока мы оперируем лишь реальными данными, и тема улицы, решенная метрично расставленными пятью объемами, производит достаточно сильное впечатление.

Сейчас спроектирована и начинает осуществляться застройка второй стороны Ленинского проспекта. По схеме она тоже метрична, но здесь принят метр другого шага, более крупный и более сложный, не совпадающий с уже выстроенной стороной улицы. На правой стороне будет стоять лишь три комплекса. Возникает принципиальный вопрос: нужно ли связывать ритмы обеих сторон или они могут быть самостоятельными?

Сами авторы говорят, что хотя разные стороны магистрали проектировали две архитектурные мастерские, творческое содружество исключило возможность конкуренции обеих сторон застройки и позволило решать Ленинский проспект как единый архитектурно-пространственный ансамбль. Но опубликованный проект второй стороны улицы показывает, что это не совсем так. Хотя опыт проспекта Калинина демонстрирует достаточную целостность ансамбля при различной трактовке обеих сторон улиц и мы видим, что от этого целое только обогащается, в случае с застройкой Ленинского проспекта здания стоят так различно, по форме своей они так отличаются, что архитектурная тема их рвется, и тут приходится говорить о двух разных темах и двух разных ансамблях. Но нужна ли такая прямая связь, которая механическим путем обеспечила бы единство? Думаю, что и различие в трактовке обеих сторон улицы могло бы быть достаточно интересным.

Заслуживает большого внимания хотя тоже пока еще не законченный, но очень хорошо воспринимаемый отрезок проспекта Вернадского, складывающийся у гостиницы «Дружба» и построенный по проекту Г. Чалтыкьяна, М. Александровой и Л. Кагана.

Тут по обеим сторонам улицы стоят одинаковые, очень пластично разработанные высокие жилые дома. Сложный план, выступающие и западающие участки стены, лоджии и балконы, ребра поперечных стен создают красивую скульптурно-насыщенную архитектуру с господствующими вертикальными членениями. Пока на одной стороне улицы стоит пять домов, на другой — два дома. Не знаю, будет ли их число увеличено. Для развития темы ансамбля этого вроде бы достаточно. Хотя возможно и удлинение ряда. Но не в этом суть. Оказалось, что скользящий вдоль ряда домов взгляд (при подъезде к Москве) неожиданно упирается в здание совершенно другой архитектуры, горизонтально расчерченное лентами окон и перемычек. Это гостиница «Дружба» (проект Ю. Шевченко, А. Сосиной, В. Аросева, В. Богословского). И вот эта новая и, казалось бы, чуждая тема, остановив метр, сыграла большую положительную роль. Основная тема метра вертикальных членений, и так достаточно разработанная, зазвучала много выразительней от сильного и для зрителя неожиданного контраста. Такие очень удачные находки надо серьезно анализировать: ведь здесь мы, с одной стороны, видим комплекс (вернее, крупную часть его), созданный почти сразу, с другой — видим при-

менными две совершенно разные архитектурные темы. И хотя я не очень уверен в предварительной четкой договоренности авторов, я вижу в итоге очень своеобразный и удачный ансамбль, приметный даже при обилии строительства в Москве в большой степени благодаря динамизму его явной направленности к центру.

Очень любопытный комплекс, пока односторонний, вырос на самой границе Москвы, у кольцевой автодороги на Минском шоссе. Место, о котором мы говорим, называется Кунцевом, но фактически здесь начинается Москва. Столица встречает здесь подъезжающих с запада.

Это 95-й квартал, головной участок Минского шоссе, это первые дома Москвы (авторы — Л. Голубовский, А. Корабельников, А. Кузьмин). Они должны давать первое впечатление о лице города, и они дают, производят его — очень выразительно. Стоит только вспомнить не столь уж далекое прошлое, когда старые въезды в Москву — и шоссе и железнодорожные — оказывались сплошь и на много километров загроможденными мусором полос отчуждения, складским хозяйством, бараками, лачугами окраин, штабелями дров, бревен. Теперь здесь стоят жилые дома в пять, десять, шестнадцать этажей. Их архитектура различна. И если каждый из них сам по себе вовсе не так уж замечателен — это все же рядовые, серийные дома, — то хорошо скомпонованные, поставленные в интересном контрасте, они вместе образовали необычный комплекс.

Новое шоссе, только что законченное, этажа на два, а то и на три выше территории участка. Дома стоят на низких отметках. С высоты поднятого шоссе хорошо открываются широкие перспективы, становится ясной вся организация внутреннего пространства микрорайона. Мы видим достаточно цельный и законченный комплекс. Ведь всюду до сих пор, начиная от улицы Горького, проспекта Калинина и кончая Ленинским проспектом, дело шло о застройке (так или иначе) фронта улицы, одного фронта. Что за ним стоит, как сформирована глубина территории за парадным фасадом? Неизвестно. В данном же случае перед нами та цельность решения, само наличие которой заставляет поддерживать опыт золчих. Оказалось, что самые простые ритмические ряды зданий — длинных и башенных, низких и высоких, — зрительно накладываясь друг на друга, дали и требующую динамику, и обязательную сложность всей «мелодии», и хорошо разработанную архитектурную тему — строгого ритма торцов вдоль магистрали и интимного интереса свободно решенных внутренних территорий. Сочетания разных по величине, протяженности, этажности, фасадному решению сооружений создают многоплановость и развитость архитектуры.

Так полноценное решение крупной социальной задачи оказалось прочно и удачно связанным с задачей художественной.

Я остановился на этих ансамблях вовсе не потому, что именно они самые удачные. На самом деле их много больше. Я попробовал рассказать всего о трех рядом расположенных въездных магистралях в Москву. И они показали, что правильно задуманные архитектурные темы даже при ограниченном материале гипсовых жилых домов могут обеспечить успех. Да дело вовсе и не в том, сколько мы рассмотрели ансамблей — три или тридцать три. А в том, что же можно из этих примеров выяснить. И хотя мне удалось затронуть вовсе не самые главные вопросы градостроительства и архитектуры, думаю, что даже из сказанного можно понять, какое многотрудное дело архитектура. Очень не просто сделать дом, еще сложнее придумать и построить комплекс домов. И вовсе трудно из комплекса, из механической группы зданий создать ансамбль, задуманный как нечто целостное.

Имея в виду все это, мне хотелось на частном и узком вопросе раскрыть всю сложность архитектуры не только в ее профессиональном отношении, но и особенно в ее восприятии как художественного произведения. Ибо успех искусства архитектуры зависит отнюдь не от одних архитекторов. Зависит он — и в очень большой, даже решающей мере — от высокой архитектурной культуры всего народа.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Н. ЭЙДЕЛЬМАН

★

«ОБРАТНОЕ ПРОВИДЕНИЕ»

(Исторический очерк)

I

Двадцатого сентября 1754 года родился Павел I. В тот день императрица-бабушка Елисавета Петровна избавилась наконец от долгого гнева против наследника (будущего Петра III) и его супруги (будущей Екатерины II) за их затянувшуюся бездетность.

Екатерина II в своих мемуарах, писанных много позже, не скрыла, что Елисавета требовала от нее внука (точнее, внучатого племянника) любой ценой; что было приказано найти надежного фаворита, что таковым стал граф Сергей Салтыков и т. д.¹

Будущий император Павел I еще не умел произнести ни слова, но о нем первые недобрые слова уже были сказаны.

Каждый российский монарх жил и умирал, сопровождаемый самыми невероятными слухами. Но вряд ли о ком-нибудь ходило больше толков и сплетен, чем о «подменном государе Павле Петровиче».

Быстро вышло наружу, что в самом рождении его — нечто неясное, таинственное, беззаконное.

Павел так и не знал, кто же его отец (если Петр III — то что с ним сделали, если другой — то кто же?). Не понимал Павел, за что мать его не любит и собирается лишит престола. Гадал, отчего уж так к нему неуважителен Григорий Потемкин, «который в Зимнем дворце, при проходе его в амбразуре окна, положи ноги напротив стоящее кресло, не только не вставал, но и не отнимал их»².

Четыре года он царствовал и всюду угадывал измену, обман, заговор.

Павел Петрович был государственной тайной для самого себя.

Секретная жизнь завершилась секретною смертью в ночь с 11 на 12 марта 1801 года. Он только успел увидеть, что убивают, но так и не узнал всех своих убийц.

Наутро напечатали и выкрикнули, что государя сразил апоплексический удар, но рядом уж спорили, ухмыляясь, «апоплексический шарф ли» затянул шею или «апоплексическим подсвечником» — в висок; а поодаль шептали, что Павел Петрович непременно скрылся, в свой час явится и заступится...

«На похоронах Уварова покойный государь <Александр I> следовал за гробом. Аракчеев сказал громко (кажется, А. Орлову): «Один царь здесь его провожает, каково-то другой там его встретит?» (Уваров — один из цареубийц 11 марта)».

Эту запись внес в свой дневник Пушкин, который чрезвычайно интересовался негласным прошлым, знал лучше и точнее других самые опасные анекдоты десяти минувших царствований. Выбирая архивные тетради из-под тяжелых казенных замков, пи-

¹ Греч в своих мемуарах сообщает, какие сплетни вызвало в 1826 году, во время коронации Николая I, появление внучки Сергея Салтыкова, украшенной царскими драгоценностями (которые уже семьдесят лет считались неведомо куда затерянными).

² «Исторический сборник Вольной русской типографии», 1861, кн. 2, стр. 262.

сал о Петре, Пугачеве, Екатерине; родившись в правление Павла, успел еще повстречаться со своим первым императором («велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку...»), позже был знаком со многими деятелями того царствования, но про 11 марта 1801-го знал только из рассказов и преданий (бумаг не давали, и тем притягательнее они были). Пушкин, можно сказать, и погиб из-за тайных архивов: незадолго до смерти просился в отставку, чтоб бежать из столицы в деревню, но Николай и Бенкендорф пригрозили, что больше не допустят к архивам. Это губило важные планы (история Петра), и просьба была взята обратно...

Пушкина не стало, а XVIII русский век вместе с половиной XIX всё лежали, запечатанные по архивам.

II

Дядю Герцена, служившего в Англии, Павел I вызвал в Петербург, тот долго мчался морем, прямо с пристани — к императору.

«— Хочешь оставаться в Лондоне? — спросил сиплым голосом Павел.

— Если вашему величеству угодно будет мне позволить, — отвечал капитан при посольстве.

— Ступай назад, не теряя времени, — ответил Павел сиплым голосом, и он отправился, не повидавшись даже с родными, жившими в Москве» («Былое и думы»).

Короткое знакомство Герцена с «подменным» тем не ограничилось. «Бенгальский тигр с сентиментальными выходками» — тот царь надолго запомнился: «Вельмож он приструнил, струсил он и вспомнили, что они такие же крепостные холопы, как их слуги. С ужасом смотрели они, как император «шутит шутки нехорошие», то того в Сибирь, то другого в Сибирь...»

Герцену и Огареву к тому же с детства нравились заговоры во имя свободы: тиграноубийство в ночь с 11 на 12 марта — это было красиво, почти по Шиллеру. Мальчикам едва ли мечталось, что когда-нибудь они про ту ночь вольно заговорят и напечатывают...

Несколько веков странствует по литературе фантастический сюжет о замерзших звуках, которые позже, в оттепель, растаяли и сделались слышны.

Полтора века немели сотни тысяч слов, скованных петербургской стужей, — и вдруг в середине 1850-х годов сделалось так жарко, что ледяная музыка зазвучала.

Вольная типография Герцена и Огарева печатала правду о своих днях, а также о вчерашних и позавчерашних, печатала стихи Пушкина, запрещенные тридцатью годами раньше, воспоминания о декабристах, казненных за сорок лет до того, книгу Радищева, уже семьдесят лет как уничтоженную, и мемуары Екатерины — сто лет как засекреченные.

Воскресали обстоятельства, факты, документы, государственные тайны, замороженные в 1718-м, 1741-м, 1762-м, 1801-м, 1848-м... Чтобы вобрать такое половодье, вольные издания умножались: «Колокол» — для современных событий, альманах «Полярная звезда» — о декабристах, Пушкине, Чаадаеве, людях сороковых годов; для еще более ранних времен были придуманы «Исторические сборники Вольной русской типографии»¹.

Первая книжка вышла в начале 1859 года, к концу 1860-го собрали новую.

«Второй выпуск «Исторического сборника Вольной русской типографии», — писал Герцен, — доставит несколько любопытных материалов для уголовного следствия, теперь начавшегося над петербургским периодом нашей истории».

В это время в самой России также начали больше печатать о прошедшем столетии, и XVIII век «ухудшался» на глазах: новые публикации и факты осложняли его образ, составленный из нежных идиллий и громоносных побед в духе прежних казенных историков (Николай Устрялов и другие).

¹ «Исторические сборники» Герцена — одно из самых редких и труднодоступных изданий — сейчас переиздаются Институтом истории АН СССР. Текст будет воспроизведен фототипически (как в уже завершенных переизданиях «Колокола» и «Полярной звезды») и сопровождается научными комментариями.

Новая ситуация замечена Герценом: «Золотые времена Петровской Руси миновали. Сам Устрялов наложил тяжелую руку на некогда боготворимого преобразователя. За ним последовали в опалу не только Анна с Бироном, но и Меншиков с Волынским, потом благодушная Елисавета Петровна и еще больше благодушный Петр Федорович. Далее еще не позволяют нам знать историю. Русское правительство, как о б р а т н о е п р о в и д е н и е, устроивает к лучшему не будущее, но прошедшее. Пошлая газетная ложь остается обязательной. В дозволенной истории все сохранилось — от гастрической болезни Петра III и апоплексического удара Павла I до изумительных побед Паскевича¹ и пр. Вот этому-то пробелу и помогают несколько статей нашего сборника».

Почти половину второго «Исторического сборника» занимали никогда не публиковавшиеся документы о павловском царствовании: сумасшедшие приказы императора, воспоминания о его убийстве, а также большая статья о его происхождении. «Статьи о Павле я получил», — писал Герцен 23/II февраля 1860 года в Гейдельберг своему другу и постоянной корреспондентке Марии Александровне Маркович — известной украинской писательнице, выступавшей под псевдонимом Марко Вовчок. Мария Александровна не сообщила в Лондон, от кого поступили к ней статьи о Павле, может быть, не желая искушать любопытство немецких почтовых цензоров (интимно дружных с русскими). В конце своего предисловия ко второму сборнику Герцен сожалел, что статья о происхождении Павла и две другие «присланы нам без всякого значения, откуда они взяты и кем писаны. В тех случаях, когда нет особых препятствий, мы очень желали бы знать источники или имя автора — если не для печати, то для нас. Тимашев², как ни езди в Лондон и каких мошенников III отделения ни посылай, н и ч е г о н е у з н а е т — за это мы ручаемся».

Итак, статья о происхождении Павла получена Герценом через посредство Марко Вовчка в феврале 1860-го и опубликована через год.

Познакомимся с этим текстом.

Автор-аноним начинает издалека: 1754 год, двор Елисаветы... Впрочем, некоторые подробности заимствованы явно из записок Екатерины II, а записки эти только в 1858—1859 годах были опубликованы в той же Вольной типографии Герцена (прежде о них знало лишь несколько избранных). Из этого следует, что статья скорее всего написана незадолго до получения ее в Лондоне (может быть, специально для Герцена и составлялась?).

«Екатерине понравился прекрасный собою, молодой Сергей Салтыков, от которого она и родила мертвого ребенка, замененного в тот же день родившимся в деревне Котлах, недалеко от Ораниенбаума, чухонским ребенком, названным Павлом, за что все семейство этого ребенка, сам пастор с семейством и несколько крестьян, всего около 20 душ, из этой деревни на другой же день сосланы были в Камчатку. Ради тайны деревня Котлы была снесена, и вскоре соха запахла и самое жилье! В наше время этого делать почти невозможно; но не надо забывать, что это было во время слова и дела³ и ужасной пытки; а между тем сосед этой деревни Котлы, Карл Тизенгаузен, тогда еще бывший юношей, передал об этом происшествии сыну своему, сосланному в Сибирь по 14 Декабря, Василию Карловичу Тизенгаузену».

Легенда перед нами или боль — рано судить, но названы важные свидетели: отец и сын Тизенгаузены. Сорокапятилетний полковник Василий Карлович Тизенгаузен, член Южного общества декабристов, был осужден в 1826 году, около тридцати лет пробыл в Сибири и умер в 1857 году, вскоре после амнистии.

Рассказ продолжается. Автор, ссылаясь на записки Екатерины II, напоминает, как после рождения сына великую княгиню на несколько часов оставили без всякого ухода, даже пить не давали. Он видит в этом еще доказательство, что «Екатерине не

¹ Официальные сообщения изображали насильственную гибель Петра III и Павла I результатами болезни и превозносили любимого николаевского полководца Паскевича, задавившего своими огромными армиями освободительное движение в Польше и Венгрии.

² Управляющий III отделением в 1856—1861 годах.

³ «Слово и дело» — такова была формула, по которой до XVIII века объявляли властям о важной государственной тайне или преступлении.

удалось родить живого мальчика от Салтыкова; и как видно, что должны были подменить из чухонской деревни Котлов, за что пустая и злая императрица Елисавета, открывшая свою досаду, обнаружила ее тем, что после родов Екатерина, оставленная без всякого призора, могла бы умереть, если б не крепкий организм Екатерины, все вынесший, как мы видели из самого описания ее. Итак, не только Павел произошел не от Голштинской династии¹, но даже и не от Салтыкова. К Екатерине только через 40 дней, когда ей должно было брать очистительную молитву, пришла Елисавета и застала ее истощенную, истомленную и слабую. Елисавета даже позволила ей сидеть на кровати. С 20 сентября Екатерине позволено было видеть своего сына в третий раз. Это может служить доказательством, что прочим было не позволено совсем видеть. Надобно было прятать его как чухонца».

Далее повествование переносится за несколько тысяч верст и семьдесят лет — в Сибирь последних лет Александра I.

«Из семейства, из которого взяли будущего наследника русского престола, в северо-восточной Сибири впоследствии явился брат Павла I, по имени Афанасий Петрович, в 1823 или 1824 годах, в народе прозванный Павлом, по разительному с ним сходству. Он вел под старость бродяжническую жизнь, и в городе Красноярске один мещанин Старцов был очень с ним дружен, и Афанасий Петрович крестил у него детей».

Старцов послал письмо, извещавшее Александра I, что в Сибири находится родной дядя царя; велено начать розыск, тобольский генерал-губернатор Капцевич «вытребовал из Тобольска расторопного полицмейстера Александра Гавриловича Алексеевского, который берет с собою квартального из казаков г. Посежерского и еще двух простых казаков и отправляется отыскивать по Восточной Сибири, в которой народ не очень охотно посылает отыскивать кого-либо скоро, а особенно политических несчастных».

После долгих мытарств Алексеевский находит мещанина Старцова, а потом и самого Афанасия Петровича. Полицейстер, «опамятавшись от радости, тотчас обращается к Афанасию Петровичу и спрашивает его утвердительно, что точно ли его зовут Афанасием Петровичем. Впрочем, по разительному сходству с императором Павлом I, не позволил себе полицмейстер и минуты сомневаться.— Точно, батюшка, меня зовут Афанасием Петровичем, и вот мой хороший приятель мещанин Старцов.— Ну, так я вас арестую и повезу в Петербург.— Что нужды, батюшка, вези к ним. Я им дядя, только к Косте, а не к Саше².— Полицейстер Алексеевский в ту же минуту понесся в Петербург. Выезжая из Томска, полицмейстер Алексеевский встретил фельдгегера Сигизмунда, ехавшего из Петербурга по высочайшему повелению узнать об успехе разыскания. Через несколько лет потом, когда Алексеевский рассказывал о Старцове и об Афанасии Петровиче одному из декабристов, фон Бриггену, нечаянно вошел к нему сам фельдгегер Сигизмунд, привезший в Тобольск какого-то поляка и подтвердивший все рассказываемое Алексеевским, и между прочим оба разом вспомнили, что они в Петербург неслись, как птицы».

От обычных легенд, смешанных с правдой, которая «хуже всякой лжи», рассказ о происхождении Павла отличается постоянными ссылками автора на свидетельства осведомленных людей. Отставной полковник Александр Федорович фон дер Бригген — как и Тизенгаузен — был осужден в 1826 году и тридцать лет провел в Сибири. Фельдгегер Сигизмунд — известный исполнитель особых поручений: в декабре 1825 года его посылали за одним из главных декабристов — Никитой Муравьевым.

Но история еще не окончена:

«...Полицейстер Алексеевский прискакал в Петербург к графу Алексею Андреевичу Аракчееву, который с важной претензией на звание государственного человека, с гнусливым выговором проговорил входящему полицмейстеру Алексеевскому: «Спасибо, братец, спасибо и тотчас же поезжай в Ямскую, там тебе назначена квартира, из которой не смей отлучаться до моего востребования, и чтоб тебя никто не видел и не слышал — смотри, ни гугу».

¹ Петр III был привезен в Россию из Голштинии. С тех пор Романовых иронически называли «голштинцами», подразумевая постоянное онемечивание российской династии.

² С а ш а — царь Александр I. К о с т я — его брат, великий князь Константин Павлович.

Полторы сутки прождал зов Аракчеева Алексеевский, как вдруг прискакивает за ним фельдъегерь. Аракчеев вынес ему Анну на шею, объявил следующий чин и от императрицы Марии Федоровны передал 5 тысяч рублей ассигнациями. «Сей час выезжай из Петербурга в Тобольск. Повторяю, смотри, ни гугу».

Мещанин Старцов и Афанасий Петрович, как водится, были посажены в Петропавловскую крепость. Помнят многие, и особенно член Государственного совета действительный тайный советник Дмитрий Сергеевич Ланской, рассказывавший своему племяннику декабристу князю Александру Ивановичу Одоевскому, что по ночам к императору Александру в это время из крепости привозили какого-то старика и потом опять отвозили в крепость.

Мещанин Старцов, просидевший семь месяцев в Петропавловской крепости, возвращался через Тобольск в свой город Красноярск худой, бледный, изнеможенный. Он виделся в Тобольске с полицмейстером Александром Гавриловичем Алексеевским; но ничего не говорил, что с ним было в крепости, в которой, конечно, в назидание и в предостережение на будущий раз не писать подобных писем к августейшим особам навели на него такой страх, от которого он опомниться не мог, не смея раскрыть рта; а Алексеевскому, как он сам признавался, очень хотелось знать все подробности его пребывания в крепости.

Состарившийся придворный Свистунов знал об рождении Павла I, и за это Павлом был ласкаем и одарен большим имением; но за какую-то свою нескромность об этом, пересказанную Павлу, приказано Свистунову Павлом жить в своих деревнях и не сметь оттуда выезжать».

В последнем отрывке названы еще два важных свидетеля. Дядя декабриста и поэта Александра Одоевского действительно был очень важной и осведомленной персоной! «Состарившийся придворный Свистунов» — это камергер Николай Петрович, отец декабриста Петра Николаевича Свистунова.

Таким образом, возможность или вероятность описываемых в статье событий свидетельствуют четыре декабриста вместе с тремя своими старшими родственниками, а также двое царевых слуг — тобольский полицмейстер и петербургский фельдъегерь.

Понятно, легче всего услышать и запомнить опасные рассказы ссыльных мог некто из их среды. На нерчинской каторге, где все были вместе, по вечерам шел обмен воспоминаниями и необыкновенными анекдотами прошлых царствований. Сказанное одним тут же могло быть подхвачено, дополнено или оспорено другими декабристами...

Статья заканчивается следующими строками:

«Этим открытием рождения Павла от чухонца также еще объясняется глубокая меланхолия, в которую впал в последние два года своей жизни покойный император Александр. Можно себе представить, как тягостно должно было быть для него то чувство, что он разыгрывает роль обманщика перед целой Россией, а к тому же опасение, что это очень легко может открыться, потому что ничего нет тайного, что бы не сделалось явным...

В 1846 году кто-то, слушая историю Афанасия Петровича, назвал императора Николая Карлом Ивановичем. Да к тому же в этот год в Гатчине сам Николай играл на театре роль булочника Карла Ивановича. И вот «Карл Иванович, Карл Иванович» — разнеслось по России. Даже распустили слух, что бабка Николая живет в Петербурге в Галерной улице. Николай бесился и велел отыскать назвавшего его Карлом Ивановичем. Николай хорошо знал, на что намекали».

Любопытно, что кто-то слушал историю Афанасия Петровича в 1846-м: еще одно подтверждение, что статья написана не раньше пятидесятых годов, незадолго до ее опубликования, и если писал декабрист, то переживший сибирские десятилетия...

Вот и вся история, рассказанная в одном из вольных изданий Герцена: и с т о р и я императорской семьи, включающаяся как характерный штрих в многогранную

¹ Между прочим, в доме Ланского Александр Одоевский появился после 14 декабря, но дядя сам свел его в крепость. Ланской был членом Верховного уголовного суда над декабристами, однако по поводу собственного племянника «за свойством не наше» в себе возможности дать мнение» Позже часто посылал Одоевскому письма и посылки в Сибирь, ходатайствовал о смягчении его участи.

историю российского народа... Поскольку же такие истории задевают престиж власти, а противники власти — декабристы, Герцен — стараются все рассекретить, то «происхождение Павла» числится и по истории российского освободительного движения.

Наконец, если б даже весь рассказ был чистой выдумкой, он все равно представлял бы народное мнение, идеологию, характерные российские толки и слухи. Герцен писал о статьях «Исторического сборника»: «Имеют ли некоторые из них полное историческое оправдание или нет, например, статья о финском происхождении Павла I, не до такой степени важно, как то, что такой слух был, что ему не только верили, но вследствие его был поиск, обличивший сомнения самых лиц царской фамилии».

III

После публикации Герцена долго не появлялось каких-либо новых материалов, объясняющих эту историю. Разумеется, напечатать что-либо в России было невозможно (как-никак тень падала на всю царствующую династию¹), и искать нелегко: документы о таких вещах либо уничтожаются, либо хранятся на дне секретных сундуков.

Только еще одно свидетельство промелькнуло: сначала за границей (в 1869 году), а затем в России (в 1900 году) были опубликованы воспоминания декабриста Андрея Розена. Описывая, как его везли в Сибирь, Розен между прочим сообщает:

«От города Тюмени ямщики и мужики спрашивали нас: «Не встретили ли мы, не видели ли мы Афанасия Петровича?» Рассказывали, что с почтительностью повезли его в Петербург... что он в Тобольске, остановившись для отдыха в частном доме, заметил генерал-губернатора Капцевича, стоявшего в другой комнате у полуоткрытых дверей, в сюртуке, без эполет (чтобы посмотреть на Афанасия Петровича), спросил Капцевича: «Что, Капцевич, гатчинский любимец, узнаешь меня?» Что он был очень стар, но свеж лицом и хорошо одет, что народ различно толкует: одни говорят, что он боярин, сосланный императором Павлом; другие уверяют, что он родной его»².

Рассказ Розена — уже пятое свидетельство декабриста, относящееся к этой истории. Оказывается, о старике знали чуть ли не по всей Сибири.

Затем пришел 1917-й, праправнука Павла I свергли и расстреляли, из архивных тюрем вышли на волю документы о тайной истории Романовых. В 1925 году Пушкинский дом приобрел громадный архив Павла Анненкова, известного писателя, историка и мемуариста XIX столетия, близкого друга Герцена, Огарева, Тургенева, Белинского. Разбирая анненковские бумаги, Борис Львович Модзалевский обнаружил рукопись под названием «Происхождение Павла I. Записка одного из декабристов, фон Бриггена, о Павле I. Составлена в Сибири» (вскоре документ был напечатан в журнале «Былое») ³.

Это была та самая статья, которая шестьдесятю четырьмя годами ранее появилась в «Историческом сборнике» Герцена ⁴. Однако в списке Анненкова было несколько мест, неизвестных по лондонской публикации, — значит, он возник независимо от вольной печати, не был скопирован оттуда. (Герцен не знал автора статьи, даже жаловался на это, а тут ясно обозначено: «Декабрист Александр Бригген».)

Корреспондент, пославший текст Герцену, вероятно, нарочно скрыл имя автора, да еще в ходе самого рассказа упомянул о Бриггене в третьем лице. Хотя в заглавии ру-

¹ Известный историк Я. Л. Барсков после революции рассказывал, как Александр III однажды, заперев дверь и оглядев комнату — не подслушивает ли кто, — попросил сообщить всю правду: чей сын был Павел I?

— Не могу скрыть, ваше величество, — ответил Барсков. — Не исключено, что от чухонских крестьян, но скорее всего прапрадедом вашего величества был граф Салтыков.

«Слава тебе, господи, — воскликнул Александр III, истово перекрестившись, — значит, во мне есть хоть немножко русской крови». (Сообщено автору этой статьи профессором С. А. Рейсером. В завуалированной форме этот рассказ содержится также в бумагах Я. Л. Барскова.)

² А. Розен. В ссылке. М. 1900, стр. 109—110.

³ «Былое», № 6. 1925.

⁴ К сожалению, печатая этот документ, Б. Л. Модзалевский упустил из виду герценовскую публикацию.

копеси значится, будто она «составлена в Сибири», но, как уже говорилось, судя по содержанию, декабрист завершил ее примерно в 1859 году, то есть после амнистии. Может быть, записка действительно составлена в Сибири, но дописывалась в столице?

Александр Бригген за тридцать три года своей вольной жизни видел и слышал многое: крестил его Державин, обучали лучшие столичные профессора, Бородино наградило его контузией и золотой шпагой за храбрость, Кульмская битва — ранением и крестом; серьезное образование позволило в Сибири переводить античных авторов и заниматься педагогикой. Он пережил ссылку, возвратился в Петербург, где и скончался в июне 1859 года.

Послать свои «Записки» Герцену декабрист мог без труда. В столице у него было достаточно родственников и знакомых, которые были в состоянии ему в этом деле помочь. Назовем только двоих.

Николай Васильевич Гербель — известный поэт и переводчик, систематически пересылавший за границу русскую потаенную поэзию и прозу, был близким родственником Бриггена: родной брат Гербеля был женат на его дочери — в их семье декабрист и жил после амнистии.

Второй знакомец — Анненков, также мог переслать что угодно Герцену и Огареву, с которыми был в дружбе и на «ты» (может быть, не случайно в его бумагах остался список статьи о Павле I). Кстати, и Анненков и Гербель были хорошо знакомы с Марией Александровной Маркович и сумели бы воспользоваться ее посредничеством для передачи «Записок» Бриггена в Лондон.

Б. Л. Модзалевский, публикуя найденную рукопись, попытался установить ее достоверность. В месяцесловах 1820—1830-х годов он нашел двух героев статьи: титулярный советник Александр Гаврилович Алексеев (у Бриггена ошибочно — Алексеевский) в 1822—1823 годах был вторым тобольским частным приставом, а с 1827 по 1835 год — тобольским полицмейстером. В эти годы Бригген и другие декабристы, не раз останавливавшиеся в Тобольске, могли часто с ним видеться и беседовать. Судя по тем же месяцесловам, фамилию тобольского квартального (помогавшего разыскивать бродягу Афанасия Петровича и мещанина Старцова) декабрист тоже несколько искажил: нужно не Посежерский, а Почижерцов.

Модзалевский установил и другое, более интересное обстоятельство: полицмейстер Алексеев 25 декабря 1822 года получил орден Анны III степени (то есть «Анну в петлицу», а не «на шею», как сказано в статье Бриггена). «Получение такого ордена полицмейстером в небольшом чине, — пишет Б. Л. Модзалевский, — в те времена было фактом весьма необычным, и награда должна была быть вызвана каким-либо особенным служебным отличием (этот орден давал тогда потомственное дворянство)».

Квартальный надзиратель Максим Петрович Почижерцов тогда же получил «хлестаковский» чин коллежского регистратора, и хотя это была самая низшая ступенька в табели о рангах, но для квартального — редкость, награда за особые заслуги. Отныне ни один высший начальник не имел права преподносить тому квартальному законные зуботычины.

Итак, в 1822—1823 годах, когда, судя по рассказу Бриггена, искали и везли в столицу самозванца Афанасия Петровича и объявителя о нем — Старцова, — именно в то время два участвовавших в этом деле полицейских чина получают необычно большие награды. Значит, что-то было, просто так не награждают: нет дыма без огня...

Публикация Модзалевского в «Былом» вызвала много откликов¹. В газетах появились статьи под заголовками «Записки декабриста Бриггена. Новые материалы о происхождении Павла I» («Правда», 1 ноября 1925 года), «Чьим же сыном был Павел I?» («Луганская правда», 4 ноября 1925 года) и т. д.

Многие гадали: если подтверждаются некоторые обстоятельства, сообщенные Бриггеном, то не подтвердятся ли и другие? А если не подтвердятся, то что же было на самом деле?

Годы шли, а загадка, предложенная несколькими декабристами и Герценом, все оставалась нерешенной.

¹ Об этом сообщила автору данного очерка И. А. Желвакова.

IV

Осенью 1968 года я оказался в Иркутском архиве, где собраны тысячи бумаг, писанных несколькими поколениями генерал-губернаторов и канцеляристов о своих каторжных и ссыльных современниках. Не удивительно, что среди секретных документов первой половины XIX века сохранилось большое: «Дело о красноярском мещанине Старцове и поселенце Петрове. Начато 25 ноября 1822-го, решено 3 сентября 1825 года»¹.

С первых же страниц начинают подтверждаться, хотя и с некоторыми отклонениями, основные факты второй («сибирской») части рассказа Бриггена.

Девятнадцатого июля 1822 года красноярский мещанин Иван Васильевич Старцов действительно отправил Александру I следующее весьма колоритное послание:

«Всемилютейший государь Александр Павлович!

По долгу присяги моей, данной пред богом, не мог я, подданнейший, умолчать, чтобы Вашему императорскому величеству о нижеследующем оставить без донесения.

Все верноподданные Вашего величества о смерти родителя вашего и государя извещены, и по сему не полагательно, что под образом смерти, где бы ему страдать, но как я, подданнейший, известился, что в здешнем Сибирском краю и от здешнего города Красноярска в шестидесяти верстах в уездных крестьянских селениях Сухобузимской волости страждущая в несчастии особа именем пропитанного² Афанасья Петрова сына Петрова, который ни в каких работах, ремеслах и послугах не обращается, квартиры же он настоящий не имеет, и в одном селении не проживает, и переходит из одного в другое, и квартирует в оных у разных людей по недолгу. о котором страдалые известно мне, что он на теле своем имеет на крыльцах между лопатками возложенный крест, который никто из подданных ваших иметь не может, кроме Высочайшей власти; а потому уповательно и на груди гаковой иметь должен, то по таковому имени возложенного на теле его креста быть должен не простолюдин и не из дворян, и едва ли не родитель Вашего императорского величества, под образом смерти лишенный высочайшего звания и подвергнут от ненавистных особ на сию страдальческую участь, коей страдалец, известно, всегда ожидает в отечество свое обращение, и по сему я, подданнейший, ко узанию о его звании надеялся через нарочное мое в тех местах бытие получить личное с ним свидание и довести в подробном виде до сведения вашему императорскому величеству, но по таковым беспокойным и не односторонним находениям обрести его не мог, да и отыскивать опасался земских начальств.

Если же по описанным обстоятельствам такового страдальца признаете Вы родителем своим, то не предайте к забвению, возьмите свои обо всем высочайшие меры, ограничьте его беспокойную и беднейшую жизнь и обратите в свою отечественную страну и присоедините к своему высочайшему семейству, для же обращения его не слагайтесь на здешних чиновников, возложите в секрете на вернейшую вам особу, нарочно для сего определенную с высочайшим вашим повелением, меня же, подданнейшего, за таковое дерзновение не предайте высочайшему гневу вашему, что все сие осмелился предать Вашему императорскому величеству в благорассмотрение.

Вашего императорского величества всеподданнейший раб Томской губернии города Красноярска мещанин Иван Васильевич Старцов».

Письмо достигло столицы через два месяца — 19 сентября 1822 года.

В нем — много замечательного: и стиль, и чисто народная вера в царские знаки на груди и спине (Пугачев подобными знаками убеждал крестьян и казаков, что он

¹ Государственный архив Иркутской области, фонд 24 (Главного управления Восточной Сибири), дело № 4, картон 1. Дело это было частично опубликовано известным сибирским историком Борисом Георгиевичем Кубаловым в его статье «Сибирь и самозванцы. Из истории народных волнений в XIX в.» (см. «Сибирские огни», 1924, кн. 3, стр. 166—168). Из-за недоступности в то время «Исторических сборников» Герцена Кубалов не мог догадаться о связи найденного им документа с публикацией Вольной типографии и только напечатал выдержки из него среди других материалов о сибирских самозванцах.

² То есть живущего случайными заработками и подающим.

и есть государь Петр Федорович!); «земские начальства» в Сибири так страшны, что Старцов не только сам их опасается, но и за царя не спокоен («не слагайтесь на здешних чиновников», «возложите в секрет»¹).

Но те, кто читал послание в Петербурге, возможно, и не улыбнулись над ним ни разу.

Управляющий министерством внутренних дел граф Виктор Павлович Кочубей вскоре переслал копии с письма сибирскому начальству, заметив, что «по слогу оно и всем несообразностям, в нем заключающимся, хотя скорее можно бы отнести его произведению, здравого рассудка чуждому, но тем не менее признано было нужным обратиться на бумагу сию и на лица, оною ознаменованные, внимание, тем более что подобные толки иногда могут иметь вредное влияние и никогда терпимы быть не должны».

«Лиц ознаменованных» Кочубей велел немедленно доставить в столицу, для чего посылал фельдъегеря.

Последующие события изложены красноярским городничим Галкиным в рапорте от 12 ноября 1822 года «его высокопревосходительству господину тайному советнику, иркутскому и енисейскому генерал-губернатору и разных орденов кавалеру Александру Степановичу» (фамилию высшего начальника — Лавинский — городничий из почтительности не посмел запечатлеть на бумаге). Из Красноярска в Иркутск курьер несся тринадцать дней по дороге, окруженной невысокими лесами, о которых много лет спустя Антон Павлович Чехов напишет, что лес не крупнее соколынического, но зато ни один ямщик не знает, где этот лес кончается...

В рапорте городничего между прочим сообщалось:

«9-го сего ноября прибыл сюда по подорожной из Омска г. титулярный советник Алексеев с двумя при нем будущими и казачьими урядниками, и того же числа отправился в округ; откуда возвратился 11-го, привезя с собою отысканного там неизвестно из какого звания, проживающего по разным селениям здешней округи и не имеющего нигде постоянного жительства более 20-ти годов, поселенца Афанасия Петрова, с которым, присвокупя к тому здешнего помещика Ивана Васильева Старцова, отбыл 12-го числа... к городу Томску».

Знаменитый оборот «полицмейстер с будущим» хорошо известен: с будущим арестантом, чье имя не полагалось объявлять в подорожной... Объясняя название своей работы — «Письма к будущему другу», Герцен писал: «Если можно путешествовать по подорожной с будущим, отчего же с ним нельзя переписываться. Автор сам был будущим в одном давно прошедшем путешествии, а настоящим был Васильев, рядовой жандармского дивизиона»².

Рапорт городничего завершился диковинным канцелярски виртуозным периодом:

«При увозе же помещика Старцова г. Алексеев предъявлял мне данное ему за подписанием его высокопревосходительства господина тобольского и томского генерал-губернатора и кавалера Петра Михайловича (Капцевича) от 2-го ноября же открытое о оказывании по требованиям его, г-на Алексеева, в препорученном ему деле, принадлежащем тайне, пособиев и выполнения,— предписание».

В ту пору вся Сибирь делилась между двумя генерал-губернаторами: западная принадлежала тобольскому, а все, что было к востоку от Енисея, то есть территории побольше всей Европы, управлялась из Иркутска. Красноярск незадолго перед тем также подчинили Иркутску, и, стало быть, при аресте Петрова и Старцова была нарушена субординация: их забрали и увезли без ведома иркутского хозяина. Тобольский «гитчинец» Капцевич оправдывался перед Лавинским, что-де некогда было скакать две недели до Иркутска и две недели обратно, потому что дело слишком серьезное.

Меж тем в Иркутске узнали, что Афанасия Петровича за несколько лет до того уже забирал сухобузимский комиссар надворный советник Ляхов. Ляхова спросили, и он доложил: «Некогда до сведения моего и господина бывшего исправника Галкина

¹ Когда Сперанский был назначен генерал-губернатором Сибири и велел арестовать одного зверя-исправника, крестьяне жалели губернатора: «Не связывайся с ним, бабюшка, загубит он тебя».

² В 1835 году осужденного Герцена везли в пермскую и вятскую ссылку.

дошло, будто бы сей поселенец представляет себя важным лицом, по поводу сего и был сыскан в комиссарстве и словесно расспрашиван, и он учинил от того отрекательство, никакого о себе разглашения не делал, да и жители, в которых селениях он обращался, ничего удостоверительного к тому не предъявили, кроме того, (что) в разговорах с простолюдными и в особенности с женским полом рассказывал о покойном Его величестве императоре Павле Первом, что он довольно, до поселения его в Сибирь, видел и что весьма на него похож, и потому, не находя в том ни малейшей справедливости, без всякого донесения вышнему начальству, препровожден в свое селение со строжайшим подтверждением, чтобы он никак и ни под каким предлогом противного произносить не отваживался».

Канцелярское искусство комиссара не может затушевать зловещего местного колорита: Ляхов и его исправники — это те самые люди, которыми Старцов пугал Петербург. В шестидесяти верстах от Красноярска они самодержавно владеют затерянными в лесах и снегах жителями, а тут вдруг — подозрительный, говорливый старик, который куражится перед бабами, что императора видел и на него похож...

Позже, в Петербурге, Афанасий Петров, между прочим, показал, что «Ляхов, отыскав его через казаков, велел привести в волость и тут посадил на цепь и колодку, потом начал спрашивать: «Как ты смел называться Павлом Петровичем?» Петров отвечал: «Я не Павел Петрович, а Афанасий Петрович», и просил, чтобы комиссар выставил ему тех людей, по словам коих назывался он Павлом Петровичем. Комиссар сих людей не выставил, и как другие стали за него, Петрова, просить комиссара, то он, продержав его шестеры сутки, освободил без всякого наказания» (как щедринский «Орел-мещенат»: «Бежала она <мышь> по своему делу через дорогу, а он увидел, налетел, скомкал... и простил! Почему он «простил» мышь, а не мышь «простила» его?»).

Что же нужно еще, чтобы сначала по волости, а потом по всей Сибири распространиться слуху: человек, схожий с Павлом Петровичем, забран да отпущен, а комиссар отвечал мужественно и многозначительно: «Я не Павел Петрович, а Афанасий Петрович». Ведь наверно ерничал; намекал, что хорошо «рифмуется» с именем-отчеством покойного императора, — ну, точно, как если был бы императорским братцем... Может, и насчет «Сашеньки» и «Костеньки» тоже намеки были?..

Сибирь лежала за снегами и морозами глухой зимы 1822/23 года. Об арестантах, отправившихся в столь редкий для России путь — с востока на запад, — два месяца не было ни слуху ни духу. И вдруг в Иркутск прибывает бумага от тобольского генерал-губернатора, заполненная замысловагым екатерининским почерком (Капцевич, видно, не привык еще к манере молодых современных писарей):

«Отправленные в Санкт-Петербург Старцов и Петров ныне от господина управляющего министерством внутренних дел доставлены в Тобольск с предписанием возвратить как того, так и другого на места прежнего их жительства, и Старцова оставить совершенно свободным, не вменяя ему ни в какое предосуждение того, что он в Санкт-Петербурге был требован, а за Петровым, как за человеком, склонным к рассказам, за которые он и прежде был уже содержим под караулом, иметь полицейский надзор, не стесняя, впрочем, свободы его.

Но буде бы он действительно покусился на какие-либо разглашения, в таком случае отнять у него все способы к тому лишением свободы, возлагая неперменное и немедленное исполнение того на местное начальство».

Восьмого февраля 1823 года, после месячной зимней дороги, в Красноярск «под приемотром казачьего сотника Любинского и казака Чепчукова были доставлены пинский еврей Лейба Клодня, красноярский мещанин Старцов и пропитанный поселенец Петров». Последние два остались в Красноярске, Лейбу Клодню же, как видно, небольшого преступника, отправили дальше, в Иркутск, «меж казачьим пятидесятиком Камашниковым и урядником Зыряновым — с кувертом от его сиятельства графа Виктора Павловича».

В те дни, вероятно, и мучились любопытством тобольские, красноярские и иркутские начальники: что же произошло там, в Петербурге, о чем спрашивали? Но Старцов, как пишет Бригген, благоразумно помалкивал. (Алексеев, впрочем, приехал с орденем, полученным из рук Аракчеева, и, вероятно, к своим поднадзорным благоволил.)

Тут бы истории и конец. Но российские секретные дела причудливы, движения же их неисповедимы.

Почти в то самое время, когда Старцова и Петрова доставили на место и они еще переводили дух да отогревались, — в то самое время, 10 февраля 1823 года, из министерства внутренних дел за № 16 и личной подписью Кочубея понеслось в Иркутск новое секретное письмо — опять об Афанасии Петрове:

«Ныне, во исполнение последовавшей по сему делу Высочайшей Государя императора воли, прошу вас, Милостивый государь мой, приказав отыскать означенного Петрова на прежнем его жилище, для прекращения всех о нем слухов в Сибири, препроводить его при своем отношении, за присмотром благонадежного чиновника, к московскому г. военному генерал-губернатору для возвращения его, Петрова, на место родины. Но дабы не изнурить его пересылкою в теперешнее холодное время, то отправить его по миновании морозов, и, когда сие исполнено будет, меня уведомить».

Дело, начатое комиссаром Ляховым, теперь расширяли министр и сам царь: для распространения «нежелательного слуха», кажется, уже нельзя было сделать ничего большего!

Посмотрим на события глазами сибиряков, чье воображение было взволновано необычным отъездом и быстрым возвращением старика из столицы. Петровича снова забирают в Европу, откуда он только что вернулся, — факт в тогдашней Сибири небывалый!..

«Во исполнение... Высочайшей воли...» — значит, сам царь интересуется бродягой, беспокоится, чтобы его не изнурила холодная дорога.

Даже важные сибирские чиновники были, конечно, озадачены, тем более что верховная власть не считала нужным подробно с ними объясняться: пусть у себя, в тобольских да иркутских краях, они владыки, но для Зимнего дворца — едва заметные, прозябающие иде-то за тысячи верст.

Высочайшее повеление привело в движение громоздкий механизм сибирского управления. В канцелярии Лавинского приготовили бумагу на имя московского генерал-губернатора князя Голицына (причем целые абзацы из министерского предписания эхом повторены в новых документах: так, к фамилии Петрова теперь уже приклеился стойкий эпитет «склонный к рассказам»). Затем Лавинский призвал надежного пристава городской полиции Миллера и велел дать ему прогонных денег на две лошади от Иркутска до Москвы (позже, по важности дела, расщедрились еще на одну лошадь) — и помчался Миллер в Красноярск с бумагою, объяснявшей неповоротным инвалидам-смотрителям великого сибирского тракта, что едет он до Москвы «с будущим». Начальство нашло, что царская забота о здравии Афанасия Петровича не мешает отправке его в апреле, и 7-го числа бравый Миллер, посадив горемыку Афанасия в свою тройку, понесся в Москву, а Лавинский почтительно доложил об исполнении в Санкт-Петербург.

Обгоняя весеннюю распутицу, от Енисея до первопрестольной домчались скоро — всего за двадцать семь дней; 3 мая Миллер сдал «склонного к рассказам» мужичка, а князь Голицын выдал в том расписку, которая и была доставлена в Иркутск через месяц и четыре дня¹. Теперь Лавинский имел полное право и даже обязанность позабыть хотя бы одного из беспокойных обывателей его державы. Но не тут-то было! 20 октября 1823 года из Петербурга вдруг запросили: почему не доложено об отправке Петрова в Москву? (Снова — каков интерес к «пропитанному!»)

При этом тайного советника, то есть «его высокопревосходительство» Лавинского, министр обидно назвал «превосходительством».

Лавинский отвечал новому министру внутренних дел князю Лопухину, что бродяга Петров давно отправлен и что о том давно доложено.

¹ «Месяц» — классический срок для быстрой езды от столиц до главных центров Восточной Сибири. При этом высшая власть никак не могла привыкнуть к масштабам принадлежавших ей пространств. В июне 1827 года пешком, в цепях вышла из Тобольска партия декабристов и поляков, а в октябре Петербург уже гневался, почему Иркутск не докладывает об их доставке. Иркутяне не без ехидства возразили, что преступники «поступят не раньше января, если не будут они, впрочем, иногда по тракту останавливаться» (Действительно, партия прибыла около 15 января, а потом еще месяц шагала до Читы)

Тут уж никакого сибирского продолжения не придумать... Но еще полтора года спустя в Иркутск прилетела такая бумага, что Александр Степанович Лавинский едва ли не встал перед нею во фрунт:

«Милостивый государь мой Александр Степанович!

Красноярский мещанин Иван Васильев Старцов и прежде делал и ныне продолжает писать нелепые доносы. Посему Его Величество повелеть соизволил, дабы Ваше превосходительство <опять!> обратили на него, Старцова, строгий присмотр, чтобы он не мог более как бумаг писать, так и разглашений делать, нелепостями наполненных.

Сообщая Вам, милостивый государь мой, сию Высочайшую волю для надлежащего исполнения, имею честь быть с совершенным почтением Вашего превосходительства покорным слугой граф Аракчеев.

В селе Грузине, 24 июня 1825 года».

Ниже приписка кривым почерком Самого (видно, сделана, когда письмо подносили на подпись): «Нужное в собственные руки».

Граф Алексей Андреевич дожидаться не любил: даже когда искал партнеров в карты, то, случалось, посылал полицейского офицера, а тот вежливо извлекал из дому нескольких встревоженных сановников и вез к графу «повечерять»... Поэтому тотчас же, как «нужное» попало «в собственные руки», из Иркутска в Красноярск понесся приказ, где, разумеется, воспроизводилось аракчеевское: «чтобы он не мог более как бумаг писать, так и разглашений делать». Отныне Старцову вообще запрещалось отправлять какие бы то ни было письма без разрешения губернатора; если же не перестанет дурить, «будет непременно наказан».

Быстро сочинен и ответ Аракчееву, где опять-таки повторяется: «чтобы... не мог более как бумаг писать...»

Письмо министру Лопухину Лавинский завершал выражением «искреннего высокопочитания», Аракчеева же заверяет в «глубочайшем высокопочитании и совершенной преданности».

Ответ был получен в селе Грузине к началу октября 1825 года, через несколько недель не стало Александра I, закончилась карьера «губернаторов мучителя», а Лавинский уж начал готовиться к приему «людей 14 декабря», которые впоследствии услышат и запишут таинственную историю Афанасия Петровича.

О чем писал второй раз красноярский мещанин — неизвестно; наверное, все о том же?..

Число высочайших бумаг, прямо или косвенно посвященных Афанасию Петрову, полная неопределенность насчет причин его пребывания в Сибири — все это дразнило воображение — «а чем черт не шутит?» — и требовало новых разысканий.

V

Из иркутского дела видно, что среди секретных бумаг московского генерал-губернатора, хранящихся ныне в архиве города Москвы, непременно должно находиться и дело, освещающее дальнейшую судьбу Афанасия Петрова и, может быть, раскрывающее наконец, кто он таков.

Если знать, в каком архивном фонде и под каким годом значится искомый документ, то найти его (если только он уцелел!) труда не составляет. От бумаг Лавинского до бумаг Голицына в наши дни всего семь часов пути, и автор этой статьи, перелетев из Иркутского архива в Московский, вскоре получает дело, озаглавленное: «Секретно. О крестьянине Петрове, сосланном в Сибирь. Начато 21 февраля 1823 года, на 27-ми листах»¹.

С первых же строк открывается, что во второй столице исподволь начали готовиться к приему секретного арестанта. Пристав Миллер «с будущим» еще не выехал, а на имя Голицына уже приходит бумага от министра внутренних дел, где, как положено, излагается вся история вопроса, уже известная нам по иркутским материалам. Од-

¹ Государственный архив города Москвы, фонд 16 (управления московского генерал-губернатора), опись 31, дело № 5.

нако Голицыну сообщают из Петербурга и кое-какие интересные подробности, которых в сибирских документах нет. Прежде всего о прошлом Афанасия Петровича.

«По выправкам... о первобытном состоянии Петрова нашлось, что он пересылался через Тобольск 29 мая 1801 года в числе прочих колодников для заселения сибирского края, к китайским границам... Из какой губернии и какого звания, с наказанием или без наказания — того по давности времени и по причине бывшего там <в Тобольске> пожара не отыскано. Сверх того, чиновник¹ донес, что у Петрова, по осмотру его, никакого креста на теле не оказалось; равно и знаков наказания не примечено».

Далее московскому губернатору сообщают результаты петербургских допросов Старцова и Петрова. Старцов утверждал, что только теперь, в Петербурге, впервые увидал Петрова, писал же письма по слухам, под впечатлением того, что Петрова за его рассказы когда-то держали под караулом.

Затем — допрос Афанасия Петрова.

Сразу скажем: эта запись рассеивает легенду «по императорской линии», представив взамен непридуманную сермяжную Одиссею.

Ему, Петрову, «от роду 62 года, грамоте не умеет, родился в вотчине князя Николая Алексеевича Голицына², в 30-ти верстах от Москвы, в принадлежащей к селу Богородскому деревне Исуповой; с малолетства обучался на позументной фабрике купца Ситникова, потом лет около тридцати находился в вольных работах все по Москве; между тем женился. Но как вольные работы и мастерство стали по времени приходить в упадок, то он и начал терпеть нужду и дошел до того, что кормился подаванием. За это ли самое, за другое за что — взяли его в Москве на съезжую; допрашивали: давно ли от дому своего из деревни отлучился, и потом представили в губернское правление, из коего в 1800 году на масленице отправили в Сибирь и с женой, не объявля никакой вины, без всякого наказания. По приходе в Сибирь был он отправлен с прочими ссыльными из Красноярска в Сухобузимскую волость, где и расставлены по старожилам для пропитания себя работою. Жена вскоре умерла. А он, живучи в упомянутой волости, хаживал и по другим смежным волостям и селениям для работы и прокормления. Но нигде ничьим именем, кроме своего собственного, не назывался...»

Как видно, и сам Петров и его допросчики не видели в создавшейся ситуации ничего особенного: ходил в Москву на оброк, обеднел, вдруг сослали, за что — не сочли нужным объявить, жена умерла, остался в Сибири; жил тяжело, но «все его любили, обращались человеколюбиво» — и так двадцать два года... и жил так бы до самой смерти, если бы не случайное обстоятельство: покойный император Павел Петрович выручил. Впрочем, выручил ли?

«Со временем так привыкаем... что, хоть и видим трагедию, а в мыслях думаем, что это просто «такая жизнь»...» (М. Салтыков-Щедрин).

Князю Голицыну, как будущему начальнику Петрова, сообщены и впечатления, которые оба доставлявшихся в Петербург сибиряка произвели на петербургских чиновников: Старцов, несмотря на свое письмо, «усмотрен человеком порядочным», Петров же, «как человек, возросший в Москве и между фабричными, в числе коих бывают иногда люди с отменными способностями, мог приобрести себе навык к рассказам и пользоваться оным в Сибири к облегчению своей бедности, а между тем рассказы сии могли служить поводом к различным об нем слухам».

Москвич-сибиряк был, наверное, боек на язык и дал господам из Петербурга повод заподозрить у него «навык к рассказам» (вспомним: «Я не Павел Петрович, а — Афанасий Петрович» — и жалостливое расположение к нему сибирских баб). Рассказать же ему было что: в Сухобузимской волости за Красноярском диковинкой был простой — не из господ — человек, знавший Москву, своими глазами видавший царей, да еще потерпевший среди языкастой промысловой братии. Кстати, слова о фабричных, «в числе коих бывают иногда люди с отменными способностями», — один из первых на Руси отзывов об особых свойствах и способностях пролетариев.

¹ Подразумевается известный нам тобольский полицмейстер Алексеев.

² Дальний родственник московского генерал-губернатора.

Из того же документа мы узнаем, наконец, что Александр I Петрова и Старцова видеть не мог, ибо был в дороге и вернулся, когда их уже отправили обратно:

«По возвращении государя императора в Санкт-Петербург было докладывано Его Величеству, на что воспоследовала Высочайшая резолюция следующего содержания: поселенца Петрова для прекращения всех слухов возвратить из Сибири на родину, где он каждому лично известен». (И далее уже знакомая по сибирским бумагам: «не изнурять пересылкой... отправить по миновании морозов».)

Мысль вроде бы тонкая: самозванец силен в краю, где его прежде не знали, но кто же поверит, если свой односельчанин, известный всем от рождения, вдруг заявит, что он не кто иной, как сам император Петр или император Павел!

Но вызывает улыбку царское: «для прекращения всех слухов...»; ведь именно второй отъезд Петрова и расплодил слухи, а сентиментальное «не изнурять пересылкою», разумеется, вызвало толки, что без особых причин о простом мужике так не позаботятся.

В общем, возвращали Петрова в Москву как бы из милости, а на самом деле для того, чтобы обезвредить.

Власть боялась не бедного старика, а неожиданностей. Молчание или шепчущие лугали ее не меньше, а порою и больше, чем разгулявшиеся. Кто знает, какое неожиданное движение, порыв, даже бунт может вызвать какой-нибудь Афанасий Петрович, Емельян Иванович?.. К тому же знал бы помещик Старцов, как неловко задел он рану царя Александра: даже пустой слух, будто Павла извели (но, может быть, «не до смерти!»), напоминал о страшной ночи с 11 на 12 марта 1801 года, когда Павла в самом деле извели, и он, Александр, дал согласие на это, и, узнав, что отца уж нет, разрыдался, а ему сказали: «Идите царствовать!»

Слух, сообщенный Одоевским, будто к Александру возили из крепости какого-то старика, кажется, к нашей истории не относится. Но именно в последние свои годы царь был особенно мрачен, угнетен воспоминаниями, ждал наказания свыше за свою вину и якобы сказал, узнав о тайном обществе будущих декабристов: «Не мне их судить...»

Даже туманный призрак Павла Петровича был неприятен. И старика вторично везут из Сибири...

Дальнейшие события в многосложной биографии Афанасия Петрова ясно вырисовываются из того же архивного дела.

Московский Голицын 6 марта 1823 года затребовал из своей канцелярии материалы о Петрове, чтобы решить: куда же его девать? Однако многие дела сгорели в пожаре 1812 года; среди уцелевших ничего о Петрове не находят.

Но вот уже май наступил, и Петрова наконец доставляют в город, откуда его угнали ровно двадцать три года назад, еще задолго до великого пожара. Привозят его в тюремный замок, но смотрителю велят поместить старика «в занимаемой им, смотрителем, в том замке квартире как можно удобнее и не в виде арестанта» (все еще действует царское: «не изнурять...»).

Седьмого мая московский обер-полицмейстер Шульгин рапортует о семейных обстоятельствах Петрова «господину генералу от кавалерии, Государственного совета члену, московскому военному генерал-губернатору, управляющему по гражданской части главному начальнику комиссии для строений в Москве и разных орденов кавалеру князю Голицыну первому...».

Оказывается, в деревне Исуновой имел Петров, кроме жены, Ксении Деяновой, также трех дочерей: «первая — Катерина Афанасьевна, которой было тогда 11 лет от роду, вторая — Прасковья, находившаяся в замужестве за крестьянином вотчинным его же князя Николая Алексеевича Голицына, в деревне Саврасовой Никоном Ивановым; и третья дочь Надежда Афанасьевна осталась в доме его сиятельства, бывшем тогда в Москве на Лубянке».

А затем: «Все те три дочери в живых ли находятся и в каких местах имеют свои пребывания, он, Петров, неизвестен».

Очень просто. Отца и мать — в Сибирь, а про дочерей двадцать три года никаких известий. Отчего же так?

Да хотя бы оттого, что Петров неграмотен и дочери неграмотны, написать письмо из Сухобузимской волости невозможно: ближайший грамотей бог знает за сколько верст живет, даром не напишет, да чтоб отправить письмо за Москву тоже нужны деньги — а у «пропитанного» Петрова ни гроша за душой, да и там, в Исуповой, не найдут, не прочтут... Может быть, пробовали писать отец и мать дочерям, да без толку, а может быть, и не думали писать — из особенного равнодушия, помогающего выжить.

В Петербурге Афанасий Петров, кажется, и не упомянул про дочерей: в документах о них ни слова.

Без веления князя Николая Голицына вряд ли посмели бы угнать в Сибирь принадлежащего ему крепостного. Но князю от Афанасия Петрова не было никакого проку, а про дочерей, возможно, и не доложили.

Так или иначе, но 11 мая 1823 года от Голицына-губернатора пошла бумага к серпуховскому исправнику с предписанием: узнать о Петрове в деревне Верхней Исуповой и соседних, «и кто отыщется в живых из родных ему, о том мне донести».

Серпуховский исправник передает подольскому... Ищут больше двух месяцев. Петров же тем временем благоденствует, как никогда в жизни, на квартире московского тюремного смотрителя.

Наконец 30 июля 1823 года подольский земский исправник отправляет губернатору рапорт. Оказывается, деревня Исупова уже не голицынская: ею владеет «госпожа действительная камергерша Анна Дмитриева Нарышкина». В той деревне «находится родная Петрову дочь в замужестве за крестьянином Никоном Ивановым».

Кончилось привольное тюремное житье старого Афанасия: 7 сентября генерал-губернатору было доложено, что Петров «через подольский земский суд на прежнее жилище водворен».

Предоставляем читателю вообразить, как встретила дочь отца, которого давно уже в мыслях похоронила, как узнала про мать, обрадовалась ли еще одному, немощному члену семейства, куда девались две другие дочери, какова новая помещица, каково Афанасию Петровичу из вольной ссылки — в крепостную неволю?

Петров мог утешаться лишь тем, что его титул теперь был всего на четыре слова короче, чем у самого губернатора Голицына. В каком бы документе он ни появлялся, его неизменно величали: «Возвращенный весной 1823 года из Сибири и водворенный на месте своей родины Московской губернии, Подольской округи, в деревне Исупове, принадлежащей госпоже Нарышкиной, крестьянин Петров».

Прошло два года, и, вероятно, из-за второго письма мещанина Старцова, вызвавшего недовольство самого Аракчеева, вспомнили в Петербурге и Афанасия Петровича. 24 июня 1825 года, в тот самый день, когда из села Грузина пошел приказ в Сибирь -- унять Старцова, Аракчеев написал и московскому Голицыну:

«Милостивый государь мой, князь Дмитрий Владимирович!

Его императорское величество повелеть мне соизволил получить от Вашего сиятельства сведение: в каком положении ныне находится и как себя ведет возвращенный весной 1823 года из Сибири и водворенный на месте своей родины Московской губернии, Подольской округи, в деревне Исупове, принадлежащей госпоже Нарышкиной, крестьянин Петров?

Вследствие сего прошу вас, милостивый государь мой, доставить ко мне означенное сведение для доклада Его величеству»¹.

Все не давал покоя Александру Павловичу склонный к рассказам Афанасий Петрович..

Семнадцатого июля 1825 года Голицын отвечал «милостивому государю Алексею Андреевичу»:

«Сей крестьянин ныне, как оказалось по справке, находится в бедном положении. Но жизнь ведет трезвую и воздержную; в чем взятое показание от бурмистра госпожи Нарышкиной препровождая при сем в оригинале, с совершенным почтением и таковою же преданностью имею честь быть...»

¹ Письмо Аракчеева и ответ на него см. Архив города Москвы, фонд 16, опись 4, № 2672.

Это — последний документ об Афанасии Петрове, неграмотном старике, родившемся в конце царствования Елисаветы и, вероятно, пережившем Александра I. При жизни он потревожил память одного царя и дважды нарушал покой другого; о нем переписывались три министра и три генерал-губернатора. Может быть, на российских дорогах или в одной из столиц встретились, не заметив друг друга, крестьянин-арестант и молодые офицеры, еще не знающие, что скоро им придется ехать туда, откуда его везут; те самые офицеры, которые в Сибири будут думать об этом крестьянине и писать о нем.

И не видал ли старик из окна Московского тюремного замка почтенного губернатора Карла Ивановича Зонненберга, прогуливающегося с воспитанником своим Сашей Герценом, и не заметил ли Саша в окне смотрительской квартиры того старика, о котором напечатает через тридцать восемь лет в «Историческом сборнике Вольной русской типографии»?

VI

Двадцатого сентября 1754 года родился Павел I.

В тот день императрица-бабушка Елисавета Петровна выделила новорожденному 30 тысяч рублей на содержание и велела срочно найти кормилицу¹.

Один и тот же указ был мгновенно разослан в пять важных ведомств — Царское Село, главную канцелярию уделов, собственную вотчинную канцелярию, собственную конюшенную канцелярию и канцелярию о строениях: «Здесь в Ингерманландии смотреть прилежно женщин русских и чехонских, кои первых или других недавно младенцев родили, прежде прошествия шести недель, чтобы оные были здоровые, на лица отменные и таковых немедленно присылать сюда и с младенцами, которых они грудью кормят, дав пропитание и одежду».

Женщин и детей сначала велено было представлять первому лейб-медику Кондонди, но через несколько часов во все пять ведомств полетел новый указ, «чтоб оных женщин объявлять самое ее императорскому величеству», и наконец через день, 22 сентября, Елисавета еще потребовала, «чтоб искать кормилиц из солдатских жен с тем, чтобы своего ребенка кому-нибудь отдала на воспитание».

Вскоре во дворец стали доставлять перепуганных русских и финских женщин с грудными младенцами, а по округе, конечно, зашептали, что это неспроста...

Много ли надо для легенды о подмененном императоре?

Впрочем, кто знает: может быть, существовала еще какая-то, пока неразличимая история вокруг рождения и имени Павла? Может быть, действительно переселяли в Сибирь деревню Котлы и привозили к Александру I из крепости какого-то старика?

Но высшая власть окутала себя такою тайною, что скоро и сама перестала ясно различать предметы.

«Точно так, как ее члены не верят, что они — они, так не верят они и в ту власть, которая у них в руках, отсюда постоянные попытки террора, страха и готовность уступить» (Герцен).

Зимний дворец гневался на неграмотных стариков и еще больше — на молодых граммеев.

Н а с т о я щ е е подлежало немедленному «улучшению».

П р о ш е д ш е е — «обратным провидением» — так же подвергалось мерам исправительным.

Подлинная же история постепенно превращалась в «...мартиролог, или реестр казни. Погибают даже те, которых пощадило правительство...» (Герцен).

¹ «Дело о рождении императора Павла» хранится в Центральном государственном архиве древних актов, см. Государственный архив Российской империи, фонд 2, № 83, 1754.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВЛАДИМИР ОГНЕВ

★

НЕСУЕТНОЕ СЛОВО ПОЭТА

(О стихах Кайсына Кулиева)

О сень... Балкарня. Северный Кавказ.
Горит по склонам кизил...

Горят везде кизила гроздьа,
Вершины красны, даль красна.
Кизила кровь на спинах козьих
И на папахе чабана.

И кажется, что без пощады
Все беды он сожжет дотла.
В горах не будет больше града,
В сердцах не будет больше зла.

Горит кизил, его горенье
Уже прокрасило насквозь
В чуть розоватый цвет свершенья
Все то, что в жизни не сбылось.

И как давно уже не пелось,
Поется мне, и я пою
Так,

будто бы кизила зрелость
Вернула молодость мою¹.

Это стихи Кайсына Кулиева. Всесоюзный читатель хорошо знаком со стихами поэта-балкарца, поэта сурового мужества, сдержанности и доброты к людям, прямой правдивой речи.

Я держу в руках две последние его книги: «Кизилевый ответ», изданную «Советским писателем», и «Благодарю солнце», выпущенную «Молодой гвардией». Вышли они в 1969 году.

Первая — целиком новая, очень цельная, превосходно переведенная Н. Гребневым — демонстрирует как бы вершину поэзии К. Кулиева, вторая, куда вошли стихи разных лет, — прочерчивает невидимую линию восхождения: духовного возмужания поэта.

Обе книги позволяют задуматься над не-

простой проблемой поэтической традиции. Непростой или запутанной нами? Сохраняя и сберегая нравственный опыт народа, художник на долгом пути собственной жизни много раз и всякий раз по-новому обращается к коллективному опыту нации, художественному опыту своих предшественников. При этом реальное значение традиции в живом потоке современной жизни, наших надежд и трудностей словно бы оборачивается неожиданно сегодняшней стороной. Новое встречается со старым, обнаруживая его «вечные» черты...

Как это происходит? Всегда ли? Нет. Для этого в самой нынешней действительности художник должен увидеть и воспринять несуетное, подлинное. «Голос яви подстеречь» удается далеко не всякому поэту.

И тем завиднее пример Кайсына Кулиева, нелегкая, но честная судьба которого так совпала в главном с судьбою его народа.

Кайсын Кулиев родился в 1917 году в старинном горном ауле Верхний Чегем на снежной границе Балкарин и Сванетии. Отец поэта сражался с Деникиным, потом умер от тифа. Горцы-партизаны с боями отступили в Сванетию. С ними ушел племянник отца, Токуш Кулиев. (Его по дороге смело снежным обвалом, и труп нашли только через год.) Двухлетний Кайсын выходил на крышу сакли и, став лицом к горам, кричал: «Ой, Токуш! Иди домой!» Обо всем этом позже вспоминал поэт с чувством горестным и гордым.

С детства его окружала величественная природа — бурные реки в темных пропастях, голубые озера, в которых отражается всадник, проехавший мимо, нежные цветы на фиолетовых по утрам и красноватых

¹ Переводы здесь и далее Н. Гребнева.

по вечерам скалах, слепящие ледники, с которых берет начало дышащая холодом река Чегем, а «в нее с головокружительной высоты бросаются водопады, точно туры, преследуемые охотниками».

Детство Кайсына было суровым, как детство любого горца. Он рано узнал, что значит голод, холод, труд, заботы, какова цена мужеству, верности слову.

Он умел вязать хворост, крепить его на спине ослика еще до того, как научился хорошо говорить, а в то время, как городские дети начинают читать по складам, он вывёл коня из конюшни и скакал на нем без седла. Маленьким Кайсын пас овец и коз на крутых склонах, срывался со скал над пропастью и чудом оставался в живых, ночевал в огромной пещере, если взрослые пастухи уходили в аул на свадьбу... Его не раз избивали, когда стадо уходило в туман, а он мог лишь, всхлипывая от горя, кричать в горах, слушая собственное эхо... Но было в этом детстве и такое, чего Кайсын, наверное, не захотел бы променять ни на какие радости, — было летнее небо в звездах, было море цветов, шевелящихся под ветром, были песни, которые не только слушал Кайсын. Он очень любил петь их, прослав в Чегеме маленьким ашугом.

Вначале это были чужие песни. Интересно, что первое печатное стихотворение, которое поразило Кайсына своей красотой, был пушкинский «Узник» в балкарском переводе. Любопытно и первое знакомство Кулиева со стихами другого великого русского поэта — Лермонтова. Печник, полурусский-полутатарин, который клал печь в сакле Кулиевых, напевал: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французам отдана...»

Прошло много лет, и зимой 1941 года под заснеженной Москвой боец-парашютист Кайсын Кулиев читал лермонтовского «Купца Калашникова» примолкшим солдатам. У костра сидели и русские, и горцы, и казахи, и украинцы... Томик любимого поэта, рассказывал Кулиев, всю войну находился в его полевой сумке.

Русская поэзия оказала большое влияние на формирование таланта Кулиева. Русская культура для него была, по выражению другого горского поэта, аварца Расула Гамзатова, «второй матерью», «вторым крылом орла». По-русски впервые прочитал Кайсын Шевченко, Лорку, Петефи и других поэтов,

о которых он потом скажет: «Они были со мной повсюду».

«Говорю с жизнью» — так назвал он одно из своих новых стихотворений. В нем отчетливо выражено отношение героя Кулиева к жизни.

Что можешь ты в упрек поставить мне?
Ты мной повелевала от начала,
Сказала: «Будь железом!» — и в огне
Меня ковала ты и закаляла.

В чем упрекнешь меня, что преступил?
В чем отступил от твоего веленья?
Сказала: «Камнем будь», — я камнем
был,
И стало каменным мое терпенье.

Какой я не исполнил твой глагол?
Ты плакала, и слезы лил я тоже.
Сказала: «Будь волон», — и я, как вол,
Тянул арбу, ярмом стирая кожу.

Какой я не исполнил твой зарок?
Я делал все, что ты мне повелела.
«Живи!» — твердила ты, я жил, как мог,
И хоть не мог, но жил и делал дело!

Ты требовала от меня огня,
Я был огнем — и печью и вулканом.
Что, жизнь, еще ты хочешь от меня?
Ты скажешь: «Пеплом станы!» —
я пеплом стану.

Может показаться, что человек здесь полностью зависит от обстоятельств, что покорность им возведена в добродетель. Но не будем торопиться с выводами. Полистаем еще книги Кулиева:

Что дел за мной великих нет,
Я соглашусь не споря.
Но людям не чинил я бед,
Не приносил им горя.

Я никому не очернил
Ни праздников, ни буден,
И хлеб, что ел я, чистен был,
Хотя порою скуден.

Я не вымаливал награды,
С лихою мне хватало
Того, что был всегда я рад
Траве, деревьям, скалам.

Я денег сроду не копил
И более, чем тыщи,
Ценил ручьи, откуда пил,
И становился чище.

Значит, не все одинаково покорны обстоятельствам? Значит, можно брать на себя всю тяжесть жизни, не гнушаться ярма, не бояться стать каменным, как терпенье, железным, как совесть, горячим, как тепло очага, но в то же время не подчиниться другим велениям обстоятельств — пренебречь выгодными

благами, счесть унижительными и суетными преимуществами существование, отличное от того, какое досталось твоим близким. Эта программа — не только моральный, но и эстетический кодекс поэта. Поэзия не терпит лжи — вот главный вывод этого стихотворения.

Не раз и не два подчеркнет поэт, что мир, в котором мы живем, создан не сегодня и что мудрость состоит в понимании его извечных законов, нравственных народных начал, которыми нельзя безнаказанно пренебрегать в погоне за красивой фразой или односторонней догмой. И как раньше поэт обращался к жизни, так теперь он обращается к философу:

Ты твердишь, что мир наш стар и сед.
Стану спорить я с тобой едва ли.
Но смотри: звезда бросает свет,
Озаряя землю, как вначале.

И цветут весною деревья,
Словно это первое цветенье,
И чуть слышно на ветвях листва
Шелестит, как в первый день творенья.

К каждому приходит боль его,
Каждый тащит груз своей печали,
Будто бы на свете до него
Люди вовсе горестей не знали...

Нету старых слов и старых снов,
Ново все, что холодит и греет.
И готовность дать бездомным кров,
Дать голодным хлеб не устареет.

Если бы мы и на этот раз здесь поставили точку, мы снова поторопились бы с выводами. Настоящий поэт, настоящая поэзия всегда диалектичны, как сама жизнь. Мы только что слышали страстную апологию новизне ощущений, чувств, свежести и неповторимости мира каждого человека, новизне всего, что рождается на старой земле. Но вот рядом — другие стихи, уравновешивающие этот правильный, но односторонне взятый вывод:

Не без боли травы сходят с гор,
Тур уходит из родного края.
Каждый раз пастушеский костер
Боль в душе рождает, догорая.

Что бы ни ушло — уход тяжел,
На земле не может быть иначе.
Слышишь, как река упавший ствол
На спине своей уносит, плача?

Неизменно грустен птиц отлет,
Хоть весной опять вернутся птицы.
Грустен лета грустен дня уход,
Хоть и суждено им возвратиться.

Вот и мы с тобой уйдем в свой час,
Но трава останется травой,
И когда уже не будет нас,
Как сто лет назад и как сейчас,
Будет снег белеть над той скалою.

С одной стороны, поэт, споря с философom, утверждает, что на этой земле все ново, все неповторимо и потому с каждой рожденной жизнью начинается мир и с каждой смертью он кончается. Эта мысль укрепляет нас в сознании того, что надо ярко и полно прожить свой срок и, что особенно важно, научиться ценить чужую жизнь рядом с тобой — она неповторима, уникальна, суверенна...

Но, с другой стороны, Кулиев грустно и твердо говорит и о том, что наш уход не остановит ход времени, ход жизни. Словом, «у гробового входа младая будет жизнь играть и равнодушная природа красую вечною сиять», как писал Пушкин. Здесь не противоречие поэта, но противоречие самой жизни. И подлинное искусство не может пройти мимо него.

Поэзия может знать разный пафос. Было время, когда ее вдохновляло главным образом то, что останется жить после нас. И не очень часто останавливала она свое внимание на том, что кажется почти мгновенным, эфемерным на фоне больших исторических перспектив. Ныне поэзия как бы в увеличительное стекло глянула на частные слагаемые истории. Человек, его душа, его боль и надежды стали ближе. Есть в кино такое понятие — крупный план. Он не только приближает актера к зрителю, он выделяет его, делает на время главным за счет других элементов действия. Но если на экране вы полтора часа будете видеть только лицо актера и не увидите мира, в котором он живет, вы почувствуете себя обделенным, обедненным в познании самого героя. Так и в поэзии: самоценность мира личности в поэтическом произведении неотрывна от общей картины исторической жизни общества, народа. «Судьба человеческая — судьба народная» — так определил Пушкин задачу трагедии. И это закон искусства вообще.

В стихах Кайсына Кулиева вечные горы оттеняют краткую жизнь человека, а судьба героя — историю его народа. Большое и малое рассматриваются одинаково внимательно и уважительно.

Поэзия Кулиева выросла на народной почве, у нее грубоватый голос, мозолистые руки, верное сердце. И, наверно, мудрость, с ко-

торой поэт отделяет главное от неглавного, — тоже народного корня. Со времен былин, со времен Гомера в авторском или безымянном творчестве народа ощущается стремление точно, существенно определить называемое, закрепить в слове твердое недвусмысленное качество. Это потом пришли оттенки, полутона, переходы. И сегодня моральные критерии поэта как нельзя лучше соответствуют народному словоупотреблению, требованиям народной эстетики.

Давайте звать забор забором,
Давайте называть всегда
Хлеб хлебом и горою горою,
На воду говорить: «Вода».

Пусть на земле ничто не ново
И все слова избиты сплошь.
В начале мира было слово,
Но слово правды, а не ложь.

И надо обладать большой душевной силой и истинно народным, трудовым мирозерцанием, чтобы сказать так, как сказал Кайсын Кулиев об отношении человека к его долгу на земле:

Я не скажу: «Пусть мир летит с основ,
Когда я буду истлевать в могиле!»
Из мира уходя, подобных слов
Ни мой отец, ни мать не говорили.

В одном из вариантов далее идет строфа:

Хорошим был ты или же плохим,
Был для меня ты сладким или горьким,
Ты все же отчим домом был моим,
Где жил я, пел и подправлял подпорки.

Это прекрасно сказано: «подправлял подпорки». Не просто существовал, а, сколько хватало сил, помогал другим делать жизнь лучше. От общего подхода к смыслу человеческого бытия нетрудно наметить переход и к смыслу деяния на благо родины. Ведь если разобратся, и тут есть сторонники разных методов. Одни, оценивая уходящий в былое день или час пройденного пути, судят его судом постороннего, другие — и это примета народного, здорового мироощущения — мерой личной ответственности: плохой дом? Значит, не вовремя я подправлял подпорки — я, а не кто-то другой...

Мы не всегда понимаем, что гражданские мотивы, публицистика в стихах только тогда становятся явлением поэзии, когда позиция поэта не расходится с народным представлением о слове и деле, об их реальном соотношении, о корнях явлений. Народ не

любит сотрясения воздуха, мнимо значительных эффектов, не любит фразы. Он любит работу.

Вся мишура истлеет в суете,
И с украшений слезет позолота.
Вытует вечность только в простоте,
А простота — лишь мудрость и работа.

И мудрость говорит: поэзия должна помогать делать жизнь лучше, бороться со злом, несправедливостью, поэзия гражданская потому и называется так, что она — служба ближнему.

В помощи нуждается ль утес?
Без подпорок выдержит он бури.
Подопри жердиной абрикос,
Видишь, небо снова брови хмурит.

Сытым сладость хлеба не сладка.
Если есть отец, не нужен отчим.
Для чего прохлада родника
Тем, кто не устал и пить не хочет!

Тем водитель нужен, кто в пути,
Сильным раб, а не защитник нужен.
Если ты поэт, так защити
Тех, кто слаб, кто беден, кто недужен.

Как это переключается с завещанием великого Пушкина, «призывавшего» «милость к падшим», как верно это с точки зрения гуманизма. А задумаемся: не обращена ли иной раз поэзия к «тем, кто не устал и пить не хочет»? Не уговаривает ли она глухих? Можно возразить, что искусство в числе прочих дел знает и это: открыть глаза слепому, отворить слух глухому. И все-таки в первую очередь поэзия идет на помощь к тому, кто ждет ее, кто готов принять ее руку, чтобы идти за ней. Какие бы определения ни придумали задачам поэзии, главная из них — делать людям добро.

На мир смотрите добрыми глазами,
Чтоб добрым было слово, добрым труд.
Пусть дураки сочтут вас дураками,
Злодеи малодушными сочтут.

И потому один из любимейших героев человечества — Дон Кихот Ламанчский — стал героем и стихов Кулиева.

Кайсын Кулиев верит в могущество поэзии. Мир его фантазии, как бы крепко она ни была привязана к земле, смел и подвижен. Есть свойство человеческого сердца (не скажу — памяти) возвращаться порой в зрелые годы к первоначальным детским ощущениям. Но то, что казалось ребенку живым, причудливым образом, теперь обрастает тревожным символическим смыслом.

В 1916 году Марина Цветаева писала: «Красною кистью рябина зажглась. Падали листья. Я родилась». Через много лет, на чужбине: «Но если по дороге — куст встает, особенно — рябина...» Многоточие, обрывающее стихи, — как комок слез. Нахлынули воспоминания. Так встретилось детство и горькая зрелость. Горькая, как рябина... Кайсын Кулиев вспомнил, как его мальчиком поразила в полнолунне картина: луна садилась на рога быка. В стихотворении «Лунорогие быки» есть щемящее чувство быстротечности времени, горечи оттого, что счастливая пора детских ощущений красота и добра так бегла и кратка.

За изгибами какой скалы
Вы растаяли во тьме крошечной?
Вы медлительны, мои волосы,
Между тем как время так поспешно.

Вглядываюсь в даль из-под руки.
Но напрасны все мои старанья.
Где вы, лунорогие быки, —
Детства моего воспоминанья?

И все же могущество поэзии — могущество чуда — не покидает человека, если он способен подняться выше будней, встать над текучей суетливого существования. Тогда человек чувствует себя равным стихиям. Для горского поэта такие минуты высокого просветления связаны, конечно, с образом гор.

Когда я говорю с горами,
Я с целым миром говорю,
Мне внемлет дерево, и камень,
И свет, рождающий зарю...

Я говорю с нависшей где-то
Вершиною, что так бела,
Как будто совесть мира это
И лишь такой она была.

Не выходит ли так, что человек живет полной, истинно красивой жизнью лишь в немногие, высокие минуты озарения, а остальное время просто прозябает, не задумываясь о смысле своего существования на земле?

Нет. Никакого высокомерия к будням не знает демократическая муза Кулиева. Поэт хочет сказать нам только одно: люди, будьте выше и чище, тянитесь к идеалу, не забывайте о самом дорогом, что есть у вас, что дает вам силу и меряет ваши поступки единственно точной мерой. А годы труда, годы достижения высоких целей — они складываются в узор, где «трудно пряжу черную сучить, вить лишь белую не удастся, но из них из двух плетется нить та, что жизнью

испокон зовется». И нить эта не в руках мифической Парки — она в наших руках.

Умением видеть «чудо красоты» щедро наделен Кайсын Кулиев. Нельзя без волнения читать его «Строки любви к Праге», где воочию запечатлено «ставшее камнем виденье» средневековых мастеров зодчества, золотая краса осенних каштанов, купола колоколен, чуть тронутых нежною краской расвета...

В другом стихотворении этого цикла, посвященном Ярославу Смелякову, апрельский дождь, что льется на баржи, плывущие по Дунаю, и на тихие холмики, оставшиеся от войны, рождает как бы виденье всех пережитых дождей, которые «как деревья толпятся» «в лесу» его памяти... Поэт обращается к земле, к стихиям дождей, ветров, рек: «будь добрее, земля», будьте добрее, ливни и ветры, к детям своим. Красота и добро неотделимы...

Кайсын Кулиев и в прежних своих книгах («Огонь на горе», «Раненый камень», «Избранная лирика») показал, что мир его поэзии очень широк. Герой Кулиева чужд спеси и ограниченности. Он открыт, распахнут всей красоте мира. Дальние и близкие земли волнуют его воображение. Человек страждущий может рассчитывать на его помощь, на какой бы широте и долоте он ни находился.

Кулиев любит Лермонтова, Лорку, Бетховена, плачет над гробом грузина Чиковани, поддерживает дух вдовы Мусы Джалиля, замученного фашистами. Для него органично чувство интернационализма.

Он сын своего народа, он гордится своим крестьянским происхождением, а ведь человек, кровно связанный со своими корнями, никогда не бывает ни шовинистом, ни чело-веконенавистником. Если человек естествен и человекен в своей любви к родному народу, то он лишен тайного чувства превосходства над ближними, он органически не может сочувствовать идеям розни, насилия, культа силы.

Какой бы сила ни была,
Есть сила и над ней,
Хоть силен дуб, а все ж пила
Его ствола сильней.

Вершины гор туман застлал,
Туман сильнее дня.
Огонь сильнее, чем металл,
Вода сильней огня.

Крепка гранитная скала,
Но аммонал сильней.

Какой бы сила ни была,
Есть сила и над ней

Наиболее впечатляющими стихами Кулиева кажутся мне стихи об одной из главных опасностей века — термоядерной войне. В прекрасной и страшной аллегории «Огонь и ветер» поэт наглядно рисует возможную альтернативу будущей войны:

— И если все живое мы сожжем,
И все во прах мы превратим с тобою,
Кто казаны повесит над Огнем?
— Где будет лес, чтоб я шуршал
листвью?

Не так давно К. Кулиеву исполнилось пятьдесят лет. Полвека жизни принесли ему и радости и горе. Как каждому человеку. Но Кулиев — поэт. И чувства его, удивительные талантом, запечатлены в стихах необыкновенной силы воздействия. В книге «Кизиловый отсвет» есть поэма о судьбе народного певца балкарца Кязима Мечиева, кому выпал жребий быть похороненным вдали от родных мест. Поэма Кулиева небольшая, голос рассказчика глух и негромкий. Просто, незлобиво, горько звучит этот голос. Это — повесть о жизни простой, суровой и славной. Поэт умер, но осталось слово Кязима — святое слово народного балкарского поэта.

Судьба поэта — лицо его поэзии. Хотя и существует понятие лирического героя, поэт, пусть не прямо, отразится в стихах, как в воде озера отражаются облака. Кулиев не любит деклараций, но в традициях горской лирики есть род стиха — паупствения. В эту традиционную форму вмещает, например, поэт современные мысли о долге художника перед даром, отпущенным ему природой, о бескорыстии служения красоте:

Не ради славы пишут кровью,
Без платы конь летит вперед.
Пока его не остановят
Или пока не упадет.
Мгновенна слава, все равно
Как ветер, что стучит в окно.

Без платы соловей весною
Поет, всему земному рад,
Течет река и поле поит,
За это не прося наград.
Жизнь — истина, а слава — вздор,
От ветра гаснущий костер.

Без платы зацветают дали
Цветами каждую весну,
Белеют горы, хоть регалий

Мы не даем за белизну.
Жизнь — истина, а слава — прах,
Снег, на день выпавший в горах...

Каждый художник знает, что пишет он для людей — еще и потому, что без них его опыт, его умение ничего бы не означали. Если бы скалы не возвращали наш голос, не было бы эха, мы бы попросту не слышали его. Если бы некому стало петь песни, мы бы не пели сами себе: песня — форма общения. Искусство — в целом — тоже. Художник всегда озабочен отзвуком народным. Истинный поэт всегда хочет быть понятным и усвоенным. Но есть еще одно желание у художника — чтобы слово его, как зерно весной, пало в готовую почву, чтобы почва эта была богатой и плодотворной. Кайсын Кулиев не только любит человека, о котором пишет, он глубоко уважает читателя. Он понимает: народ важнее певца хотя бы потому, что сам родит его. Поле рождает колос, как бы тяжел и полон зерном он ни был.

Кто слушает — мудрее говорящих,
И это нам давно понять пора.
Как многословен ручеек бурлящий,
Как молчалива белая гора!

Сказано, как это часто бывает в искусстве, с предельным заострением мысли, почти парадоксальным. Разумеется, стихи эти грешно понимать чересчур уж буквально. Если духовный запас поэта не настолько богат, чтобы испытать неодолимую потребность поделиться им с читателями, поэту и слова пропустить не стоит. Это всем понятно. Но вот в чем беда: у нас слово «поэт» как-то выветрилось, потеряло первоначальный смысл. Кто только не печатает в рифму! Поневолье в таком случае возникает вопрос: а не лучше ли молчать, как молчит гора, чем болтать, как мелкий и суетливый ручеек?.. Поэт тот, кто говорит не праздные слова, без которых «жить нельзя»:

Без хлеба жить нельзя,
И я пишу о хлебе,
Без неба жить нельзя,
И я пишу о небе.

Не жить нам без земли,
Хоть это и не ново.
Не видя гор вдали,
Я не скажу ни слова...

На свете жизнь прожить
Без радости легко ли?
Но радость оценить
Нельзя, не зная боли...

Поэт, ищи слова.
Пиши с душевной болью
О чуде мастерства,
Любви и доброй воли.

Что без любви строка?
Родится и увянет.
Поэт поет, пока
Любить не перестанет.

Искусство объясняли по-разному. Кайсын Кулиев видит в нем судьбу народа, судьбу совести человеческой, голос свободы. Вот как говорит у него бубен:

Огонь предо мною стихал,
Металл смертоносный ломался,
Я прахом и пеплом не стал —
Я пламенем был и остался.

Сильнее ударьте меня,
Не очень приучен я к ласке.
Я — жаркая пляска огня,
Огонь незатейливой пляски.

Меня на расправу волнам
Бросали, чтоб смолк я навеки,
Но я не умолкнул, я сам
Гудел, словно горные реки...

Меня предавали огню,
Меня оставляли без крова,
Но свадьба — и вновь я звеню,
Поминки — и плачу я снова...

Так бейте сильнее меня,
Не очень приучен я к ласке.
Я — жаркая пляска огня,
Огонь незатейливой пляски.

...В горах Кавказа осень. Красные костры кизила горят на склонах чегемского ущелья. Кажется, огромное войско стало биваком. И только Эльбрус так далек и безмятежен, так невозмутимо спокоен, что полчища лесов кажутся неопасными, несмотря на ошетилившиеся пихты и ели, несмотря на кровавое зарево над рекой, угрожающе-глухо перекаत्याвающей камни...



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Яков Хелемский. Ветви одного ствола.— **З. Крахмальникова.** Разгар лета.—
Л. Лебедева. Дом и мир — **И. Питляр.** «Что скажешь в свое оправдание?».—
Т. Хмельницкая. Пересечение судеб.

ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Волков. Главный фактор — **Г. Ханин.** Логика экономического механизма.—
Д. Александров. Походы бесславные и бесплодные.— **Л. Миль.** История
Тацита.

Литература и искусство

ВЕТВИ ОДНОГО СТВОЛА

Мария Петровых. Дальнее дерево. Стихи. Из армянской поэзии. Переводы.
Издательство «Айастан». Ереван. 1968. 208 стр.

В литературной периодике сейчас можно найти немало высказываний об искусстве перевода. Размышляют, спорят, анализируют.

Одну из недавних дискуссий озаглавили: «Перевод поэзии и поэзия перевода». Среди обсуждавшихся вопросов был и такой: как совмещается с оригинальным творчеством труд переводчика? Вопрос, в общем-то, законный. В самом деле — не наносят ли себе урон поэты, отдающие много сил и времени этому труду? Можно ли без потерь одновременно служить Евтерпе — нестареющей покровительнице лирики — и той новоявленной переводческой музе, чье имя пока заменяют порядковым номером — д е с я т а ?

Известно, что, воспроизводя мелодику иноязычных стихов, поэт с годами, как правило, до блеска оттачивает свою технику. Но, привыкая жить в сфере чужих образов, раздумий, чувств, не платит ли он за это леностью собственной мысли?

Для посредственности, к тому же всеядной, считающей искусство перевода занятием второсортным, ремесленным, послед-

няя угроза вполне реальна. Правда, в этом случае и утраты невелики, и приобретения немногого стоят.

В работе истинного художника все первоначально отобранные для переложения, так же близки ему, как свои. Отданное другим здесь не потеря, а находка.

«...Для меня работа над грузинскими переводами была счастьем. Эта работа меня и творчески осчастливила». Кто это сказал? Борис Пастернак. Сказал много лет назад, задавшись все тем же вопросом.

Значит, проблема не нова и ответ найден не сегодня. Он подтверждается всей историей нашей поэзии. Всем ее современным опытом. Свидетельств предостаточно. Их можно найти у Маршака и Заболоцкого, у Исаковского и Мартынова, у Антокольского и Ушакова, у Ахматовой, чья поздняя лирика столь естественно сливалась с первоклассным переводческим творчеством.

Но судьбы поэтов различны. Счастливого родство между стихами и переводами раз-

вивается тоже по-разному. Чаше на виду у всех. Но порою и подспудно.

Некоторое время тому назад читатели и критики в потоке поэтических новинок сразу же, безошибочно и убежденно, выделили несколько книг. Это были первые книги. Однако на обложках значились имена широко известные. Потому что авторами оказались мастера перевода, давно завоевавшие высокую репутацию, но со своими стихами либо вовсе не выступавшие, либо выступавшие чрезвычайно редко.

Речь идет об Арсении Тарковском и его книге «Перед снегом» (за ней последовали «Земле — земное» и «Вестник»).

О томике стихов Семена Липкина «Очевидец».

О сборнике Елены Благининой «Окна в сад». Мы много лет знали Благинину как переводчицу и автора стихов для детей. И вот познакомились с ее взрослой поэзией. (Кстати, читая «Окна в сад», я подумал о том, что ведь и Маршак, разносторонне и всесветно прославившийся «Почтой», «Багажом», «Мистером Твистером», блистательным открытием для русского читателя Бернса и Блейка, отточенной сатирой, лишь на склоне лет предстал перед нами во всей полноте как лирик.)

Речь, наконец, идет и о недавних книгах Веры Звягинцевой, которые, хотя и не были первыми в ее творчестве, ознаменовали новое рождение поэта.

Об этой плеяде много писали. Поздний ее взлет — явление, на мой взгляд, примечательное. Оно лишний раз заставляет задуматься о многообразии и взаимосвязанности путей в искусстве.

Долгие годы, посвященные переводческой работе, которая отвергает спешку, тщеславие, корысть, но требует полной самоотдачи, были для названных поэтов и годами внутреннего поиска, постепенного самопознания, творческого накопления.

Мы начинали без заглавий,
Чтобы окончить без имен.
Нам даже разговор о славе
Казался жалок и смешон.

Я думаю о тех, которым
Раздоры ль вечные с собой
Иль нелюбовь к признаньям скорым
Мешали овладеть судьбой.

Строки эти принадлежат Марии Петровых. В них, разумеется, нет и малейшего упоминания мастеров, по праву завоевавшим

раннюю и непреходящую славу. В то же время здесь говорится с искренностью о постижении исповедальной о неторопливом восхождении других судеб. Оно возникло, это стихотворение, еще в годы войны, но под ним и сегодня могли бы подписаться поэты, пришедшие тем же нескорым путем к признанию.

Знаменательно, что именно этим раздумьем открывается первая книга Марии Петровых «Дальнее дерево», вышедшая в свет совсем недавно. Путь автора к этой книге тоже был долгим и трудным. За три десятилетия переводческой деятельности Петровых опубликовала, пожалуй, не более десятка своих стихотворений. Взыскательность эта может показаться чрезмерной. Зато напечатанное запомнилось, а об одном из стихотворений — «Назначь мне свиданье на этом свете. . .» — Анна Ахматова отозвалась как о «шедевре лирики последних лет».

И вот перед нами томик Марии Петровых, составленный с той же суровой тщательностью. Он весьма невелик по объему, зато в нем трудно найти что-либо случайное. Не случайно и то, что книга издана в Армении. Судьба поэта давно и прочно связана с этой республикой. И как бы подчеркивая многолетнюю привязанность, лирика в «Дальнем дереве» соседствует с избранными переложениями армянской поэзии, а портрет Петровых, принадлежащий кисти Сарьяна и воспроизведенный в книге, свидетельствует о том, как высоко ценят в Армении эту дружбу.

Мы уже знаем, насколько плодотворна такая взаимная привязанность, какие открытия она сулит художнику, как сказывается на его собственном творчестве. Она вызывает и прямые ассоциации. Вспомним стихи Заболоцкого и Пастернака о Грузии или строки, обращенные Маршаком к родине Бернса. А сколько написано об Армении мастерами, влюбленными в эту землю и ее поэзию!

Мария Петровых выражает эту любовь по-своему:

На свете лишь одна Армения.
Она у каждого — своя.
От робости, от неумения
Ее не воспевала я.

И правда, земле, которая пленила поэта, посвящены в сборнике считанные строки. Причем эти редкие признания в любви застенчивы, в них ощущается боязнь излиш-

не громкими выражениями снизить большое чувство.

Вот Армения, увиденная впервые:

Осень сорок четвертого года.
День за днем убывающий зной.
Ереванская синь небосвода
Затуманена дымкой сквозной.

Сокровенной счастливою тайной
Для меня эта осень жива.
Не случайно, о нет, не случайно
Я с трудом поднимаю слова,—

Будто воду из глуби колодца,
Чтоб увидеть сквозь годы утрат
Допотопное небо Звартноца,
Обнимающее Арарат.

Углубленный поиск слов, как бы поднятых со дна колодца, тоже не случайность. Это свойство таланта, во многом определяющее тональность поэзии Петровых. Риторика, суесловие, наигранность — не для нее.

Но Армения, даже не будучи названной, неизменно присутствует в книге. И не только в цикле переводов, о котором речь впереди. Южное солнце, облучающее каменистые поля и дома из розоватого туфа, как бы разлито по страницам «Дальнего дерева». Оно может вдруг празднично вспыхнуть в описании русской осени, когда, по-сарьяновски озарив облетающие ветви, «семицветное светило рдеет листьями в лесу». Оно бросает свой отблеск и на стихотворение «Назначь мне свиданье...», в котором возникают узкие улочки южного города, окруженного взгорьями, — как ни мимолетно это упоминание, адрес достаточно точен.

Но об этом стихотворении следует сказать особо.

Назначь мне свиданье
на этом свете.
Назначь мне свиданье
в двадцатом столетье.
Мне трудно дышать без твоей любви.
Вспомни меня, оглянись, позови!

Не часто у Петровых прорывается такое восклицание. Но уж коль оно прозвучало, вы верите ему безраздельно. И потому, что до этого, во многих строках книги, произнесенных вполголоса, накапливался сильный, скрытый до поры заряд, вы подготовлены к взрыву.

Хотя бы в последний мой смертный час
Назначь мне свиданье у синих глаз.

То же свойство характера обнаруживаешь и в цикле ранних стихов Петровых,

и особенно в лирике военных лет. Даже в пору утрат и бед, когда любовь, боль, ярость рвались наружу, патетические строки редко выходили из-под этого пера. Но в том-то и дело, что горькие или радостные слова, произнесенные негромко, порой заставляют сжиматься сердце сильнее, чем вскрик.

«Мы начинали без заглавий...», «Севастополь», «Чистополь» полны этой вынужденной, но сдерживаемой страсти. Когда в стихах «Апрель 1942 года» читаешь:

Скворцы звенят наперебой
И млеет воздух голубой,
И если б только не война,
Теперь была б весна.—

спокойствие и пронзительная простота этих строк впечатляют необыкновенно.

Стихотворение «Ночь на 6 августа» посвящено первому салюту, возвестившему освобождение Орла и Белгорода. Оно написано по свежим следам события.

Все вдохновенней, все победней
Вставали громы в полный рост,
Пока двенадцатый, последний,
Не оказался светом звезд.

И чудилось, что слезы хлынут
Из самой трудной глубины —
Они хоть на мгновение вынут
Из сердца злую боль войны!

В естественности сказанного заключен, по моему, высокий пафос происшедшего. Утратив злободневность, стихи сохранили самое важное — непосредственность чувств, добытых из «самой трудной глубины». Запечатлев подлинность восприятия, а значит, и тогдашнее время, стихи оказались и сегодня абсолютно современными.

А уж когда скромность выражения сменяется патетикой, когда Петровых возвышает голос («Проснемся, уснем ли — война, война...», «Я думала, что ненависть — огонь...»), когда она даст волю скорби или восхищению, это звучит предельно искренне.

В такие минуты прощаешь Петровых те немногие страницы, где приглушенность, сдержанность, стеснительность кажутся исправомерными.

Как уже сказано, в сборник включены переложения с армянского.

Стихи и переводы в «Дальнем дереве» — поистине ветви одного ствола, они питаются одними соками. Петровых обращается к поэтам очень разным, воспроизводит стихи, написанные в разное время. Стремится

при этом сохранить самобытность каждого мастера. И в то же время во всем остается верной себе, отбирает для воспроизведения лишь то, что творчески ей близко. Поэтому строфы Аветика Исаакяна, фрагменты драматической поэмы «Ара Прекрасный», принадлежащей перу Наири Зарьяна, лирические миниатюры Рачия Ованесяна составляют одно целое с первой половиной книги.

Мне кажется, что лучше всего звучат в переводах Петровых стихи Маро Маркарян и Сильвы Капутикян. Здесь ощущаешь полное родство. Прав Левон Мкртчян, написавший предисловие к «Дальному дереву», когда замечает, что, переводя стихи Капутикян, Петровых, «возможно, думала и о своей жизни». Это очень точно сказано. Когда строки товарища помогают тебе осмыслить и свою собственную жизнь — перевод получится!

Вот стихи Маро Маркарян:

Пишешь — и не то, не то, не то!
Где оно, сердечное горенье?
Жар души не сможешь ни за что
Весь как есть отдать в стихотворенье.
Разве искорки блеснут с листа,
Пробегая где-то между строчек.
Песня, даже лучшая — и та
Вдохновенья робкий переводчик.

Эти строки могли бы принадлежать и самой Марии Петровых. Это — продолжение ее лирики.

Ну, хорошо, а все же как это соотносится с подлинником? Читатели вправе задать такой вопрос. Здесь лучше всего предоставить слово тому же Мкртчяну. Знаток родной поэзии, исследователь литературных связей России и Армении, он, анализируя работу Петровых, говорит о «высокой степени приближения» ее к оригиналу, о том, что «она переплавляет стихи подлинника в новый языковой материал, пользуясь всем богатством, всей гибкостью русского языка. Это дает ей возможность сохранить в переводе стилиевые и интонационные особенности подлинника».

Дочитав «Дальнее дерево», думаешь о том, что к плеяде переводчиков, издавших первые книги своих стихов, прибавилось еще одно достойное имя. Приятно, что таких книг становится все больше.

Отдавая должное скромности и неторопливости поэтов, заставивших нас еще раз вспомнить прекрасную формулу Н. Ушакова: «Чем продолжительней молчанье, тем удивительнее речь», — размышляешь, однако, не без грусти и о том, что, если бы наши издатели и критики проявили чуть больше нетерпеливости, чуткости, наконец любопытства, эти дебюты могли все же состояться несколько раньше.

Яков ХЕЛЕМСКИЙ.

★

РАЗГАР ЛЕТА

Пауль Куусберг. В разгар лета. Перевод с эстонского. «Дружба народов», №№ 10—12, 1969.

Новый роман Пауля Куусберга стоит, казалось бы, особняком в творчестве писателя. Впрочем, каждый из его романов (а «В разгар лета» — четвертый роман писателя) был не похож на предыдущий уже чисто внешне — так, скажем, «Происшествие с Андресом Ляпетеусом» на первых порах могло показаться читателю чуть ли не детективом. Своеобразие романа «В разгар лета» другого рода. До сих пор прозе Куусберга был свойствен суховатый стиль, четко вычерчивающий движение мысли, иногда в русском переводе это казалось даже бедностью, чуть ли не примитивом (особенно в первом романе «Пламя под пеплом»). можно было подумать, что писателю вообще чужда объемность повествования, психологический анализ, пейзаж, что его забо-

тит прежде всего публицистическая точность формулировок. Читатель романа «В разгар лета» сталкивается с совсем иной стилистической стихией. В ней возникает пейзаж южной Эстонии, по живописным дорогам которой боец истребительного батальона Олев Соокаск мчится на машине вместе со своим бывшим директором завода, а теперь политруком Руутхольмом и бывшим заведующим их заводской мастерской, а теперь бойцом Нийдасом. Дрожит от зноя воздух — разгар лета 1941 года, — и Олев Соокаск, полный юношеского азарта, комсомольской непримиримости, всем своим страдающим, кровоточащим сердцем вбирает и этот родной ему воздух и запах сосен, пыли, дождя, пытается разобраться в себе, товарищах, тех, с кем сталкивают его

стремительные военные дороги, восхищаются людьми, разочаровывается в них, с радостью понимает, что был в своих сомнениях не прав, как ребенок ждет чуда — возможности, несмотря ни на что, отстоять от немцев Таллин, не может смириться с тем, что вот сейчас они уйдут из города. И, наконец, принимает решение остаться в Таллине и сражаться до конца вместе с теми, кто держит оборону города, давая возможность эвакуировать основные части нашей армии. Олев Соокаск — один из самых обаятельных характеров в нашей литературе последних лет. Он живет в романе, словно бы сотканный из всех этих порой противоречивых, но так естественно складывающихся в целостный характер ощущений и нюансов мысли. Писатель нигде не объясняет героя, в этом нет нужды, потому что он и так ясен читателю, прожившему вместе с ним эти несколько необычайно емких недель.

Роман Куусберга развивается в двух планах: главы, посвященные Олеву Соокаску, написанные от его имени и о нем, перемежаются частями о главном инженере Энделе Элиасе, работавшем на том же заводе, что и Олев. Эндель Элиас совсем другой человек, и проблемы, возникающие перед ним, другие, и они требуют иного изображения. И естественно, что эти главы написаны в ином стилистическом и интонационном ключе.

Олев Соокаск и Эндель Элиас так и не встретились в романе Куусберга, хотя пути их трижды пересекались. Первый раз в самом начале романа, когда Олев вместе с директором завода Руутхольмом и Нийдасом приходят ночью с 13 на 14 июня, еще до войны, по особому заданию на квартиру Элиаса с тем, чтобы отконвоировать его вместе с другими «контриками» на товарную станцию Копли. Он не верит в виновность Элиаса и надеется, что все разъяснится. Но Элиаса не было дома, в тот вечер он признался в любви Ирью и пришел домой только утром. Взволнованный тем, что сообщил ему о ночном визите его сосед доктор Хорманд, не решившись даже познакомиться с Ирью, Элиас бежит в южную Эстонию, на хутор к сестре, прячется у нее, потом — в лесах Пярнумаа до тех пор, пока не начинается война.

Это первая из несостоявшихся встреч между героями. Вторая еще более драматическая. Боец истребительного батальона

Олев Соокаск очнулся в каком-то амбаре или складе избитый и окровавленный. Они влетели на своей машине в маленький городок, сорвали сине-черно-белый флаг (флаг буржуазной Эстонии) над зданием разгромленного исполкома и не заметили, как оказались под дулами нацеленных на них винтовок. В амбаре несколько десятков человек, и очевидно, что всех их должны расстрелять, а уж тем более трех оставшихся в живых бойцов истребительного батальона. Олев думает об этом, а также о неизвестном ему Сергее Архиповиче, спасшем его ценой собственной жизни, о том, чего он не успел сделать и в чем его ошибка, в результате которой они все здесь оказались. Но внезапно начинается стрельба, охраняющие амбар «лесные братья» разбегаются, и Олев, добравшийся до маленького зарешеченного окошка под потолком амбара, видит среди них главного инженера Элиаса с ружьем в руках.

И, наконец, последняя, третья из этих несостоявшихся встреч уже в самом финале романа. Оба героя в Таллине накануне его оккупации: Соокаск отступил сюда из Пярну с истребительным батальоном, а Элиас, перешедший линию фронта, добирался пешком, лишь бы увидеть Ирью, все объяснить ей, а потом будь что будет. Соокаск случайно узнает, что бывший их главный инженер вернулся. Ему необычайно важно, необходимо с ним встретиться, поговорить, понять наконец, что же это за человек: он верил ему раньше, что бы про него ни говорили, его не убедило даже то, что он сам видел из зарешеченного окошка под крышей амбара — Элиаса вместе с бандитами с ружьем в руках. И теперь, когда Нийдас убежденно говорит ему, что Элиас в Таллине не случайно, что о нем нужно сообщить в «соответствующие органы», Соокаск сомневается, что-то мешает ему поверить в это — может быть, то, что сам Нийдас оказался проходивцем и трусом.

Вечером, как и в начале романа, Олев и Ильмар Коплимаяэ стучат в дверь Элиаса. Так же, как в начале романа, им не открывают, так же, как тогда, они звонят в соседнюю квартиру, к тому же самому доктору Хорманду, а потом вместе с ним открывают замок ключом Коплимаяэ — доктор Хорманд утверждает, что Элиас должен быть дома.

Он действительно дома, лежит на диване,

и доктор Хорманд констатирует смерть, наступившую в результате отравления.

Сюжет романа Куусберга и развивается между этими тремя несостоявшимися встречами героев, и к своему финалу оба они приходят значительно изменившимися. Но так же, как нет случайности в том решении, которое принимает Олев,—остаться защищать Таллин до смертного конца,—так же неизбежен и конец Элиаса. Ничто уже не в состоянии изменить судьбы героев романа Куусберга. Они сами выбрали свою судьбу, роман и написан о том, что происходит в душах этих разных по опыту, воспитанию, психическому складу, темпераменту — всему мироощущению людей, сталкивающихся с одними и теми же событиями и обстоятельствами и, естественно, различно в них проявляющихся.

Олев Соокаск идет к своей трагической гибели стремительно и страстно, хотя по натуре это человек ясный, светлый, рожденный именно для жизни, а не для смерти. Но речь в романе идет не о личной трагедии Соокаска. Поэтому так тяжок путь, которым идет, а вернее сказать мчится, его герой к своей гибели. Этот путь начинается с первых же страниц, когда Олев с товарищами за неделю до войны идет на «особое задание» за «контриками» и вспоминает пережитый им в детстве обыск — тогда из их квартиры «полицейские и фараоны в штатском ушли с носом». Но теперь-то он, Олев, сам стучит ночью в двери, а это не просто: «одно дело понимать классовую сущность буржуев и совсем другое — высылать их».

Так, в начале же повествования об Олеве Соокаске нам открывается сложность и глубина писательского замысла: с одной стороны, ясный и цельный характер героя, а с другой — жизнь во всей ее порой трагической сложности и разорванности. И писатель нигде не упрощает, не пытается облегчить герою его путь. Такой вот сложной, не сразу понятной и разворачивается жизнь перед глазами комсомольца, спортивного рабочего паренька Олева Соокаска, едва начавшего жить, принявшего новую, Советскую Эгонию сразу и безоговорочно. Почему немцы наступают так быстро? Где регулярные части Красной Армии, что могут сделать одни только эстонские истребительные батальоны? Откуда взялись эти «лесные братья»? Неужели начались неразбериха и паника, и уж не гражданская ли

это война, как в России после Октября? И, наконец, что же за человек их главный инженер Элиас, которого Олев всегда уважал за искренность, за то, что он не кривил душой, говорил, что думает («Советской власти нужны не красивые речи, а дела»), — что же с ним такое случилось?

Соокаск продолжает задаваться этими и многими другими, еще более сложными вопросами, но действует он тем не менее именно так, как и должен действовать комсомолец, в первый же день войны ставший бойцом истребительного батальона. Он отличный боец, он уже попадал в переделки, в которых проверяется сущность человека, но он не может, не в состоянии понять, почему они продолжают отступать. Он впадает в отчаяние. Ему потом стыдно своей истерики, но он не может забыть оставшихся на дорогах товарищей и то, как командир роты Мюркмаа застрелил паренька в льняной домотканой рубашке, — их автобусы с бойцами только что обстреляли, а у паренька, схваченного в ближайшем от дороги хуторе, мокрые от росы штаны и он ничего толком не может объяснить. Мюркмаа застрелил его сам, хотя политрук Руутхольм остановил солдат, которым было это приказано, и потрясенный Олев все время видит этого паренька, он стоит перед его глазами. Сам он не убил еще ни одного человека, но, с другой стороны, «ведь из-за того, что мы так мало угробили немцев, они и прут без конца вперед!..». Причем все это никак не противоречивость, а, повторяю, цельность натуры, сталкивающейся со сложностью, трагизмом жизни.

Олев продолжает впитывать в себя все впечатления — гибель товарищей, смерть и смерть вокруг, понимание того, что не может и не смеет «привыкать к смерти, ведь мы защищаем жизнь» («Мы обязаны убивать, иначе нельзя, но души наши не должны очерстветь из-за этой ужасной неизбежности») ... Олев уже не ждет, не надеется на чудо, способное спасти Таллин, они сражаются под самым городом, наконец в городе, и он снова и снова вспоминает и перебирает в себе все, что так стремительно возникало перед ним в эти недели, и наконец принимает решение: «Почему я не могу быть с теми, кто последними защищает Таллин? Разве это не мой прямой долг? Если другие должны умирать, какое я имею право спасать любой ценой свою жизнь?»

Мог ли писатель, оставаясь верным за-

мыслу, логике увиденного, открытого им характера, что-то изменить в его судьбе, смягчить? И Олев направляется навстречу выстрелам, думая лишь о том, чтоб у него хватило сил до конца и чтобы товарищи не думали о нем плохо.

А Эндель Элиас идет к своей гибели совсем другими дорогами. До войны он отдавался своей работе с энергией и страстью, его ценили, он никогда не вступал в конфликт с новой властью, но узнав, что ночью за ним приходили, он испугался и не смог поверить, что это недоразумение, которое можно разъяснить. Он бежит на хутор к сестре, вступает в какие-то отношения с людьми явно подозрительными, и только увидев в своих руках винтовку, а перед собой избитого Соокаска, понимает, как далеко зашел, что речь идет уже не о том, что он совершил ошибку, глупость, бежав, как мальчишка, из Таллина, вместо того чтобы выяснить недоразумение. И что теперь, взяв винтовку в руки, он окончательно порвал с советской властью. У него уже нет выбора, он стал, не желая того, ее врагом. Но и понимая это, он никак не может с этим примириться. Он знает, что, если бы его арест мог предотвратить войну, он тут же бы вернулся в Таллин с повинной. Но, по-видимому, одной только любви к родине недостаточно, чтобы помочь ей в трудную пору.

Элиас понимает это отчетливо, особенно когда оказывается свидетелем расстрела тех, кто сопротивлялся бандитам. Вот к чему привели разглагольствования откровенного фашиста Ойдекоппа о борьбе за единство эстонского народа — к расстрелу эстонцев руками эстонцев же! И он, Элиас, находящийся здесь, к этому причастен. «Что я скажу Ирье, когда она спросит, где я был и что делал? Прятался в лесах Пярнумаа? Но я ведь не только прятался, а действовал заодно с Ойдекоппом и другими. Принимал участие в расстреле. Пусть я не убил ни одного человека, все равно я помогал убийцам. И не вправе скрывать это от Ирьи. Я не могу соврать ей...»

Трагедия Элиаса безысходна, и писатель нигде ни единым словом не пытается искусственно смягчить ее. У Элиаса есть еще маленькая надежда — оторваться ото всех, жить «одиноким волком», но и это ему не удастся, да и не может удаться человеку нравственному, любящему и страдающему,

когда вокруг идет война и страна, которую он так любит, горит в огне.

Причем Элиас нигде не кокетничает, не рисуется перед самим собой, он человек серьезный, волею драматических обстоятельств поставленный в безвыходную ситуацию. И он, понимая отчаянность своего положения, продолжает тем не менее говорить себе только правду. Безжалостная к себе искренность — отличительная черта Элиаса, делающая его фигуру действительно трагической. «Вы... убийцы,— говорит он в лицо фашисту Ойдекоппу.— И я тоже убийца».

В Элиасе теплится надежда — встретиться с Ирьей, все ей объяснить. И тогда что-то можно будет изменить. Он бесконечно разговаривает с ней во сне и наяву, «выслушивает» самые жестокие ее слова («Я могу понять все, кроме того, что ты взял у них оружие, это предательство. Ты предал меня и таких, как я. Да, ты меня предал»), но они ему необходимы.

Отправляясь в Таллин, Элиас понимает, чем рискует: его могут поставить к стенке и по одну сторону фронта и по другую — и как коммуниста, и как бандита, и в обоих случаях — как шпиона. Он выбирается из Пярну, шагает лесными дорогами и приходит, наконец, в Таллин.

Но Ирьи нет, ему не к кому пойти в родном городе. Элиас ищет Ирью в эшелоне, отправляющемся на восток, переходит из вагона в вагон, добирается с Балтийского вокзала в Юлемисте в поисках эшелона, тащится в трамвае по Тартускому шоссе, бредет мимо строящихся оборонительных сооружений, но ничего вокруг не видит и не слышит. И писатель кратко и точно передает это ощущение огромной усталости, ощущение убывающих сил.

И здесь он встречает своего бывшего сослуживца Нийдаса и узнает от него, что эшелон, в котором находилась Ирья, отправился накануне. Он узнает также из намеков Нийдаса, что тому, а стало быть, видимо, и Ирье, известно, что он был с «лесными братьями». Элиас и не собирался скрывать от нее, но она узнала это без него, и вот теперь с тем, что она о нем знает, она уехала... Элиас просит передать Ирье, что любит ее по-прежнему, и уходит со станции Юлемисте раздавленный окончательно.

Надо ли теперь удивляться самоубийству Элиаса? Автор использовал все возможно-

сти для того, чтобы проанализировать причины, побудившие Элиаса к самоубийству, и убедил нас в невозможности какого бы то ни было иного конца.

В многоплановом романе Куусберга есть и еще одна очень важная для понимания мысли книги фигура, сюжетно весьма тесно переплетенная с судьбами центральных героев романа. Эндель Нийдас — бывший техник, бывший боец истребительного батальона, благополучно и спокойно отправляющийся в финале романа вместе с множеством своих чемоданов на восток, в эвакуацию, в то время как его товарищи сдерживают натиск оккупантов.

Нийдас, несомненно, сыграл какую-то зловещую роль в судьбе Элиаса — он в свое время, очевидно, и позвонил в «соответствующие органы», наговорив на Элиаса бог знает что, передергивая его слова, свидетельствующие на самом деле всего лишь о честности и заинтересованности главного инженера в деле, которому он отдается искренне и самоотверженно. Это соображение приходит в голову Олеву Соокаску, когда он случайно встречает Нийдаса в отправляющемся на восток эшелоне и тот дает ему номер телефона, позвонив по которому, можно легко решить судьбу Элиаса. «Ты уже пользовался этим телефоном?» — спрашивает внезапно прозревший Олев.

И перед читателем проносится все, что он успел уже узнать о Нийдасе, — противоречивые факты, казалось бы, не очень связанные меж собой, дающие словно бы самое отрывочное представление о человеке, внезапно всплывают в памяти, кристаллизуются, связываются в один узел. И то, как в самом начале Нийдас пытался доказать Руутхольму, что Элиас всегда был ярким антисоветчиком, бессовестно передергивая случайно оброненные Элиасом слова и выражения; и поразившая тогда Олева «дьявольская память» Нийдаса; и его удивительная осведомленность о происходящем и постоянная циническая болтовня, которая так раздражает Олева. И какая-то равнодушная расчетливость, ловкость, с которой он, по сути дезертировав из истребительного батальона, явучил тем не менее необходимые бумаги, явно неплохо устроился, отправляется теперь в тыл. Он наверняка сохранит себя, вернется в Таллин, а уж потом, несомненно, сумеет развернуть все свои способности, сведет счеты не только с

такими, как Элиас, останься он в живых, с его «темными пятнами» и «запачканной» анкетой, или такими, как Олев Соокаск, которого так легко раздражить, спровоцировать на любую глупость. Да и Аксели Руутхольму — человеку серьезному, чистому, опытному партийному работнику — следует держаться с Нийдасом крайне осторожно. Кто знает, какие подробности хранит «дьявольская память» этого проходимца, а уж ловкость его и умение приспособливаться к любой ситуации несомненны.

Нийдас — фигура значительно более зловещая, чем, скажем, Юрвен — герой предыдущего романа Куусберга «Происшествие с Андресом Лапетеусом». Тот был слишком примитивен и откровенен в своем убожестве. Мимикрия Нийдаса, дающая ему возможность использовать в свою пользу любые изменения общественной атмосферы, крайне опасна...

Всего несколько недель — один-два месяца разгара лета, время, в которое происходит действие этого романа, — но какой огромный человеческий, жизненный, исторический материал уместился в нем, как интересно думать о героях романа, об обстоятельствах и ситуациях, в которые они попадают, проявляясь в них в точном соответствии с логикой развития своего характера, а потому оставаясь живыми людьми, глубоко и точно выразившими время. Как важно то, что сказал здесь писатель об одном из самых трагических моментов в истории эстонского народа — первых месяцах кровавой войны с фашизмом — во имя памяти тех, кто не дожил до победы, во имя живых, тем, кому выпало на долю все, чем дышим мы сегодня.

«В разгар лета» по праву вершит собой все написанное Паулем Куусбергом прежде. Но козь речь идет о русском варианте романа, справедливости ради необходимо сказать, что успех романа его автор целиком делит с переводчиком. И если роман «В разгар лета» с убедительностью показал, какого значительного масштаба писателя мы имеем в лице Куусберга, то перевод романа на русский язык — последняя работа Леона Тоома, опубликованная посмертно, — свидетельствует о том, какого блистательного переводчика наша литература потеряла.

3. КРАХМАЛЬНИКОВА.

★

ДОМ И МИР

Акрам Айлисли. Люди и деревья. Повести. Перевод с азербайджанского. «Молодая гвардия». М. 1969. 208 стр.

Рассказы и повести А. Айлисли всего несколько лет назад появились в русских переводах сначала на страницах журналов, потом и отдельными книгами. Книга повестей, выпущенная «Молодой гвардией», — вторая книга автора на русском языке. Она не так велика, в нее вошли три повести, но они дали нам возможность увидеть писателя со своей темой, своими героями, сюжетами и образами и, что весьма немаловажно, со своим стилем.

Проза его подчеркнута непритязательна, подчеркнута близка тому, что окружает людей в повседневной жизни, но это не значит, что она, как иногда говорят, «занижена», чересчур «заземлена». Да ведь и в повседневности любого из нас окружает разное — большое и мелкое, высокое и низкое, и долг писателя, который обращается к подобным темам, — выбрать дорогу для своего героя, разгадать и показать его возможности, иногда еще только потенциальные.

Для А. Айлисли характерна внутренняя приверженность теме связей человека с родным домом, с семьей, с окружающими его с детских лет людьми. Первые эмоции, чувства, раннее ощущение сути человеческих отношений оказывают решающее влияние на характер, и рядом с этим, вместе с этим, в тесном сплетении со всем этим складывается мышление, в конечном счете — складывается человек как член общества. И очень важно, изначально важно, что же возьмет он с собой, когда придет время уходить ему в большую жизнь, далеко от дома...

Как и у многих других писателей, пришедших в литературу в последнее десятилетие, в личной и писательской судьбе А. Айлисли многое связано с минувшей войной. Ребяшки в азербайджанской деревне, о которой пишет в своих повестях и рассказах А. Айлисли, не видели ужасов, пережитых детьми Белоруссии или Смоленщины, детьми Ленинграда или Киева. Но и они узнали горечь сиротства, страх и ожидание, узнали голодные дни и месяцы. Три повести, вошедшие в книгу «Люди и деревья», сюжетно тесно связаны между собой, в них действуют одни и те же персонажи, а написаны они от лица одного героя — мальчугана Садыка, проходящего на наших глазах дорогу от раннего детства до юности, от порога родного дома до ворот в «большой мир». На первых

страницах первой повести семья расстается с мужчинами, уходящими на фронт, в третьей повести, давшей название всему сборнику, действие происходит уже после окончания войны, но многие семьи еще ждут своих отцов, мужей, сыновей, и одни вернутся, а другие так и не вернутся никогда под свой кров.

Мир, переданный через восприятие ребенка или подростка, — этот литературный прием распространен чрезвычайно, но, как и всякий прием, интерпретироваться может по-разному. В одном случае писатель как бы нарочито отстраняется от всего «взрослого» — и тогда перед читателем прежде всего и по преимуществу выступает история развивающейся молодой личности; бывает иначе — «устами младенца» высказывается истина (естественно, с разной степенью приближения к ней) о тех, кто его окружает; возможен и, как сказать, синтез этих двух вариантов, когда автор, стараясь проникнуть в мир ребенка, в то же время не сливается с ним, показывает всю полноту окружающей жизни. Деление это, конечно, условно, но если применить его по отношению к Акраму Айлисли, следует сказать, что он стремится к варианту третьему. Как ему это удается, должно показать чтение самих повестей.

У них немало важных достоинств; первое и самое интересное для читателя, как мне кажется, заключено в труднейшем для художника сочетании многозначительной внутренней напряженности с внешней неспешностью повествования. Скороговорка, «смазывание» деталей, перебой дыхания совершенно несвойственны А. Айлисли, а мера его таланта такова, что неспешность не оборачивается вялостью — нет, она дает писателю возможность вести нас исподволь к решению серьезных коллизий, вести убежденно, твердо и безоглядно.

В одном стихотворении художника, люди искусства названы «творцами подспудных перемен». А. Айлисли умеет найти художника в человеке, который, казалось бы, от искусства весьма далек. Писатель очень чутко воспринимает творческое начало личности — вот отчего так привлекательны многие его герои и прежде всего та самая тетя Медина, которая вместе с племянником своим Садыком проходит через все три повести в книге «Люди и деревья».

С первых страниц той повести, где речь идет о раннем детстве Садыка («Сказки тети Медины»), почти с первых строк, упоминающих о тете Медине, начинаешь ощущать — и чем дальше, тем это ощущение яснее, и скоро оно превращается в уверенность, — вот о ком, вот во имя кого все написано! Какая замечательная, какая прекрасная, обыкновенная и необыкновенная женщина, какой большой, удивительный человек, богатый, разносторонний, умный и чуткий, щедро одаренный творческим восприятием жизни в ее многозначных проявлениях!

Одна из сильных сторон писательского дарования А. Айлисли — умение передать, если можно так выразиться, «особливость» самого, казалось бы, «опасного» в смысле традиционности, литературной привычности персонажа. Жизнь выработывает свои шаблоны на людей, и, быть может, оттого естественное стремление писателя подметить и передать общее иной раз заслоняет от него индивидуальное и приводит к созданию неких человеко-схем. А. Айлисли избежал этой распространенной литературной беды — думается, не потому, что достиг уже вершин мастерства, но главным образом потому, что искренне любит превосходно ему известных, близко знакомых героев своих повестей. Возьмите любое действующее лицо у Айлисли, самое эпизодическое, — и убедитесь в том, что по немногому, сказанному о нем в повествовании, вы можете многое домыслить об этом человеке. Но надо заметить прежде всего, что «помощницу» себе А. Айлисли выбрал удивительно удачно. Все свои оценки он «пропускает» через сознание, через восприятие своей главной героини. Внутренняя суть повестей складывается благодаря этому весьма своеобразно: рассказывает о событиях Садык, и рассказывает в соответствии с возможностями своего возраста, а личность Медины, ее обаяние, ее человеческое — и очень человеческое — влияние постоянно ощущимо.

Первые страницы «Сказок тети Медины» рисуют ее прежде всего как «тетю», которая нянчила потерявшего мать племянника, которая помогала в хозяйстве брату-вдовцу, которая, казалось бы, отрешилась от себя во имя других, отрешилась так, как это часто делают пожилые и умудренные горечью житейского опыта женщины, незаметные труженицы, — вечно они где-то на «втором плане». Не сразу выступает Медина на первый план, и это нельзя рассматривать толь-

ко лишь как прием построения сюжета. Личная жизнь молодой, прекрасной и любящей женщины бесстыдно и самоуверенно искверкена теми, кто считает, что вправе «разумно» распорядиться судьбой другого человека. Брат Медины, и отец Садыка, выдал сестру замуж в буквальном смысле слова насильно, избивая ее, чтобы получить согласие, выдал за «хорошего», «степенного» человека, некоего Мукуша. Замужняя жизнь Медины с первого дня связана была с физическим и моральным насилием и надругательством. Девушкой она была влюблена в другого человека и долго еще потом мечтала о нем; Мукуш был ей отвратителен всем, и прежде всего своим отношением к жизни — жадным, стяжательским, бессмысленно-накопительским. «Винovat я перед тобой, Медина, я загнал тебя в это свиное гнездо, — слышит Садык слова уходящего завтра на фронт отца. — Не вернусь, прости, ради бога!» Брат понял свою вину перед сестрой, но его слова о прощении Медина услышала в первый и в последний раз — отец Садыка домой не вернулся. Но сам Садык, переселившись в дом Мукуша, очень скоро увидел — было что прощать!

«Как-то раз Мукуш по обыкновению заглянул к нам (в комнату, где спали Медина и Садык. — Л. Л.) и, увидев, что я не сплю, ушел, сердито хлопнув дверью. Однако он скоро вернулся, уже раздетый, в длинной, до колен, белой рубахе. Я приподнялся, удивленно глядя на него. Мукуш сделал вид, что не замечает моего взгляда, отвернулся и, подойдя к тете Медине, сдернул с нее одеяло. Я испугался и зажмурил глаза. Я слышал звуки борьбы, возню, тяжелое мужское дыхание. Потом он ушел. Когда на следующий день Мукуш снял перепачканную землей рубаху, я увидел у него на предплечье синеватые следы укусов...»

В этой сцене впервые раскрыто автором то невероятное напряжение, та человеческая драма, которые скрыты за внешней невозмутимостью Медины. Да и за повседневной, уверенной «распоясанностью» Мукуша тоже есть свое напряжение — неудавшийся «хозяйчик», муж, ненавидимый и презираемый женою, которую он в свое время сграбастал, как вещь, он по-своему страдает. Быть может, автор в чем-то и жалеет этого «неудавшегося человека», но объективно Мукуш написан так, что ненависть и презрение Медины кажутся оправданными от первой до последней капли.

Мукуш тоже призван в армию, и его уход — освобождение для жены. Она не хочет быть связанной с домом Мукуша, она своими руками разрушает этот дом, продавая за бесценок на слом то сарай, то пристройку, выбрасывая накопленное Мукушем «добро», от долгого лежания превратившееся в гнилой хлам. И делает это Медина не со злостью, а радостно, ибо то обладание мирскими благами, во имя которого существуют на свете мукуши, неприемлемо для нее в принципе, противно ее человеческому достоинству.

О том, что тетя Медина своими песнями и сказками может преобразить окружающее, заставить увидеть его в ином, необычном свете, Садык знал и до ухода Мукуша из дому. После же его ухода Медина даже внешне меняется; ее способность наделять поэтическим содержанием обыденность, а в песни и сказки вносить черты живой, вот этой действительности раскрывается перед Садыком (и перед читателем!) в полной мере. После первого «свободного» ужина Медина запекает песню о розовых садах, мимо которых парами проходят красавицы с букетами роз.

Поют они громко, звонко: «Милый, милый,
милый». —

От их голосов счастливых в груди моей
свежие раны.

Счастливые. Я лишь несчастна в этом
свеглом мире,

Должна я уйти, нельзя мне, нельзя мне
остаться с ними...

«Тетя пела, а я смотрел мимо нее в темноту оконного проема и видел деревья, но не те, что выросли в своем дворе Мукуш, а наши, бабушкины... И мне казалось, что стоит открыть дверь — и увидишь не заваленный хворостом двор, а белые розы, целые кусты белых роз...» Наивна песня, наивна картина, которую рождает она в детском воображении Садыка, но многое ведут они за собой. Слушая тетю, Садык видит «не только розы»: он видит черные отцовские сапоги — некий символ мужской и хозяйской власти; видит бабушку; видит учителя Хашима, который семь лет не здоровается с Мединой — способная ученица, она, когда ее выдали замуж, бросила школу; видит он и юношу, которого любила Медина, — теперь это отец одного из Садыковых приятелей; видит Мужуша — и полный ненависти взгляд Медины...

Незримая, но крепкая нить тянется от этой песни, от сказок Медины к тому дню, ко-

гда Садык, живя вместе с тетей в городе и участь в городской школе, избивает своего одноклассника Хазера. Этот мальчишка, рано постигший преимущества житейского цинизма, водил Садыка с собой к забору детского дома. Через дыру в заборе выбиралась к ним девочка Айша. Хазер отдавал ей купленные на базаре орехи и за эту «плату» тискал Айшу. Садык смотрел, изнывал от страха, от презрения к себе, от растущей ненависти к Хазеру... и однажды взрыв произошел. Садык стукнул Хазера камнем по голове и сбежал в деревню. Следом за ним возвращается туда и Медина.

Внутренняя жизнь Медины сложна. Автор почти всегда мотивирует поступки своей героини — ну, скажем, хотя бы ее уход в город вместе с племянником, уход, вызванный страхом перед еще одним «разумным» браком, навязываемым ей соседом и дальним родственником Якубом. Но духовная сложность Медины более всего постигается, пожалуй, там, где логическая мотивированность ее поведения внешне отсутствует. Я имею в виду короткую историю ее второй любви. В деревне временно размещена воинская часть. Медина знакомится с одним из солдат, узбеком Авезом. Они полюбили друг друга в том внезапном озарении чувств, которое вызвано и подогрето самими обстоятельствами: война, неизбежность разлуки и близость ее, естественное желание человеческого тепла в суровых условиях жизни...

Медина сторонится Авеза, гонит его от себя, хотя знает и понимает, что он любит ее по-настоящему. Но перед самой разлукой, перед уходом воинской части из деревни она пытается передать Авезу письмо — страстный крик о любви. Письмо должен передать Авезу Садык. «Догнать солдат я не успел — навстречу мне, влоча за собой платок, растрепанная, запыхавшаяся, бежала тетя Медина. Она была бледная, вся в поту, а глаза у нее как-то странно сверкали.

— Где письмо?!

Я достал из кармана письмо, протянул тете Медине. Она сразу порозовела, несколько раз глубоко вздохнула и опустила на камень. Потом разорвала письмо на мелкие кусочки, обняла меня, и мы оба заплакали...»

Почему это? Отчего? Зачем этот отказ от счастья? Ведь невозможно поверить, что Медина ждет ушедшего на фронт Мукуша. Не ждет — она боится его возвращения. Она человек, хорошо понимающий, что значит

любовь, она достойна счастья — и бежит от него. Можно ли объяснить это? Нет. Во всяком случае не более определенно, чем делает это сам автор в сцене с письмом. Но решение Медины тем не менее кажется совершенно естественным. Если попробовать разобратся в причинах, их окажется много — и ни одной вполне решающей. Кажется, что в этой внезапно вспыхнувшей любви есть нечто, не соответствующее представлению Медины о человеческом достоинстве — представлению, сложившемуся в результате тяжкого жизненного опыта. Во всяком случае завершилось все именно так не от внутренней скованности, несвободы: героиня А. Айлисли приходит именно к внутреннему освобождению, приходит своим, ей одной лишь доступным и свойственным путем. Нельзя сказать, чтобы она дерзко не считалась ни с чьим мнением, ни на что не оглядывалась, но она из «оглядки» не делает преграды естественному развитию своего отношения к людям и событиям. Поступив на открывшуюся временно в селе фабрику, Медина дружит с Мерджан, «пришлой», горожанкой, которую вся деревня считает распутницей, непорядочной женщиной, — еще бы, Мерджан-то как раз плюет на все привычные представления о приличиях, она не замужем и может вступить в близкие отношения с мужчиной, не заботясь о будущем и не стараясь добиться законного брака. Но дружа с Мерджан, Медина остается собой, не пытаясь, к стати говоря, и Мерджан навязать свой моральный кодекс, и в этом опять-таки доказательство человеческой цельности и «освобожденности» Медины.

Короче говоря, Медина в повестях А. Айлисли — на редкость интересный, новый для азербайджанской (и не только для азербайджанской!) литературы и до определенного момента органично воплощенный замысел. Но наступает этот «определенный момент» — к стати, он наступает в конце третьей, позже всех написанной повести, — и Медина, жившая в повествовании по своим внутренним законам, вдруг попадает под такое сильное влияние автора, что начинает действовать лишь по его указаниям и даже выходит замуж за того же Якуба, от которого когда-то бежала в город. Автор дает нам понять, что с того времени Якуб изменился. Известно, что Якуб, по должности своей имея доступ к материальным ценностям, проворовался и попал под суд. Известно, что жена его умерла. Известно, что вернулся Якуб

после отсидки в село. Но почему изменения, происшедшие в его биографии и, наверное, в его душевном складе, так повлияли на Медину, право, непонятно. Нет здесь внутреннего обоснования, сколько его ни ищи!

В этом эпизоде сохранена обычная для А. Айлисли четкость в изложении житейских обстоятельств, но внутренняя психологическая логика, которая была так неотразима, хоть и трудно выражаема, в истории с Аезом, исчезла. Объяснение можно найти только в желании автора «закруглить» сюжет, «завершить» его, ограничить... Конечно же, сказывается тут недостаток литературного опыта, пока еще в чем-то поверхностное понимание «тайн мастерства». Глубине постижения и широте отражения действительности поставлен, стало быть, у А. Айлисли пока что некий предел. Он, наверное, ощущается особенно досадным и потому, что проявился в таком «заметном» месте, как концовка повести. Пожалуй, это прежде всего свидетельство некой замкнутости А. Айлисли в определенном круге представлений, опыта, эмоций. Художник, как и любой человек, изначально связан с таким кругом, выход за его пределы происходит не сразу. И тут все очень тонко и трудноуловимо: совершенно утратить связь с первоначальным своим опытом так же плохо для писателя, как и слишком крепко быть с этим опытом связанным, не пытаться или не уметь никуда от него уйти.

Решение подобной задачи нелегко, оно под силу лишь настоящему таланту, и, наверное, каждый художник решает эту задачу всю свою жизнь. Решает ее и А. Айлисли и идет, несомненно, по верному пути. Естественно, что на пути этом немало трудностей и неизбежны ошибки. Скажем, конкретные обстоятельства ухода Садыка из «дому» в «мир» воссозданы с неким литературным упрощением, но сам-то уход вполне закономерен; очевидно, что Садык уносит с собой многое. Хотя это многое физически ничего не весит.

Нравственное и художественное обаяние повестей А. Айлисли бесспорно; необходимо здесь сказать и о том, что обаяние это сохранено в русском переводе, сделанном Т. Калякиной. В данном случае мы имеем дело с переводом непосредственно с оригинала, не через подстрочник, как это принято обычно по отношению к произведениям на внутрисоюзных языках.

Л. ЛЕБЕДЕВА.

«ЧТО СКАЖЕШЬ В СВОЕ ОПРАВДАНИЕ?»

Вадим Нечаев. Вечер на краю света. Повести и рассказы. «Советский писатель». Л. 1969. 224 стр.

Мальчик, подросток, уезжает из Ленинграда к отцу на Курильские острова. Из родного, любимого города — на край света.

«А что ждет меня впереди?» — думал я. И навстречу мне в этот момент попался силач Будкин. Похож он был на быка. Он шел прямо на меня. Я всегда сворачивал с его победоносного пути. Сколько раз я давал себе слово не дрейфить, и все равно слабó. Я дрейфил и уступал ему дорогу. Не доходя на шаг, Будкин остановился и произнес свою коронную фразу:

— Что скажешь в свое оправдание?»

Итак, мы открываем книгу неизвестного нам молодого автора. Что он нам скажет нового? Как и чем оправдает он наше к нему доверчивое внимание?

Сразу же с самого начала мы слышим знакомую интонацию: отрывочная, короткая, «скупая» мужская фраза; сочетание жаргонных школьных словечек («дрейфить», «слабó») с привычными формулами «высокого» стиля («победоносный путь», «коронная фраза»), некая доля самоиронии, скрывающей постоянное раздраженное недовольство собой, лирически напряженная многозначительность подтекста, когда нам сразу же дают понять, что речь здесь пойдет вовсе не о пустяках — подумаешь, какой-то силач Будкин! Нет, это Мальчик задумался о своей Судьбе. Что ждет его впереди? Как сложится его жизнь на краю света? Каким человеком окажется отец, которого Мальчик до этого почти не знал?

И действительно, в повести (речь пока идет о первой и самой большой вещи сборника — «Повести об отце и Курильских островах») говорится именно об этом. Мальчик встретится с новыми — прекрасными — местами, приобретет новых — прекрасных — друзей, отрешится от замкнутости и одиночества, приобщится к другой одинокой душе, душе своего отца, и попытается понять ее. Испытает он в конце и первое страшное горе — смерть отца (правда, «по законам жанра» одна из последних глав повести, рисующая внезапную болезнь отца, перенесена в начало).

Короче говоря, перед нами — типичная «молодежная повесть», и в то же время —

типичный образец «лирической прозы» в ее сегодняшнем, а вернее уже и вчерашнем, обличье (что относится и ко всем другим произведениям сборника).

Свой, особый, неповторимый стиль — великое благо. И наоборот, чужой, заимствованный вторичный литературный стиль, как известно, — не менее великая беда для писателя и писательства.

Ведь внешне усвоенная литературная манера — явление отнюдь не безобидное. Стиль не безразличен по отношению к жизненному материалу, к содержанию произведения. Наоборот, он властно вмешивается в это содержание, месит и лепит его по своим канонам, навязывает писателю общее освещение предмета, свои психологические ходы, предопределяет сюжетные решения и т. п. Вероятно, как раз с подобным случаем мы и встречаемся в книге В. Нечаева. Именно от принятой литературной манеры, думается мне, возникают постоянно в сборнике мотивы одиночества, непонимания, внезапных и немотивированных разлук, встреч, измен и потерь (особенно характерна в этом отношении маленькая повесть «Вечер на краю света», давшая название сборнику).

Как бы выполняя условия некоей игры, писатель все время «работает» на подтексте и порой так злоупотребляет им, что характеры его персонажей тонут в этом подтексте, теряют конкретные очертания, а их речи и поступки лишаются внутренней связи, становятся загадочно-неожиданными, причудливо-необъяснимыми, непонятными.

Такова, например, в «Повести об отце и Курильских островах» фигура отца. Это — несколько загадочный, одинокий, несчастливый человек. Он много страдал и много любил, пережил войну и потерю друзей. Сейчас он пишет книгу об этом и, вновь переживая все прошлые горести и утраты, душевно надрыдается и умирает. Но отрывочные сведения и приметы никак не слагаются в нашем представлении в целостный, законченный образ, в характер, открывающий нам что-то новое в жизни, наталкивающий на серьезные раздумья. Слишком многое здесь опущено, затуманено, похоронено в подтексте. О многом приходится лишь до-

гадиваться, жизненного материала до чрезвычайности мало.

То же и в рассказе «В красном зале»: в ресторане встречаются два бывших конкурника-юриста, идет туманно-многозначительный разговор о третьем товарище, которого постигла какая-то неудача. Очевидно, кто-то из его бывших друзей в этом виноват, но лишь с большим трудом — и то весьма приблизительно — можно понять, кто кого предал, кто кого продал и чем наказан за это.

В общем, и писатель и читатель всякий раз невольно попадают в положение того щедринского персонажа, о котором было сказано: «По-видимому, что-то было для него ясно, только он не понимал, что именно».

В то же время автору нельзя отказать в наблюдательности, в стремлении видеть, слышать, запоминать. Некоторые рассказы сборника («Миф об автолавке», «Лихая была дорога») с очевидностью свидетельствуют о том, что Вадим Нечаев обладает умением услышать другого человека, передать душевный строй героя через его собственное высказывание. Показательным в этом отношении представляется хотя бы «Миф об автолавке», где молодой водитель автолавки Ефим Сударкин — добряк и говоруны, «душа нараспашку» — неожиданно, но вполне закономерно превращается в заурядного рвача и пошляка. Скрытая метафора реализуется: «рубаха-парень» начинает навязывать своему случайному попутчику (по-настоящему душевному парню) совершенно ненужную ему рубашку... И проявляет при этом такую железную торгашескую хватку, что ой-ой-ой! Тут-то мы и начинаем понимать, что душевность и «раскрытость» Сударкина и сударкиных — это их «бизнес», их средство уловлять и покупать покупателя. Довольно страшное средство, по правде сказать!

И в других произведениях сборника (в той же повести «Вечер на краю света» или же рассказе «Лихая была дорога») среди натужных, вымученно-глубокомысленных диалогов нет-нет да и обрадуешься живому, непрдуманному, точно схваченному слову. Даже откровенно слабый рассказ «В красном зале» и тот оканчивается хорошо услышанным разговором двух посетителей ресторана:

«— Костик, скажи, пожалуйста, почему здесь вечером не дают первого? — сказала почтенная дама.

— Не знаю, дорогая, — ответил ее муж из-за газеты.

— Костик, я, видимо, откажусь от цыпленка и закажу что-нибудь другое.

— Как хочешь, дорогая, цыплята — аморальные птицы...»

Как, право, мог бы «заиграть» подобный диалог, если бы ему найти хорошее применение в рассказе. А здесь он попросту пропадает, остается неким нераскрытым намеком на что-то нам неизвестное, смутным знаком, неясным «предзнаменованием»... Таких никуда не ведущих тропинок в книге немало.

Впрочем, быть может, мы и не вполне справедливы по отношению к молодому автору. Все-таки у нас слишком велик подчас разрыв во времени между первой публикацией произведения и выходом сборника. В самом деле, в сборник, вышедший в 1969 году, входят рассказы и повести 1957—1964 годов! За пять лет писатель, по-видимому, и возмужал, и в чем-то изменился, что-то он, возможно, понимает уже совсем по-другому, а вышедшая книга представляет его нам таким, каким он был прежде. И то, что было очень модным тогда, сейчас уже выглядит старомодным, наивным, примелькавшимся.

Хочется думать поэтому, что и сам автор сейчас по-иному относится к своим ранним вещам, что за этот немалый срок он понял, наконец, что идти в литературе следует не от «стиля», который будто бы можно выбирать, как костюм по вкусу, а от самой жизни, от доверия к ней, к ее логике и движению. Что же до «стиля», то он может быть предельно скромным и безыскусственным, может, наоборот, обладать любой мерой условности и дерзкой новизны. Важно только, чтобы он возникал как необходимый результат столкновения жизненных наблюдений писателя с его собственными, самостоятельными мироощущением и миропониманием.

Вот тогда-то, будем надеяться, писатель и сумеет достойно и по-своему ответить на неглупый, в сущности, вопрос силача Будкина: «Что скажешь в свое оправдание?»

И. ПИТЛЯР.

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ СУДЕБ

Карсон Маккаллерс. Сердце — одинокий охотник. Роман. Перевод с английского. «Молодая гвардия». М. 1969. 318 стр.

С первым романом американской писательницы Карсон Маккаллерс «Сердце — одинокий охотник», написанным в 1940 году, русский читатель знакомится, как это нередко случается с переводной литературой, уже после того, как в 1966 году прочитал последнюю ее книгу «Часы без стрелок», книгу, где наиболее глубоко и детально раскрывались видение мира и стиль писательницы.

Но и в первом романе суть творческой индивидуальности Маккаллерс определена достаточно ясно.

А суть эта — в трагическом и трудном постижении жизни. Жизнь в целом, обычно показанная Маккаллерс на узком и тесном пространстве маленького провинциального городка Южной Америки, — это резкое, часто мучительное пересечение многих одиноких судеб. Каждая человеческая душа рвется из своей одиночной камеры, страстно пытается сломать прутья решетки, отделяющей ее от остальных. Но все разделены барьерами — классовыми, расовыми, физиологическими. Барьерами между богатыми и нищими, белыми и черными, здоровыми и больными, красноречивыми и косноязычными, старыми и молодыми, благообразными и наделенными физическим уродством.

Жажда единения и непреодолимость одиночества — вот трагический узел каждой человеческой жизни у Маккаллерс.

Странно пересекаются судьбы в романе «Сердце — одинокий охотник».

Место действия, как всегда у нее, унылый и безобразный городок, на чьих улицах «часто встречались лица, полные голодного отчаяния и тоски».

Герои романа предстают перед нами с их неразрешимыми противоречиями, с неумением раскрыться, «сказать себя другому», с их замкнутыми внутренними мирами. Вот несколько таких миров главных героев книги.

Бродячий бунтарь Джейк Блаунт, яростно ненавидящий несправедливость и жестокость условий, в которых он вынужден жить, косноязычный и беспомощный, несмотря на избыток буйных физических сил, бродящих в нем и вырывающихся в пьяных

проклятьях и неопределенных призывах к еще более неопределенным действиям.

Большой чахоткой негритянский доктор Копленд, всю жизнь отдавший служению своему народу. Он не просто лечит больных, он пытается просвещать своих соплеменников, прививать им начатки культуры, воспитывать в них чувство собственного достоинства. Копленд — самоотверженный аскет, суровый к себе и другим, подверженный припадкам безотчетного гнева, непримиримый и суровый. Те, кому он готов отдать жизнь, чураются и боятся его. Между ним и его родными нет общего языка. Семья его живет инстинктами, по наитию непосредственных чувств. Он же подчиняет всю свою жизнь гордому самоотречению и выполнению долга. Он несет в себе скорбь расовой отверженности и вековых унижений своего народа, несовместимых с его понятиями о человеческой чести.

И совсем другой образ со своими неразрешимыми противоречиями — девочка-подросток Мик, нервная, экзальтированная, самолюбивая, наделенная незаурядным музыкальным даром и богатым воображением. У нее свой глубокий и яркий внутренний мир. Но она живет в обывательской семье. Старшие сестры презирают и не понимают ее. Младшие братишки целиком на ее попечении. У нее нет ни времени, ни возможности учиться своему любимому искусству. Она не слушает, а подслушивает музыку — украдкой под чужими окнами. В ней звучат необыкновенные мелодии, которые она не умеет записывать. А семья разоряется, отец стареет. Мик приходится поступить в магазин продавщицей. Изнурительный, монотонный труд, безрадостная обстановка дома все дальше и дальше уведут ее от ее призвания.

Четвертая фигура Биф Бреннон — владелец кафе «Нью-Йорк» — в чем-то своеобразный рупор автора. Жизнь его тоже не удалась: сварливая, мелочная мещанка-жена, отсутствие детей, к которым он тянется душой, отчуждение окружающих. Но у Бифа есть доброжелательная любознательность, живой интерес к людям, он пытается «влезть в шкуру» встречающихся на его пути людей. Когда жена ворчит на

него за то, что он не гонит из кафе пьяницу и буяна Блаунта, Биф с вызовом возражает ей: «А я люблю ненормальных». Биф глубоко сочувствует больным и увечным, жалеет их.

И еще одна черта делает Бифа в какой-то мере творчески близким к создавшему его автору. Биф говорит жене: «Ты ведь никогда не видишь самого важного. Не наблюдаешь, не задумываешься, ничего не стараешься понять... Ты никогда не умела получать удовольствия от того, что видишь... Разве ты поймешь, как интересно подмечать разные мелкие черты, а потом вдруг добраться до самой сути?»

Тут Биф словно бы сформулировал писательский метод Маккаллера, ее умение наблюдать и через сплетение повседневных мелочей моногонной, тусклой жизни своих героев проникать в самую суть их характеров и скрытых помыслов.

Но сам Биф, при всей его благожелательности и любопытстве ко всем посетителям своего кафе, все же до сути их жизни не добирается и настоящего контакта с людьми добиться не может. Это только неосуществленные и пассивные душевные движения, которых другие не замечают или толкуют ложно. Его безотчетное чувство к одаренной девочке Мик встречает в ней остороженное сопротивление. Он не может по-настоящему «приручить» ни Блаунта, ни доктора Копленда. Он тоже заперт в своем одиночестве и отчуждении.

Все эти столь разные и столь душевно разлученные люди находят одного человека, который внушает им неограниченное доверие и страстное желание раскрыться, исповедаться, найти с его помощью себя. По горькой иронии замысла Маккаллера, этот человек — Сингер, глухонемой с рождения. Но он умеет угадывать слова по движениям губ. Он смотрит на всех сочувственно, понимающе. Он держит себя с таким обнадеживающим и проницательным спокойствием, что создает всем утратившим душевное равновесие иллюзию гармонии и ясности. Его молчание красноречивее яростного косноязычия говорящих, но одержимых и, в сущности, глухих ко всему, кроме собственной боли. К глухонемому Сингеру по-своему тянутся все — и экзальтированная Мик, и буйный забудыга Блаунт, и любознательный Биф, и даже суровый доктор Копленд. Глухонемой становит-

ся внутренним смыслом и светом их жизни.

Ну, а Сингер? Гreet ли его эта доверчивая надежда обращенных к нему душ? Находит ли он в их упованиях полноценный смысл жизни и назначение свое на земле? Нет, он не стал пастырем. Он такая же одинокая заблудшая душа, как и все остальные. Он тоже во власти какой-то неизъяснимой привязанности, как все, кто ждет тепла и спасения от него. Но его чувство еще более вопиюще безответно и безнадёжно.

Вот уже десять лет, как Сингер отдаёт свою заботу, дружбу другому глухонемому — греку Антонапулосу, слабоумному, сластолюбивому чревоугоднику, способному лишь на элементарные физиологические реакции. Сингер не замечает, что Антонапулос глух не только физически и начисто не в состоянии понять его, что тонкость и щедрость его чувств и размышлений остаются неразделенными, повисают в пустоте. Весь мир дан Сингеру только для того, чтобы подарить его своему другу. Но Антонапулос окончательно теряет последние остатки разума, ведет себя как прожорливое и проказливое животное, становится социально опасным. Его приходится заключить в клинику для умалишенных. И когда грек умирает в больнице, Сингер кончает самоубийством.

Дружба Сингера с Антонапулосом — как бы кривое зеркало всех исповедей и иллюзий других героев. Отношение Сингера к слабоумному греку, как в увеличительном стекле, отражает неразделенность чувства и одиночество каждого человека, заменяющего иллюзией общения полную свою изолированность в безучастном мире.

Сингер — фигура откровенно нискоказательная. Это не реальный, живой человек, а символ одностороннего чувства. Люди слепо бьются о чужие, закрытые для них души, и каждый нужен не тому, кто нужен ему.

Биф, доктор Копленд, Блаунт и Мик даны в живой диалектике противоречивых характеров. Сингер противоречив только в ситуации.

Эта коллизия неразделенного чувства с разными вариациями возникает в каждой книге Маккаллера.

Очень интересно эта ситуация безответного чувства одинокого человека одержимого иллюзорной любовью, раскрыла в пье-

се Маккаллера «Соучастник свадьбы». Главная героиня этой пьесы двенадцатилетняя девочка Френки, близкая по складу Мик из романа «Сердце — одинокий охотник», — такая же экзальтированная, раненная гордостью, наделенная необузданной фантазией и лихорадочной взвинченностью. Френки влюбляется уже не в одного человека, а в молодоженов — в своего старшего брата и его жену. Ей кажется, что она может обрести счастье и уверенность только в этом союзе двух, в котором для третьего, в сущности, нет места. Но Френки истерически и иступленно настаивает на своей нерасторжимости с новобрачными: «Только сейчас я поняла. Беда моя в том, что я так долго была только «я». Все так или иначе могут сказать «мы». Когда Береника говорит «мы», она имеет в виду церковь и свой чернокожий народ. Солдаты говорят «мы» и подразумевают армию. Все принадлежит к какому-нибудь «мы», кроме меня. А не иметь «мы», значит обресть себя на страшное одиночество. Теперь я знаю, что невеста и брат это и есть мое «мы». Я так люблю их именно за то, что они — это мое «мы».

Но в этом растерзанном и разделенном мире всякое «мы» — иллюзия. Один стремится подчинить себя «мы», другой себя из этого «мы» изгоняет.

Каждый изолированный и разлученный с другими характер в творчестве Маккаллера определяется и кристаллизуется не сам по себе, а именно в соотношении с другими людьми. Каждая одинокая судьба рельефно очерчена в ее пересечении с другими судьбами.

Мы не найдем в книгах Маккаллера беспримесных однолинейных натур. Добро и зло диалектически сталкиваются и борются в каждом человеке. Герои проявляют себя в разных обстоятельствах качествами, казалось бы, несовместимыми. В этих живых противоречиях сила и правда полноценного реализма Маккаллера.

Так, старый судья в романе «Часы без стрелок» показан добрым и сентиментальным в семейной жизни, в отношениях с соседями и друзьями и даже со своими черными слугами. А вместе с тем это закоренелый расист, непробиваемый реакционер, вздыхающий о временах узаконенного рабства, способный руководить судом Линча над недавно еще любимым своим негром-

секретарем за то, что тот осмелился поселиться в районе белых.

Его внук Джестер, романтически-восторженный юноша, жесток и груб с дедом, не оправдавшим его молодых иллюзий.

Негр Шерман Пью — талантливый музыкант, и он же мелко тщеславен, безвкусен, ожесточен, способен из мести садистически убить любимую собаку Джестера, хотя Джестер не сделал ему ничего дурного, а наоборот, искренне и горячо привязан к нему. Опять острая коллизия неразделенного чувства.

Тихий обыватель аптекарь Мэлон, медленно умирающий от лейкемии, в начале повести подвержен расовым предрассудкам и пристрастиям: не доверяет еврею-врачу, недолюбливает негра Шермана Пью. Но когда ему выпадает жребий совершить суд Линча над Шерманом и бросить в негра бомбу, он решительно отказывается в этом участвовать. Перед смертью ему открываются более высокие и нравственные критерии человеческого поведения.

Чтобы до самой сути заглянуть в хаос противоречивых чувств, владеющих человеком, и понять непоследовательность его поступков, необходимо каждый характер проверить соседним и все выверить общими условиями человеческого существования — не имманентно-отвлеченными, а конкретно социальными, приуроченными к эпохе, стране, среде.

Жизнь героев Маккаллера всегда порождена реальной действительностью. И концепция неразделенного одинокого чувства и все самые, казалось бы, причудливые и продиктованные ее фантазией замыслы «заземлены» бытом, национальным характером, социальным строем. Это прежде всего Америка, причем Америка южных провинциальных городков, хорошо знакомая нам по романам Фолкнера, Колдуэлла, Стэйбека, Харпер Ли, Шерли Гроу, Ленгстона Хьюза. Это Америка, неотделимая от негритянской темы, ибо негритянская тема органически входит в книги американских писателей не потому, что они специально посвящают ей свое творчество, а потому, что проблема эта неразрывно связана со всеми сторонами жизни американского Юга. Естественно, что и Маккаллерс отдала этой теме немалое место почти в каждой своей книге.

Типы негров и их взаимоотношения с белыми очень разнообразны в творчестве Маккаллера. Она берет негритяскую тему

не только как прямую национальную трагедию или как трагедию противоречивых трудных характеров.

Не безликая масса затравленных и страдающих негров, но сложные линии взаимоотношений внутри народа увлекают ее.

С одной стороны, позиция доктора Копленда — поиски социальной истины, путь разума, просвещения и высокого подвижничества. С другой — эмоционально-хаотическое поведение его детей, стихийных и в покорности и в бунте.

Всего сложнее внутреннее противоречие негритянского характера дано в повести «Часы без стрелок». Здесь Маккаллерс развивает и усложняет линию, очень резко намеченную в свое время Ричардом Райтом.

Прошли времена, когда негритянская тема, как в «Хижине дяди Тома» Бичер Стоу, преподносилась в тонах слезливого сочувствия пассивно и покорно страдающим героям. Никаких «ах, бедный!», никакого расчета на неопределенно-расплывчатую жалость к «униженным и оскорбленным», «несчастеньким!» Наоборот, в современной постановке негритянской темы — откровенно полемическое отталкивание от бесперспективной сентиментальности. Прямой протест, действенный отпор самих негров, борющихся за свое поруганное достоинство, — главный пафос раннего творчества Ричарда Райта. Недаром сборник своих рассказов он полемически назвал «Дети дяди Тома». Собственно, это уже не дети, а внуки, большей частью полукровки, восстающие против своих белых отцов-плантаторов. В нашумевшем романе «Сын народа» Ричард Райт ставит негритянский вопрос еще резче. Негритянская тема здесь раскрыта сугубо полемически и сознательно «от противного». Всем замыслом и построением сюжета Ричард Райт как бы говорит: вы утверждаете, что негры грубы, преступны, что от них можно ждать только злодеяний. Ну что ж, мы оправдаем ваши оценки, превзойдем худшие ваши опасения. И Ричард Райт намеренно создает образ демонстративно «плохого» негра, с детства жестоко затравленного. Роман начинается символическим образом варварски убиваемой крысы и кончается сценой поимки негра, за которым охотятся полиция и толпа. Этот негр, которого с рождения подозревают во всех смертных грехах, действительно становится убийцей, насильником, предателем. Недоверие, подозрение и ненависть

порождают озлобленность, ожесточение и жажду мести. Предвзятый приговор над целым народом калечит и искажает заранее осужденного на остракизм представителя этого народа.

В трактовке негритянской темы Маккаллерс тоже следует этому принципу «от противного». Но при создании образа негритянского юноши Шермана Пью ее художественная аргументация куда тоньше и психологически углубленнее.

Шерман Пью, тяжело переживающий свою национальную отверженность, болезненно самолюбивый, ранимый, именно из-за этой душевной незащитности держит себя грубо, вызывающе, совершает ряд неоправданных и безрассудных поступков. Он трагическая жертва расовой ненависти. Жертва и в буквальном смысле — над ним совершают суд Линча — и в моральном. Шерман озлоблен и затравлен. Это не организованный борец, а отчаявшийся мальчик, воспаленно бросающий вызов заскоруждому общественному мнению: он демонстративно поселяется в запрещенном для негров квартале белых. Это не героический поступок, а взвинченно-истерический жест.

Чрезвычайно существенна еще одна особенность этого образа, отражающая характерные тенденции американской литературы сороковых—шестидесятых годов. Негритянская тема переплетается здесь с типичным для современной американской прозы возрастным ракурсом.

Излюбленными героями американских писателей стали юноши-подростки, люди, находящиеся в процессе формирования и развития, легко ранимые, внутренне незащитные, с абсолютным слухом на правду и фальшь, остро переживающие несправедливость, не умеющие приспособливаться. Вспомним хотя бы героев Сэлинджера и Трумена Капоте. Юноши, трагически постигающие законы «взрослого мира», еще близки к детской непосредственности, свежести, чистоте восприятия. Условия существования преждевременно и жестоко отнимают у них это детство, и душа ломается и грубеет, как ломается и грубеет голос.

Люди, творчески одаренные, особенно грудно расстаются с детской доверчивостью и щедростью воображения. Любимые герои Сэлинджера, и в юности сохранившие детское удивление и поэтичность, не уживаются в суетном, лицемерном и равнодушном мире взрослых. Они «не жильцы» в этом

мире, как герой повести Сэлинджера «Выше стропила, плотники» и рассказа «Хорошо ловится рыбка-бананка».

В наше время с особой остротой говорил о загубленных ростках прекрасного в человеке Экзюпери. Его «Земля людей» кончается символической картиной: в грязном вагоне среди измученных, изуродованных нищетой и гонениями беженцев Экзюпери увидел прекрасного ребенка и подумал: «Вот лицо музыканта, вот Моцарт — дитя, вот многообещающее творение жизни». Но, возможно, и родители его, преждевременно состарившиеся и опустившиеся, были такими, пока гнетущие условия существования не искалечили их. «Меня мучит, что в каждом из них, быть может, убит Моцарт».

Вот об этом «убитом Моцарте» с болезненной настойчивостью размышляют современные писатели Америки.

В романе Трумена Капоте «Обыкновенное убийство» подросток, участвующий в варварском уничтожении целой семьи, в камере смертников создает удивительные портреты. Он был рожден для искусства. Но жестокость жизни и воспитания извратила его природный дар, искалечила его душевно.

Проблема «убитого Моцарта» очень близка Маккаллерс. Она каждый раз по-новому возвращается к ней — и в образе музыкально одаренной девочки Мик («Сердце — одинокий охотник»), и в трагической судьбе не-

гритянского юноши Шермана Пью («Часы без стрелок»).

Помимо этих принципиально важных для нее «героев загубленных возможностей», Маккаллерс почти в каждой своей книге уделяет большое место детям, подросткам, еще не сложившимся характерам.

В пьесе «Соучастник свадьбы» рядом с Френки со всей ее нервозностью и неуравновешенностью переходного возраста стоит, полный детского обаяния, ее семилетний двоюродный брат Джон Генри, умирающий от менингита. В «Часах без стрелок» рядом с Шерманом Пью — внук старого судьи Джестер.

Поэзия и трагедия жизни отражены в судьбах героев Маккаллерс, полных прекрасных возможностей, но искалеченных условиями существования, средой, всеми непреодоленными противоречиями окружающей их действительности.

Исходя из этих объективных противоречий, Маккаллерс строит внутренний мир и характер своих героев на острых контрастах, на драматическом пересечении судеб, казалось бы, неподвижных, плотно вросших в косный быт южноамериканского города.

Книги Маккаллерс о скрытых драмах людей, замурованных в своей отчужденности, по-своему взрывчатые. Они пробуждают стремление освободить и спасти то лучшее, что таится в душе каждого человека.

Т. ХМЕЛЬНИЦКАЯ.

Ленинград.

★

Политика и наука

ГЛАВНЫЙ ФАКТОР

В. И. Ленин. О производительности труда. Сборник. Политиздат. М. 1969. 152 стр.

Сформулированная В. И. Лениным задача советского общества — создать более высокую, чем капиталистическая, производительность труда — была и остается важнейшей. Наверное, поэтому, читая специализированный сборник, выпущенный Политиздатом, воспринимаешь ленинские слова как советы на сегодняшний день, ищешь в них ответ на волнующие сегодня вопросы, размышляешь над будущим.

Прежде всего: где же ключ к этой генеральной задаче, от решения которой зависит успех экономического и социального разви-

тия? За счет чего мы можем создать производительность труда, более высокую, чем в самых развитых капиталистических странах? Может быть, наши земли богаче, чем, скажем, в США? Нет, пожалуй, да и вообще природные условия едва ли способны теперь играть тут главную роль. Может быть, мы быстрее будем наращивать капиталовложения? Конечно, это необходимо. Но откуда возьмутся средства для этого? Очевидно, что сознательное сокращение потребления, например, — мера, пригодная лишь на определенный промежуток времени, а основной

источник тут — повышение производительности труда. Круг, выходит, замыкается.

Может быть, напротив, мы создадим за счет более высокой оплаты труда большую материальную заинтересованность людей и благодаря ей сильнее разовьем производство? Несомненно, мы стремимся к этому; все более полное удовлетворение материальных и духовных потребностей народа — цель социалистического производства. Но достижение ее опять-таки немислимо иначе как через повышение производительности труда.

Наконец, порой говорят, что решающим фактором является возможность развивать производство планоно. Да, общественная собственность на средства производства создала для этого небывало благоприятные условия. Плановая организация экономики — важнейший фактор ускоренного роста производительности труда, и это подтверждено историей, всем предыдущим этапом развития социалистического производства. Нельзя, однако, игнорировать тот факт, что в силу концентрации и централизации капитала, а также под воздействием соревнования с социалистическими странами и нашего опыта элементы планового ведения хозяйства внедряются в практику капиталистических стран. О возможностях планирования при капитализме говорил еще Энгельс. В. И. Ленин, анализируя новейшие тенденции в развитии империализма, отмечал: «Сейчас мы имеем прямое перерастание капитализма в высшую планомерную форму его»¹. Эти предвидения оправдываются. Заметим, например, что в ряде развитых капиталистических стран государственные инвестиции составляют от одной трети до половины всех капиталовложений. Классики марксизма-ленинизма не исключали такой ситуации, когда в каком-либо капиталистическом государстве управление экономикой будет централизовано, сосредоточено в руках одного или группы монополистов, их представителей, стоящих во главе государства. Очевидно, что такая централизация тоже послужит прежде всего выгоде правящего класса. Несомненно и то, что мы должны максимально использовать богатейшие возможности для научного планирования, предоставляемые общественной собственностью на средства производства. Но в данном случае нам важно установить,

что и планирование само по себе не является еще достаточно преимущественным элементом, чтобы выиграть трудное соревнование за более высокую производительность труда.

В работах В. И. Ленина, опубликованных в сборнике, мы находим указания на необходимость развивать крупную индустрию, форсируя разработку «естественных богатств приемами новейшей техники»², требования опираться на экономические стимулы, повышать образовательный и культурный уровень населения, улучшать организацию труда — эти задачи выполнялись и выполняются партией и государством. Но основной источник нашей силы, главное наше преимущество В. И. Ленин видел в новых общественных отношениях людей, прежде всего производственных отношениях, а вследствие этого — в качественно ином подходе человека к труду. Именно благодаря этим новым общественным отношениям создается возможность для наиболее успешного использования всех известных факторов повышения производительности труда.

«Крепостническая организация общественного труда держалась на дисциплине палки... Капиталистическая организация общественного труда держалась на дисциплине голода... Коммунистическая организация общественного труда, к которой первым шагом является социализм, держится и чем дальше, тем больше будет держаться на свободной и сознательной дисциплине самих трудящихся... Коммунизм есть высшая, против капиталистической, производительность труда добровольных, сознательных, объединенных, использующих передовую технику, рабочих»².

О том, насколько велико, по мысли Ленина, влияние производственных отношений на уровень производства, можно судить по его оценке «американского» и «прусского» путей развития капитализма в сельском хозяйстве. Только за счет иного положения крестьянина, в зависимости от того, является ли он хозяином-фермером или трудится на помещика, те же самые земли, орудия производства, такой же капитал могут, оказывается, функционировать с различной отдачей.

Переход власти в руки рабочих и крестьян создал условия для того, чтобы каждая фаб-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 31, стр. 444.

² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 38, стр. 183.

² Там же, т. 39, стр. 13—14, 22.

рика, каждая деревня стали «поприщем, на котором может проявить себя человек труда, может разогнуть немного спину, может выпрямиться, может почувствовать себя человеком. Впервые после столетий труда на чужих, подневольной работы на эксплуататоров является возможность работы на себя...»¹. В этом В. И. Ленин видит единство материального и морального факторов, воздействующих на отношение человека к труду, видит условия для развития экономического соревнования, которое перед конкуренцией капиталистов имеет уже то преимущество, что в него вовлекаются массы трудящихся, проявляющие предприимчивость и смелый почин. Новое общественное бытие определяет иное общественное сознание, и оно в свою очередь становится материальной силой — в этом мы не раз имели возможность убедиться.

Однако «выработка массами новых основ трудовой дисциплины — процесс очень длительный»², новое отношение к труду не является раз возникшим и навсегда данным. Из того факта, что собственность стала общественной, еще не вытекает автоматически и непосредственно непрерывный рост производительности труда. Чувство хозяина производства формируется отнюдь не только под воздействием воспитательной работы, но прежде всего самим положением производителя на производстве, под воздействием комплекса условий. Основу сознательной дисциплины составляет совпадение интересов личности, коллектива и общества, интересов материальных и духовных, а это не достигается единым актом. Это развивающийся процесс взаимоотношений, и он требует постоянного внимания, сознательного совершенствования, для которого общественная собственность на средства производства служит реальной основой.

В поисках наилучших форм связи производителей со средствами производства, обеспечивающей укрепление в человеке чувства хозяина, в поисках таких форм производственных отношений, которые содействуют воспитанию сознательной, коллективно поддерживаемой дисциплины, а в конечном итоге росту производительности труда, В. И. Ленин, партия приходят к необходимости новой экономической политики, к иде-

ям хозрасчета и кооперации на базе общественной собственности и централизованного управления экономикой. И в связи с этим нельзя не высказать претензий к составителям сборника.

Он заканчивается двумя документами, последний из которых датирован (написание) 30 декабря 1921 года, а предпоследний — 27 декабря 1920 года. Получается, будто в последние годы жизни и как раз в период активной экономической работы, связанной с нэпом, В. И. Ленин забыл о производительности труда, повышение которой считал самым важным, самым главным для победы нового общественного строя, а также о развитии социалистического соревнования. Действительно, в ленинских документах указанного периода сами эти термины «производительность труда», «соревнование» встречаются редко. Но разве же в словах суть?

Очевидно, что основные задачи коммунистического строительства не изменились, — менялся только подход к их осуществлению. О том, что было и стало, В. И. Ленин писал так: «Мы знали, видели, говорили: нужен «урок» у «немца», организованность, дисциплина, повышение производительности труда.

Чего не знали? Общественно-экономическая почва этой работы? На почве рынка, торговли или против этой почвы?

...товарообмен предполагал (пусть молча предполагал, но все предполагал) некий непосредственный переход без торговли, шаг к социалистическому продуктообмену.

Оказалось: жизнь сорвала товарообмен и поставила на его место куплю-продажу»¹.

Таким образом, В. И. Ленин отмечает разницу между тем периодом, когда производительность труда рассматривалась лишь с точки зрения роста натуральной массы продукции, выражалась в штуках, центнерах, кубометрах, и новым этапом, когда выявилась необходимость проверять, является ли труд производительным, определять меру его производительности рынком, на котором этот труд получает (или не получает) общественное признание. Вспомним в связи с этим К. Маркса: он показал, что в условиях товарного производства на первый план выдвигается не техническое или натуральное,

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 35, стр. 196.

² Там же, т. 36, стр. 189.

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 470—471.

а экономическое, стоимостное выражение производительности труда. С точки зрения капиталиста, говорил Маркс, производительным является лишь тот труд, который дает прибавочную стоимость. В условиях нэпа, когда товарные отношения получали развитие при господстве общественной собственности на средства производства, явилась необходимость уделить особое внимание рентабельности социалистических предприятий, и рост ее, увеличение прибыли по сути были тождественны росту производительности труда.

Если бы составители сборника взяли как ключ приведенное выше высказывание В. И. Ленина, то они отобрали бы для книги еще многие документы, во всяком случае материалы XI съезда партии.

Сейчас, в период экономической реформы, когда оценка работы предприятий по «валу» сменилась показателями реализованной продукции и прибыли, подход к производительности труда тоже неизбежно меняется, один лишь показатель «валовки» в расчете на затраченный труд уже никого не устраивает. Составители сборника очень мало расширили его в сравнении с предыдущим изданием, вышедшим в 1956 году. Они не учли, что экономическая реформа значительно усилила интерес практических работников и ученых к трудам В. И. Ленина периода нэпа, периода, когда ленинская мысль с особенной энергией, конкретностью и глубиной разрабатывала коренные принципы социалистического хозяйствования.

А. ВОЛКОВ.

★

ЛОГИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА

Б. Г л и н ь с к и й. Теория и практика управления промышленными предприятиями. Сокращенный перевод с польского Д. Климовича, В. Рапопорта, А. Френкина. «Экономика». М. 1969. 166 стр.

Несколько лет назад предложения о расширении прав социалистических хозяйственных предприятий расценивались многими экономистами с известной долей скептицизма. Теперь положение заметным образом переменялось: ведь легко прослыть консерватором, если усомнишься в целесообразности самостоятельности предприятий. Но, к сожалению, замечая, что прежний стереотипный набор доводов в пользу первого тезиса сменяется в ряде экономических работ столь же стереотипным набором доводов в пользу второго. Дискуссия нередко вращается вокруг частных моментов, без выяснения основных положений. Многие предложения, выдвигаемые в ходе спора, весьма разумные сами по себе, не образуют цельной, непротиворечивой системы, ясной концепции решения взаимосвязанных экономических проблем. В этих условиях любая работа, продвигающая нас к пониманию н а у ч н ы х о с н о в социалистического хозяйствования, как нельзя более своевременна и полезна.

Голоса польских экономистов звучат в нынешней дискуссии достаточно веско. Дело не только в общеизвестных профессиональных качествах польской школы (у нас заслуженно ценят работы таких крупных польских экономистов, как О. Ланге, М. Ка-

лецкий, Б. Минц). Сама польская экономическая действительность, экономическая история Польши последнего периода дает обильный материал для научных обобщений механизма работы социалистической экономики. Польская народная республика давно уже начала поиски путей совершенствования методов социалистического хозяйствования. Еще в 1956—1957 годах там был принят ряд мер по расширению хозяйственной самостоятельности предприятий и использованию экономических методов руководства, отменены некоторые директивные показатели (производительность труда, численность работающих, себестоимость продукции), сокращено число заданий по номенклатуре, повышена роль прибыли в оценке деятельности предприятий, активную роль в управлении хозяйством начали играть цены, финансы и кредит, разрабатывались методы стимулирования напряженных планов. В начале 1958 года произошло изменение организационных форм управления польской промышленности: были созданы промышленные объединения.

Рецензируемая работа вышла в свет в 1966 году и за короткий срок выдержала два издания (русский перевод сделан со второго издания). В ней рассматривается широкий круг взаимосвязанных вопросов: цент-

рализация и децентрализация управления, характерные особенности и цели социалистического предпринятия, использование экономических стимулов и некоторые другие. Автор видел свою задачу в том, чтобы попытаться устранить «разрыв между достижениями экономистов-теоретиков и потребностями практиков». И в большинстве случаев ему это удалось: серьезный теоретический анализ рассматриваемых проблем удачно сочетается в книге с тщательным описанием и критическим истолкованием конкретных методов решения ряда хозяйственных вопросов в польской промышленности с 1956 по 1965 год. Вместе с тем некоторые выводы автора вызывают возражения.

Рассматривая вопрос о централизации и децентрализации управления, Б. Глиньский сразу вводит нас в суть чрезвычайно содержательной дискуссии, развернувшейся среди польских экономистов в 1960—1961 годах в связи с тем, что некоторые принятые в свое время меры по расширению прав предприятий не дали ожидаемого результата, привели к определенным диспропорциям в хозяйстве, и поэтому было решено вновь усилить централизацию управления промышленностью. В ходе этой дискуссии А. Вакар и некоторые другие польские экономисты выдвинули концепцию двух типов хозрасчета — прямого и косвенного. Разница между ними состоит в том, что при прямом хозрасчете частные народнохозяйственные пропорции устанавливаются на основе директив центральных органов и системы частных балансов, при косвенном же хозрасчете — на основе соотношения цен и затрат на отдельные продукты. Каждый из этих методов имеет свои достоинства и недостатки, и в разных конкретно-исторических условиях значение этих достоинств и недостатков неодинаково. Выбор того или другого вида хозрасчета является сложной социально-экономической проблемой. Впрочем, обязателен ли такой выбор? Нельзя ли соединить положительные качества обоих типов хозрасчета, избавившись от их недостатков, иначе говоря — создать третий, смешанный тип хозрасчета, гармонично соединяющий прямые и косвенные методы планового воздействия на социалистические предприятия?

Многие экономисты отвечают на этот вопрос положительно. Другие предлагают длительный переходный период между прямым и косвенным хозрасчетом, постепенное внедрение косвенного хозрасчета в экономику.

Наконец, есть и такие экономисты, которые, не будучи уверены в значительном положительном эффекте попыток сочетания прямого и косвенного хозрасчета, все же полагают, что вреда от такой попытки тоже не будет. А. Вакар и его сторонники отвечают на этот вопрос отрицательно. В совместной статье А. Вакара и Я. Зелиньского, опубликованной в Польше в начале 1961 года, делается следующий вывод из польского опыта конца пятидесятых годов: «Частичное введение косвенного хозрасчета ничего не даст, оно даже нежелательно, так как должно привести к распаду внутренней согласованности плана, возникновению «узких мест» и излишков, оно внесет лишь хаос и путаницу в ход общественного производства... Логика данного типа хозрасчета удалит привнесенные извне, чуждые ему элементы, не согласующиеся с принципами всей системы».

Б. Глиньский и ряд других польских экономистов не согласны со столь категорической позицией А. Вакара и его сторонников. Они полагают, что нет основания противопоставлять один тип хозрасчета другому. Необходимы оба типа хозрасчета, поскольку их применение неодинаково.

Попробуем разобраться в обоснованности этих позиций.

Характерно следующее замечание Б. Глиньского: «Конечно, существующие цены и затраты не являются совершенными критериями, но не следует делать вывод о невозможности проверки эффективности применяемых технических показателей производства при современных методах планирования. Неадекватность цен только увеличивает возможность ошибки. Однако можно определить, насколько велика такая ошибка, и провести подсчеты, пользуясь «исправленными» ценами». Следовательно, Б. Глиньский полагает, что имеются несовершенные действующие цены и другие, совершенные, «исправленные», пользуясь которыми можно произвести точный экономический расчет. Непонятно, правда, почему бы эти совершенные цены не ввести в реальный хозяйственный оборот, вместо того чтобы пользоваться одними ценами в реальном обороте, а другими в специальных экономических расчетах. Но это не главное. Вопрос в том, откуда взяты эти «исправленные» цены и что они собой представляют. К сожалению, из книги мы этого не узнаем. А ведь в этом

суть дела. Можно ли получить при прямом хозрасчете совершенные цены? Еще относительно недавно многим экономистам этот вопрос казался ясным. Основной недостаток действующей системы цен они видели в том, что цены на отдельные товары по-разному отклонялись от затрат на их производство, существовал разброс в рентабельности отдельных изделий и даже убыточность многих из них.

Последующая дискуссия показала, что такой подход упрощает проблему установления рациональных цен. Цены определяются общественно необходимыми затратами труда, которые включают в себя в качестве важного фактора то или иное соотношение общественного спроса и предложения на отдельные товары. Если учесть, что в народном хозяйстве производится многие тысячи наименований продукции, а общественный спрос, предложения и затраты на отдельные продукты непрерывно меняются, причем цены на многие продукты так или иначе взаимосвязаны, то становится понятным, почему при прямом хозрасчете установление «совершенных» цен чрезвычайно затруднительно. (Напомним, что реформы цен, сводящиеся, в основном, к выравниванию рентабельности отдельных изделий, требуют подготовки в течение нескольких лет.) Этого не отрицает и Б. Глиньский: «Обеспечить нормальное функционирование механизма цен чрезвычайно трудно, особенно в таких условиях, когда политика цен проводится централизованно». Вот почему экономические расчеты и не играют в системе прямого хозрасчета решающей роли.

Прямой хозрасчет возник как антипод косвенному, как противоположный способ установления народнохозяйственных пропорций и управления народным хозяйством. Он выработал свои методы обеспечения эффективности производства. Отдельные черты прямого хозрасчета представляют собой не произвольный случайный набор показателей и методов хозяйствования, а логически взаимосвязанную систему, достоинства которой неотделимы от ее основных недостатков. Вырвать из этой системы несколько элементов, заменив их элементами косвенного хозрасчета, значит существенно ослабить ее достоинства.

В книге Б. Глиньского содержится много примеров, иллюстрирующих эту опасность.

Автор не считает, что расширение самостоятельности предприятий обязательно приводит к повышению эффективности производства. «Создание возможностей для использования предприятиями своих финансовых ресурсов на развитие,— пишет он,— не всегда гарантирует наиболее выгодное использование этих средств. Некоторые собственные инвестиции предприятий представляли собой скорее невыгодное распыление средств, чем действия, ведущие к максимальному увеличению национального дохода». Интересен проведенный Б. Глиньским анализ последствий ограничения заданий по труду для предприятий одним показателем — фондом заработной платы: «В первый период увеличения прав предприятий большое число экономистов открыто выражало опасение, что определенное только показателем фонда заработной платы приведет к чрезмерному снижению занятости, а полученные таким образом резервы предприятия будут использовать для повышения средней заработной платы остальных работников. На практике эти опасения не подтвердились. Руководство предприятий не увольняло избыточного числа работников... Некоторые предприятия даже расширяли занятость, имея возможности полного использования рабочей силы из-за ограничений в материальном обеспечении... Для отстающих предприятий это может служить путем выполнения производственных планов».

К сожалению, Б. Глиньский не последователен в оценке причин недостаточной эффективности мер по расширению инициативы предприятий. Чаще всего он видит причину в несовершенстве тех или иных показателей (например, валовой продукции как показателя выполнения плана и роста производительности труда). В то же время он (может быть, невольно) показывает, что в условиях преобладания прямого хозрасчета, в сущности, любой показатель (не исключая и такого показателя, как рентабельность) не только не обеспечивает точной оценки деятельности предприятий, но и открывает возможности для злоупотреблений.

Таким образом, анализ фактических данных и их теоретическая интерпретация, содержащиеся в книге Б. Глиньского, скорее подтверждают, нежели опровергают точку зрения А. Вакара и его сторонников. Кстати, Б. Глиньский имел возможность нанести сильный удар по позициям А. Вакара, при-

ведя сводные данные об эффективности работы польской промышленности до и после частичного расширения самостоятельности предприятий. По-видимому, не случайно, что в книге эти данные отсутствуют.

Дискуссия польских экономистов относительно форм хозрасчета и возможности их сочетания дает богатую пищу для размышлений. Она наводит на мысль о том, что отдельные стороны хозяйственной системы не менее тесно связаны между собой, чем отдельные части живого организма. Выбор того или иного хозяйственного механизма определяется уровнем производительных сил, характером задач, стоящих перед обществом, внешними и внутренними социально-экономическими условиями и т. д. Но как только механизм выбран, его внутренняя логика уже сама определяет взаимоотношения и конструкцию отдельных его частей. Все противоречащее этой логике рано или поздно отбрасывается. Типом хозяйственного механизма определяется все: права и обязанности предприятий и вышестоящих органов, характер взаимоотношений предприятий между собой, роль, организация и методы работы финансово-кредитной и денежной системы, внешней и внутренней торговли, способы установления цен, взаимоотношения внутри производственных коллективов, критерии подбора кадров и требования к ним, методы поддержания трудовой дисциплины и т. д. и т. п.

С этой точки зрения не так уж трудно объяснить неудачу попыток сочетать разные типы хозрасчета. Преобладающий прямой хозрасчет предопределяет оценку деятельности предприятий по выполнению ряда плановых заданий, прежде всего по объему производства. А это легче осуществить за счет дополнительного набора рабочей силы, увеличения фонда заработной платы, более выгодного ассортимента, ухудшения качества и т. д. В этих условиях теоретические преимущества рентабельности как синтетического показателя оборачиваются отрицательной стороной: многочисленность факторов, влияющих на него, легко позволяет скрыть снижение эффективности производства.

Предположим, однако, что предприятие полно решимости использовать расширение прав для действительного повышения эффективности. Любое техническое мероприятие, связанное с этим, требует некоторого дополнительного количества материалов и

оборудования. В условиях прямого хозрасчета, когда действует фондированное распределение материалов и орудий труда, предприятию трудно их свободно приобрести. Нужно расширять торговлю средствами производства — скажут сторонники сочетания прямого и косвенного хозрасчета. Мысль сама по себе правильная. Однако нужно считаться с тем, что при этом предприятия во многих случаях постараются сократить производство малорентабельной продукции, тем самым поставив под удар выполнение производственного плана другими отраслями народного хозяйства. Пусть устанавливают цены на эти продукты по соглашению, скажут нам, тогда на дефицитные продукты цена повысится и у предприятий появится заинтересованность в расширении их производства. Тут мы напомним, во-первых, о взаимосвязи всех видов цен, а во-вторых, о том, что это уже будет не сочетание прямого и косвенного хозрасчета, а просто косвенный хозрасчет.

То обстоятельство, что многие недостатки прямого хозрасчета неотделимы от его достоинств и полностью неустраняемы, вовсе не означает, что исчерпаны возможности ослабления таких недостатков и усиления достоинств этого типа хозрасчета. К числу подобных возможностей можно отнести улучшение методов планирования (в том числе с использованием экономико-математических методов и ЭВМ), улучшение квалификации и методов подбора кадров, о чем убедительно говорится в книге Б. Глинского, и др.

Окажется ли прямой тип хозрасчета (после его совершенствования) с его достоинствами и недостатками лучше или хуже косвенного хозрасчета с присущими ему достоинствами и недостатками — это вопрос спорный. И его-то как раз и нужно обсуждать, а не пытаться создавать экономические системы, которые в силу своей противоречивости и несовместимости отдельных сторон могут привести к серьезным диспропорциям. Весьма показательно и поучительно, что все типы экономического механизма, которые исторически испытала советская экономика, первоначально носили неоднородный характер, но довольно быстро в силу логики экономического механизма эволюционировали в сторону однородного, последовательного и логически выдержанного типа.

Значительное место в работе Б. Глин-

ского занимается вопрос о формах промышленных предприятий в социалистической экономике. Б. Глиньский, как и подавляющее большинство экономистов социалистических стран, положительно оценивает потенциальные возможности производственных объединений в повышении эффективности промышленного производства. Однако в отличие от многих экономистов он не склонен прямо выводить реализацию этих возможностей из чисто организационных изменений. На фактическом материале развития польской промышленности Б. Глиньский показал, что при росте централизации объединения превратились в обычное административное звено. Первостепенное значение имеет к тому же способ создания объединений. Он может быть административным и экономическим, добровольным. От этого зависят и размеры объединения, и характер взаимоотношений предприятий внутри него, и методы образования руководства, и отно-

шения объединения с вышестоящими организациями.

В книге Б. Глиньского, помимо упомянутых вопросов, представляющих общеэкономический интерес, освещается и ряд других важных проблем: критика и защита сделанной системы оплаты труда, методы нормирования труда, условия правильной политики заработной платы, балльная система премирования работников умственного труда в польской промышленности, классификация, характеристика и значение внеэкономических или моральных стимулов. В целом книга Б. Глиньского и по характеру рассматриваемых проблем, и по уровню их решения заслуживает внимания со стороны самого широкого круга ученых и практиков, всех, кто интересуется внутренней логикой социалистического хозяйственного механизма.

Г. ХАНИН.

Новосибирск.

★

ПОХОДЫ БЕССЛАВНЫЕ И БЕСПЛОДНЫЕ

Е. Б. Черняк. Жандармы истории (Контрреволюционные интервенции и заговоры). «Международные отношения». М. 1969. 560 стр.

1567 год... Испанская армия под командованием герцога Альбы вторглась в Нидерланды. Захватчики несли с собой насилие, обскурантизм, нетерпимость, жестокость. На цветущие города страны обрушились грабежи, чудовищные поборы. Пытки, истязания женщин, стариков и детей, разгул солдатни, пламя костров, разжигаемых огнем фанатизма, — этой зловещей панорамой «удушения с помощью вооруженной интервенции первой революции в истории нового времени» начинается книга «Жандармы истории». Книга о том, как мертвый хватал живого, как вмешательство иноземных армий стремилось повернуть вспять колесо истории, каковы были причины, цели и результаты интервенций в разные исторические эпохи.

Новая монография Е. Черняка во многом перекликается с его книгой об истории шпионажа, разведки и контрразведки «Пять столетий тайной войны» («Наука». М. 1966). Они близки по темам и материалу, обе представляют собой итог скрупулезного изучения русских и зарубежных источников и литературы, обе написаны живо и увлекательно. Естественно, что пятидесяти тысячный тираж «Жандармов истории» исчез с книжных при-

лавков с такой же быстротой, как три года назад «Пять столетий тайной войны».

Но есть между этими книгами и немаловажное различие. «Пять столетий тайной войны» — это серия популярных очерков. Ее автор не стремился создать историю разведки и тайной дипломатии. В кратком заключении мы читаем: «Перевернута последняя страница тома. Пора подводить итоги. А, впрочем, стоит ли? Мы ведь не писали научного исследования, о чем заранее предупредили читателя». «Жандармы истории» — бесспорно научное исследование. Здесь глазам читателя предстает обширный библиографический аппарат, в котором значительное место занимают ссылки на архивные фонды. Задачей работы является «изучение вооруженных вторжений и неудавшихся попыток организации такого вмешательства (все равно — своими силами или руками наемников), объективно имевших реставраторскую программу, вне зависимости от того, каковы были мотивы организаторов интервенции, какими масками прикрывались подлинные намерения и каковы были любые другие цели наряду с интервенционистскими». Итоги этого изучения

Е. Черняк подвел в обширной главе «Опыт истории», являющейся, на мой взгляд, едва ли не самой интересной частью его книги.

Главным достоинством монографии «Жандармы истории» представляется ее актуальность, состоящая не только в том, что автор доводит свой рассказ до событий последних лет — до интервенций во Вьетнаме и на Ближнем Востоке, — но прежде всего в том, что даже отдаленное прошлое анализируется так, что это помогает полнее, правильнее понимать интервенционистские действия современной империалистической реакции.

Е. Черняк уточняет и конкретизирует само понятие интервенции, умело выделяя и подчеркивая истинную суть той или иной политической акции. «Прибытие в августе 1567 года (из Италии через Франш-Конте и Лотарингию) в Нидерланды испанской армии под командованием герцога Альбы с юридической стороны означало не более чем перемещение вооруженных сил Филиппа II из одного владения в другое». Но автора не удовлетворяет лишь «юридическая сторона». Он принимает во внимание, что «Нидерланды настойчиво ходатайствовали о выводе находившихся там испанских гарнизонов, и Мадрид должен был удовлетворить эту просьбу», что страна ранее располагала известной долей самоуправления, что в ней начался революционный процесс, и делает вывод: «В этих условиях появление испанских войск было если не формально, то по существу вооруженной интервенцией для сокрушения революции».

Столь же вдумчив конкретный исторический подход автора к целям иноземного вооруженного вмешательства. Справедливо отметить, что «коренным вопросом интервенции обычно является захват власти», он обращает внимание читателя и на то, что в задачу внешней контрреволюции не обязательно входит «возвращение власти свергнутому классу или сохранение власти в руках старого правящего класса, которому угрожает революция. Речь может идти и о перемещении власти от одной к другой фракции того же класса. Руководители интервенции редко признают, что вопрос касается власти».

Вообще стремление угадать и пристойно загромировать истинные цели интервенентов столь же старо, как и сама интервенция. Известно циничное заявление прусского короля Фридриха II: «Если вам нравится чья-нибудь провинция, берите ее, всегда найдет-

ся достаточное количество историков и юристов, которые возьмутся доказать, что вы имели на это исторические права». С тех пор, как происходят иноземные вторжения и захваты, никогда не было недостатка в «историках» и «юристах», обвивавших лаврами головы захватчиков. Так, идеологи Священного союза, провозглашая право на вооруженное подавление революций, если последние оказывают «опасное» влияние на народные массы в их собственной стране, не скупилась на заверения, что они, дескать, не против передовых идей времени, а лишь против «группы заговорщиков», возмутителей общего спокойствия и порядка. Вторгаясь в 1823 году в Испанию, командующий армией интервентов герцог Ангулемский провозглашал, что переходит Пиренеи «лишь для того, чтобы объединить испанских друзей порядка и закона, чтобы помочь им освободить из плена короля, спасти трон и алтарь, избавить священников от преследований, собственников — от грабежа, весь народ — от господства некоторых честолюбцев, которые именем Свободы ведут Испанию к гибели».

Но подлинные рекорды цинизма были поставлены в XX веке, когда заправила НАТО открыто заявили о своих намерениях использовать этот агрессивный блок для вмешательства во внутренние дела других стран, приписав себе «право» на интервенцию, если создастся «угроза» их интересам.

Очень важным и сложным является вопрос о результатах интервенций, об их влиянии на последующий ход исторического процесса. Е. Черняк подходит к его решению с учетом всего многообразия анализируемого в книге материала и его диалектической противоречивости. Он не оставляет без внимания «той роли, которую сыграла интервенция в торможении темпов общественного прогресса. Это замедляющее действие проявлялось и во временной реставрации отживших политических и общественных порядков, и в таком же временном предотвращении их крушения», а также в том, что «интервенция во многом способствовала победе более консервативного из возможных вариантов общественного развития и зигзагообразного пути исторического процесса...».

Вместе с тем автор убедительно доказывает, что «ни в один из исторических периодов интервенционизм не приводил к достижению своих главных целей, а то, чего удавалось добиться, по сути дела перечеркива-

лось сравнительно скоро, в дальнейшем процессе общественного развития». Историческая обреченность интервенционизма неоднократно признавалась самими его поборниками. Даже Меттерних вынужден был однажды сделать многозначительное обобщение: «Я считаю, что могу ограничиться обращением к истории всех стран и всех революций, дабы оттуда почерпнуть убеждение, что действия иностранцев никогда ни приостанавливали, ни упорядочивали результаты революции». Последствия контрреволюционных вооруженных интервенций 1848—1849 годов могли бы лишь укрепить престарелого канцлера в этом убеждении.

Конечно, можно указать немало случаев, когда «реакционное безумие, заранее обреченный бунт против законов истории, какими являются контрреволюционные интервенции», приводили к быстрой и, казалось, легко добытой победе. Это случалось в ситуациях, когда военное превосходство интервентов было подавляющим, когда мощь интервентов поддерживалась внутренней контрреволюцией, готовой сотрудничать с иноземцами против революционных устремлений собственного народа. Но конечные итоги подобных нашествий были вовсе не те, к которым стремились их вдохновители. Во-первых, «реакционная интервенция разоблачает антинациональный характер ее союзника — внутренней контрреволюции». Во-вторых, «иностранное вмешательство вызывает новое расслоение в реакционном лагере, способствует отходу от него тех элементов, узкоклассовый эгоизм которых не подавил окончательно патриотические чувства и которых останавливает перспектива соучастия в национальной измене...». Наконец, действия интервентов помимо их воли способствуют обогащению политического опыта масс, пониманию непреходящих ценностей революции, отторгнутых у них иностранными штыками, а сопротивление интервентам, пусть даже недолгое и безуспешное, закаляет силы народа, готовит его к новой, победоносной борьбе.

Далекими от желаемых обычно оказывались и те последствия, которые имели контрреволюционные вторжения для самих стран-интервентов «Контрреволюционная интервенция,— говорит Е. Черняк,— в конечном счете, всегда противоречила и вредила национальным интересам страны, которая ее осуществляла, укрепляя, пусть временно, позиции реакционных сил, замедляла обществен-

ный прогресс или способствовала утверждению особо мучительного для народных масс пути развития... Однако в истории нередко возникали ситуации, когда участие в контрреволюционных интервенциях противоречило государственным интересам, даже в том смысле, в каком они понимались господствующими классами». Так, для Испании XVI века платой за интервенционистскую политику оказалась утрата положения великой державы и превращение ее во второразрядное государство. Когда Англия вела войну за сохранение своих североамериканских колоний, твердолобые поборники интервенции доказывали, что с согласием на независимость Америки «солнце Великобритании закатится». «На деле, наоборот, путь к восстановлению внешнеполитических позиций Англии лежал через признание реального положения вещей, понимание необратимости результатов революции в Северной Америке». Особенно показательны последствия интервенции Кромвеля в Ирландии. «Завоевание Ирландии,— читаем мы в рецензируемой монографии,— оказало роковое влияние на судьбы английской революции... На примере ирландской истории, справедливо подчеркивал Энгельс, «можно видеть, какое это несчастье для народа, если он поработил другой народ»¹.

Достоинства книги Е. Черняка бесспорны. Но нельзя не отметить и некоторые очевидные упущения автора. Широко известно, что русский царизм в XIX веке снискал себе мрачную славу «жандарма Европы». Достаточно напомнить вторжения русских армий в Польшу в 1830—1831 и 1863—1864 годах и особенно интервенцию в Венгрии в 1849 году, в результате которых там были жестоко подавлены национально-освободительные и демократические движения. Е. Черняк вскользь упоминает об этих событиях (см., например, стр. 113, 234), но ни одно из них не подверглось в монографии сколько-нибудь обстоятельному анализу. Это не только исключило из книги большой и интересный материал. Нельзя упускать из виду, что интервенционистские акции царского правительства неоднократно привлекали к себе внимание В. И. Ленина, который оставил много высказываний, способных послужить неопределимой методологической базой для анализа не только этих, но и других интер-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 32, стр. 304.

венций. Оставив за пределами своего исследования интервенционистскую политику русского царизма, Е. Черняк лишил себя возможности проследить ленинский анализ этой политики.

Между тем было бы чрезвычайно интересно и важно показать, как Ленин вскрывал органическую взаимосвязь интервенционизма с оголтелой реакционностью во внутренней политике. Русский народ, говорил Ленин, доведен царизмом «до такого позора, что, будучи забит у себя дома, он служил орудием для забивания народов на Западе»¹. «Царское правительство не только держит наш народ в рабстве,— оно посылает его усмирять другие народы, восстающие против своего рабства...»². Когда началась иностранная военная интервенция против Советской России, Ленин прозорливо предсказал ей провал — в числе прочих причин и по той, что народы, вкусившие хоть какую-то толику свободы, не так просто сделать слепым орудием реакции. «Когда русские крепостные войска в 1848 году шли душить венгерскую революцию, это могло им сойти, потому что эти войска были крепостными,— говорил Ленин,— это могло сойти по отношению к Польше...». Но он выражал непреклонное убеждение, что «народ, который свободой владел уже в течение столетия»³, сумеет разобраться, кто его подлинный враг.

Не получил в книге Е. Черняка сколько-нибудь полного освещения и вопрос о воздействии интервенций на передовые общественные слои в странах, предпринимавших вторжение. Между тем опыт истории свидетельствует, что интервенции не раз приводи-

ли к размежеванию в рядах внутренней оппозиции, отношение к вторжению являлось лакмусовой бумажкой для выявления подлинной революционности. Псевдоопозиционные круги в такие моменты клонились к сближению с властями, поддерживая их в борьбе против «внешнего» врага, а действительно прогрессивные силы под влиянием того саморазоблачения реакции, которым неизменно являлась интервенция, глубже, чем когда-либо, осознавали меру своей исторической ответственности, расставались с иллюзиями, становились непримиримее, бескомпромисснее, решительнее противостояли насилиям и произволу. Так, царская интервенция в Польшу в 1863 году толкнула русских либералов в объятия самодержавного деспотизма, но Герцен, который «продолжал отстаивать свободу Польши и бичевать усмирителей, палачей, вешателей Александра II», «спас честь русской демократии»¹. Размежевание, возникавшее под влиянием реакционных интервенций, вело в конечном счете к идейному и организационному очищению революционного авангарда от случайных и ненадежных попутчиков, к более последовательной и целеустремленной борьбе против интервенционизма и других проявлений политического мракобесия.

Об упущениях, которые бросаются в глаза при чтении книги «Жандармы истории», не хотелось бы говорить стереотипной фразой: они, дескать, не снижают ценности рецензируемой работы. Скажем иначе: они не мешают оценить ее как произведение ценное, нужное, завоевавшее заслуженное внимание читателя.

Д. АЛЕКСАНДРОВ.

★

ИСТОРИЯ ТАЦИТА

Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Издание подготовили А. С. Бобович, Я. М. Боровский, М. Е. Сергеев. Ответственный редактор С. Л. Утченко. «Наука». Л. 1969.

Сочинения великого римского писателя и историка Корнелия Тацита до наших дней дошли далеко не полностью. Среди утерянных книг — может быть, самая интересная часть его наследия — рассказ о правлении принцепса Домициана (81—96 гг. н. э.), то есть о событиях, которые при-

шлись на жизнь Тацита и в которых он участвовал лично в качестве крупного должностного лица.

Забывшие или отвергнутые ближайшими потомками, книги Тацита в течение почти полутора тысяч лет были мало кому известны. О Таците вспомнили в XVI веке. Его изречение о совместимости единовластия и

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 269.

² Там же, т. 4, стр. 383.

³ Там же, т. 37, стр. 162.

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 21, стр. 260.

свободы стало популярным. Апологеты восходящих монархий, выступая против сепаратистов и церкви, все чаще ссылаются на римского историка. Когда в их трактатах затрагивается постоянная у Тацита тема ответственности правителя, создается видимость рискованной, почти недозволенной остроты, придающей своеобразную убедительность позитивной идее. Более двух столетий наследие Тацита существует на политической арене как действенный источник абсолютизма.

Но в XVIII веке европейские просветители открывают нового Тацита, как выясняется, полярного преждему. Они утверждают, что обличение историком ничтожных и преступных цезарей есть обличение цезаризма; делается упор на те места в его книгах, где он скорбит о временах республики. Вскоре толкование Тацита как непримиримого врага единоличной власти становится общепринятым. Монархически настроенные критики обвиняют его в клевете на цезарей, в злопыхательстве, в предвзятом отношении к их любым, даже самым полезным для империи, начинаниям. При Наполеоне I французский официоз обрушился на Тацита с такой страстью, словно опровергал живого якобинца. Сам император потребовал его изъятия из школьной программы, благодаря чему репутация республиканца и тираноборца еще прочнее закрепилась за домициановским консулом.

В России, куда сочинения Тацита дошли в XIX веке, установилась республиканская традиция его прочтения. Он стал единомышленником декабристов и Герцена, противником самодержавия для своего исследователя и переводчика В. Модестова. Двухтомник, подготовленный Модестовым, вышел в 1886—1887 годах и до настоящего времени был единственным полным собранием сочинений Тацита на русском языке. Последней в русской историографии значительной работой о Таците была изданная в 1946 году книга И. Гревса «Тацит», где продолжена линия Модестова. В приложении к нынешнему изданию, вышедшему в серии «Литературные памятники» в новом переводе (переводчики А. С. Бобович и Г. С. Кнабе), помещена обстоятельная статья И. М. Тронского, где говорится и о многовековой полемике вокруг Тацита, продолжающейся поныне.

Нет ничего удивительного в том, что разные эпохи искали своего Тацита; удивительная амплитуда его «за» и «против», позволяв-

шая находить своего Тацита людям разных убеждений и в разное время. Чтобы понять широту этой амплитуды, необходимо, хотя бы контурно, обрисовать картину политической и культурной жизни Рима, рассмотреть события личной жизни будущего писателя-историографа.

К началу I века до н. э. на политической арене Рима появилась новая сила — военные. Сенат уже не мог обеспечить ни административной, ни территориальной целостности растущего за счет завоеваний государства. Удаленность римских армий от центра постепенно вывела их из подчинения сенату, который, пытаясь удержать власть, вынужден был опираться на кого-либо из военачальников. А это была ненадежная опора. Именно так, поддержав высший законодательный орган, Август начал, по выражению Тацита, «подменить собою сенат».

Различия между монархией и республикой были формальные. «Несмотря на эти различия, — говорит Ленин, — государство времен рабовладельческой эпохи было государством рабовладельческим, все равно — была ли это монархия или республика, аристократическая или демократическая»¹.

Август, помня о гибели Юлия Цезаря, не решился узаконить монархию и принял звание принцепса — первого сенатора. С внутренними распрями было покончено, положение на время стабилизировалось. Однако при бесталанных и случайных преемниках Августа для империи снова наступили тяжелые времена. Римом правили корыстные проходимцы, государственные средства безудержно расточались. Чтобы пополнить казну, нередко приговаривали к смерти состоятельных людей, конфискуя (забирая в фиск — казну принцепса) их имущество. Когда этим мерам желали придать видимость справедливого государственного акта, их проводили по закону об оскорблении величества. Появилось множество доносчиков, которые при успехе для себя исходе процесса, а это было почти гарантировано, получали четверть имущества своей жертвы. В правление Тиберия сенат попытался несколько ограничить доходы доносчиков, но принцепс, «вопреки обыкновению, открыто стал на сторону обвинителей, говоря, что без них законы будут бессильны и государство окажется на краю пропасти; пусть уж сенат

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 39, стр. 74.

скорее откажется от установленного право-порядка, чем устранил его опору» (Тацит, «Анналы»). Доносительство становилось стихией, уже плохо поддающейся регулировке. Поэтому тот же Тиберий, «когда обретал возможность использовать в тех же целях новых людей, обычно истреблял прежних, ставших для него бременем».

Превращенный из законодательного органа в совещательный, сенат лишь однажды предпринял попытку восстановить республику. Это случилось сразу после убийства Каллигулы, истреблявшего богатых побилей уже без всякой меры. Оппозиционные настроения сената находили выход в весьма распространенной в древнем Риме «симпатической» литературе. В ее сочинениях обычно изображалось далекое прошлое, но просвечивало настоящее. Успех зависел в первую очередь от того, насколько широки бывали эти смотровые щели. Об одном из таких произведений сочувственно рассказывает Тацит в «Диалоге об ораторах».

Для Тацита сенат являлся аудиторией и высшим судьей его литературных выступлений. Среди сенаторов было немало одаренных и высокообразованных гуманитариев. Вероятно, их влиянием отчасти объясняется предпочтение, которое Тацит-писатель отдает предыдущей эпохе. Характерно, что подавляющее большинство его высказываний о преимуществах республики — это высказывания о преимуществах литератора и литературы. Писатель, обреченный на ложь или молчание при Домициане, помнящий о гибели Сенеки, Петрония и Лукана, он не может аплодировать принципату: «...если былые поколения видели, что представляет собою ничем не ограниченная свобода, то мы — такое же порабощение, ибо нескончаемые преследования отняли у нас возможность общаться, высказывать свои мысли... пережили мы... даже самих себя, изъятые из жизни на протяжении стольких, и притом лучших, лет, в течение которых, молодые и цветущие, мы приблизились в полном молчании к старости, а старики — почти к крайним пределам преклонного возраста».

Рассказывая о суде над неугодным историком Кремуцием Кордом, книги которого были преданы сожжению, но продолжали жить в списках, Тацит находит малоэффективными эти крайние меры античных деспотов, «которые, располагая властью в настоящем, рассчитывают, что можно отнять память даже у будущих поколений. Напротив,

обаяние подвергшихся гонениям дарований лишь возрастает, и чужеземные цари или наши властители, применявшие столь же свирепые меры, не добились, идя этим путем, ничего иного, как бесчестия для себя и славы для них». К таким рассуждениям и выводам некоторые исследователи присоединяют обличение Тацитом тирании Нерона или Домициана и получают образ непримиримого, доходящего до фанатизма республиканца.

Между тем для Тацита-политика реальность существует только в рамках принципата, и только в этих рамках он готов рассматривать ее потенцию совершенствоваться. Он ни в коем случае не хочет экспериментов в этой области, сопровождающихся катаклизмами. Другое дело, что Тацит считает целесообразным широкий обмен мнений и сотрудничество принцепса с сенатом, привлечение к государственной деятельности большего числа людей. При этом он имеет в виду, конечно, только сенаторов и всадников, ибо лишь они принимают «к сердцу дела государства» и стремятся «сыграть в них свою роль».

Тацит не ставит под сомнение завоевательную политику Рима, которая и сделала его империей. Наоборот, он резко осуждает принцепса, не помышляющего о расширении границ. По его концепции, римская завоевательная политика весьма альтруистична: Рим не столько завоевывает соседние народы, сколько спасает их от невежества, раздоров, а также от встречных завоеваний, являясь таким образом гарантом их безопасности. Экономическое же ограбление для него — нечто само собой разумеющееся, компенсация.

«Облеченный званием жреца-квиндесемвира», Тацит тем не менее довольно терпим к инаковерующим, кроме иудеев и христиан, что объясняется не только отличием их культов от языческих, многобожных. Иудаизм во времена Тацита был активным политическим оружием, направленным против Рима, и латинизация Иудеи оказалась проблематичней, чем латинизация какой бы то ни было другой страны. Относясь холодно к существу государственной религии, Тацит в отличие от большинства своих современников не придает большого значения и ее обрядовой стороне. Ироническую усмешку вызывает у него Цезарь Гальба, который утомляет жертвами богов империи, уже перешедшей к другому. Тацит оставляет за религией в ос-

новном роль первопричины, являясь, таким образом, предшественником позднейших деистов. Историю же Рима, по его убеждению, движет вперед целый комплекс объективных закономерностей, а направляет рука принцепса.

Таковы взгляды Тацита-политика на государство и исторический процесс, высказанные им в либеральную эпоху Траяна, в годы, когда он уже отошел от служебной деятельности.

О жизни Тацита почти не осталось конкретных данных. Исследователи, пытающиеся восстановить его биографию, вынуждены пользоваться крайне ограниченным числом источников. Главные среди них: сочинения самого Тацита, по которым рассеяны автобиографические сведения, и письма к нему оратора и писателя Плиния Младшего.

Публий Корнелий Тацит родился примерно в 55—57 годах н. э. в семье римского всадника. Принадлежность к всадническому сословию определялась солидным имущественным цензом, так что семью Тацита надо считать весьма состоятельной.

Всесторонняя по тем временам образованность Тацита несомненна. Основной целью римской педагогики было подготовить ученика к государственной службе. Фундамент успешной карьеры, который можно охарактеризовать как набор позитивных сведений о Римском государстве и рабовладельческом строе, закладывался еще в детстве. Высшей ступенью образования была школа ретора, так как красноречие в древнем Риме было и самоцельным искусством, и жанром литературы (выступления декламаторов издавались), и основным оружием на общественно-политическом поприще. По свидетельству Плиния, Тацит был выдающимся оратором, что отчетливо сказалось на торжественно-приподнятом и в то же время всегда естественном стиле его книг.

В 78 году Тацит женится на дочери проконсула Агриколы. В «Жизнеописании Юлия Агриколы» Тацит выделяет житейскую мудрость своего тестя как одну из главных черт его натуры. Надо полагать, что служебная перспектива молодого оратора просматривалась вполне отчетливо.

При Веспасиане (69—79 гг.) или его старшем сыне Тите (79—81 гг.) Тацит был введен в сенат, который при этих принцепсах стал влиятельной политической корпорацией, а в 88 году, уже при Домициане, был возведен в ранг претора. На следующий год он

уезжает в одну из провинций, скорее всего в качестве наместника. В столицу он вернулся вскоре после смерти Агриколы, скончавшегося в 93 году.

В эту пору в сенате Домициана, пятнадцатилетнее правление которого отмечено доносами и казнями, разыгрывались чудовищные сцены. Плиний пишет: «Среди многих преступлений, совершенных многими людьми, самым ужасным казалось то, когда в сенате поднял руку сенатор на сенатора, преторий на консулара, на подсудимого — судья». Домициан редко пропускал заседания сената, самолично наблюдая, как избивают его противников, и беря на заметку менее усердных.

Тацита обошла подозрительность принцепса. В 96 году Домициан, незадолго перед тем, как он «был, наконец, убит посредством заговора его интимнейших друзей и вольноотпущенников, при участии также и жены» (Светоний), утвердил назначение Тацита консулом.

Тацит предъявляет Домициану тягчайшие моральные и политические обвинения, называет его душителем Римского государства, однако именно при этом принцепсе он достиг высших государственных должностей. Вот что он сам сообщает о своем продвижении: «Не буду отрицать, что начало моим успехам по службе положил Веспасиан, Тит умножил их, а Домициан возвысил меня еще больше...» («История»). Разрыв ненавистью Тацита к Домициану и, вероятно, более чем лояльным отношением Домициана к нему очень велик. Его надо было чем-то заполнить. Как это сделал Тацит — неизвестно; книги «Истории», из которых можно было бы это уяснить, не сохранились. Но кое-что можно понять из «Жизнеописания Юлия Агриколы», представляющего собой не столько запись традиционной похвальной речи над могилой тестя, сколько политический памфлет. При его чтении бросается в глаза, что два, по замыслу автора, «антипода» — Агрикола и Домициан — вполне ладят. Противопоставление их друг другу искусственно. Если Домициан — воплощение произвола, то Агрикола — вовсе не эмблема справедливости. Не очень разборчивый в средствах полководец, он, вернувшись из умиротворенной Британии, получает от принцепса триумфальные знаки отличия, умело лавирует в голле придворных и готов выполнять и предугадывать все желания Домициана, лишь бы не навлек его гнев. Агрикола в этом сочи-

нении противостоит на самом деле не Домициану, а тем, кто защищает свое человеческое достоинство «непреклонностью», «недозволенной дерзостью по отношению к наделенным верховной властью». И. М. Тронский справедливо говорит, что «апология Агриколы и его поведения в монографии его зятя... косвенно становится апологией самого автора монографии». Надо полагать, утерянные книги «Истории» отличало такое же несоответствие между обличением тирании и защитой компромисса.

После убийства Домициана принцепсом избрали престарелого сенатора Нерву. С его избранием сразу же прекратились всякие гонения. Терпимость принцепса была безграничной. Плиний рассказывает о таком случае. На ужине у Нервы присутствовал бывший доносчик. Речь зашла о другом, уже умершем доносчике, которого Домициан «пускал на лучших людей». И когда Нерва задумчиво спросил, что этот человек делал бы сейчас, останься он в живых, один из присутствующих резонно ответил: «Он ужинал бы с нами».

При Нерве Тацит отбывал свое консульство. Некоторое время он еще проявляет политическую активность. Плиний сообщает, что в 97 году на похоронах Вергиния Руфа «хвалебную речь произнес консул Корнелий Тацит, красноречивейший хвалитель». В 100 году Тацит и Плиний по поручению сената защищали в суде интересы африканцев, обвинивших римского наместника в лихоимстве. Больше педантичный Плиний ничего не говорит о служебной и общественной деятельности Тацита, и есть все основания допустить, что тот уже частное лицо. Последняя известная веха на его жизненном пути — годичное наместничество в провинции Азии между 112 и 114 годами.

Уход Тацита от дел выглядит неожиданным. В его «Агриколе» звучит довольно парадоксальный апофеоз деятелю, приносящему пользу государству на службе у цезаря, который ведет это государство к гибели. Сам Тацит в это время тоже служит. Но вот, как напишет он в своей «Истории», наступают годы «редкого счастья, когда каждый может думать, что хочет, и говорить, что думает», а сравнительно молодой Тацит, первый в своем роду сенатор и консул, уходит в отставку. Принцепсом в это время был уже либеральный реформатор Траян, которого вряд ли могла устраивать такая явная креатура Домициана, как Тацит.

«Основное содержание жизни Тацита в последомициановский период,— пишет И. М. Тронский,— составляла литературная деятельность, он стал историком императорского деспотизма и подобострастия сената».

Тацита-писателя лучше всего наблюдать в «Анналах», самом зрелом его произведении, одном из совершеннейших творений античности.

Последовательный пересказ событий каждого года — традиционная форма сенатской летописи — лишь внешняя оболочка «Анналов». Тациту она тесна, и внутри года он располагает исторические картины не в хронологическом порядке, а группирует; несколько событий часто сливаются у него в одно; оттенки его, писатель заглядывает в прошлое и будущее, свободно передвигаясь во времени.

Исследователи «Анналов» обычно отмечают их жанровую близость драматургии. «Анналы» как бы разбиты на три акта — правления Тиберия, Клавдия, Нерона (книги о Калигуле утеряны). Стержень каждого «действия» — жизнь и дела принцепса. И поэтому картины Рима находятся в постоянной связи со сменяющимися их картинами периферии или войны на границах империи. В «Анналах» много прямой речи. Иногда даже самым незначительным своим персонажам Тацит дает возможность высказаться. Сам же автор часто выступает резонером. Обращаясь к читателю, он как бы выносит на обсуждение поступки героев и явления эпохи, делится своими догадками, наблюдениями, выводами. Давая богатейшую психологическую мотивировку событий, автор в то же время излагает их с такой экспрессией, с таким глубоко личным переживанием, что создается впечатление его непосредственного участия в сюжетных коллизиях.

Характерно, что творчество Тацита оказало влияние, причем достаточно конкретное, именно на драматургов. Исторические сюжеты в его передаче и оценке использовали Сирано де Бержерак, Корнель, Расин, Альфьери. Работая над «Борисом Годуновым», к «Анналам» обратился и Пушкин. В его Годунове есть сходное с Тиберием Тацита.

«Анналы» открываются кратким обзором положения империи перед смертью Августа. Один за другим по разным причинам отпадают возможные наследники. Из оставшихся наиболее приемлем пятидесятишестилетний пасынок принцепса Тиберий. Писатель не дает развернутой характеристики своему ге-

рою, а лишь сопровождает его поступки внутренним комментарием, содержащимся в лексике и самой конструкции фразы. Тиберий приходит к власти благодаря авторитету Августа и стараниям своей матери. Он не популярен и в данный момент не имеет за собой армии, поэтому вынужден ловчить с сенатом, уверяя, что не следует возлагать «на него одного всю полноту власти в государстве, которое опирается на стольких именитых мужей». Когда в одной из первых своих тронных речей он говорил об этом, в его словах, замечает Тацит, «было больше напыщенности, нежели искренности (в переводе Модестова: «В речи этой было больше достоинства, чем прямоты»)... Но сенаторы, которые пуце всего боялись как-нибудь обнаружить, что они его понимают, не поспешили на жалобы, слезы, мольбы; они простирали руки к богам, к изображению Августа, к коленям Тиберия... На одну из бесчисленных униженных просьб сената Тиберий заявил, что, считая себя непригодным к единодержавию, он тем не менее не откажется от руководства любой частью государственных дел, какую бы ему ни поручили. Тогда к Тиберию обратился Азиний Галл: «Прошу тебя, Цезарь, указать, какую именно часть государственных дел ты предпочел бы получить в свое ведение?» Растерявшись от неожиданного вопроса, Тиберий не сразу нашелся, (у Модестова: «Пораженный непредвиденным вопросом, Тиберий некоторое время оставался в молчании...»); немного спустя, собравшись с мыслями, он сказал, что его скромности не пристало выбирать или отклонять что-либо из того, от чего в целом ему было бы предпочтительнее всего отказаться».

При Тиберии сенат становится жалкой кучкой насмерть перепуганных льстецов. Так, например, один из них предлагает «ежегодно возобновлять присягу на верность Тиберию; на вопрос Тиберия, выступает ли он с этим предложением по его, Тиберия, просьбе, тот ответил, что говорил по своей воле и что во всем, касающемся государственных дел, он намерен и впредь руководствоваться исключительно своим разумением, даже если это будет сопряжено с опасностью вызвать неудовольствие; такова была единственная разновидность лести, которая оставалась еще неиспользованной».

Тацит дает образ Тиберия в различных комбинациях: Тиберий и сенат, Тиберий и

его временщики, Тиберий и семья, — и каждое из таких сочетаний укрупняет злоеущую фигуру принцепса. Это холодный убийца и тонкий, зоркий политик, гипертрофированная пронизательность которого перерастает к концу жизни в слепую подозрительность.

Если образ Тиберия динамичен, то Клавдий и Нерон внутренне малоподвижны. Клавдий любит заниматься делами государства; «оставаясь в полном неведении о своих семейных делах», супруг Мессалины осуждает в эдиктах разнузданность народа. Нерон же выступает в театрах, вносит новшества в разные виды блуда, воздвигает храмы и опустошает фиск. Клавдий — просто слабоумный, смутно подозревающий в себе эту слабость и готовый потакать чуть ли не каждому. Нерон — извращенный маньяк, средоточие пороков, главный из которых — жестокость. Если в Тиберии и в Клавдии еще виднеется что-то человеческое, то в Нероне человек раздавлен сознанием величия.

Естественно, что при всех трех принцепсах процветает доноительство: «...виднейшие из сенаторов не гнушались заниматься сочинением подлых доносов... всякий спешил предвосхитить другого и обречь его на расправу, часть, чтобы спасти себя, большинство — как бы захваченные поветрием» (в переводе Модестова: «Как бы зараженные болезнью через соприкосновение»). Тацит описывает аудиенцию, которую Нерон дает Сенеке — второму лицу в империи. Сенека уже стар, он просится в отставку, он хочет вручить принцепсу колоссальное достояние, нажитое за годы власти, и уделять время своей душе. Нерон не соглашается, мягко корит его: Сенека еще не в том возрасте, когда уходят на покой, он нужен империи, а богатства — тлен для принцепса, с которым Сенека поделился бессмертными сокровищами знаний и опыта. Страшный смысл этой сцены в том, что Сенека умоляет сохранить ему жизнь, а Нерон отказывается.

В «Анналах» Тацит почти полностью игнорирует основную традицию сенатской летописи, чьей первейшей обязанностью было повествовать о героических деяниях римского народа. Не без оснований, очевидно остерегаясь упреков, он отводит их следующему образом: «Я понимаю, что многое из того, о чем я сообщил и сообщаю, представляется, возможно, слишком незначительным и недостойным упоминания... И все же бу-

дет бесполезным всмотреться в эти незначительные с первого взгляда события, из которых нередко возникают важные изменения в государстве».

Усугубление трагического в стиле Тацита продиктовано, очевидно, все усиливавшимся к концу жизни сознанием безысходности, внутренней неразрешимости бытия. Однако стиль этот не однороден и передает огромную гамму чувств. Тацит художественно убедителен и в тех редких случаях, когда уходит от психологического решения и ссылается на предначертание рока или движение звезд, здесь спасает экспрессия. Тацит предельно подробен, он сообщает даже о слухах и сплетнях, которые сам же называет пустыми. Но излишеств в «Анналах» нет, ибо их отличает та писательская статья, которой уже все дозволено и ничто не во вред. В то же время в выразительных средствах Тацит сдержан, художественную удовлетворенность дает ему сердцевина предмета, а не его форма. У него почти нет развернутых метафор и сравнений. Определяя существо предмета, он пронизает его сочетанием, казалось бы, несоединимых слов. Тиберий, презирающий сенат и вынужденный перед ним заискивать, ведет себя с «высокомерною скромностью»; платный обвинитель «дорожит своей недоброю славой». Такими экономными средствами, несущими громадную смысловую нагрузку, Тацит воссоздает всю движущуюся, избыточно многоликую картину эпохи.

По-прежнему Тацит симпатизирует тем, кто идет «прямым и безопасным путем где-то посередине между непримиримо непреклонностью и низкой угодливостью», не желая замечать, как они сбиваются на второе. Положительные герои «Анналов» аморфны, растворены в добродетелях, которыми без меры наделяет их автор. Это — единственный художественный пробел произведения. Пожалуй, только двое, правдолюбец Тразея Пет и вдова Тибериева племянника гордая и вспыльчивая Агриппина Старшая, выглядят живыми людьми. Но они не вполне олицетворяют позитивный идеал Тацита. Зато негодяев, даже самых эпизодических, Тацит выписывает полнокровными, испытывая яв-

ное удовольствие, удовлетворенный сарказм так и проступает под его пером!

В сатирических и гротескных изображениях, в пейзажных сценах ощутимы художественные слабости современного перевода в сравнении с модестовским. Новый перевод выполнен добросовестно, местами он просто хорош, но если в интонации Модестова слышна латынь, наглядно воспроизведены зримые картины, передано семантическое богатство оригинала, то в современном переводе немало сравнительно бледных мест. Вот как выглядит конец знаменитого пожара при Нероне, сначала в новом переводе А. С. Бобовича, затем в модестовском:

«Лишь на шестой день у подножия Эсквилина был, наконец, укрошен пожар, после того как на обширном пространстве были скрыты дома, чтобы огонь встретил голое поле и как бы открытое небо».

«Наконец, на шестой день огонь остановился у подножия Эсквилинского холма, после того как было скрыто множество зданий, чтоб сплошная истребительная сила огня наткнулась на поле и как бы на пустоту неба».

Может быть, и не следовало на этом останавливаться, если бы в предисловии к нынешнему изданию перевод Модестова не был назван архаичным. Ценность настоящего двухтомника — в прекрасных развернутых комментариях, составленных А. С. Бобовичем и Г. С. Кнабе, и, разумеется, в содержательной, хотя, на наш взгляд, не во всем бесспорной статье И. М. Тронского.

«Анналы» завершились во втором десятилетии II века. В это время устои принцепата были уже незыблемы. Сенат уже не лихорадило, как в эпоху Нерона или Домициана, он стал прочно пригнанной деталью управленческого механизма. Понемногу притормаживалась завоевательная политика. Государство сращивало свои части. Центр империи перемещался на восток. Изменилась ориентация читающей публики, для которой литература I века была слишком занята частными проблемами своего дня. Однако Плиний, предсказывавший трудам Тацита бессмертие, оказался прав.

Л. МИЛЬ.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

ВОЖДЮ, ПОЛКОВОДЦУ, ДРУГУ. Письма бойцов и командиров Красной Армии В. И. Ленину. 1918—1924 гг. Воениздат. М. 1970. 336 стр.

Одно из отраднейших явлений последних лет — возросший интерес читателей к документальной литературе. Архаичным сегодня кажется мнение, будто сборники документов — это издания, рассчитанные на узкий круг специалистов. Ныне к книгам такого рода обращаются многие тысячи читателей самых различных категорий и возрастов.

Собрание писем и телеграмм воинов Красной Армии Владимиру Ильичу Ленину, столь значительное по объему, читатель получает впервые. И уже в самом этом факте — несомненное достоинство книги. Собраны в ней не только письма, которые были рассеяны раньше по многочисленным (и подчас мало доступным широкому кругу читателей) изданиям, — добрая половина представленных здесь документов извлечена из архивов и опубликована впервые.

Письма и телеграммы, собранные в книге «Вождю, полководцу, другу», создают величественную картину неповторимой эпохи первых послеоктябрьских лет. Здесь все живет, дышит временем; перед мысленным взором читателя проходят красноармейские полки и дивизии; звучат вдохновенные слова бойцов.

Бойцы и командиры Красной Армии видели в Ленине человека, для которого интересы рабочего и крестьянина выше всего. Они видели в нем величайшего полководца — в расширительном понимании этого слова, — полководца, ведущего человечество в новый мир. Они восхищались его умом, революционной энергией, даром предвидения, человечностью... Все это ярко высказано в скупых строках красноармейских писем и телеграмм.

Ленину — слова благодарности и любви за его титаническую государственную деятельность, за твердость, стойкость, высокую смелость духа. Ленину — первую весть о добытой в тяжелом бою победе. Ленину — свои чувства, переживания, просьбы, как человеку родному, которому можно рассказать о своих заботах, поделиться мыслями о том, что у нас хорошо и что плохо (к слову сказать, писем с подобными рассуждениями хотелось бы видеть в сборнике больше).

И еще одно частное замечание, отнюдь не умаляющее большой работы, проделанной составителями и редакторами: следовало более тщательно проверить документы «на опубликованность», чтобы избежать тех нескорошких случаев, когда уже известные читателям письма представлены в книге как публикуемые впервые.

452 документа включено в сборник. Было бы, однако, ошибочно утверждать, что это полное собрание писем и телеграмм, адресованных В. И. Ленину воинами Красной Армии. Несомненно, в архивах есть еще немало таких документов, и благородное дело выявления их должно быть продолжено.

Б. Исаев.

★

АДРИАН ПИОТРОВСКИЙ. Театр. Кино. Жизнь. Сборник. Составление и подготовка текста А. Акимовой. «Искусство». Ленинградское отделение. 1969. 512 стр.

На суперобложке этой книги силуэт античного флейтиста соседствует с силуэтами солдат и рабочих, идущих с алыми знаменами на штурм Зимнего. Книга посвящена Адриану Ивановичу Пиотровскому. Имя это о многом говорит старшему поколению наших литераторов, деятелей театра и кино, но почти неизвестно молодежи.

Пиотровского помнят все те, кто играл в двадцатые и тридцатые годы в ленинградских театрах и бывал в них: в драме шин тогда пьесы Пиотровского, в музыкальном театре — балеты и оперы по его либретто. Актеры и зрители с одинаковым интересом открывали номер «Красной газеты», если там была напечатана статья Пиотровского. Его газетные и журнальные статьи были лаконичны, образны, часто вызывали споры, иногда несогласия, но никогда не проходили незамеченными.

Пиотровского — директора и преподавателя помнят все, кто учился во ВГИК при ГИИИ — так назывались курсы искусствоведения при Институте истории искусства. Томики трагедий Эсхила и комедий Аристофана, лирики Катулла в переводах, с комментариями и предисловиями Пиотровского стояли на книжных полках, так же как и его книги по истории античного театра и театра советского. Пиотровский — художественный руководитель «Ленфильма» памятен

всем, кто работал там в-gridчатые годы, кто создавал фильмы о Максиме, Чапаеве, депутате Балтики.

И вот через многие годы вышла книга, хорошо составленная и тщательно подготовленная А. Акимовой (ее собственные воспоминания — из самых интересных в сборнике, они называются «Человек дальних плаваний»).

Книга делится на три раздела: «Театр», «Кино», «Жизнь». В первых двух — статьи самого Пиотровского о грандиозных «масовых празднествах» на площадях Петрограда, в которых молодой Пиотровский принимал самое деятельное участие, о театре юных зрителей, о Моисси в роли Гамлета, о премьерах «Горячего сердца» Островского и «Конца Криворыльска» Ромашова, о Таирове и Корчагиной-Алексаандровской. Работы об античном театре. Такие интересные и сегодня статьи о развитии и особенностях театра музыкального. Такая принципиально важная и сегодня статья об «Арсенале» Довженко и проблемах исторического фильма, такая спорная и сегодня статья «Художественные течения в советском кино».

В третий раздел книги вошли воспоминания о Пиотровском Макарьева, Трауберга, Козинцева, Сергея Герасимова, Блеймана, Хейфица, Зархи, Рахманова, Цимбала (автора обстоятельной, исторически точной, объективной вступительной статьи) и других актеров, операторов, сценаристов, режиссеров.

Очень интересно читать эти воспоминания, в которых зримо встает огромная эпоха новой России и человек, так полно раскрывшийся именно в этой эпохе. Человек разносторонней одаренности и громадных знаний, которые принято называть «энциклопедическими» и которыми Пиотровский не только поражал, но и заражал окружающих.

В чем-то Пиотровский был похож на Луначарского — это сходство блистательных живых умов, самого стиля поведения отмечают многие. Но как все настоящие люди, Пиотровский был прежде всего яркой, неповторимой индивидуальностью. Человеком, лишенным малейшего признака зазнайства, профессорской отрешенности от мира. Случайные служебные кабинеты, комнаты, заваленные чужими рукописями, свой перевод с древнегреческого на краю стола. Незачем обрывать вешами. Надо путешествовать (никаких «домов творчества» во время отпуска — конные, пешие, лодочные походы по Средней Азии, по Алтаю), надо работать, надо встречаться с людьми и помогать людям. Жил он просто, свободно, естественно. Так же проста и естественна книга о нем, сохранившая не только благоговейную память, но живой образ «человека с улицы Красных Зорь». Кстати, это название улицы, без которой немислится сегодняшний Ленинград, придумано Пиотровским.

Е. Полякова.

А. И. НОВГОРОДОВ. Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в Якутии. «Наука». Новосибирск. 1969. 400 стр.

После победы Великой Октябрьской социалистической революции трудовые массы Якутии, этого сурового и далекого от «центра» края, смогли разобраться в правоте большевиков и решительно поднялись на самоотверженную борьбу за упрочение советской власти. Разгром белогвардейцев и интервентов привел к образованию в апреле 1922 года Якутской АССР. Об этих событиях увлекательно рассказывает в книге А. И. Новгородова — издании, прекрасно выполненном в полиграфическом отношении, обильно иллюстрированном фотографиями героев гражданской войны. Автор, опираясь на архивные документы, знакомит читателя с многими мало известными исторической науке фактами. Он освещает деятельность якутской коммунистической организации, в создании которой деятельное участие принимали Е. М. Ярославский, Г. И. Петровский, Г. К. Орджоникидзе и другие видные большевики-ленинцы. Книга рассказывает о самоотверженной борьбе за советскую власть и якутов, и наиболее сознательных представителей малых народов Севера. Перед читателем проходят героические образы И. Я. Строда, Е. И. Курашова, К. К. Байкалова, И. Е. Алексеева, Г. В. Егорова, И. П. Михайлова, Н. А. Каландарашвили. Особую ценность представляют страницы книги, рассказывающие о том постоянном внимании, которое проявлял в эти годы к Якутии В. И. Ленин. Так, в апреле 1921 года он прислал телеграмму Второй беспартийной конференции представителей ревкомов и бедноты десяти волостей Якутского уезда, в которой выражалась надежда, что «якутские трудящиеся массы пробудятся и с помощью русских рабочих и крестьян выйдут на путь полного укрепления власти самих трудящихся». Этот документ полностью приводится А. И. Новгородовым в его книге. Практические меры помощи якутскому народу, принимавшиеся по указаниям В. И. Ленина, способствовали разгрому в тайге и тундре врагов советской власти (тойонов, белогвардейцев, интервентов). Автор убедительно показал, как в результате победы народных масс под руководством Коммунистической партии в октябре и в годы гражданской войны в отсталом крае, «славившемся» когда-то как место царской ссылки, были заложены твердые основы для социалистических преобразований.

И. Беленкин,
старший научный сотрудник
Музея революции СССР.

★

МОИСЕЙ КУЛЬБАК. Стихотворения. Поэмы. Перевод с еврейского. «Художественная литература». М. 1969. 208 стр.

Косари встают из заре. Сквозь туман мерно шагают они по сырým белорусским

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

Л. И. Брежнев. Ленинским курсом. Речи и статьи. В двух томах. Том 1. 544 стр. Цена 1 р. 11 к. Том 2. 608 стр. Цена 1 р. 18 к.

А. Васильев. Ракеты над цветком лотоса. Вьетнам в дни войны. 200 стр. Цена 46 к.

История Коммунистической партии Советского Союза. В шести томах. Том 4. Коммунистическая партия в борьбе за построение социализма в СССР. 1921—1937 гг. Книга 1. 1921—1929 гг. 663 стр. Цена 1 р. 50 к.

Ленинский сборник XXXVII. 399 стр. Цена 77 к.

Л. Пинчун. Власть примера. 128 стр. Цена 19 к.

П. Подляшун. Основа. Рассказ о Петре Моисеенко, рабочем вожаке. 127 стр. Цена 17 к.

Л. Слепов. Ленинская партия — партия пролетарского интернационализма. 294 стр. Цена 66 к.

«МЫСЛЬ»

В. И. Ленин и история классов и политических партий в России. Коллективная монография. Главный редактор М. П. Ким. 519 стр. Цена 2 р. 93 к.

Вопросы научного атеизма. Выпуск 9. Система атеистического воспитания. 406 стр. Цена 1 р. 56 к.

Из истории Коминтерна. Сборник статей. 292 стр. Цена 1 р. 24 к.

В. Кузнецов. Французская буржуазная философия XX века. 318 стр. Цена 1 р. 27 к.

В. Успенский. Дальние рейсы. Путевые очерки. 255 стр. Цена 76 к.

«ЭКОНОМИКА»

Г. Кравченко. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). Второе, переработанное и дополненное издание. 391 стр. Цена 1 р. 78 к.

Л. Метлицкий. Биохимия плодов и овощей. 271 стр. Цена 1 р. 68 к.

Г. Оравская, И. Ламыкин. Анализ хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. 445 стр. Цена 1 р.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

И. Есенберлин. Опасная переправа. Роман. Перевод с казахского Ю. Домбровского. 263 стр. Цена 41 к.

С. Залыгин. Соленая Падь. Роман. 446 стр. Цена 78 к.

С. Кирсанов. Зеркала. Стихи. 1965—1968. 142 стр. Цена 67 к.

Н. Потапов. Живее всех живых. Образ В. И. Ленина в советской драматургии. 374 стр. Цена 92 к.

М. Светлов. Пьесы. 368 стр. Цена 93 к.

М. Слонимский. Завтра. Из записок старого человека. Повесть. 94 стр. Цена 11 к.

Н. Соколова. Шины шуршат по асфальту. Повести и рассказы. 511 стр. Цена 86 к.

А. Шогенцунов. Назову своим именем. Повесть. Перевод с набардинского М. Дальцевой и Н. Атарова. 192 стр. Цена 34 к.

В. Ян. Чингисхан. — Батый. Исторические романы. 672 стр. Цена 1 р. 46 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Акутагава Рюноске. В стране водяных. Повесть. Перевод с японского А. Стругацкого. 119 стр. Цена 1 р. 85 к.

М. Алигер. Стихотворения и поэмы. В 2-х томах. Вступительная статья П. Антокольского. Том I. 287 стр. Цена 1 р. 61 к. Том II. 311 стр. Цена 1 р. 29 к.

Бессмертие. Иностранные писатели о В. И. Ленине. Вступительная статья А. Суркова. 414 стр. Цена 3 р. 80 к.

И. Бехер. Стихотворения. Прощание. Трижды содрогнувшаяся земля. Перевод с немецкого. Вступительная статья А. Дымшица. 671 стр. Цена 1 р. 57 к.

Р. Рождественский. Реквием. Художник А. Билль. 72 стр. Цена 98 к.

М. Теймур. Синие фонари. Повесть и рассказы. Перевод с арабского. 222 стр. Цена 57 к.

Л. Фейхтвангер. Лже-Нерон. — Испанская баллада. Романы. Перевод с немецкого. 848 стр. Цена 2 р. 60 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

И. Константиновский. Караджале («Жизнь замечательных людей»). 285 стр. Цена 70 к.

Невыдуманные поэмы. Составление и предисловие В. Лазарева. 477 стр. Цена 2 р. 88 к.

Н. Хазри. Избранная лирика. 32 стр. Цена 11 к.

Н. Чуковский. Цвела земляника. Рассказы. Вступительная статья Л. Успенского. 542 стр. Цена 99 к.

«ПЕДАГОГИКА»

Б. Вульфсон. Школа современной Франции. 320 стр. Цена 82 к.

И. Линькова. Игры, игрушки и воспитание способностей. 104 стр. Цена 15 к.

А. Хрипкова. Разговор на трудную тему. Заметки о половом воспитании. 58 стр. Цена 9 к.

«ИСКУССТВО»

Кино Великобритании. Сборник статей. 358 стр. Цена 1 р. 75 к.

Густав Курбе. Письма, документы, воспоминания современников. Составление, перевод с французского и вступительная статья Н. Калиентиной. 270 стр. Цена 2 р. 16 к.

Вл. И. Немирович-Данченко. Репетиции «Кремлевских курантов». Подготовка стенограмм к печати и вступительная статья Л. Фрейдкиной. 302 стр. Цена 1 р. 60 к.

«НАУКА»

А. Бабнин. Русская фразеология, ее развитие и источники. 263 стр. Цена 1 р. 7 к.

Р. Давези. Ангольцы. Перевод с французского. 216 стр. Цена 78 к.

В. Дмитриев. Скрывшие свое имя. Из истории псевдонимов и анонимов. 255 стр. Цена 85 к.

Н. Добролюбов. Русские классики. Избранные литературно-критические статьи. Послесловие В. В. Жданова. 616 стр. Цена 2 р. 65 к.

Идеология современного реформизма. Критика концепций правых социалистов. 606 стр. Цена 2 р. 57 к.

М. Л. Кинг. Есть у меня мечта... Избранные труды и выступления. Переводы. 229 стр. Цена 78 к.

Х. Кинк. Восточное Средиземноморье в древнейшую эпоху. 204 стр. Цена 70 к.

Ленин и Польша. Проблемы, контакты, отклики. Сборник статей и материалов советских и польских авторов. 417 стр. Цена 2 р. 10 к.

С. Никитин. Очерки по истории южных славян и русско-балканских связей в 50—70-е годы XIX в. 323 стр. Цена 1 р. 51 к.

С. Онегов. Архитектура Бирмы. 199 стр. Цена 1 р. 5 к.

Развивающиеся страны в мировой политике. Сборник статей. 260 стр. Цена 1 р. 20 к.

Свержение самодержавия. Сборник статей. 328 стр. Цена 1 р. 46 к.

В. Солодовников. Африка выбирает путь. 238 стр. Цена 1 р. 15 к.

П. Третьяков. У истоков древнерусской народности. 156 стр. Цена 75 к.

Р. Цыпкина. Сельская красная гвардия в Октябрьской революции. 230 стр. Цена 90 к.

П. Чихачев. Великие державы и восточный вопрос. 224 стр. Цена 89 к.

«ПРОГРЕСС»

Э. Абайя. Нерассказанная история Филиппин. Перевод с английского. 380 стр. Цена 94 к.

П. Данинос. Записки майора Томпсона. Повесть. Перевод с французского. 316 стр. Цена 1 р. 3 к.

Я. Хорват. Ни сон, ни явь. Роман. Перевод с сербскохорватского Н. Новиковой. 238 стр. Цена 63 к.

«МИР»

П. Кроункрофт. Артур, Билл и другие. Все о мышцах. Перевод с английского. 158 стр. Цена 37 к.

Э. Меннинджер. Причудливые деревья. Перевод с английского. 360 стр. Цена 1 р. 2 к.

Справочник по надежности. В трех томах. Перевод с английского. Том 2. 304 стр. Цена 1 р. 50 к.

Дж. А. Уилер. Предвидение Эйнштейна. Перевод с немецкого. 112 стр. Цена 39 к.

Г. Шоке. Геометрия. Перевод с французского. 234 стр. Цена 70 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

А. Аксенова. Красная рябина. Повести. 169 стр. Цена 29 к.

М. Карунный. Переполюх в романе. Юмористические повести. 76 стр. Цена 15 к.

Д. Косых. Грозный молибден. Рассказы бывалых людей. 172 стр. Цена 49 к.

И. Курчапов. Теплынь в Студенцах. Роман. 269 стр. Цена 70 к.

Л. Лапцуй. Голубые снега. Стихи. Перевод с немецкого. 96 стр. Цена 33 к.

А. Ромашов. Он находит истину. Заметки о работе следователя. 78 стр. Цена 13 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Д. Голубов. Доброе солнце. Повесть о художнике М. Сарьяне. Предисловие С. Коенкова. 134 стр. Цена 70 к.

Живее всех живых. Поэмы о Ленине. 335 стр. Цена 1 р. 18 к.

А. Котовщинова. Если постараться. Повести. 192 стр. Цена 44 к.

В. Леонов. Я в ответе за счастье. Повесть. 64 стр. Цена 11 к.

Б. Мунгонов. Черный ветер. Повесть. 174 стр. Цена 39 к.

М. Прилежаева. Жизнь Ленина. Повесть. Иллюстрации О. Верейского. 279 стр. Цена 2 р. 12 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Т. Ахтанов. Буран. Повесть. Перевод с казахского В. Аксенова. Алма-Ата. «Жазушы». 187 стр. Цена 31 к.

А. Венцлова. Лирика. Перевод с литовского Л. Миль. Вильнюс. «Вага». 147 стр. Цена 70 к.

О. Кибитов. Большие белые птицы. Повести и рассказы. Предисловие Ю. Казакова. Горький. Волго-Вятское книжное издательство. 72 стр. Цена 9 к.

Е. Лопатина. Всем сердцем... Очерки. Ростов-на-Дону. Книжное издательство. 231 стр. Цена 37 к.

Победа. Писатели о подвиге Ленинграда в Великой Отечественной войне. Вступительная статья Д. Гранина. Ленинград. Лениздат. 364 стр. Цена 87 к.

Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Д. Г. Большой (первый зам. главного редактора), **Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорош, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. М. Марьямов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **К. А. Федин, М. Н. Хитров** (ответственный секретарь)

Редакция: Малый Путинковский пер., д.1/2. Тел. 299-81-77.

Почтовый адрес: Москва. К-6. Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 15/IV 1970 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 8/VI 1970 г.
Формат бумаги 70×108^{1/2} мм, 26,4 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
А. 01062. Зак. 1316. Тираж 160.300 экз.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова Москва. Пушкинская пл., д. 5.

Цена 70 коп.

70636